

ЛАРИСА ВАСИЛЬЕВА

КРЕМЛЕВСКИЕ ЖЕНЫ









ЛАРИСА ВАСИЛЬЕВА

КРЕМЛЕВСКИЕ ЖЕНЫ



ЛАРИСА ВАСИЛЬЕВА

КРЕМЛЕВСКИЕ ЖЕНЫ

Факты,
воспоминания,
документы,
слухи,
легенды
и
взгляд автора.



ВАГРИУС
Москва

„ВЫШЭЙШАЯ ШКОЛА”
Минск

1993

ББК 84Р7
В 19
УДК-882=3

Оформление С. Чайкуна

Васильева Л.

В19 Кремлевские жены.— М.: Вагриус; Мн.: Выш. шк.,
1993.— 544 с., [2] л. ил.
ISBN 5-339-00927-0.

Художественно-публицистическое исследование о судьбах женщин, которым выпала доля быть женами „вождей” нашего народа: Надежды Крупской, Надежды Аллилуевой, Екатерины Ворошиловой, Нины Берия, Нины Хрущевой, Виктории Брежневой, Раисы Горбачевой и других. Автор строит свое повествование на уникальных архивных материалах, беседах с самими „кремлевскими женами” и их близкими, воспоминаниях современников, личных впечатлениях.

В 4702010201 — 006 Без объявл.
М304 (03) — 93

ББК 84Р7

ISBN 5-339-00927-0 (Выш. шк.)

© Л. Васильева, 1993
© Оформление. С. Чайкун,
1993

СОДЕРЖАНИЕ

Вступление	7
------------	---

I. НАДЕЖНАЯ НАДЕЖДА

“Синий чулок”	13
Возраст любви	27
Созидательницы разрушения	48
Любовница Ленина?	54
Звездный час и вдова фараона	75

II. ПАТРОН И ПОМАДА

Подполье наверху	103
Женский вопрос и мужской ответ	130
Женщина революции, или Легенда о Ларисе	135
Сноха	157
Аллилуйя Аллилуевой	173
Советская Эсфирь	214
Три жены маршала Буденного	241
В кресле инквизитора	260
Всесоюзная старостиха	281
Личное не имеет общественного значения	302
Жемчужина в железной оправе	314
“Подруги” Синей Бороды, или Женщина из абрикосового облака	351
Холодная постель	388

III. ЖРИЦЫ ТРЕХ "К": кухне, киндер, КПСС

Кухня Нины Кухарчук	417
Виктория — значит победа	455
Анна на триста дней	479
Феномен Раисы	487

IV. ПОСТСКРИПТУМ

Закон возмездия	523
Заключение	531
Краткая библиография	535

ВСТУПЛЕНИЕ

Кончается двадцатый век.

Открываются железные занавесы, глухие двери, плотные шлюзы. Тайное становится явным. Усталое человечество захлебывается в потоке информации о прошлом, жадно впитывая этот поток, ища в нем объяснения, обвинения или оправдания неудачам сегодняшнего дня.

Где ошибки?

Кто-то видит их в неправомерности социалистического пути. Кто-то ничего социалистического в этом пути не видит. Кто-то ищет ошибку в тайне приезда Ленина, через Германию, на землю революционного Петрограда. Кто-то — в большом терроре Сталина, кто-то — в волюнтаризме Хрущева, кто-то — в неподвижности Брежнева, кто-то — в легкомыслии и непоследовательности Горбачева.

*Но кто мы и откуда,
Когда от всех тех лет
Остались пересуды,
А нас на свете нет.*

В этих строках Бориса Пастернака, кроме волнения о правде бытия, способной уплыть в небытие, увидела я однажды некий второй план: пересуды...

Почему-то люди всегда пишут о важном, но не слишком интересном, о второстепенном же, но жгуче интересном, умалчивают.

Из всей огромной, безумной истории России двадцатого столетия выпали в некий осадок и лежат на дне событий женщины Кремля. Жены.

Кто они?

Какова их роль в общеисторическом процессе? Как отыгралась на них эта роль?

Была ли на самом деле такая роль? Или все обошлось спец-кухней?

Не оставались ли они лишь бледными теньями пугающе великих или ничтожных мужей?

А если в жизни на самом-то деле все выглядело иначе, и за каждым Его поступком всегда стояла Она?

Так родилась идея книги “КРЕМЛЕВСКИЕ ЖЕНЫ”.

* * *

Три дороги были передо мной.

Первая — исследования и книги-воспоминания. Но где их взять? В наших и зарубежных изданиях, посвященных общечеловеческой, а точнее, мужской истории, о женщинах Кремля — лишь крупницы, чаще вообще ничего нет. Есть отдельные издания, касающиеся Крупской, Арманд, Коллонтай. Есть их произведения, где об интересном тоже умалчивается. Есть сегодня немало воспоминаний “жен врагов народа” — трагических, волнующих, но тоже скрывающих нечто, самое интересное.

Вторая — легенды, слухи, сплетни. Несolidно? Да. Однако даже серьезные историки говорят, что слухи также являются важным источником информации. Да и есть ли женская жизнь без легенд, слухов, сплетен? На этой дороге встрети-лась я с изобилием интереснейшего, пусть и недостоверного, материала, но именно он потянул меня к третьему пути, дабы не завратиться и установить истину.

Третья дорога — архивы, рукописи, документы, письма. Встречи с живыми героинями, с родственниками и близкими знакомыми умерших героинь. Нужно ли говорить, сколь захватывающе интересен был этот путь, на котором ждали меня неожиданные, а порой и сенсационные открытия?

Была еще четвертая дорога — собственная тропа. Так сложилась моя жизнь, что время от времени мне приоткрывались каменные занавесы Кремля. Я не жила кремлевской жизнью, но в разные периоды и по разным обстоятельствам на короткое время оказывалась внутри этого своеобразного быта, отчего впечатления, не притупленные повседневностью, были остры-

ми, запоминающимися. Судьба также свела меня с писателем Иваном Поповым, работавшим в эмиграции с Лениным: летом 1953 года, не желая записывать свои уникальные, но, по его мнению, могущие быть опасными знания, он использовал мою память как записную книжку, за что по гроб жизни останусь ему благодарна.

* * *

Не могу не сказать спасибо ныне здравствующим кремлевским женам, детям, внукам, племянникам, друзьям ушедших из жизни, — всем, кто в сегодняшнем нелегком для них дне нашел возможным рассказать мне известную им, не всегда лицеприятную правду о себе и о любимых, дорогих памяти людях.

Хочу также поблагодарить всех историков и мемуаристов советского периода, как официальных, обмыливших и выгладивших историю, давших мне возможность думать от противного, так и неофициальных и зарубежных за то, что ни те, ни другие, ни третьи, не додумались до темы “КРЕМЛЕВСКИХ ЖЕН”. Выражаю благодарность сотрудникам ЦГАЛИ — директору Наталье Борисовне Волковой, Елене Ермиловне Гафнер и сотруднице библиотеки бывшего Института марксизма-ленинизма Евгении Михайловне Золотухиной.

Каждая моя героиня “самая-самая”. Избранница Первого. Иногда — Второго. Или такого яркого Третьего, что не обойдешь. Несколько кажущихся случайными героинь напрямую связаны с темой книги.

Все они реальны. Одни не так давно ушли из жизни. Другие живы по сей день. Рисуя их, я старалась быть объективной, а подобные старания, как известно, приводят к субъективизму.

К счастью, у писателя всегда есть возможность соотнести образ с фактами и легендами, и не без помощи воображения, найти свою истину.

Надеюсь, те читатели, которым пришлось близко соприкасаться в жизни с темой моей книги, не оставят меня в покое и дополнят второе издание своими фактами и легендами.

В процессе работы мне открылась одна из ошибок, быть может, главная ошибка века — словно иголка в стоге сена.

Узнать ошибку вы сможете, прочитав “КРЕМЛЕВСКИХ ЖЕН” до конца, за что я каждому заранее благодарна.

Автор

P.S. На протяжении всей книги вам будут встречаться глаголы, специально выделяемые мной. Это своего рода попытка исследования некоторых глагольных форм русского словаря двадцатого века не с грамматической, а с нравственной стороны.

I

НАДЕЖНАЯ
НАДЕЖДА



“СИНИЙ ЧУЛОК”

Летом 1918 года в Кремле поселилась женщина.

Несколько веков назад из слюдяных окон кремлевских теремов смотрела Наталья Нарышкина, законная царица, молодая жена пожилого царя Алексея Михайловича Романова. Среди воспоминаний о ней осталось немало сомнительных легенд и сплетен.

Говорили, якобы сынок Натальи, Петр, рожден не от Алексея Михайловича, а от патриарха Никона или даже от царского красавца-конюха, то ли грузина, то ли армянина.

Столетия не пролили света на эти сплетни, а сынок, от кого-то безусловно рожденный, благополучно вырос, возмужал и вошел в историю России под именем императора Петра Великого. Именно он, невзлюбив Москву, выстроил себе “столицу на болоте”. В Санкт-Петербурге потекла дворцовая жизнь. Его несчастливая, нелюбимая первая жена Евдокия была последней царицей в кремлевском тереме. Следы ее слез и эхо ее проклятий Петербургу незримо хранили кремлевские стены.

Советская власть вернула столицу в Москву.

Логично: город в центре Европейской России — надежно укрыт от возможных нашествий. Да к тому же новая власть не хотела обосновываться в покоях недавних властителей: безнравственно борцам за народное дело работать, спать, есть и любить там, где еще недавно роскошествовали ненавистные большевикам Романовы. Это противоречило бы большевистским принципам, которые и внесла вместе с небольшим чемоданом женщина, вошедшая в Московский Кремль в качестве его новой хозяйки.

Ей было сорок девять лет. Она была немолода и некрасива.

Большое, одутловатое лицо, пухлые, выдвинутые вперед губы — признак страстной натуры, предполагать которую именно у нее никто не рисковал; не подкрашенные никотином белые, неровные зубы, открытый крупный лоб, как бы гово-

рящий всем, что лоб — это орган мысли; гладкие, на прямой пробор волосы, собранные в пучок на затылке, — их неряшливо выбивающиеся по обе стороны щек клочки — всегда помеха для встречного взгляда; крупный добродушный нос; не тронутые краской брови над широко расставленными навывкате глазами с дрожащими яблоками и веками, сильно наплывающими на глаза, что придавало лицу сонное, снулое выражение, тяжелые мешки под глазами, то ли от бессонницы, то ли от болезни, то ли от того и другого. Фигура не полная, но ровная, без волнующих изгибов; прямая осанка, выдающая воспитанницу хорошей гимназии, медлительная походка, прекрасной формы кисти рук с небрежными, неухоженными ногтями, свидетельствующими, что их владелица, может быть, пишет, может быть, рисует и не заботится о выпячивании того малого, чем могла бы быть привлекательной как женщина.

Надежда Константиновна Крупская — жена Ленина.

Подруга победителя революции.

Ей предстояло жить в Кремле, не в роскоши царских покоев, а в скромной, специально оборудованной для нее с Лениным маленькой квартирке.

Крупская не возражала. Жене вождя пролетариата надлежала скромная жизнь.

Ни к чему другому, по всему видно, она и не привыкла.

Ничего другого она, видимо, не желала.

Лишь когда ее упоенный революцией муж шумно обрадовался, увидев, что их новое жилище удобно примыкает стеной к его месту работы — Совету Народных Комиссаров, Надежда Крупская грустно покачала головой:

— Удобно. Ни сна, ни отдыха. Никаких перерывов. Сплошная работа.

Новая царица, как некоторые ее поначалу называли, была мало кому известна в России. Четырнадцать лет зрелой жизни до 1917 года с небольшим перерывом, прожила за границей. Откуда было России знать ее?

А знала ли Крупская Россию, которой ей предстояло в какой-то мере править? Эмигрантская оторванность — факт. Начало двадцатого века — не конец его: нет телевизоров, радио, телефакса.

Думаю все же, Крупская была подготовлена к России более, чем Россия к Крупской. И уж, наверно, больше, чем бывали подготовлены к России немецкие принцессы, два века в роли правительниц и жен восседавшие на русском троне.

Не в укор принцессам и не в похвалу Крупской я говорю это, а справедливости ради, ибо Надежда Константиновна смолоду поставила себе благородную цель: счастье и светлое будущее народов России. Позднее, под влиянием глобально мыслящего Ленина, она расширила целевые границы до лозунга: “Пролетарии всех стран, соединяйтесь!” — но желание сделать Россию счастливой вполне уместилось в лозунг.

А была ли счастлива сама Крупская?

Как она понимала счастье?

Ответ на эти вопросы укладывается в историю ее жизни, при всей известности — полную загадок и тайн.

В ореоле советского семидесятилетнего официоза имя Надежда Константиновна Крупская, длинное, как нескончаемый забор перед чем-то, куда не хочется заглянуть, наводило елейную скуку на поколения.

Люди, знавшие ее, оставили монотонные, слащаво-благодные воспоминания, за которыми, уж если приходилось с ними по обязанности знакомиться, всегда хотелось видеть нечто противоположное:

— Крупская была образцом верной жены? Что ей оставалось делать, такой некрасивой? Небось, кроме Ленина, никто на нее никогда не взглянул.

— Говорят, он изменял ей...

— Крупская после революции изо всех сил боролась с религией.

— Говорят, она собственноручно изымала из библиотек замечательные книжки, Чарскую, например, считая их вредными для пролетарских детей.

— Что она в детях-то понимала, бездетная...

— И вообще она была настоящий “синий чулок”!

* * *

Елизавета Васильевна Тистрова не глупее других. Она не преувеличивала и не преуменьшала своих возможностей —

смотрела правде в глаза. Сирота. Воспитанница Института благородных девиц для сирот, детей офицеров. О какой блестящей партии можно мечтать, оказавшись в Виленской губернии на роли гувернантки в богатой семье?

И все же хорошенькая, умная, образованная, уравновешенная, поэтичная, мастерица на все руки, умелица вести беседу, она привлекла внимание перспективного молодого человека. И сама влюбилась. Константин Игнатьевич Крупский хоть и беден, но с хорошим образованием — Кадетский корпус окончил. И собой хорош.

Елизавета Васильевна, как любая нормальная женщина, всегда была готова к спокойной, добропорядочной семейной жизни. Хотела детей. Приготовилась жить за мужем, как за каменной стеной.

Сначала все было отлично: Крупский получил должность начальника уезда в Гроеце. Это Польша. Четыре года прошли благополучно, если не считать обычных служебных хлопот, без которых не обходится ни одна человеческая жизнь, а также увлечений Константина Игнатьевича революционно-демократическими идеями.

Однако эти две “мелочи” внезапно слились и выросли в большую неприятность: в 1872 году Крупский, замеченный в нежелательных симпатиях, был уволен со службы с приговором “за превышение власти”. Лишь через восемь лет мытарств и прошений несправедливый приговор был снят.

Семья Крупских, наскитавшись по разным городам, когда Константину Игнатьевичу разрешили жить в столицах, поселилась в Петербурге. Бедность. Черные лестницы. Грязные дворы.

Надежда, единственная дочь Елизаветы Васильевны и Константина Игнатьевича, родившаяся в 1869 году, росла в атмосфере родительской любви и нежности. Но за дверью их квартиры был мир бедных улиц и ребятишек в лохмотьях.

Иная на месте девочки Нади стыдилась бы своего положения, сторонилась бедных детей, старалась вырваться в “чистый мир”.

Иная смиренно приняла бы положение бедного существа и довольствовалась тем, что преподносит ей жизнь.

Надя не сделала ни того ни другого. Она свободно играла с

нищими ребятами и столь же свободно общалась с девочками из хороших домов, куда ее старалась водить мать, имевшая связи с подругами, бывшими “благородными девицами”, богатыми и знатными. Сообразительная девочка довольно рано уловила, что беды и переживания ее отца выходят за рамки семьи и каким-то образом связаны с бедами многих людей — в доме Крупских нередко звучало слово “революция”.

Желая развить в дочери полноценное мышление, соответствующее требованиям времени, а также дать ей хорошее образование, родители определили Надю в одну из лучших школ России — гимназию княгини Оболенской. Это было частное, но не коммерческое предприятие, а идейное дело, созданное энтузиастами-народниками 60—70-х годов. У Оболенской учились разные девочки: аристократки, купеческие дочери, дочери революционных разночинцев. Многие девочки мечтали посвятить себя идеям служения народу. Эти идеи жили в наставлениях учителей гимназии, они носились в воздухе, преподавая девочкам первые примеры.

Во второй половине девятнадцатого века у женщины России, стремящейся к образованию, появилась возможность выйти из семейного круга и оглянуться. Как существо чуткое и отзывчивое, увидела она несправедливости и тяготы жизни. И тут же захотела помочь. Но власть предрешающий мужской мир сам знал, что ему делать. Женщине ничего не оставалось, как обратить свои взоры в противоположную сторону, к ниспровергателям основ, людям, борющимся с властью. Здесь женщину ждала роль верной помощницы мужчины. Это ее устраивало. И она закатала рукава.

Так появилась Вера Засулич (1849—1919) — она вела революционные кружки, стреляла в петербургского градоначальника Трепова, прошла тюрьмы и ссылки, в эмиграции помогала Ленину и, встретив враждебно Октябрьскую революцию, умерла в глубоком разочаровании от жизни. Была она одинока, неустроена в быту, неряшлива — настоящий “синий чулок”.

Так появилась Вера Фигнер (1852—1942) — народница, потом эсерка, участница покушения на царя Александра II, приговоренная к смертной казни, но помилованная двадцатилетним заключением в Шлиссельбургской крепости, отси-

девушка там, прожившая долго в Москве, без особого участия наблюдая, как двадцатый век преобразил ее революционные идеи.

Так появилась Софья Перовская (1853—1881) — народница, правнучка гетмана Кирилла Разумовского, покушавшаяся на Александра II, первая женщина в России, казненная по политическому делу.

Эти первые ласточки трагической женской весны всеми своими победами и поражениями подготовили младшее поколение, новый тип революционерки, которая непременно должна была победить.

* * *

Елизавета Васильевна, мать Нади, по характеру, не склонная к политике, не жаждала быть задействованной в революционных делах, но все случившееся с ее мужем касалось и ее ребенка. Овдовев в 1883 году, она со смесью страха и надежды наблюдала, как четырнадцатилетняя дочь была взята под опеку революционеров. Очень известный в революционных кругах Николай Исаакович Утин, один из руководителей русской секции Первого Интернационала, появился в доме Крупских вскоре после смерти Константина Игнатьевича, понял положение бедной семьи и помог Наде получить первый в жизни частный урок.

Гимназическая подруга Нади Крупской Ариадна Тыркова-Вильямс вспоминает:

“Мы постоянно рассуждали о несовершенствах человеческого общества. Наши рассуждения шли от жизни, от кипучих запросов великодушной юности... Во многих русских образованных семьях наиболее отзывчивая часть молодежи уже с раннего возраста заражалась микробом общественного беспокойства.

Из моих подруг глубже всего проник он в Надю Крупскую. Она раньше всех, бесповоротнее всех определила свои взгляды, наметила свой путь. Она была из тех, кто навсегда отдается раз овладевшей мысли или чувству”.

Последняя фраза — вспомним ее — пригодится нам в пути по жизни Надежды Крупской.

Сама Ариадна тоже впоследствии оказалась в революционном движении, но по другую сторону баррикад.

Спустя много лет она писала:

“Тихая была жизнь у Крупских, тусклая. В тесной, из трех комнат, квартирке (о, времена! На двоих три комнаты! — подумает сегодня простой советский человек, за счастье которого всю свою жизнь боролась Надежда Константиновна. — Л.В.) пахло луком, капустой, пирогами. В кухне стояла кухаркина кровать, покрытая красным кумачовым одеялом. В те времена даже бедная вдова чиновника была на господской линии и без прислуги не обходилась. Я не знала никого, кто не держал бы хотя бы одной прислуги”.

Удивимся последней фразе. И да промелькнет у нас мысль: возможно, угнетала доброе сердце Нади необходимость пользоваться плодами чужого труда...

Если детство Нади пришлось на застойные семидесятые годы, то юность Надежды уже освещалась бурными событиями. Шло пробуждение революционных сил, но народническая теория “малых дел” еще жила и влияла на молодежь. Не обошла она своим влиянием и Надю.

Окончив в 1887 году восьмой педагогический класс, Надя Крупская получила диплом домашней наставницы и успешно вела педагогическую работу, готовя к экзаменам учениц гимназии княгини Оболенской.

“Домашняя наставница Н.К.Крупская в течение двух лет занималась по вечерам с десятью ученицами... Успехи ее учениц свидетельствуют о выдающихся педагогических способностях ее, основательности познаний и крайне добросовестном отношении к делу”, — говорилось в удостоверении, выданном юной учительнице.

Быть домашней наставницей всяких лентяек? Нет!

По понятиям ее матери, Елизаветы Васильевны, выбора пока не было: замуж Надежду никто не звал. Влюбленных в нее юношей и зрелых мужчин не наблюдалось. Совершенно естественные материнские мечты Елизаветы Васильевны о хорошей партии для Нади не спешили сбываться.

Ариадна Тыркова-Вильямс вспоминает: “У меня уже шла девичья жизнь. За мной ухаживали. Мне писали стихи. Идя со мной по улице, Надя иногда слышала восторженные заме-

чания обо мне незнакомой молодежи. Меня они не удивляли и не обижали. Мое дело было пройти мимо с таким независимым, непроницаемым видом, точно я ничего не слышу... Надю это забавляло. Она была гораздо выше меня ростом. Наклонив голову немного набок, она сверху поглядывала на меня, и ее толстые губы вздрагивали от улыбки, точно ей доставляло большое удовольствие, что прохожий юнкер, заглянув в мои глаза, остановился и воскликнул:

— Вот так глаза... Чернее ночи, яснее дня...

У Нади этих соблазнов не было. В ее девичьей жизни не было любовной игры, не было перекрестных намеков, взглядов, улыбок, а уж тем более не было поцелуйного искушения. Надя не каталась на коньках, не танцевала, не ездила на лодке, разговаривала только со школьными подругами да с пожилыми знакомыми матери. Я не встречала у Крупских гостей".

Большое удовольствие, когда нравишься не ты, а другая?

Удивительная реакция! Миллионы подружек в подобной ситуации "дохнут от зависти", втайне расстраиваются, переживают. А Надежде приятен успех подруги.

Что это? Доброта? Конечно. Но не только.

Полное признание своего скромного положения среди красивых подруг?

Да, но не только.

"Я под стать русской природе, нет во мне ярких красок", — утешала Надя свою мать, озабоченную проблемой: девка на выданье, а женихов не видно.

Есть в нетипичном поведении некрасивой Нади уверенное ощущение своего пути. Предчувствие, если хотите. Она не мечтает о мужчинах и замужестве, потому что не интересуется "такой чепухой". Она не хочет типично-скучной женской судьбы. Подруги выходят замуж, она не завидует, а жалеет их: закабаляют себя браком. Бросают под ноги мужчинам свои таланты и возможности самым стать полноценными личностями.

Надя пойдет другим путем...

Она посвятит себя обществу, а не одному человеку.

Ее влечет не быт, а жизнь. Не дом, а мир.

Но как найти свой путь?

Книги? Они не отвечают на этот вопрос, они задают его своим читателям.

Друзья отца, революционеры-народники? Надя начинает посещать их собрания.

Нет! Это усталые люди, напуганные собственным терроризмом и его результатами. Но что-то есть в их теории “малых дел”.

Однажды Наде показалось: путь забрезжил. Она прочитала в газете призыв любимого писателя Льва Толстого к грамотным девушкам: начать исправлять и улучшать известные книги, чтобы простой народ мог их читать и образовываться. Обещал выслать желающим книги для работы.

“Хорошее “малое дело”, — подумала она и написала письмо:

“Многоуважаемый Лев Николаевич!

Последнее время с каждым днем живее и живее чувствую, сколько труда, сил, здоровья стоило многим людям то, что я до сих пор пользовалась чужими трудами. Я пользовалась ими и часть времени употребляла на приобретение знаний, думала, что ими я принесу потом какую-нибудь пользу, а теперь я вижу, что те знания, которые у меня есть, никому как-то не нужны, что я не умею применить их к жизни, даже хоть немножко заглазить ими то зло, которое я принесла своим ничегонеделанием, — и того я не умею, не знаю, за что для этого надо взяться...

Я знаю, что дело исправления книг, которые будут читаться народом, дело серьезное, что на это надо много знания и умения, а мне 18 лет, я так мало еще знаю...

Но я обращаюсь к Вам с этою просьбой потому, что, думается, может быть, любовью к делу мне удастся как-нибудь помочь своей неумелости и незнанию.

Поэтому, если возможно, Лев Николаевич, вышлите и мне одну, две таких книги, я сделаю с ними все, что смогу...”

Дочь Толстого, Татьяна Львовна, прислала Крупской “Графа Монте-Кристо” Александра Дюма.

Девушка села “исправлять” уже изданную книгу.

Нелепое занятие. Надя поняла это в процессе работы, но

бросить начатое не в ее характере. Она должна довести до конца. Тем более толстовское дело.

Ожидая ответа от Толстого, Надя несколько раз бывала в кружках толстовцев. Они отвратили ее — деятельная натура искала реального действия.

Она стала внимательно присматриваться к новым революционерам, интуитивно ища Того, кто укажет ей путь, по которому пойдет до конца.

Бесповоротно. Иначе идти не позволял характер.

Ее подруга Ариадна подмечала: “Я десять раз переверну фразу из учебника, пока она сообразит, в чем дело. Но когда сообразит, когда придет к определенному пониманию, примет его неизменно, крепко, как приняла позже учение Карла Маркса и Ульянова-Ленина”.

Весной 1890 года Надя прочитала “Капитал” Маркса: “Я точно живую воду пила. Не в терроре одиночек, не в толстовском самоусовершенствовании надо искать путь. Могучее рабочее движение — вот выход”.

Так угасла милая, наивная, ищущая пути девушка.

Так родилась революционерка, нашедшая Того, кто поведет ее. Но Тот пока что был всего лишь книгой. Теорией. Она нуждалась в живом человеке, которому смогла бы посвятить свою революционную страсть.

Безошибочно!

Так появилась Надежда Крупская.

* * *

Кто сказал “синий чулок”? Вообще, откуда взялось это словосочетание? Им насмешливо называют женщин, с головой ушедших в книжные, ученые интересы, забывших свою женственность, неряшливых, неопрятных.

Родилось выражение в Англии, во второй половине XVIII века и при рождении своем пренебрежительного значения не имело. Оно возникло в кружке, где собирались и мужчины, и женщины для бесед о литературе и науке. Душою общества был ученый Бенджамен Стеллингфлит, который, пренебрегая эстетикой и модой, при темном платье носил синие чулки, а не белые. Когда он почему-либо не приходил на занятия, все

воскликали: "Нам плохо без "синего чулка"! Где он? Без него беседа не клеится!"

Вот ведь как: впервые прозвище получила не женщина — мужчина! Лишь когда женщина, а случилось это во Франции в конце XVIII века, стала интересоваться науками и литературой более, чем домашними делами, и появилось много равнодушных к своему внешнему облику женщин, словосочетание "синий чулок" прилипло к ней как характеристика, данная мужчиной, чье естество протестовало против женской маскулинизации.

Мир — сообщающиеся сосуды: Россия XVIII—XIX веков во многом брала фасон с Франции — вместе с роскошными модами шли в Россию и "синие чулки".

"Что хорошего быть "синим чулком"? Не женщина и не мужчина, а так, середка наполовинку, ни то ни се", — это слова Чехова, а уж Чехов известный был "синим чулком" ненавистник.

"Синий чулок" — крайность!

"Синий чулок" — неестественность!

"Синий чулок" — явное экологическое нарушение, говоря современным языком. Общество, где "синие чулки" восторжествуют, обречено на вымирание.

Но то-то и оно, что, при всей своей "официальной некрасивости", юная Крупская мало походила на "синий чулок".

"У Нади была очень белая тонкая кожа, а румянец, разлившийся от щек на уши, на подбородок, на лоб, был нежно-розовый. Это так ей шло, что моя Надя, которую я часто жалела, что она некрасивая, казалась мне просто хорошенькой", — вспоминает Ариадна Тыркова-Вильямс, рассказывая, как преобразила подружку революционная работа. Надя по-прежнему жила с матерью на третьем дворе в большом доме Дурдиных, на Знаменской. Жили тихо, уютно, с лампадками, как будто по-старосветскому..."

— Вот те на! — воскликнет внимательный читатель. — Лампадки, это что же, под иконами?

Да, под ними. Елизавета Васильевна была набожна, а терпимая по натуре Надя ей не мешала.

"Надя обдавала меня, — продолжает Ариадна, вспоминая

события 1890 года, — ласковым сиянием, долго держала мои руки в своих руках, улыбалась с конфузливой нежностью. Но за всем этим я чувствовала другую Надю. Она уже прокладывала путь к тому, что вскоре станет смыслом, целью и, как это ни странно звучит для моей скромной Нади, роскошью ее жизни.

Начиналось это с вечерних курсов для рабочих за заставой. Надя глухим монотонным голосом рассказывала мне, как важно пробудить в рабочих классовое сознание. Добрые голубые глаза светились... Я радовалась за нее и понимала, какое это счастье найти поглощающую цель”.

При встречах с Ариадной Надя, краснея, как бы вскользь, не называя имени, говорила подруге “об одном товарище”, много значащем в ее жизни. И Ариадна, разумеется, спустя много лет, даже не сможет предположить, что он — не Ленин.

Это был другой.

В 1890 году — до встречи с Лениным остается четыре года — Надежда знакомится в революционном кружке со студентом-технологом Классоном. И начинает посещать его марксистский кружок.

Им интересно вдвоем читать, спорить. Изучать “Капитал”. Единомыслие часто ведет к объятиям. Но мы не будем считать первые поцелуи Крупской. Они настолько же возможны, учитывая молодость и нетерпение плоти, насколько невозможны, учитывая нравственное воспитание девушки и официально известную ее склонность к возвышенным, а не к низменным чувствам.

Осенью 1890 года Крупская бросает престижные женские Бестужевские курсы, где поначалу хотела искать свой путь в образовании.

Этот поступок кажется нелогичным: такая способная девушка может совместить и курсы, и кружок. Однако то общество и те идеи, которые предлагает ей Классон, требуют посвятить всю себя. Тут Крупская и теряет голову, смело идя навстречу новому, неизведанному, опасному...

Или, напротив, — обретает голову на плечах?

Посещает кружок Классона. Просиживает в публичной библиотеке, пользуясь читательским билетом Классона.

Если последнее — интимная подробность, попробуйте, читатель, воспользоваться ею для собственных выводов.

“Капитал” переведен на русский, а вот “Анти-Дюринг” Энгельса — нет. Крупской необходимо прочесть и эту книгу. Она начинает изучать немецкий. Очень быстро справляется с чужим языком. Классон и его окружение поражены: вот это способности!

“Марксизм, — напишет она много позднее, — дал мне величайшее счастье, какого только может желать человек: знание — куда надо идти, спокойную уверенность в конечном исходе дела, с которым связала жизнь”.

Однако “конечный исход дела” представляется далекой, как звезда, мечтой. Исполнением ее займутся будущие поколения. А чем же заниматься сегодня, сейчас, сию минуту?

В вечерней школе для рабочих Крупская находит себе активное дело: просвещать рабочий класс. Она раскрывается как талантливый педагог, актерствует, сочетает просвещение с пропагандой.

“Рассказывала что-то про Индию и жизнь индусов. Затем неожиданно перешла к нашей жизни”, — вспоминал один из ее учеников, рабочий Жуков.

Здесь, в школе, вспомнила она свою историю со Львом Толстым. Принесла одному рабочему почитать “Войну и мир”. Он вернул на следующий день со словами: “Чепуха какая-то. Длинно. Это на диване, развалясь, читать. Нам это не подходит”.

Умная, открытая, увлекающаяся и увлекающая идеями, розовощекая, с длинной русой косой, молодая учительница нравится грубоватому рабочему люду. Ее наперебой провожают после уроков по ночным улицам Петербурга. Надежда и сама не замечает, как получается, что провожатым чаще всего бывает Иван Васильевич Бабушкин.

Высокий, статный, уса́тый. От него исходит жгучий жар молодости, здоровья. У Надежды начинает кружиться голова, когда рабочий Бабушкин берет ее под руку в темных местах улиц, чтобы не упала. Она чувствует, она слышит даже, как колотится его сердце. Желая соответствовать революционному идеалу любви, Крупская намерена не придавать значения ми-

молетным ощущениям. Это всего лишь слепая страсть. Настоящая марксистка должна уметь справляться с нею.

Монахи и монашки умерщвляют плоть в постах, молитвах, служении Богу.

Надежда Крупская делала это с помощью книг Маркса и Энгельса, с головой уходя в преподавательскую работу, в занятия социал-демократических кружков.

“Синий чулок” все определеннее начинал проступать в ней. Сильно способствовал этому нарастающий атеизм Крупской. Он пугал мать, Елизавету Васильевну. Она говорила Ариадне: “Вы, как и моя Надя, в церковь не ходите?.. Ходили бы в церковь почаще да молились бы о ниспослании благодати, а то все мудрствуете”.

Надежда не спорила с матерью. Они мирно сосуществовали. Мать взяла на себя все хлопоты по хозяйству, видя, что ее революционерка бесталанна как хозяйка: за что ни возьмется — все падает из рук.

Наступил февраль 1894 года. В этом месяце Надежде Крупской исполнилось двадцать пять лет. “Синий чулок” и старая дева закономерно, логично сливались воедино. Елизавета Васильевна теряла всякую надежду на замужество своей Надежды. А тут еще время от времени стали арестовывать друзей и подруг ее дочери. Как бы саму дочь не взяли.

Конечно, Елизавета Васильевна согласна, в их рассуждениях много справедливого, но кто же им позволит осуществлять свои идеи? Смешно! Как они не понимают, на что замахиваются? Разве такое сломишь?

Елизавета Васильевна хоть и боялась за Надю, но характер ее хорошо знала — запрещать ничего нельзя. Бесполезно.

— Может, в тех революционных кружках, — рассуждала, наверное, про себя Елизавета Васильевна, — и встретит Надя свою судьбу. Вон там сколько мужчин. Образованных. И даже приличных. Из хороших семей. Пусть ходит. Встретит, поженятся, дети пойдут — не до революции будет. Надя любит детей. Она уж одним ребенком не обойдется...

Неужели нет? Неужели в этой дурацкой революционной борьбе одиноко пройдет вся Надина жизнь?!

Кто знает о ночных материнских мыслях? Можно только догадываться.

ВОЗРАСТ ЛЮБВИ

Петербургские февральские морозы, бывает, сопровождаются малиновым солнцем, поворачивающимся на весну.

Надвигалась масленица. Все эти прелести природы и жизни мало интересовали Надежду Крупскую. Она работала в вечерней школе и штудировала марксизм. Среди книг и брошюр (Надежда их буквально проглатывала) попалась тетрадка. Готова была отложить в сторону, заранее зная: это марксист Герман Красин обсуждает вопрос о рынке, ставя его в тесную связь с марксизмом.

(Сегодня в России, спустя сто лет, всяк живой тоже обсуждает вопрос о рынке, пытаясь ставить его вне связи с марксизмом. Когда же мы, Господи, найдем решение? — Л.В.)

Машинально открыла тетрадку и заметила, что все поля испещрены пометками. Почерк четкий. Вчиталась.

Крупскую поразили необычность, смелость, категорически уверенный тон и язвительность читателя, писавшего на полях.

“Кто это?” — подумала она.

Среди знакомых марксистов не было ни одного, способного так глобально мыслить. Классон? Непохоже.

В тот же день, идя на занятия в рабочую школу, Крупская встретила Классона на улице. Случайно. Он спросил, придут ли они сегодня с ее подругой, Зиной Невзоровой, к нему “на блины”. Под предлогом масленицы кружок Классона устраивал марксистский диспут. Сказала, что не знает, спросит подругу Зину, придет ли она. Идти не хотелось. Она уже изжила этот кружок, а зря тратить время — не в ее характере.

Классон пожал плечами: будет интересно, придет один “приезжий волжанин”, очень странный тип. Разделал под орех Германа Красина с его взглядами.

“Не тот ли? — подумала она, мгновенно вспомнив пометки

на полях тетрадки Красина. И они с Зинаидой пришли "на блины".

"Собралось много народу, — вспоминала Крупская. — Речь шла о революционных путях. Как идти? Кто-то сказал, что очень важна работа в комитете грамотности. И тут раздался сухой, злой смех "приезжего волжанина".

Никогда потом Крупская не слыхала у него такого смеха.

"Кто хочет спасать отечество в комитете грамотности, что ж, мы не мешаем", — сказал он и стал крушить проповеди "малых дел".

Я сидела в соседней комнате с Коробко и слушала разговор через открытую дверь. Подошел Классон и, взволнованный, пощипывая бородку, сказал: "Ведь это черт знает, что он говорит".

"Что же, — ответил Коробко, — он прав: какие мы революционеры".

Он был как гром среди ясного неба.

Он был как молния в ночи.

Он был как удар колокола.

Он был...

Увидев и услышав его, Крупская мгновенно поняла, что "революция близка и возможна".

В этот же вечер она навела справки. Владимир Ульянов. Двадцать четыре года? Выглядит старше. Дворянин? Отец умер — был инспектор училищ в Симбирске. Мать, урожденная Бланк, дочь бывшего полицейского врача. Старший брат Александр Ульянов. Тот самый. Из группы "Народная воля". Казненный в 1887 году за попытку покушения на царя, Александра Третьего.

Она рассказала о нем матери, хотя обычно не делилась с ней новостями в революционном кружке.

Засыпая, вспомнила — несколько раз они встретились глазами. Ну и что? Комната маленькая, народу много, все глазами встречаются. Не познакомилась — вот плохо.

Прошла зима.

Прошла весна.

Прошло лето.

Пришла осень. Разбрызгивая лужи, бежала Крупская к

Классону, где Владимир Ульянов собирался читать свою работу “Что такое “друзья народа” и как они воюют против социал-демократов?”

Успех книги был полный.

Мир тесен вообще, а революционный мир в частности. Начались занятия в воскресной школе. После уроков Крупская увидела Бабушкина, поджидавшего ее. Весной она несколько раз не разрешила ему провожать себя, придумывая какие-то предлоги. Теперь разрешила — он более не волновал ее.

По дороге Бабушкин рассказал, что стал ходить в новый кружок:

— Ох и умен наш лектор! Объясняет понятно. И на спор вызывает. Глядишь, с ним я не только все буду знать, но и говорить научусь.

— Кто это? — спросила Крупская.

Ответ прозвучал одновременно — в устах Бабушкина и в ее душе:

— Владимир Ильич Ульянов.

Судьба играет человеком, но человек творит судьбу, в особенности если сама судьба помогает творить себя. Через несколько дней после разговора с Бабушкиным Крупская пошла в публичную библиотеку — готовить лекцию для рабочих.

Ульянов сидел в читальном зале!

Как-то так само собой вышло — то ли судьба распорядилась, то ли Надежда подгадала — они столкнулись вечером на выходе из библиотеки. И пошли, пошли по улицам и дошли до ее дома. Пока шли, пока говорили, в ее голове, на черном бархате памяти сияли огненные слова: *революция близка и возможна!*

Это решило судьбу Надежды. Единственной любовью Крупской всегда была и оставалась революция. Ради нее Крупская жила и работала. О ней мечтала. Любви не хватало сконцентрированного предмета. И вот он появился. Владимир Ульянов-Ленин стал ее избранником не в мужья, а в вожди. Он должен был воплотить мечту Крупской. Она поверила в него неоглядно. И какую бы роль он ни уготовил ей в своей жизни, посвященной революции, Крупская пошла бы за

ним на край света. И дальше. Не ропща. Ничего не требуя. Во имя дела.

Исследователи жизни Ленина и Крупской часто спорят, что значит ее “странный” ответ ему, когда он, спустя несколько лет после первой встречи, написал ей в тюрьму, что просит стать его женой.

Она ответила: “Что ж, женой так женой”.

Не знаю, о чем тут спорить. Крупская выразилась яснее ясного: что бы ни предложил — на все готова.

Конечно, хорошо женой. Жена лучше, чем “товарищ по работе”. Много ближе.

Она сумеет сделать все, чтобы он возглавил революцию. С его-то талантом! С ее-то усердием! И мама, Елизавета Васильевна, рядом. Мама наконец успокоится, будет рада — Наде не осталась старой девой.

Итак, любовь к мужчине и революция слились для Крупской воедино. Ее прозорливость и мудрость состояли в том, что выбор оказался верен. Как много женщин, посвятивших себя революции, выбирали не тех мужчин!

Случайный успех?

Рука судьбы?

Точность расчета?

Крупская была отличница, а отличники редко ошибаются.

* * *

Избранник поначалу и подозревать не мог, что его судьба в какой-то мере уже решена. Им незаметно, мягко, решительно распорядились.

Всего полгода, как приехал он в Петербург. За спиною скромного, двадцатичетырехлетнего провинциала было, однако, немало переживаний: внезапная смерть отца, казнь старшего брата Александра, смерть от тяжелой болезни любимой сестры Ольги. Он прошел слежку за собой, арест, легкую ссылку в имение матери Кокушкино. Приезд в Петербург означал начало того великого завоевания, которому он собирался посвятить жизнь. Многое в понимании своего пути еще не установилось, не утвердилось, не обозначилось, но главное было ясно: взорвать существующий порядок жизни, подняв народ и

опираясь на идеи Маркса. Собственную силу он ощущал и верил в нее.

Нужны были единомышленники, союзники, работники, бойцы его невидимого фронта.

Елизавета Васильевна нечасто встречала в своем доме молодых людей. Не переставая мечтать о женихе для Нади, она была рада угостить своими пирогами симпатичного молодого человека, которого Надя однажды вечером привела в дом. Мог бы, конечно, и повыше ростом быть, и покрасивее, но это уж она слишком многого хочет: Надя сама не красавица, а Владимир Ильич, по всему видно, из хорошей семьи. И умница. Мужчине, как известно, красота не нужна, был бы ум.

На умного провинциала, соскучившегося по своей большой и хлебосольной семье, пахнуло от дома Крупских теплом и уютом. Сочетание Надиного таланта слушать, понимать и восхищаться услышанным с талантом ее матери готовить и угощать очень понравилось ему. Он стал бывать в доме. Обнаружил в Надежде возможности стать надежным борцом за дело революционного преобразования общества.

Когда она призналась ему, что давно поняла: "Не в терроре одиночек, не в толстовском самоусовершенствовании нужно искать путь: революционное движение масс — вот выход", он внимательно посмотрел ей в глаза и быстро отвел взгляд.

Эта девушка была слишком цельна, слишком серьезна, слишком надежна, слишком умна, чтобы оказаться случайной встречей. И слишком решительно готова идти за ним навсегда.

Торопить события он не хотел. И кажется, вообще не собирался соединять свою жизнь с кем бы то ни было.

Он повернул дело так, что Надежда стала товарищем по работе. В какой-то степени его ученицей, хотя и была на год старше его.

Скоро она оказалась незаменимой. Вечер каждого воскресенья он проводил у Крупских, заходя после занятий своего кружка, на чашку чая и пироги.

И вдруг исчез. Крупская ощутила признаки душевного волнения, однако виду не показала: они всего лишь товарищи, он может вести себя как ему вздумается. Может, в конце концов, у него быть своя личная, интимная жизнь!

Но настроение испортилось. Мать все заметила, тоже расстроилась, а спрашивать Надю поостереглась, зная ее скрытый, независимый характер. Нужно будет — сама скажет.

Подумала Елизавета Васильевна, что они, быть может, поссорились, и вообще, их отношения какие-то вялые — сидят, говорят, обсуждают. Не стремятся уединиться. Это разве любовь?!

Через день-два приятель Владимира Ульянова Глеб Кржижановский пришел в вечернюю школу, где преподавала Крупская. Отвел в сторону Надежду и ее подругу Зинаиду Невзорову, свою будущую жену, сказал, что “Старик” — это была подпольная кличка Ульянова — заболел, лежит один, нужно организовать уход.

Можно представить, как забилося сердце Крупской: и радостно — не ушел от нее к другой, и взволнованно — болен, нужно помочь.

Девушки пошли. Обрадовался. Зинаида Невзорова ускользнула с провизией на кухню. Надежда Крупская присела у постели и начала выкладывать новости, а потом стала привычно, с восторженной молчаливостью слушать: он хоть и тяжело болен был — дара речи не терял.

Почему-то вспоминая этот, описанный во всех книгах о Крупской и Ленине, факт их встречи, я всегда думаю о евангельской ситуации: служительница духа сильнее служанки плоти.

“Пришел Он в одно селение: здесь женщина, именем Марфа, приняла Его в дом свой; ну, у нее была сестра, именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово Его. Марфа же заботилась о большом угощении и, подошедши, сказала: Господи! Или тебе нужды нет, что сестра моя меня одну оставила служить. Скажи ей, чтобы она помогла мне.

Иисус же сказал ей в ответ: Марфа! Марфа! Ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется от нее у нее” (Лука, 10, 38—42).

Зинаида и Надежда, каждая по-своему, нравились Владимиру. Зинаида была хороша собой. Много лет спустя, в 1949 году похоронивший Зинаиду, ее муж, Глеб Максимилианович Кржижановский, говорил пришедшей к нему молодой аспи-

рантке-крупсковедке, Дине Корнеевне Михалутиной: “Владимир Ильич мог найти красивее женщину, вот и моя Зина была красивая, но умнее, чем Надежда Константиновна, преданнее делу, чем она, у нас не было”.

Больной выздоравливал, и как-то само собой вышло, что Крупская продолжала ходить к нему уже одна. Они вместе читали газеты, переводили статьи с немецкого.

Однажды пришла. Раздеваясь в прихожей, услышала в его комнате женский голос. Не нужно догадываться, какая мысль мелькнула. Но в ту же секунду открывшая ей дверь хозяйка квартиры сказала: “Матушка к нему приехали”.

Новое волнение охватило Надежду — что подумает о ней его мать: девушка одна приходит к молодому мужчине! Он так любит свою мать, так ее слушается!

В этот момент революционная этика безразличия к условиям вряд ли могла прийти в голову.

Мария Александровна Ульянова — запечатленный в памяти нескольких поколений образ интеллигентной, сильной и смелой матери, вырастившей шестерых и пережившей смерть мужа и двоих взрослых детей: Александра и Ольги. Все оставшиеся дети стали революционерами. Она свою зрелость и старость посвятила помощи делу. Прекрасная музыкантша, блистательно образованная, умная и благородная женщина мужественно перенесла невзгоды жизни, думая только о детях, и умерла за несколько месяцев до Октябрьской революции.

* * *

В наши дни всех и всяческих переоценок-пересмотров, когда Ленин и революция проходят испытание Голгофой и, согласно закону возмездия, получают сполна за все, что было и чего не было, неожиданные легенды вдруг оживают, выходят из-за поворота жизни и начинают витать над людьми.

Весной 1991 года я оказалась в большой компании интеллектуалов, решающих сегодня, как лучше всего “измученному ленинским экспериментом обществу вернуться к капитализму”. Молодой и симпатичный врач в продолжение разговора о том, что Ленин революцией мстил Романовым за казненного брата, вдруг сказал:

— А вы знаете, его мать была фрейлиной императрицы, жены Александра Второго или, может быть, даже Николая Первого, не скажу точно. Очень хорошенькая, видно по фотографиям.

— Этого не могло быть, — возразили ему, — как теперь известно, доктор Бланк был еврей. Дочь еврея — фрейлина?

— Вы не в курсе дела, — отпарировал врач, — в царской России человек, принявший крещение, автоматически становился русским. Национальность определяло не происхождение, а вероисповедание. Вспомните — сколько инородцев было при дворе Петра Первого. Дочь еврея, канцлера Шафирова, была фрейлиной. Так вот фрейлина Мария Бланк завела роман с наследником престола: то ли с Александром Вторым, то ли с Александром Третьим. Забеременела. Ну, конечно, ее отправили к родителям. И срочно выдали замуж за скромного учителя Илью Ульянова, пообещав ему рост по службе, что он регулярно и получал в течение всей своей жизни. Она благополучно родила сына. Заметьте, старший сын Ульяновых назван Александром. В честь Того отца. Вот только не знаю, какого Александра, Второго или Третьего. Ну, можно проверить. Илья Ульянов оказался очень хорошим человеком — ни разу не упрекнул Марию Александровну и ко всем детям относился одинаково.

Присмотритесь к портретам, этот Александр не похож ни на кого в семье. Александр Ульянов узнал тайну матери и поклялся отомстить за ее поруганную честь. Будучи студентом в Петербурге, он примкнул к террористам и взялся бросить бомбу в царя. И вот он сидит в тюрьме, его должны казнить, мать приезжает в Петербург и на следующий же день получает возможность увидеться с ним.

На следующий день! Невероятно! При встрече она просит Александра — это написано во всех книгах о Ленине, — чтобы он покаялся и его простят.

Александр Ульянов отказался каяться и был казнен. Представьте себе, разве могла обыкновенная мать преступника сразу же добиться свидания? Интересно знать, кто сказал Марии Александровне, чтобы она предложила сыну покаяться? Кто, кроме того, на кого он покушался, мог его простить?

Так вот, она, приехав в Петербург, сразу же получила

свидание с царем — какой тогда царь был у власти? Ах да, Александр Третий. Значит, это он был когда-то ее любовником и отцом Александра Ульянова. Царь согласился простить своего сына, если он покается. Так что все не просто. И Ленин революцией мстил не только за брата, но и за мать.

Можно было возразить врачу, что первым ребенком в семье Ульяновых был не Александр, а Анна, которая не участвовала в покушении, но, разумеется, знала о нем и не случайно была взята под стражу вместе с братом.

Можно было возразить, что Мария Александровна, дочь Александра Бланка, по всем предположениям не слишком с обеих сторон высокородная девица, вряд ли могла быть фрейлиной при царском дворе.

Можно было сказать, что смешно в наше время распускать слухи достойные доисторических времен и инфантильных особ, романтизирующих действительность.

Я тихо поднялась и ушла, пораженная не маловразумительной легендой, а тем, что она была давно известна мне! Из таких источников, которые невольно заставляли задуматься: откуда опять всплыла?

Нет дыма без огня...

В повествовании сейчас появится новое историческое лицо. Оно сможет пролить свет на некоторые темные углы в биографиях некоторых рассматриваемых здесь лиц. Оно время от времени будет появляться в книге, и в связи с ним я буду делать отступления под названием: *“Из “записной книжки” Ивана Федоровича Попова”*.

Ему было двадцать два года, когда он, бежав из ссылки, приехал в Брюссель и поступил там в университет. Молодой социал-демократ Иван Попов появился в Париже ранней весной 1909 года, пришел на тихую улицу Мари-Роз к Ленину и Крупской, живущим там в эмиграции. У него к ним была рекомендация от революционерки Инессы Арманд — с нею Попов подружился в ссылке, в Мезени.

Знание трех европейских языков, молодость и энергия дали возможность Попову помогать Ленину в качестве представителя ЦК РСДРП во Втором Интернационале. Вместе с Инессой Арманд Попов представлял партию на съездах и конференциях. Сопровождал Ленина, когда тот бывал в Брюсселе. В

1914 году Попов был взят под арест немецкими оккупационными властями в Брюсселе как "социально опасный элемент". По ходатайству Крупской и Ленина его перевели с помощью швейцарского Красного Креста на положение военнопленного.

В революции 1917 года Попов не участвовал. Вернувшись в Россию, работал в театральных организациях. Написал пьесу "Семья" об Ульяновых, принесшую ему широкую известность и материальное благополучие в конце сороковых — начале пятидесятых годов.

В этой пьесе главным был не Ленин, а его мать, ее переживания в связи с гибелью старшего сына Александра, ее хождение по мукам и по тюрьмам, ее выдержка и мужество, когда весь город Симбирск отвернулся от семьи террориста.

Моя встреча с Иваном Федоровичем состоялась в конце сороковых годов, в его доме, куда меня, девочку, пишущую стихи, привел отец, друживший с Поповым со времен войны. Иван Федорович в 1943 году приезжал на уральский завод писать очерк о конструкторах, создававших танк Т-34. Очерк был напечатан. Среди его героев — мой отец, танковый конструктор. Они подружились. Наша семья переехала в Москву после войны. Подружились семьи.

Летом 1953 года, окончив школу, я готовилась поступать в университет. Попов предложил моим родителям:

— Пусть она поживет с нами на даче. Дети в разъездах. Нам с женой скучно. Пусть зубрит среди природы.

В то время он, по существовавшему тогда закону, за каждый спектакль "Семья" получал большие потиражные деньги и мог позволить себе купить прекрасную, по нашим понятиям, дачу, держать автомобиль и оплачивать шофера.

Каждое утро на даче Попова я спускалась к диетическому завтраку. Вера Алексеевна, его жена, строго следила за диетой, весом и холестерином любящего поесть мужа. Я быстро справлялась с завтраком и уходила наверх зубрить, а вернее, читать Достоевского, которого Поповы свезли на дачу — от Москвы подальше. Два раза в неделю Вера Алексеевна ездила в Москву за продуктами. В такие дни мы с Поповым, сидя в разных комнатах, жадно следили, пока "Победа" с Верой Алексеевной не исчезнет за дальним поворотом.

И раздавался клич Ивана Федоровича: “Девушка, вниз!”

У калитки уже стояла деревенская женщина с курицей, или куском телятины, или свинины. Домработница Поповых, весело ворча, начинала готовить обед, а мы с Иваном Федоровичем в ожидании его, глотая слюнки от кухонных запахов, вели нескончаемый разговор. Вернее, говорил он, а я слушала.

— Не записывай! — предупреждал он меня всякий раз, когда часам к пяти мы заканчивали долгий и вкусный обед. — Ни в коем случае не записывай!

Чего нельзя — того хочется. Однажды я села записать какой-то его поразительно интересный рассказ, но бросила: предательство. И стала просто повторять услышанное по нескольку раз. Ручаюсь ли за точность спустя столько лет? Да, за точность мыслей, но не слов.

Я задумывалась над вопросом, зачем Попов буквально “вываливал” мне все, что знал, слышал, предполагал и понимал о жизни Ленина?

Узнавала я такое, от чего тогда голова пошла бы кругом не только у творцов ленинианы и крупскианы. Попов доверял мне то, чего не доверил бы записной книжке в 1953 году: спустя несколько месяцев после смерти Сталина, в разгар борьбы за власть в правительстве, в атмосфере бериевской агонии. Могло ли быть, что Попов, годами опасавшийся записать подробности, не мог уйти с земли, не передав знаний кому-то?

Почему он выбрал меня? Хорошо было бы спросить у него, да не спросишь. Скорей всего — никого другого рядом не было. Беседа его со мной выглядела так: сначала пустяковый разговор — как вкусно, если ешь мороженое, налить в него шампанского и — внезапно, без перехода он бросал сенсационную фразу, от которой я должна была если не упасть со стула, то громко выразить удивление.

После моей реакции он начинал рассказывать.

В один из обедов Иван Федорович сказал:

— Анна у Марии Александровны прижитая. Она — дочь одного из Великих Князей, нагулянная Марией Александровной, когда та была при дворе.

— Фрейлиной? Не может быть!

Старый лев в белоснежной распахнутой у ворота рубашке,

развалившись в высоком дачном плетеном кресле, широко рассмеялся и начал: в Брюсселе Инесса Федоровна Арманд принесла ему этот слух, якобы полученный ею от кого-то из семьи Арманд, — Мария Александровна в юности была взята ко двору, но пробыла там недолго, скомпрометировав себя внезапно вспыхнувшим романом с кем-то из Великих Князей, за что ее отправили к отцу в Кокушкино и быстро-быстро выдали за Ульянова.

Инесса Федоровна не раз говорила с Поповым на эту тему и даже развивала ее. Но неизменно приходила к выводу: история маловероятная, похожа на сплетню, хотя — нет дыма без огня — что-то есть у Марии Александровны, какая-то тайна ее молодости.

Тут же Арманд плавно переходила к теме свободной любви, она ее всегда волновала...

Сию в 1991 году, обложившись книгами и документами, опубликованными и архивными, журналами, нашими и зарубежными, хочу поймать хвост тайны девицы Бланк, а ловлю какие-то другие “хвосты”. Ведь все не так давно было: первого марта 1887 года Россию всколыхнула весть о неудавшемся покушении членов партии “Народная воля” на императора Александра III. Среди террористов оказался сын Ульяновых Александр, студент-отличник Петербургского университета. По подозрению была взята и его родная сестра Анна Ульянова. Мария Александровна, мать Александра и Анны, бросается в Петербург. 28 марта она подает прошение на имя царя:

“Горе и отчаяние матери дают мне смелость прибегнуть к Вашему Величеству, как единственной защите и помощи. Милости, Государь, прошу! Пощады и милости для детей моих. Старший сын Александр, окончивший гимназию с золотой медалью, получил золотую медаль и в университете. Дочь моя Анна успешно училась на Петербургских Высших Женских Курсах. И вот, когда оставалось всего лишь месяца два до окончания ими полного курса учения, у меня вдруг не стало старшего сына и дочери. Оба они заключены по обвинению в прикосновении к злодейскому делу первого марта. Слов нет, чтобы описать весь ужас моего положения. Я видела дочь, говорила с нею. Я слишком хорошо знаю детей своих и из

личных свиданий с дочерью убедилась в полной ее невинности...

О Государь! Умоляю, пощадите детей моих. Возвратите мне детей моих. Если у сына моего случайно отуманился рассудок и чувство, если в его душу закрались преступные замыслы, Государь, я исправлю его: я вновь воскрешу в душе его те лучшие человеческие чувства и побуждения, которыми он так недавно еще жил. Милости, Государь, прошу, милости”.

Что можно извлечь из этого вопиющего материнского письма? Какое и чему подтверждение?

Есть ли хоть одно слово, выдающее желание напомнить о некоем прошлом, связывающем госпожу Ульянову и царя?

Ни одного.

Есть ли хоть намек на какое бы то ни было исключительное особое право?

Решительно нет.

Почему же царь так быстро отреагировал на письмо госпожи Ульяновой и все ей разрешил: свидание с сыном, возможность дать ему покаяться?

Это вопрос типичного советского человека, живущего в беззакониях и жестокостях нашего времени, а тогда были иные времена, свои жестокости и беззакония — но часто облеченные в благородные и возвышенные формы. Появление умного, страдающего каждым словом страстного письма русской дворянки, родившей шестерых детей, могло быть оставлено без внимания? Нет. Избежавший смертельной участи самодержец вполне мог демонстрировать великодушие перед матерью преступника и перед всем народом. Александру Ульянову была дана возможность покаяться, выжить. Почему он не воспользовался этой возможностью?

Более ста лет назад, в годы перестройки девятнадцатого века, Александр III на письме Марии Александровны Ульяновой начертал такую резолюцию: “Мне кажется желательным дать ей свиданье с сыном, чтобы она убедилась, что это за личность ее милейший сынок, и показать ей показания ее сына, чтобы она видела, каких он убеждений”.

Нет никаких оснований предполагать, что он когда-либо знал Марию Ульянову-Бланк и каким-то образом относится пристрастно к ее имени и просьбе.

Впрочем, трудно представить себе, чтобы умная Мария Александровна в официальном письме позволила себе вольность напоминания, а царь в официальном ответе снизошел до лирических воспоминаний.

Присутствовавший при последнем свидании матери с сыном молодой прокурор Князев писал, что отказавшийся показаться Александр Ульянов перед казнью сказал матери: "Представь себе, мама, двое стоят друг против друга на поединке. Один уже выстрелил в своего противника, другой еще нет, и тот, кто уже выстрелил, обращается к противнику с просьбой не пользоваться оружием. Нет, я не могу так поступить".

Вот тут в покушении Александра на Александра возникает некий акцент — Александр Ульянов видит в своем поступке не покушение на жизнь, а дуэль. Благородный, чуткий и честный Александр Ульянов видел в царе противника? Он хотел исполнить долг чести?..

Иван Федорович Попов говорил мне, и не раз (у него была привычка пожилых людей повторяться), что Инесса Арманд развивала тему так: после смерти отца, в 1886 году, Александр, разбирая бумаги покойного, наткнулся на документ, касающийся пребывания при императорском дворе девицы Марии Бланк — то ли пожалование материального характера на новорожденного, то ли письмо, раскрывающее тайну.

Александр поделился открытием с Анной, которой эта бумага лично касалась. И оба поклялись отомстить. Жажда мести привела их к народовольцам, чьи идеи совпали с их намерениями. Но Александр не хотел впутывать сестру и в решающий момент отстранил ее от задуманного акта. Против Анны улик не было, ее отпустили.

Инессе Арманд не было известно, знал ли обо всем этом Ленин. Она не считала возможным заговаривать с ним на эту тему. Так, во всяком случае, она говорила Попову.

Как бы то ни было, две беды безусловно перевернули в 80-х годах жизнь семьи Ульяновых: внезапная смерть отца, сделавшая детей сиротами, и казнь Александра, сделавшая детей революционерами.

Что же касается легенды...

Этот стог сена пока еще слишком велик, чтобы сразу найти в нем иголку.

Вернемся к Крупской, пришедшей проведать больного Владимира. Ее насквозь просветил взгляд Марии Александровны Ульяновой, дамы с черным кружевом вуалетки на седых до голубизны волосах. Она была похожа на маркизу Помпадур, и это сравнение — последний намек на ее странную тайну, которой, вполне вероятно, не существовало.

В 1894 году Мария Александровна была уже закаленной матерью революционеров. Она с первого взгляда на Крупскую поняла, кем может стать для сына эта сильная молодая женщина.

Не красавица? Тем лучше, меньше дури будет в голове. Сыну не придется отвлекаться на лишнюю ревность.

Из бедной семьи? Лучше бы, конечно, из богатой, но в бедности Надежды есть свое достоинство — легче будет переносить тяготы жизни.

Да, именно такую жену она может пожелать своему сыну, ибо жене надлежит скитаться по ссылкам за мужем-революционером...

Далеко не сразу соединили свои судьбы Надежда Крупская и Владимир Ульянов. Добрых четыре года порознь шла их совместная революционная работа. Соратники Ленина, люди молодые, холостые, взяли за правило, отправляясь в ссылку, обзаводиться фиктивной невестой, "назначенной" им партией. В сущности, сотрудницей по работе. Фиктивные невесты, как правило, становились реальными женами.

Ленин сделал выбор сам: Крупская сидела в тюрьме, там и получила от него письмо с признанием в любви и предложением стать женой. Это означало: ей нужно проситься в ссылку туда, куда сослали его. Что она и сделала. Получила разрешение ехать вместе с матерью.

Елизавета Васильевна была готова служить молодоженам и кухаркой, и прачкой, и горничной, лишь бы ее почти тридцатилетняя бесхозяйственная дочка, выйдя из тюрьмы (стыдно подумать — в тюрьму попала!), зажила замужней жизнью.

Пусть в ссылке. Пусть со ссыльным. Что делать — такое время и такие судьбы у русских людей.

Детки пойдут — Надя любит детей.

Добрая женщина благодарно полюбила будущего зятя, и он отвечал ей тем же, понимая, что уют, покой и порядок с Надеждой возможны лишь в присутствии Елизаветы Васильевны.

Был у Попова смутный рассказ, как сам он говорил, “сомнительный”, о некой казанской красавице Елене Лениной, якобы пообещавшей Ульянову поехать за ним в Сибирь, да передумавшей в последнюю минуту.

Были сплетни злопыхателей Крупской: мол, она взяла в руки зеленую лампу для создания в Шушенском семейного уюта и, можно сказать, поставила Ленина перед фактом своего появления. Но документы говорят обратное. В письме к матери от 10.12.1897 года Ленин пишет: “Я получил письмо от Глеба, что он подал прошение о приезде ко мне на праздники, на десять дней... Для меня это будет очень большое удовольствие. Из Теси пишут еще, что Зинаиде Павловне вышел приговор — 3 года северных губерний и что она перепрашивается в Минусинский округ. Так же намерена, кажется, поступить и Надежда Константиновна” (Глеб — это Кржижановский, Зинаида Павловна Невзорова — подруга Крупской. — Л.В.).

Похоже, все его надежды связаны с Надеждой. И есть тут у меня одно “подозрение”: Крупская в молодости с ее косой и добрым выражением лица вполне подходила под образ тургеневской девушки. А кто не знает, что Владимир Ильич в юные годы зачитывался Тургеневым и любимым романом его было “Дворянское гнездо”. Не казалась ли ему Надежда похожей на Лизу?

Через всю жизнь Ленина проходит вереница обожающих, поклоняющихся, служащих ему женщин — мать, жена, сестры, подруги жены и сестер, соратницы-революционерки, секретарши, служанки и домработницы. В его ответном отношении к ним всегда живет забота чисто революционного характера: он талантливо умеет направить женскую энергию на общее великое дело.

* * *

Невеста прибыла к жениху сквозь трудности, с задержками. Долго ехали они с матерью в Красноярск, потом парохо-

дом до Сорокино, оттуда до Минусинска. По проселочной дороге наконец добрались до Шушенского.

Сумерки.

Никто их не встречает. В доме крестьянина Зырянова, где живет жених, никто их не ждет. Владимир Ильич на охоте.

Вот те раз — на охоте!

Крупская распаковывает вещи, а они из ее рук падают.

Как же так, на охоте?! Не ждет?! Готова разреваться, обидеться, уехать, забыв, что ее избраннику, по ее же собственному решению, все на свете разрешено.

Шушенская ссылка (1898—1900) описана самой Крупской как счастливое время жизни. Власти заставили их повенчаться. Два убежденных атеиста пошли под венец, к явной радости Елизаветы Васильевны, — раз повенчаны, никуда он от нее не денется, значит, Бог благословил, что бы они там против Бога ни плели!

Советская ленинская иконография так причесала, так обмылила эту пару, что никаких закавык не найдешь, и от скуки скулы сводит, а между тем именно в Шушенском случилось то, о чем стеснялась и мечтать скромная Надя: в ней проснулась могучая, страстная женщина, и она хоть запоздало, но наслаждалась всем сразу: и природой, и любовью, и духовным общением со своим идолом, и тем, что среди многих ссыльных поселенцев она была самая молодая и привлекательная женщина, самая очаровательная, и не было ей конкуренток по всему Шушенскому. Какой там “синий чулок”!!!

Вот когда стала она настоящей красавицей — щеки горели, тоненькая фигурка и скромные, но петербургские, платья вызвали восторженные взгляды деревенских девушек. Косу длинную, пушистую она распускала из женского кокетства, чтобы все видели, какая она хорошая, какая прекрасная, какая молодая, хоть и тридцати лет...

Все, кто видел Крупскую в Шушенском, в один голос восхваляли ее прелести, а революционер Лепешинский вообще говорил, что от ее очарования у всех дух захватывало. В нее влюблялись.

В двадцати верстах от Шушенского жил и работал на сахарном заводе ссыльный революционер Виктор Константинович

Курнатовский. Ульяновы однажды выбрались к нему в гости. Октябрь. Замерзли реки. Выпал снег. Курнатовский работал тяжело, по двенадцати часов в сутки. Жизнь за спиной была нелегкая — тюрьмы, ссылки.

Крупская увидела его, сердце ее сжалось и не разжималось, пока не вернулась в Шушенское. Красоты Курнатовский был необычайной, а увидев Надежду, он, живший в одиночестве, тоже разволновался.

О, что случилось с обычно скромной молчаливой Крупской! Она поразила Курнатовского энциклопедичностью, а также остроумием суждений. Виктор Курнатовский водил молодых по сахарному заводу, и душа его пела. Ее душа рядом пела тоже. По-новому увидел муж свою скромную Надежду.

Взревновал? Маловероятно. Принципы профессиональных революционеров не допускали “обывательщины”. Крупская писала: “Мы ведь молодожены были — и скрашивало это ссылку. То, что я не пишу об этом в воспоминаниях, вовсе не значит, что не было в нашей жизни ни поэзии, ни молодой страсти. Мещанства мы терпеть не могли, и обывательщины не было в нашей жизни. Мы встретились с Ильичем уже как сложившиеся революционные марксисты — это наложило печать на нашу совместную жизнь и работу”.

Продираясь сквозь официоз этих слов, я все же думаю, что Курнатовский на всю жизнь остался ее маленькой тайной, пусть даже известной Ленину, но ее личной собственностью, как воспоминание.

“Вы, Надюша, по отчеству Константиновна, и я Константинович! — говорил ей в тот день Курнатовский, как бы оправдывая свою влюбленность. — Можно подумать, что мы брат и сестра”.

И она улыбалась ему и запоминала всякие несущественные мелочи, отдельные его фразы, вроде бы незначительные. Так почему-то запомнила и во всех воспоминаниях потом рассказывала, как шли они с Курнатовским мимо сахарного завода, где он служил, а навстречу — две девочки, одна постарше, другая маленькая. Старшая несет пустое ведро, младшая — со свеклой.

“Как не стыдно, большая заставляет нести маленькую”, —

сказал старшей девочке Курнатовский. Та только недоуменно на него посмотрела.

* * *

Описывая подробности своего быта в ссылке, Крупская простодушно выкладывала такое, из чего можно сделать любые выводы:

“Дешевизна в этом Шушенском была поразительная. Например, Владимир Ильич за свое жалование — восьмирублевое пособие — имел чистую комнату, кормежку, стирку и чинку белья...”

Значит, до ее приезда его обслуживала оплаченная прислуга? А как насчет эксплуатации? Или ему можно то, чего он другим не позволяет?

“Правда, обед и ужин был простоват — одну неделю для Владимира Ильича убивали барана, которым кормили его изо дня в день, пока не съест; покупали на неделю мяса, работница во дворе в корыте, где корм скоту заготавливали, рубила купленное мясо на котлеты для Владимира Ильича, тоже на целую неделю. Но молока и шанег было вдоволь”.

И кому, подумает иной читатель, мешал этот царский режим, если самых что ни на есть злостных революционеров в ссылке, как на убой, откармливали? Где они теперь, те бараны?

С приездом Крупской, а особенно Елизаветы Васильевны, жизнь Ленина еще улучшилась.

Надежда Константиновна рассказывает: “Зажили семейно. Летом никого нельзя было найти в помощь по хозяйству”.

С нашей сегодняшней колокольни, кого бы и искать в присутствии двух здоровых женщин? Но у каждого времени свой фасон.

“Мы с мамой воевали с русской печкой. Вначале случалось, что я опрокидывала ухватом суп с клецками, которые рассыпались по исподу. В октябре появилась помощница, тринадцатилетняя Паша, худущая, с острыми локтями, живо прибравшая к рукам все хозяйство”.

Вот так и было: две здоровенные тетки не справились, а тринадцатилетний подросток осилил. И никому из пламенных революционеров не пришло в голову, что в лице Паши они

использовали наемный детский труд, против чего восставали, когда дело касалось не их самих.

В Шушенском революционное развитие шло попеременно с мечтами о будущем: “По вечерам мы с Ильичем никак не могли заснуть, мечтали о мощных рабочих демонстрациях, в которых мы когда-нибудь примем участие”.

Порой в воспоминаниях Крупской о Шушенской ссылке, мелькают совершенно новые, жесткие, прежде не свойственные ей ноты. В Минусинском уезде было много ссыльных — старых народовольцев и новых социал-демократов. Народовольцев называли “стариками”. Один из новых убежал. “Старики”, узнав о его побеге из ссылки, рассердились, что их не предупредили: могли быть обыски, а они “не почистились”, то есть не припрятали кое-что нелегальное из литературы.

Муж сказал Надежде Константиновне: “Нет хуже этих ссыльных историй, они страшно затягивают, у “стариков” нервы больные, ведь чего только они не пережили, каторгу перенесли. Но нельзя давать засасывать себя таким историям — вся работа впереди — нельзя себя растрчивать на эти истории”.

Сама по себе Крупская растратилась бы и не заметила даже, что растратилась. Но, постепенно становясь отражением Ленина, она училась быть во всем согласной с ним. Пишет: “Владимир Ильич настаивал на разрыве со “стариками”. Помню собрание, на котором произошел разрыв. Решение о разрыве было принято раньше, надо было провести его по возможности безболезненно. Рвали потому, что надо было порвать, но рвали без злобы, с сожалением. Так потом и жили врозь”.

Прежняя Надя понимает, что это жестоко. Речь ведь идет всего лишь о простом общении в ссылке. О добрых отношениях со старыми людьми. О внимании к ним. В условиях ссылки, где люди живы вниманием и поддержкой, такой разрыв был смертелен для “стариков”.

Новая Надежда Константиновна из добродушной женщины, рядом со своим героем, постепенно превращается в жесткого солдата революции. И вместе с этим превращением постепенно происходит другое, как бы приводя в соответствие форму и содержание: угасает мимолетная красота Надежды. Этому сильно способствует начинающаяся базедова болезнь, которая наложит отпечаток на всю жизнь Крупской, но с вы-

бранного пути ее не свернет — напротив, как бы исключит для нее все отвлекающие от главного дела радости и увлечения жизни, способные подстеречь тургеневскую девушку Надежду на ее революционном пути.

СОЗИДАТЕЛЬНИЦЫ РАЗРУШЕНИЯ

Окидывая мысленным взором двадцатый век и подступы к нему, видишь немало фигур, вроде бы определивших поступь этого столетия: президенты и ученые, писатели и всех видов воздухоплаватели. Но они — всего лишь следствия. А кто причины?

Пусть немногие согласятся со мной. Пусть рискую я быть осмеянной — все же скажу: ищите женщину! Если вы не увидите во всех подвигах и подлостях человечества, где-то на грани сумрака и света, на границе чувства и ума, на перекрестке добра и зла женской тени, то вы не увидите и не поймете ничего о себе и своем времени.

Две женщины — каждая по-своему скромная, — стоя у изголовья новорожденного века, собственными руками подарили нам его таким, какой он сегодня есть, две славянки — Мария Владиславовна Склодовская и Надежда Константиновна Крупская.

Своими нежными ручками они выпустили из бутылок джиннов, которых вычислили их мужья. Не будь обе столь старательны, самозабвенны и преданны делу своих мужчин, история развилась бы иначе.

По воле судьбы? По таинственному ли знаку Космоса обе родились в России? Польша — место рождения Склодовской — еще входила в состав Российской империи.

Знаменательно сопоставление некоторых подробностей их биографий:

1867 — родилась Мария Склодовская.

1869 — родилась Надежда Крупская.

1883 — Склодовская окончила гимназию с золотой медалью.

1886 — Крупская окончила гимназию с золотой медалью.

1885—1901 — Склодовская обучала деревенских детей грамоте.

1891—1896 — Крупская обучала рабочих в вечерней воскресной школе.

1895 — Склодовская вышла замуж за Пьера Кюри.

1898 — Крупская вышла замуж за Владимира Ульянова-Ленина.

1897—1906 — Склодовская вместе с Кюри совершила открытия века: радиоактивность урана, новые минералы — полоний и радий. Путь к использованию энергии атома был открыт.

1903—1917 — Крупская вместе с Лениным создала и развивала новацию века: партию большевиков, чья политическая активность повернула русскую революцию по ленинскому пути.

1906—1931 — пик пройден. Склодовская после смерти мужа продолжала работу в благоприятных европейских условиях.

1924—1939 — пик пройден. Крупская продолжала свою работу в неблагоприятных сталинских условиях.

1934 — кончина Марии Склодовской.

1939 — кончина Надежды Крупской.

О чем говорят эти факты? Обе — современницы, обе — великие созидательницы, сотворившие силы разрушения. Вот картины их труда.

Говорит Склодовская, которая четыре года варила радиоактивную кашу, создавая свое чудовище Франкенштейна:

“Мы с головой ушли в новую область, которая раскрылась перед нами благодаря неожиданному открытию. Несмотря на трудные условия работы, мы были счастливы. Все дни мы проводили в лаборатории. В жалком сарае царил полный мир и тишина: бывало, что приходилось только следить за ходом той или другой операции... В нашем общем, едином увлечении мы жили как во сне.

В этом дрянном старом сарае протекли лучшие и счастливейшие годы жизни, всецело посвященные работе. Нередко я готовила какую-нибудь пищу тут же, чтобы не прерывать ход особо важной операции. Иногда весь день я перемешивала кипящую массу железным шкворнем длиной почти в мой рост. Вечером я валилась от усталости...

Мне приходилось обрабатывать в день до двадцати килограммов первичного материала — и в результате весь сарай был заставлен большими химическими сосудами с осадками и растворами; изнурительный труд — переносить мешки, сосуды, переливать растворы из одного сосуда в другой, по несколько часов подряд мешать кипящую жидкость в чугунном тазу...”

Дочь Скловской Ева дополняет этот рассказ своими подробностями:

“Мари обрабатывает килограмм за килограммом тонны урановой руды. Со страшным упорством в течение четырех лет она ежедневно перевоплощалась по очереди в ученого, квалифицированного работника, инженера и чернорабочего. Благодаря ее мозгу и энергии все более и более концентрированные продукты с большим и большим содержанием радия появлялись на ветхих столах сарая. В жалком, продуваемом со всех сторон сарае носится пыль с частицами железа и угля, которые примешиваются к старательно очищенным продуктам обработки, что приводит Мари в отчаянье... Пьеру так надоела эта бесконечная борьба, что он готов отказаться от нее. Он советует Мари сделать передышку. Но Пьер не учел характера своей жены. Мари хочет выделить радий и выделит...”

В 1902 году, спустя сорок месяцев с того дня, когда супруги Кюри заявили о вероятном существовании радия, Мария наконец одерживает победу.

Благодаря ее великим, бескорыстным и благородным стараниям мы имели Хиросиму, Нагасаки, Семипалатинск, Неваду и Чернобыль. Во всей красе.

Думала ли эта упрямая славянка, чем обернется для человечества ее одержимость? Сначала и думать не могла, пока не увидела, по каким рукам пошло ее открытие.

Стоило ли так стараться и умереть от лейкоза?

В то же самое время другая пара в Европе, попав из Шушенского в эмиграцию, и даже отчасти в том же Париже, где супруги Кюри выделяли радий, не зная отдыха, создает механизм, машину огромной разрушительно-созидательной силы, способной управлять человечеством. Творит с самыми лучшими, как и Кюри, намерениями: во имя торжества человека, его будущего...

Говорит Крупская: “Ночи не спал Ильич, после каждого

письма из России... Остались и у меня в памяти эти бессонные ночи, Владимир Ильич страстно мечтал о создании единой, сплоченной партии, в которой растворились бы все обособленные кружки со своими основывавшимися на личных симпатиях и антипатиях отношениями к партии, в которой не было бы никаких искусственных перегородок, в том числе и национальных...”

Удивительно близки процессы мертвой и мыслительной природы, лишь перевернуты: в первом случае из огромной массы выделяется малое, но ценное, во-втором — из малого создается огромное, но тоже ценное.

Годами, без сна и отдыха, Крупская, плохая домашняя хозяйка, замечательно работает на политической кухне: шаг за шагом, крупица за крупицей помогая Ленину собирать партию, трудится на износ.

Съезды сменяются конференциями, конференции — съездами. Она участвует в их организации во всех ипостасях: от механической работы до ораторской на трибунах, пишет свои собственные брошюры и книги, переписывает ленинские, секретарствует в ЦК РСДРП, делегатствует на самых важных собраниях, организует партийную школу в Лонжюмо, пишет статьи по вопросам педагогики, учит жить женщин — левых социалисток, в войну работает в комитете заграничных организаций среди пленных, разрабатывает проекты, составляет программы, участвует в выработках резолюций, заведует культурно-просветительной работой, сотрудничает в “Искре”, “Пролетарие”, “Рабочей газете”, “Правде”. Она многожительная. Не жалуется на усталость. Забывает себя в работе. Но никогда не забывает переживать Его усталость: “С самого начала съезда нервы Ильича были напряжены до крайности. Бельгийская работница, у которой мы поселились в Брюсселе, очень огорчалась, что Владимир Ильич не ест той чудесной редиски и голландского сыру, которые она подавала ему по утрам, а ему было и тогда уже не до еды. В Лондоне же он дошел до точки, совершенно перестал спать, волновался ужасно”.

Он ценит жену и соратницу: “Ильич лестно отзывался о моих обследовательских способностях... я стала его усердным репортером. Обычно, когда мы жили в России, я могла много свободнее передвигаться, чем Владимир Ильич, говорить с го-

раздо большим количеством людей. По двум-трем поставленным им вопросам я уже знала, что ему хочется знать, и глядела вовсю”, — писала Крупская спустя много лет после смерти Ленина, из скромности приоткрывая лишь часть своего самоотверженного служения всепожирающей идее, выраженной в Его лице.

“Она стояла в центре всей организационной работы, принимала приезжавших товарищей, наставляла и отпускала отъезжавших, устанавливала связи, давала явки, писала письма, зашифровывала, расшифровывала. В ее комнате почти всегда стоял запах жженой бумаги от нагревания конспиративных писем”, — вспоминает Крупскую Троцкий в книге “Моя жизнь”.

Оглядываясь на минувший век, приходится признать, что без Крупской Ленин никогда не добился бы всех своих ошеломляющих успехов: взяв ВЛАСТЬ и не имея налаженной машины, он выпустил бы ее из рук.

Работа с человеческой рудой шла дольше и труднее, чем с радиоактивной. Но в обоих случаях уверенность в победе ученых и революционеров совпадала.

Крупская свидетельствовала: “У Владимира Ильича была глубочайшая вера в классовый инстинкт пролетариата, в его творческие силы, в его историческую миссию... Это была не слепая вера в неведомую силу, это была глубокая уверенность в силе пролетариата, в его громадной роли в деле освобождения трудящихся, уверенность, покоившаяся на глубоком знании дела, на добросовестнейшем изучении действительности”.

Думала ли скромная учительница, какой кабалой может обернуться “дело освобождения трудящихся”?

В обоих случаях двадцатое столетие получило два отлично подготовленных подарка: РАДИЙ и РЕВОЛЮЦИЮ.

В обоих случаях за спинами глобально мыслящих мужчин стояли невероятно трудолюбивые женщины.

Древнейшая коллизия мира: мужчина дает идею, женщина вышивает рисунок по его схеме, не имея своей.

В обоих случаях сегодня человечество еще не определилось: благодарить ли за подарки две выдающиеся семейные пары столетия или проклинать их.

В обоих случаях вряд ли определится человечество, ибо случилось лишь то, что должно было случиться.

В сравнении Скловской и Крупской, даже внешне отдаленно похожих, ощутим один и тот же масштаб разных личностей, определение которого вычерчивает фигуры огромной величины, независимо от конечного результата их работы и от симпатий или антипатий тех, кто смотрит на них, пытаясь разобраться, что же они такое.

ЛЮБОВНИЦА ЛЕНИНА?

— А что я знаю! — сказала мне подружка Аленка, оглядываясь по сторонам в маленькой комнатке, где, кроме ее и меня, никого не было. — Никому не скажешь?

— Клянусь!

— Честное пионерское? Под салютом всех вождей?

— Да!

— У Ленина есть любовница!

— Его самого давно нет.

— Ну, была, когда был.

— Врешь!

— Нет. Моя няня Настя дружит с Катькой. Она домработница у дочки любовницы Ленина. У нее еще до Ленина был муж. И много-много детей. Чуть не десять штук. Она их бросила и убежала с Лениным делать революцию.

— А Крупская как же?

— Не знаю...

Этот дурацкий разговор происходил в конце сороковых. Мы не были атомными детьми. Не знали про телевизор и плюрализм. Зато отлично знали, что в Америке голодают черные ребятишки, что за счастливое детство, какое бы оно ни было, нужно говорить спасибо товарищу Сталину и что дедушка Ленин, хоть и умер, но вечно живой и каждый день завещает нам учиться, учиться и еще раз учиться. Коротенькое “еще раз”, мало понятное мне, делало всю фразу не слишком серьезной и смешило — как так — “еще раз”?

Если с именем Сталина всегда было связано нечто грозно-грандиозное, то с именем дедушки Ленина ничего особенно не связывалось. Он жил в нашем представлении как бы в двух лицах: хорошенький мальчик — белая статуя с кудрями — одна рука оперлась на тумбу, другая на ремне брюк; и лысенький с небольшой бородкой и прищуренными глазами — симпатичный старичок.

У него была любовница? А как же Крупская?

Она представлялась всегда одинаково скучной, седой, серо-синей глыбой, с вытаращенными глазами в очках.

Какая любовница, они были такие старые!

Лет через пять, совершенно забыв о сенсации Аленки, в подмосковной электричке, идущей из Пушкино, я услышала обрывок тихого разговора двух пожилых женщин:

— Арманд строил, потому и стоит. Были бы они сегодня, другая бы жизнь была.

— Какой человек! Инесса пятерых ему оставила. Всех воспитал.

— Стеша детей подняла. Ему ее Бог послал.

Они перешли на шепот, а в моей голове отпечатались два знакомых слова: Арманд, Инесса.

Инесса Арманд — соратница Ленина и Крупской.

Забыла и об этом разговоре. Советская средняя школа делала все, чтобы жизнь Ленина не вызвала к себе никакого любопытства. Общество должно было принять на веру мысль об идеальном Ильиче и не слишком задумываться над его жизнью.

Наконец летом 1953 года, на даче Ивана Федоровича Попова, в первые же дни моей жизни там, сидя за обедом рядом с бойким молодым режиссером, приехавшим к Попову по каким-то делам, я вдруг замерла от вопроса режиссера, обращенного к Попову:

— Иван Федорович, это правда, что вы были близко знакомы с Инессой Арманд?

Попов быстро переглянулся с женой.

— В какой-то степени. Нас обоих сослали в Мезень. Потом вместе работали за границей в Интернационале...

— Напишем сценарий "Любовь Ленина"?

Лицо Попова напряглось.

— В каком смысле — любовь?

— В прямом. Вы же сами все понимаете. Покажем, как люди преодолевали чувства ради революционного долга.

Лицо Попова смягчилось:

— Не помню, чтобы чувства кто-то преодолевал ради революционного долга. О какой любви вы говорите? Не знаю.

Режиссер уехал несолоно хлебавши. Между Поповыми разгорелся скандал:

— Откуда ты взяла этого провокатора? Зачем привезла его?

— Но, Жан, он пристал как банный лист. Он был такой милый. Я не могла отказать. Я не так воспитана. Ну, ничего, ты ведь его отшил.

Люди из поколения Попова — конспираторы. Они прошли школу жандармской слежки, ленинской подозрительности, сталинской нетерпимости. Школу большевистской опасливости и множества фигур умолчания.

В тот же вечер я связала одной ниткой рассказ Аленки о любовнице Ленина, разговор двух женщин в электричке и вопросы режиссера. Нужно спросить Ивана Федоровича про Инессу Арманд.

Как красиво звучит имя: Инесса Арманд! Загадочно! Привлекательно! Одновременно возникает нечто и воздушное и величественное.

За первым же нашим с Иваном Федоровичем “тайным” обедом он сказал:

— Инессу я знал более, чем кого бы то ни было из революционеров.

— Правда, она была любовницей Ленина?

Иван Федорович ничего не ответил. А в конце обеда назидательно, что редко делал, сказал:

— Запомни, жизнь значительно сложнее, чем может показаться, а слово — страшная сила. Неточное слово — смерть для писателя. И вообще, для человека. Опасно употреблять неточные слова. Инессу Арманд никак нельзя назвать любовницей Ленина. Это все гораздо, гораздо сложнее.

* * *

Попробую воспользоваться описанием Инессы Арманд, сделанным ее биографом, Павлом Подляшукон: “Длинные косы уложены в пышную прическу, открыты маленькие уши, чистый лоб, резко очерченный рот и зеленоватые, удивительные глаза: лучистые, внимательно-печальные, пристально глядящие вдаль”.

Трудно представить.

Фотографии? Разочаровывают. На фотографиях она кажется мне похожей на хищную птицу — клювообразный нос, летящий профиль. В застылости фотоснимка лицо скорее отпугивающее, чем притягивающее к себе. Но, видимо, это лицо в движении, в разговоре, в улыбке, в сиянии глаз было неповторимо, неуволимо прекрасно, иначе не сходились бы в единодушном мнении все люди, хоть раз видевшие Инессу Арманд:

“Она была необыкновенно хороша”.

“Это было какое-то чудо! Ее обаяния никто не выдерживал”.

“Она своим очарованием, естественностью, манерой общаться выжигала пространство вокруг себя. Все переставало существовать, когда появлялась Инесса, начинала говорить, улыбаться. Даже хмуриться”.

Пятнадцати лет от роду две девочки, осиротевшие дочери французских актеров Натали Вильд и Теодора Стефана, приехали в Россию к своей тете, которая давала уроки музыки и французского языка в богатой русской купеческой семье.

Еще и сегодня в подмосковных Пушкино, Ельдигино, Алешино помнят хозяев торгового дома “Евгений Арманд с сыновьями”. Глава клана Евгений Евгеньевич Арманд был владельцем лесов, поместий, доходных домов в Москве, шерсто-ткацкой и красильно-отделочной фабрики в Пушкине на двадцать восьмой версте от Москвы. Братья, сыновья и племянники Евгения Арманда вели коммерческие дела в России и за границей. Были Арманды обрусевшие французы, что, возможно, объясняет их особое пристрастие к двум девочкам, Инессе и Рене Стефан, появившимся в семье вместе с их тетушкой-гувернанткой.

Эти девочки, прямо из Парижа, такие хорошенькие, умненькие, изящные, прекрасные музыкантши, как диковинные птички влетели в семью Армандов, где их словно ждали юноши, готовые полюбить со всей страстью романтических сердец: трое сыновей Евгения Евгеньевича Арманда — Александр, Владимир, Борис. Разумеется, такие девочки, по законам тогдашней русской жизни, не годились в невесты братьям Арманд. Но, во-первых, братья были юношами очень прогрессивными, все их мысли, а позднее и поступки направлялись не на укрепление основ торгового дома “Евгений Арманд с сыновьями”, а

на расшатывание основ — особенно ярко выразили это всей своей жизнью Владимир и Александр; во-вторых, и, по-моему, в главных, французское происхождение девочек Стефан явилось тем самым первоначальным очаровывающим фактором, устоять против которого не было никакой возможности.

Россия всегда смотрела на все иностранное как на чудесное. Быть может, виной тому — железный занавес на окне, прорубленном в Европу Петром Первым? Во времена моей молодости, в 50—60-х годах XX века, для юноши из преуспевающей, скажем, московской писательской семьи было великим успехом и престижем жениться на молодой иностранке, работающей нянькой в аккредитованной в СССР посольской семье. Это давало запасные связи и открывало такому юноше тропинку на Запад или даже широкую дорогу, если юноша обладал каким-либо дарованием в области искусств общедоступного характера: балете, музыке, кино, живописи.

В дни же юности братьев Арманд, не нуждающихся в невестах “на выезд”, образ юной француженки как бы намекал на искру от пламени Великой французской революции. Эдакая Марианна с баррикады. Инесса вполне могла напомнить ее.

Инесса вышла замуж за Александра Арманда, Рене — за Бориса.

Для того чтобы в какой-то степени понять обрусевшую и революционизированную Инессу, следует обратиться, мне кажется, к великой русской художественной литературе, во многом сформировавшей мировоззрение молодежи конца XIX — начала XX века. Инесса и сама признается, что на ее образ мысли наложили отпечаток взгляды Льва Толстого. Она пишет: “Некоторые его фразы и характеристики как-то запечатлеваются на всю жизнь, иногда даже дают ей направление. Например, в “Войне и мире” есть одна фраза, которую я прочитала, когда мне было 15 лет, и которая имела огромное влияние на меня. Он там говорит, что Наташа, выйдя замуж, стала самкой. Я помню, эта фраза показалась мне обидной, ужасно обидной, она была по мне, как хлыстом, и она выковала во мне твердое решение никогда не стать самкой — а остаться человеком”.

Заглянем в “Войну и мир”: “Она пополнела и поширела, так что трудно было узнать в этой сильной матери прежнюю

тонкую, подвижную Наташу. Черты лица ее определились и имели выражение спокойной мягкости и ясности. В ее лице не было, как прежде, этого непрестанно горевшего огня оживления, составлявшего ее прелесть. Теперь часто видно было одно ее лицо и тело, а души вовсе не было видно. Видна была одна сильная, красивая и плодовитая самка. Очень редко зажигался в ней теперь прежний огонь. Это бывало только тогда, когда, как теперь, возвращался муж, когда выздоравливал ребенок или когда она с графиней вспоминала о князе Андрее (с мужем она, предполагая, что он ревнует ее к памяти князя Андрея, никогда не говорила о нем) и, очень редко, когда что-нибудь случайно вовлекало ее в пение, которое она совершенно оставила после замужества. И в те редкие минуты, когда прежний огонь зажигался в ее разившемся красивом теле, она бывала еще более привлекательна, чем прежде”.

Что же тут, скажите, плохого написано про Наташу Ростову? И почему же такая ее трансформация, столь типичная для женщины, возмущала в юности прелестную француженку, которая тем не менее, войдя в возраст, повторила судьбу Наташи: вышла замуж, была некоторое время счастлива в браке, нарожала деток: Александра, Федора, Инессу, Варвару. Разве же это не одна из главных миссий любой женщины: дать жизнь? Что тут обидного?

Во времена молодости Инессы пробудившееся женское общественное сознание жаждало активной деятельности. Женщина бежала не в дом, к очагу — а из дому. Это было поветрие. Знамение времени. Закономерность тогдашнего бытия. И это сыграло свою роль в формировании того типа женщины-мутанта, который прошел позднее со своими нерешенными проблемами через весь двадцатый век, неся знамена мужской борьбы как свои собственные.

Лишь сегодня, возможно, наступает пора отрезвления.

Наступает ли?

Инесса, не принимая женского образа Толстого, всем сердцем приняла, однако, другой женский образ, который не одной Инессе вошел в сердце. Он натворил в жизнях русских людей немало чудес: Вера Павловна Лопухова-Кирсанова, из романа Н.Г.Чернышевского “Что делать?”

Это она, литературный прототип Ольги Сократовны, жены

Чернышевского, сумела, как никто, повлиять на любовные треугольники реальной жизни: одна женщина и двое любящих ее мужчин.

И все трое счастливы?

Двое мужчин любят тебя одну и готовы ради тебя на всяческие подвиги. Какой женщине не понравится такая ситуация?

Счастливая и благополучная жена Александра Арманда, старшего среди братьев, могла далеко не глядеть в поисках третьего угла треугольника, она его и не искала: брат ее мужа, Владимир Арманд, в своих революционных воззрениях пошедший дальше старшего брата, исповедовавший социал-демократию, оказался очень близок Инессе и по взглядам, и по чувствам. Они полюбили друг друга. Благородный Александр Арманд отпустил любимую жену с четырьмя детьми, и она поселилась с новым мужем на Остоженке в Москве для новой, прекрасной, счастливой жизни. Пятый ребенок Инессы — Андрей — был сыном Владимира Арманда.

Владимир, попав под революционное влияние Инессы, безоговорочно принял ее взгляды и пошел за нею, куда она повела его. Путь привел в тюрьму, ссылку, эмиграцию. Схема Чернышевского срабатывала полностью. Бывший муж, Александр Арманд, продолжал любить Инессу, помогал как мог: выкупал ее из тюрьмы, взял всех детей, когда она пошла по тюрьмам и ссылкам, выполнял все ее желания. Новый муж, Владимир, идя за женой в ссылку, терпел лишения, тоже выполнял все ее желания.

А она? Была ли счастлива женщина, построившая свой треугольник самым благоприятным для себя образом?

Осенью 1908 года Инесса пишет из мезеньской ссылки своим друзьям Аскнази: "Разлад между интересами личными или семейными и интересами общественными является для современного интеллигента самой тяжелой проблемой, так как сплошь да рядом приходится жертвовать либо тем, либо другим, да и кто из нас не стоит перед этой тяжелой дилеммой? И как ни решишь, одинаково тяжело".

Через несколько дней после того, как было написано это письмо, Инесса бежит из мезеньской ссылки, некоторое время проводит в Москве, встречается с детьми, находящимися на

попечении Александра Арманда, и нелегально, через Финляндию, бежит за границу, где ее должен ждать заранее уехавший Владимир Арманд. Оттуда она пишет другое письмо тем же Аскнази: "Я, конечно, не подозревала, что ему так худо, и думала, что предстоит лишь небольшая операция — вскрытие нарыва... через две недели после моего приезда он умер. Для меня его смерть — непоправимая потеря, так как с ним было связано все мое личное счастье, а без личного счастья человеку прожить очень трудно".

Но в этом же письме она сообщает о своих намерениях, касающихся совсем иного счастья: "...переехала в Париж — хочу попытаться здесь позаниматься. Хочу познакомиться с французской социалистической партией. Если я сумею, смогу все это сделать, то наберу хоть немного опыта и знаний для будущей работы".

Революционерка Инесса, один раз встав на путь, с пути не сворачивает.

* * *

Где эта прелестная моложавая вдова, медленно приходящая в себя от потери, познакомилась с Лениным? — интересуются все исследователи. — В парижском кафе среди социал-демократов или в эмигрантской дешевой столовке? В русской библиотеке на улице Гобелен или в партийной типографии на улице д'Орлеан? В Брюсселе, где наконец поселилась Инесса, а Ленин приезжал для участия в сессии Международного социалистического бюро?

Известно, что знакомство состоялось в 1909 году.

* * *

— Иван Федорович, — выбираю я удачный момент, — у Инессы был роман с Лениным?

— Роман — Арманд, рифма, — закатывает Попов к потолку свои красивые карие глаза. — Вокруг нее всегда царила атмосфера красоты, поэзии, влюбленности.

— Так был у Инессы роман с Лениным?

Попов следит бархатными глазами, как большой мохнатый

паук движется по своей невидимой нити между потолком и абажуром:

— Ты боишься пауков?

— Нет.

— Надо его смахнуть. Поди принеси щетку.

Он начинает рассказывать: в Мезени Инесса жила со вторым своим мужем Владимиром, что называется, душа в душу, и все вокруг любовались их отношениями. Но все тем не менее были влюблены в нее. Она давала уроки французского ему, молодому Попову, и кокетничала с ним напропалую, но в ее кокетстве всегда просматривалась граница, за которую нельзя было переступать. Кокетство ради кокетства — чисто французская черта.

— Вы были влюблены в нее?

— Разумеется. Невозможно не влюбиться.

— Как она относилась к вам?

— Замечательно. Дала мне рекомендацию к Ленину, когда я приехал в эмиграцию, бежав из ссылки. В эмиграции мы с ней особенно сблизились. Работали в Интернационале...

— Что значит особенно сблизились?

Попов слегка щурится, улыбается:

— Как революционеры.

* * *

— Иван Федорович, Инесса когда-нибудь говорила о своем любовном треугольнике в семье Арманд?

— Да. Считала, что смерть Владимира — Божья кара.

— Она? Марксистка?

— Тем не менее. Однажды мы говорили о любви. Инесса Федоровна уверяла, что физическое влечение часто не связано с сердечной любовью.

— А вы ей возражали?

— Нет. Она сказала, — это было в двадцатом году, — что в ее жизни только раз эти два чувства совпали: по отношению к Владимиру Арманду. И я был не один при этом разговоре. Человек пять нас было.

— Все-таки был у Инессы роман с Лениным?

— У Инессы Федоровны? Упаси Бог! Она любила его как своего Учителя. Мало кто знает, что с книги Ленина “Развитие капитализма в России” — Инесса Федоровна прочла ее еще живя у Армандов в имении — началось ее революционное созревание. Она поверила Ленину как никому. Пошла за ним. Сначала заочно. Потом рядом.

— Но это могло лишь способствовать роману.

— Слушай, ты мне надоела, — говорит Попов. — Не было у нее романа с Лениным.

* * *

Из “записной книжки” Ивана Федоровича Попова

— Учти, — сказал мне Попов, — я безгранично любил его. Весь день двадцать пятого января четырнадцатого года я провел с ним в Брюсселе. Он приехал из Парижа. И попросил прилечь, отдохнуть. Я принес ему плед, укрыл. Он уснул мгновенно. А я сидел в соседней комнате и думал, что, если понадобится мне умереть за него, я с радостью умру. Так-то вот. Тогда у меня был полный любовный крах — дочь моей квартирной хозяйки Жанна, по которой я помирал, собралась замуж за другого. Приличного, добропорядочного бельгийца. Тогда я не понимал, как это она предпочла меня кому-то. Меня! Жалкого эмигранта, политического ссыльного! А ведь правда я, дурак, думал, — меня можно любить просто так. Ни за что. И Ленин в этот день сразу почувствовал — у меня неприятности:

— Вы что-то немножко не тот стали? Вы чем-то расстроены? Где причина?

— Никакой причины нет.

— Если верно, что не знаете причины, тем хуже. Всегда нужно найти причину. И быстро ее устранить. Да вы и сами это знаете, но что-то скрываете и хитрите.

Мне не хотелось рассказывать ему о своих любовных неприятностях. И я замаял разговор.

Лишь накануне его отъезда он вдруг спросил меня:

— Почему я в этот приезд ни разу не встречал дочь мадам Артц? Где Жанна? Уехала куда-нибудь?

— Разве я сторож Жанны, Владимир Ильич? Да и не будем об этом говорить. Это не стоит вашего внимания.

В дверях квартиры мы неожиданно столкнулись с хозяйкой и Жанной. Обе провожали гостя. Когда поднялись наверх в мою комнату, я сказал: “Ну вот вы и встретили Жанну. Это был ее жених, она выходит замуж”.

Я стал искать спички, чтобы зажечь газовую лампочку, и у меня вырвалось:

— Как бы я хотел убежать отсюда, чтобы ничего не видеть, не слышать!

Владимир Ильич никак на это не отозвался. Раскрыв чемодан, он сказал:

— Не опоздать бы к поезду. Вы спуститесь-ка, расплатитесь за меня с хозяйкой, а я чай приготовлю. И не поднимайтесь, а я погашу газ, закрою комнату, и мы сойдемся вниз.

Я проводил его на вокзал, посадил в поезд, вернулся, войдя в комнату и зажегши свет, увидел посреди стола записку. На записке деньги.

“Вам надо уехать отсюда, — писал Ленин. Слово “надо” было дважды подчеркнуто. — Поезжайте немедленно к семье Инессы Арманд, они уехали на западное побережье в Сан-Жан-де-Мон. Рассейтесь там, отдохните. Я телеграфирую о вашем приезде. Зная, что у вас, как всегда, нет денег, оставляю вам двести франков”.

А за подписью еще приписка, почерком помельче — на бумаге оставалось мало места: “И советую вам утопить ваши неприятности в океане”.

— И вы поехали?

— Поехал.

— Утопили неприятности?

— Утопил. Мы с Инессой занялись работой.

— Так все-таки был у Ленина роман с Инессой?

— А, вот это другой вопрос.

— Почему другой?

— Раньше ты спрашивала, был ли у Инессы роман с Лениным.

— И вы сказали: ни в коем случае. А у Ленина с Инессой, значит, был?

— Конечно был.

— Настоящий роман? Расскажите. А как же Крупская?

— У нее тоже был своего рода роман с Инессой. Если это так можно назвать. Они обе, и Надежда Константиновна, и Елизавета Васильевна, с первой минуты знакомства окружили Инессу своим вниманием. У каждой были с Инессой свои отношения. Елизавета Васильевна проводила с Инессой часы за разговорами.

— Что их связывало?

— Представь, многое. Обе, в отличие от Надежды Константиновны, были отчасти барыни. Этого хватало для общих тем. Умная Елизавета Васильевна видела, что в Инессу нельзя не влюбиться, ну и по-своему, через дружбу с соперницей, оберегала свою Надю. И обе курили.

— Значит, все-таки было между Лениным и Арманд?

— Я свечу не держал.

* * *

Крупская — великий конспиратор. Умела затемнить и замолчать все, что угодно, лишь бы ее главная цель — победа революции осуществлялась по намеченному плану. Если Ленину суждено было влюбиться в Инессу Арманд и это помогало делу революции, Крупская поднялась бы выше обывательских представлений о любви, супружеской верности и собственной женской гордости.

Пытаясь разглядеть треугольник: Ленин — Крупская — Арманд, я недавно позвонила женщине-историку, которая посвятила изучению жизни и деятельности Крупской всю свою жизнь:

— Только, пожалуйста, не пишите, что Арманд была любовницей Ленина. Это такая чушь! Это неправда! Этого не могло быть! Просто не могло быть! Надежда Константиновна была очень гордый человек, она бы не потерпела, она ушла бы, она бы не стала мешать их любви.

Зная твердый характер Крупской, трудно себе представить, что она способна проявить гордость или рассиропиться слезами перед соперницей, которая прежде всего — соратница. И помощница.

“В 1910 году в Париж приехала из Брюсселя Инесса Арманд и сразу же стала одним из активных членов нашей Парижской группы, — писала Крупская, объясняя будущему человечеству, как все надо понимать. — Она жила с семьей, двумя девочками и сынишкой. Она была очень горячей большевичкой, и очень быстро около нее стала группироваться наша парижская публика”.

В то самое время у Надежды Константиновны появилась своя душевная забота: в Париже объявился Виктор Курнатовский, за десятилетие, что они не видались, побывавший во многих ссылках, на каторге, приговоренный к смертной казни, замененной вечным поселением, сумевший бежать из Нерчинска в Японию, оттуда в Австралию, где жил в нужде, был лесорубом, надорвался и еле достиг Парижа.

“Исключительная тяжелая доля скрутила его вконец, — пишет Крупская о Курнатовском. — Осенью 1910 года по его приезду мы с Ильичем ходили к нему в больницу — у него были страшные головные боли, мучился он ужасно... Потом он поправился немного. Попал он к примиренцам и как-то в разговоре стал говорить тоже что-то примиренческое. После этого у нас на время расстроилось знакомство...”

Как же много может сказать женщина, если хочет что-то скрыть! Невольно вспоминается жестокий разрыв Ленина со стариками-народовольцами в Шушенском: любое другое мнение грозит разрывом с Лениным — он признает только согласие с собой. Нетрудно представить себе, что Курнатовский в результате тягот своей жизни, которые Ленину и не снились, мог наконец-то примириться с жизнью, но непримиримого Ильича это не устраивало. А раз Ильича, то, стало быть, и Крупскую?

Да, в любом другом случае она и не вспомнила бы о человеке, рассердившем Ильича. Но это был Курнатовский, ее маленькая тайна. Для него она сделала исключение: “Я зашла раз к нему, — вспоминает Крупская, — он нанимал комнатку на бульваре Монпарнас, — занесла наши газеты, рассказала про школу в Лонжюмо, и мы долго проговорили с ним по душам. Он безоговорочно соглашался уже с линией партии Центрального Комитета. Ильич обрадовался и последнее время частенько заходил к Курнатовскому. Осенью 1912 года, когда мы уже были в Кракове, Курнатовский умер”.

Если принять точку зрения Марка Алданова и поверить, что Крупская в 1910 году страдала и плакала от ревности, то ее приход к Курнатовскому, вполне возможно, облегчил переживания?

Однако я склонна думать другое: по характеру скрытная и не позволяющая пятнышку появиться на белоснежной репутации своего вождя, Надежда Константиновна вряд ли искала у Курнатовского сочувствия своей ревности, просто хотела бывать у Курнатовского, пусть уже старого и безнадежно больного, приходить к нему, говорить по душам, помогать ему. Она хотела его видеть — вот и все.

А Курнатовский быстро и “безоговорочно соглашался с линией Центрального Комитета” просто потому, что хотел видеть у своей постели пусть постаревшую и подурневшую, но ту Наденьку Крупскую, впечатление о которой в долгих скитаниях согревало его душу. Ради столь скромного, едва ли не последнего, желания с чем не согласишься?

* * *

Позднее, живя в Поронине и Кракове, проводя много времени в обществе Инессы, Крупская вспоминает: “В середине конференции в Поронин приехала Инесса Арманд... у нее были признаки туберкулеза, — но энергии у ней не убавилось, с еще большей страстностью относилась она ко всем вопросам партийной жизни. Ужасно рады были мы, все краковцы, ее приезде...”

Сама Крупская в это же самое время тоже болеет — обостряется старая болезнь — базедка. Тюрьмы, ссылки, скитания по чужим городам подрывают здоровье женщин революции. Но какое это имеет значение, если они служат общему делу?!

“Осенью мы все, вся наша краковская группа, очень сблизилась с Инессой. В ней много было какой-то жизнерадостности и горячности. К Инессе очень привязалась моя мать, к которой Инесса заходила часто поговорить, посидеть с ней, покурить. Уютнее, веселее становилось, когда приходила Инесса... Она много рассказывала мне в этот приезд о своей жизни, о детях, показывала их письма, и каким-то теплом веяло от ее рассказов... Инесса была хорошая музыкантша,

сагитировала сходить всех на концерты Бетховена, сама очень хорошо играла многие вещи Бетховена. Ильич особенно любил “Sonate pathétique”, просил ее постоянно играть — он любил музыку”.

Краковская идиллия, видимо, не могла продолжаться бесконечно. Крупская объясняет внезапный отъезд Инессы из Кракова так: “Сначала предполагалось, что Инесса останется жить в Кракове, выпишет к себе детей из России; я ходила с ней искать квартиру даже, но краковская жизнь была очень замкнутая, напоминала немного ссылку. Не на чем было в Кракове развернуть Инессе свою энергию, которой у нее в этот период было особенно много...”

Может быть, именно здесь произошел разрыв любовного треугольника? Чтобы окреп треугольник революционный?

“...Решила Инесса объехать сначала наши заграничные группы, прочесть там ряд рефератов, а потом поселиться в Париже, там налаживать работу нашего комитета заграничных организаций. Перед отъездом ее мы много говорили о женской работе. Инесса горячо настаивала на широкой постановке пропаганды среди работниц, на издании в Питере специального женского журнала для работниц...” — затверждает Крупская отъезд Инессы.

Итак, попробуем думать, что с 1909 года у ленинской революции место Возлюбленной революции было прочно занято. Возлюбленная вместе с женой работала на революцию не покладая рук. Возлюбленная моталась по Европе как большевистская связная, писала статьи для большевистских изданий, работала по организации съездов и конференций, переводила с языка на язык несметное количество чужих статей революционного содержания и множество документов, она сидела в европейской тюрьме за свою деятельность, причем в тяжелых условиях. Возлюбленная революции делала для нее так же много, как и Жена революции, но вряд ли испытывала необходимость взять на себя еще и быт Владимира Ильича, кое-как улаженный неумелой Крупской вместе со своей умелой матерью. Она понимала, что семейное соединение ее с Лениным может оказаться если не гибельным, то неудобным для русской революции: ни пятнышка не должно замарать

прославленную жилетку Ильича. Всем троим лучше было ничего не менять.

* * *

Из “записной книжки” Ивана Федоровича Попова

— Ты только точно запомни, не записывай, пусть будут другие слова, но запомни смысл. Моя жизнь была связана с Инессой очень сильно, я бы сказал, кровно, насмерть. В определенный период нашей жизни, в тысяча девятьсот шестнадцатом году, мы вместе с ней решили: наши взгляды на революцию требуют пересмотра.

Мы ни с кем не говорили, только друг с другом, но оба пришли к тому, что Ленин слишком категоричен в суждениях, слишком далеко идет. Оба считали, что отечество нужно защищать. Тогда Инесса напомнила мне про ленинскую месть Романовым за брата и предположила в его отношении к самодержавию много личного.

А я вспомнил, как Ленин, когда был у меня в Брюсселе, однажды рассказал, что уезжал на лодке по Волге с братом Сашей, и над рекой стелилась песня. Он вспомнил казненного Сашу, помолчал и вдруг, как бы про себя, не обращаясь ко мне, прочитал строфу из пушкинской оды “Вольность”:

*Самовластительный злодей,
Тебя, твой род я ненавижу,
Твою погибель, смерть детей
С жестокой радостью увижу.*

Инесса шесть раз рожала (да, да, я точно запомнила — он сказал шесть раз. — Л.В.), ей, как матери, вдруг страшны показались и пушкинские строки, и то, что Ленин их процитировал в связи с воспоминанием о Саше.

Мы долго говорили с ней. Она решила написать Ленину о своих сомнениях.

Написала и получила ответ, после которого сказала мне:

“Уходи, Жан, уходи и не оглядывайся. Ты молод, слабоват характером, поэтичен. Вся эта жизнь не для тебя. Пиши книги и люби жизнь, если сможешь. А мне отступать некуда. Я под

его гипнозом навсегда. Мне нельзя иначе. Если отступлюсь, значит, все мои жертвы были напрасны и жизнь прошла зря”.

Спустя много лет я нашла в ленинском письме к Инессе Арманд: “Насчет защиты отечества. Мне было бы архинеприятно, если бы мы разошлись. Попробуем еще раз спеваться”.

Это был ответ на письмо Инессы, готовой в 1916 году стать вместе с Поповым на позиции обороны отечества.

Она спелась. Не ослушалась своего Вождя.

Попов ушел к “оборонцам”, и на этом кончился большевистский период его жизни, однако с Инессой не прервал отношений.

* * *

Два треугольника составила Инесса в своей запутанной и бурной жизни: любовный и революционный.

Итог любовного треугольника она выразила в письме бывшему мужу и другу всей ее жизни Александру Арманду:

“Я только теперь поняла вполне, как я была избалована жизнью, как я привыкла быть окруженной людьми, которые мне близки, которых я люблю и которые любят меня. И когда я подумаю о том, как мне стало невыносимо тяжело, когда я очутилась совсем одинокой, тогда, как столько людей всю жизнь одиноки, мне стало даже неловко перед самой собой”.

Революционный треугольник завершился ошеломляющим известием о Февральской революции, пломбированным вагоном через Германию в Россию и тысячными толпами на улицах Петрограда. Ленин на броневике, бросающий в массы лозунг: “Да здравствует мировая социалистическая революция!”, а внизу, за его спиной, кажущаяся массивной, фигура Крупской и рядом худенькая, изящная Инесса — вся порыв или, как писал о ней один восторженный большевик: “горящий костер революции”. Увы, костры, рано или поздно, гаснут.

* * *

После революции “революционный треугольник” оказался в Москве. Ходили, и по сей день не исчезли, слухи о намерении вождя революции наконец-то соединить свою жизнь с

Инессой и даже об отрицательном решении Политбюро по этому вопросу. Живет сегодня и слух о намерении Крупской самой уйти от Ленина, дабы освободить его для Инессы. Есть и такое: Крупская требовала переселить Инессу Арманд из Москвы в провинцию, дабы все спокойно было. Однако во многих документах показана совместная дружная работа Крупской и Арманд в подготовке международной женской конференции 1920 года.

“Инесса еле держалась на ногах. Даже ее энергии не хватило на ту колоссальную работу, которую ей пришлось провести”, — свидетельствует Крупская. После конференции друзья, и в первую очередь Ленин, уговорили Инессу поехать отдохнуть. Он пишет ей: “Если не нравится в санатории, не поехать ли на юг? К Серго на Кавказ? Серго устроит отдых, солнце, хорошую работу наверно устроит (видно, и на отдыхе она не может без работы. — Л.В.). Он там в л а с т ь. Подумайте об этом? Крепко жму Вашу руку.

Ваш

Ленин”.

И это все, что мог бросить к ногам предполагаемой возлюбленной новый властелин России? Немного? Не похоже на роскошества монархов? Немного. Непохоже. А ведь она действительно была бесподобно хороша, среди большевиков бродила шутка: Инессу Арманд нужно включить в учебник по диамату, как образец единства формы и содержания.

Она вняла ленинскому совету, поехала на Кавказ, там заразилась холерой, и 23 сентября 1920 года ее не стало.

Есть воспоминание, сказавшее мне о троих много больше всех писем и сплетен. Старая большевичка Елизавета Драбкина в очерке “Зимний перевал” вспоминает, как участвовала в отряде особого назначения, призванном обезвредить савинковцев, стремящихся свергнуть Советскую власть.

“Ночь была по-осеннему сырой и темной. Мы сильно продрогли и с нетерпением ждали утра.

Уже почти рассвело, когда, дойдя до почтамта, мы увидели движущуюся нам навстречу похоронную процессию. Черные худые лошади, запряженные цугом, с трудом тащили черный катафалк, на котором стоял очень большой и поэтому особенно

страшный длинный цинковый ящик, отсвечивающий тусклым блеском.

Стоя у обочины, мы пропустили мимо себя этих еле представлявших ноги костлявых лошадей, этот катафалк, покрытый облезшей черной краской, и увидели идущего за ним Владимира Ильича, а рядом с ним Надежду Константиновну, которая поддерживала его под руку (выделено мной. — Л.В.). Было что-то невообразимо скорбное в его опущенных плечах и низко склоненной голове. Мы поняли, что в этом страшном ящике находится гроб с телом Инессы”.

Какая деталь: Крупская поддерживала Ленина, а не Ленин — Крупскую. Это было ЕГО горе. Не ЕЕ.

“Инессу хоронили на следующий день, на Красной площади. Среди венков, возложенных на ее могилу, был венок из живых белых цветов с надписью на траурной ленте: “Товарищу Инессе от В.И.Ленина”.

Революционерка Анжелика Балабанова, бывшая в то время секретарем Третьего Интернационала, описала Ленина в день похорон Инессы: “Не только лицо Ленина, весь его облик выражал такую печаль, что никто не осмеливался даже кивнуть ему. Было ясно, что он хотел побыть наедине со своим горем. Он казался меньше ростом, лицо его было прикрыто кепкой, глаза, казалось, исчезли в болезненно сдерживаемых слезах. Всякий раз, как движение толпы напирало на нашу группу, он не оказывал никакого сопротивления толчкам, как будто был благодарен за то, что мог вплотную приблизиться к гробу”.

Прах Инессы в Кремлевской стене, среди знаменитых, прославленных большевиков. По большевистскому протоколу ей не подобало такое место. Но это нарушение было единственным, что мог сделать для Инессы вождь революции, дабы поблагодарить ее за все свершившееся и не свершившееся в их совместной жизни врозь на этой земле и, быть может, испросить прощения за то, что лишил ее свободы любви, за которую она ратовала.

Александра Коллонтай считала, что смерть Инессы ускорила смерть Ленина: он, любя Инессу, не смог пережить ее ухода.

Это чисто женское понимание сильного мужского характе-

ра справедливо лишь в том, что, возможно, смерть Инессы была каплей, переполнившей чашу переживаний вождя революции, сделавшего свое дело. Он создал механизм разрушения старой системы. Он ее разрушил. Предстояло начинать строительство новой системы с помощью им созданного механизма. Но ломать — не строить. Для этого требовались новые фигуры. Они уже дышали Ленину в спину, ожидая своего часа, им уже не терпелось начать то, чего не мог начать Ленин. Энергия ленинского гения была на исходе. Его психология дворянина средней руки не справлялась с жестокостью, провозглашенной им самим.

Инесса Арманд, прелестная девушка, француженка, очаровательная жена богача Арманда, одинокая ссыльная, пламенная революционерка, истая большевичка, верная ученица Ленина, многодетная мать, жрица свободной любви, загнавшей ее в капкан невероятных переживаний, ушла в мир иной и звала его оттуда, и, может быть, там, вопреки их атеизму, они соединились.

* * *

Она ушла, они ушли — а вопросы и загадки, сплетни, легенды и пересуды остались.

Говорили, что Инесса бросила на руки бывшему мужу всех своих детей. Это обсуждалось и осуждалось.

Однако все ее дети до дрожи любили свою мать. Встреча с нею была праздником. Письма от нее были радостью. И уходила-то она от детей не по своей воле — в тюрьму, ссылку, эмиграцию. Пользовалась каждой возможностью увидеть их. Выписать к себе. Поехать к ним.

Не судите — не судимы будете.

Сегодня, совсем близко от Москвы, в Пушкино, Ельдигино, Алешино, где жила семьдесят лет назад семья Армандов, память о них сохранена самая светлая и добрая. Живет где-то там сын Александра Евгеньевича Арманда и Стеши, прекрасной русской женщины, которая поднимала без Инессы ее детей. Смерть Стеши, брак с которой Александр Евгеньевич Арманд зарегистрировал спустя много лет после смерти Инессы, оплакивали все дети, почитая в ней вторую мать.

Говорили, что клан Армандов, помогая революции, уничтожил их богатства, рубил сук на собственном дереве. Верно.

Но вот вопрос, почему Арманды, имея громадные счета в швейцарских банках, виллу в Лугано, не покинули страну после революции — ни один Арманд не эмигрировал?! Как они приняли сталинский термидор?

Почему родная сестра Инессы Федоровны, Рене Федоровна, до конца своей жизни не произносила и не хотела слышать имени своей сестры? Она была против революции — и поэтому вычеркнула сестру из своей жизни?

Весь клан Армандов категорически отрицает легенду о любовных отношениях Инессы и Ленина. Точно так же думали старые французские коммунисты, которые боготворили Инессу и гордились ею.

А какое для нас имеет значение — было между ними что-то или не было? Ведь между ними было такое понимание, перед которым физическая близость — сущий пустяк.

Говорили, говорили и по сей день говорят, что был у Инессы шестой ребенок якобы от Ленина и что один советский кинооператор своими глазами видел в Швейцарии могилу этого ребенка.

Неужели на могиле написано, что он — от Ленина?

Говорили также, что ребенок этот жив и даже работал переводчиком у Брежнева.

Мало ли что можно придумать, в то время как в самом центре Москвы, за спиной Юрия Долгорукого, в Институте марксизма-ленинизма хранится переписка Ленина, Крупской, Арманд, способная превратить в пыль все кривотолки, легенды и слухи.

Но имеем ли мы право читать чужие интимные письма?

А если бы так же стали читать нашу переписку, разве нам было бы приятно?

Видимо, есть тайны, которые не должны быть открыты.

Если они есть...

ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС И ВДОВА ФАРАОНА

Долгожданное чаще всего приходит неожиданно.

“Однажды, когда Ильич уже собрался после обеда в библиотеку, а я кончила убирать посуду, пришел Бронский со словами: “Вы ничего не знаете?! В России революция!” Мы пошли к озеру, там на берегу под навесом вывешивались все газеты... В России действительно была революция. Усиленно заработала мысль Ильича...”

Так начинался для Крупской ее звездный час.

Рядом с Лениным.

Они возвращались в 1917 году в Россию, мыслями о которой жили повседневно и в которой не были много лет. Одновременно со всех концов Европы сбегались на запах гибели многие другие революционные группы и партии, в надежде взять то, что уже валялось под ногами разбушевавшихся масс, — ВЛАСТЬ.

Самые разные европейские силы способствовали передвижениям революционеров не без своей заинтересованности: внутренняя борьба за ВЛАСТЬ ослабит вселенского монстра на внешних рубежах.

Впереди у Крупской были родина и неизвестность. Может быть; снова тюрьма. В молодости это не испугало бы ее, но теперь, на исходе четвертого десятка жизни, после относительно благополучного житья в Европе, было страшновато.

И все-таки, “волков бояться — в лес не ходить”!

В plombированном вагоне она и Инесса Арманд ехали в одном купе.

О каких “женских” чувствах могли думать эти две сивиллы революции, мчащиеся вместе со своим идолом к долгожданной цели?!

Россия превзошла все их ожидания.

Вместе с Инессой Федоровной за спиной Ильича стояла

Надежда Константиновна, когда на всем пути следования их встречали соратники.

Вместе с нею Крупская запрокидывала голову и, восторженно сверкая глазами, слушала речь Ленина с броневика. Она заранее знала, о чем он будет говорить. Но в атмосфере всеобщего возбуждения, казалось, она слышит его впервые.

Вместе с Инессой она внимала Ленину, кричащему с балкона Кшесинской.

Но уже только вдвоем с ним, после этого выступления, поехала она к его сестрам Анне и Марии на Петроградскую сторону.

“Мы почти не говорили с Ильичем в ту ночь — не было ведь слов, чтобы выразить пережитое... Ильич обвел комнату глазами, это была типичная комната петербургской квартиры, почувствовалась реальность того факта, что мы уже в Питере, что все Парижи, Женева, Берны, Цюрихи — это уже действительно прошлое”.

На них надвигалась сама история, она шла к ним в руки, она покорно ложилась под паровой каток их детища — партийной машины. Сознание, что ничего не делающая зря Европа сама выбросила их в Россию, давало уверенность в своих силах: значит, они чего-то стоят!

Крупская не зря опасалась тюрьмы, но она грозила не ей — Ленину. И впервые за много лет они расстались на несколько месяцев: он ушел в подполье, а ей, освободившейся от своего секретарского поста при нем, предстояло начинать включение в общее безумие окружающей жизни, той части своей машины, которую она готовила лично для себя: партийную этику будущего общества, дело политического просвещения детей и женщин в духе марксизма.

Со свойственным ей хладнокровием Крупская “закатывает рукава”. Она пишет и печатает статью “К Всероссийскому съезду учителей”. Составляет проект изменений пунктов программы большевиков, относящийся к народному образованию. Опасаясь за жизнь Ленина, пишет статью о нем, где популярно объясняет, кто он и чего хочет. Баллотируется и избирается в думу Выборгского района Петрограда, чтобы быть в курсе всех думских дел и влиять на думскую политику, пусть пока в районном масштабе. Одну за другой создает комиссии из ра-

бочих и работниц по борьбе с неграмотностью — вот где пригодились ее незабытые педагогический дар и опыт. Активно секретарствует в Центральном Комитете большевиков, чтобы знать все творящееся в партии, пока ее вождь в подполье.

Крупская пускает свои корни во все стороны решительно и смело. Повсюду ей сопутствует успех, а страсть всей жизни — революция, в которой она наконец-то принимает не книжно-бумажное, а живое участие, вновь преображает ее. Еще недавно в Европе это была прежде времени состарившаяся, больная женщина. Теперь она снова почти красавица, да некому оценить: все вокруг бьются друг с другом в безумии борьбы за ВЛАСТЬ.

С Лениным она встречается урывками, но держит его в курсе всех дел. А он, видя ее развернувшиеся таланты, все больше нагружает Крупскую делами.

Природная женская мудрость диктует ей необходимость рассылать метастазы марксистского мировоззрения в самые основы рассыпавшегося общества: к женщине и ребенку, к началу жизни как таковой, чтобы потом — Крупская никогда не торопится — спустя годы получить богатые марксистские плоды.

О, если бы такая сила бросала в массы не холодную, властную мужскую идею борьбы, а естественную, хорошо разработанную мысль о гармонии мужского и женского начал на уровне общественного сознания — где бы сегодня было человечество?!

В те же дни, в Москве, Инесса Федоровна Арманд со свойственной ей горячностью проводит в жизнь идеи Ленина. Выступает с пропагандистскими лекциями. Объединяет рабочих. Организует в Москве Советы рабочих депутатов. В том самом подмосковном Пушкино, много лет назад гостеприимно принявшем в свои объятия прелестную юную француженку, эта, ныне зрелая, российская революционерка создает свой Совет рабочих депутатов, который должен будет превратить в ничто все многолетние завоевания Армандов на этой земле.

Инессе позднее придется обращаться за поддержкой к Ленину, чтобы Армандов не трогали, а у скольких заводов и фабрик, сел и деревень не было своей Инессы Арманд, чтобы не дать погибнуть, помочь и защитить?

Инеcса Федоровна становится членом Московской городской думы, чтобы быть в курсе всех думских дел и влиять на думскую политику, пусть пока в городском масштабе.

Пишет статью “Почему буржуазия клеветает на большевиков?”, объясняя, кто такой Ленин и каковы его позиции.

Создает журнал “Жизнь работницы”.

Обратите внимание, как идентичны, почти повторяют друг друга действия и занятия Крупской и Арманд. Как одинаково направлены одной и той же мощной мужской рукой их силы.

Осенью семнадцатого года стремительно нарастают события. Днем 24 октября Крупскую находят в Выборгской районной думе и передают записку. Она раскрывает ее. Ленин пишет в ЦК большевиков: “Промедление в восстании смерти подобно”.

Крупская понимает — час настал. Сегодня или никогда. Свершается дело всей их жизни. Но где ОН? Пошел в Смольный, куда ему нельзя идти? Некоторое время Крупская колеблется — как быть? Решается, бежит в Смольный.

С этой минуты она неразлучна с Лениным. Множество народу окружает его. Он проходит сквозь толпы — она за ним. Жена, служанка, рабыня, хозяйка. Рабочая лошадь революции. Никак не возлюбленная?

Ну и пусть.

Это ей не по достоинству.

* * *

Революционная ночь двадцать пятого октября описана всеми по-разному.

Одни живописали жестокие, кровопролитные бои революционных солдат и матросов с озверевшими белогвардейскими частями.

Другие рассказывали о стремительном большевистском захвате Зимнего дворца.

Третьи, усмехаясь, сообщали о самой бескровной в мире революции и холостом выстреле крейсера “Аврора” по бывшему царскому дворцу.

Представляется весьма символичным тот бесспорный факт, что исторической ночью революционные солдаты и мат-

росы одержали в Зимнем дворце победу всего лишь над небольшим отрядом юнкеров и Петроградским женским батальоном.

БОЛЬШЕВИКИ ТОЙ НОЧЬЮ ПОБЕДИЛИ ЖЕНЩИН?!

Старший унтер-офицер женского батальона Мария Бочарникова оставила мало кому известные воспоминания: “25 октября 1917 года около восьми часов вечера получаем приказ выйти на баррикады, построенные юнкерами перед дворцом. У ворот, высоко над землей, горит фонарь. Стоит группа юнкеров с офицерами. Слышу приказ: “Юнкера, разбейте фонарь!” Полная темнота. С трудом различаешь соседа. Мы рассыпаемся вправо за баррикадой, смешавшись с юнкерами. Как потом мы узнали, Керенский тайно уехал за самокатчиками, но самокатчики уже “покраснели” и принимали участие в наступлении на дворец. В девятом часу большевики предъявили ультиматум о сдаче, который был отвергнут. В девять часов вдруг впереди загремело “ура!”. Большевики пошли в атаку. В одну минуту все кругом загрохотало. Ружейная стрельба сливалась с пулеметными очередями. С “Авроры” забухало орудие. Мы с юнкерами, стоя за баррикадой, отвечали частым огнем. Я взглянула вправо и влево. Сплошная полоса вспыхивающих огоньков, точно порхают сотни светлячков. Иногда вырисовывается силуэт чьей-то головы. Атака захлебнулась. Неприятель залег. Стрельба то затихала, то разгоралась с новой силой. Воспользовавшись затишьем, я спросила: “Четвертый взвод, есть еще патроны?” — “Есть, хватит!” — раздались голоса из темноты...

Нас обстреливали от Арки Главного штаба, от Эрмитажа, от Павловских казарм и Дворцового штаба. Штаб округа сдался. Часть матросов прошла через Эрмитаж в Зимний дворец, где тоже шла перестрелка. В 11 часов опять начала бить артиллерия. У юнкеров были раненые, у нас одна убитая. Прослужив впоследствии два с половиной года ротным фельдшером в 1-м Кубанском стрелковом полку, я видела много боев, оставивших неизгладимое впечатление на всю жизнь, но этот первый бой, ведшийся в абсолютной темноте, без знания обстановки и с невидимым неприятелем не произвел на меня большого впечатления. Было сознание какой-то обреченности. Отступления не было, мы были окружены. В голову не приходило,

что начальство может приказать сложить оружие. Был ли страх? Я бы сказала, сознание долга его убивало. Но временами охватывала сильная тревога. Во время стрельбы становилось легче. В минуты же затишья, когда я представляла себе, что в конце концов дойдет до рукопашной и чей-то штык проткнет меня, признаюсь, холодок пробегал по спине. Надеюсь, что минует меня чаша сия и заслужу более легкую смерть — от пули. Смерть не страшила. Мы все считали долгом отдать жизнь за родину.

“Женскому батальону вернуться в здание!” — понеслось по цепи. Заходим во двор, и громадные ворота закрываются цепью. Я была уверена, что вся рота была в здании. Но впоследствии я узнала со слов участников боя, что наша полурота защищала двор. И когда уже на баррикаде юнкера сложили оружие, добровольцы еще держались. Как туда ворвались красные, что там происходило — не знаю. Полуроту заводят во втором этаже в пустую комнату.

“Я пойду узнаю о дальнейших распоряжениях”, — говорит ротный, направляясь к двери. Он долго не возвращается. Стрельба стихла. В дверях появляется поручик. Лицо мрачное.

“Дворец пал. Приказано сложить оружие”, — похоронным звоном отозвались его слова в душе. Мы стоим, держа винтовки у ног. Минут через пять заходит солдат и нерешительно останавливается у двери. И вдруг под напором толпы громадная дверь с треском распахнулась, и толпа ворвалась. Впереди матросы с выставленными вперед наганам, за ними солдаты. Видя, что мы не оказываем сопротивления, нас окружают и ведут к выходу. На лестнице между солдатами и матросами — горячий спор: “Нет, мы их захватили, ведите в наши казармы!” — орали солдаты. Какое счастье, что взяли перевес солдаты! Трудно передать, с какой жестокостью обращались матросы с пленными. Вряд ли кто-нибудь из нас остался бы жив. Выводят за ворота. По обе стороны живая стена из солдат и красногвардейцев. Начинают отбирать винтовки. Нас окружает конвой и ведут в Павловские казармы. По нашему адресу раздаются крики, брань, хохот, сальные прибаутки.

То и дело из толпы протягивается рука и обрушивается на чью-нибудь голову или шею. Я шла с краю и тоже получила

удар кулаком по загривку от какого-то ретивого защитника советской власти.

“Не надо, зачем?” — остановил его сосед.

“Ишь как маршируют и с ноги не сбиваются!” — замечает конвоир. Подошли к какому-то мосту. Вдруг с улицы вынырнул броневик и пустил из пулемета очередь. Все упали на землю. Конвойные что-то закричали. Броневик умчался дальше. В суматохе добровольца Хазиева благополучно сбежала. В казарме нас завели в комнату с нарами в два яруса. Дверь открыта, но на треть чем-то перегороджена. В один миг соседняя комната наполняется солдатами. Со смехом и прибаутками нас рассматривают, как зверей в клетке...

Настроение солдат постепенно менялось. Начались угрозы, брань. Они накалялись и уже не скрывали своего намерения расправиться с нами как с женщинами. Что мы могли сделать, безоружные, против во много раз превосходящих нас численностью мерзавцев? Будь оружие, многие предпочли бы смерть насилию. Мы затаились. Разговоры смолкли. Нервы напряжены до последнего. Казалось, еще момент — и мы очутимся во власти разъяренной толпы.

“Товарищи! — вдруг раздался громкий голос. К двери через толпу протиснулись два солдата — члены полкового комитета, с перевязкой на рукаве. — Товарищи, мы завтра разберемся, как добровольцы попали во дворец. А сейчас прошу всех разойтись!”

Появление комитетчиков подействовало на солдат отрезвляюще. Они начали нехотя расходиться... Решено было переправить нас в казармы Гренадерского полка, державшего нейтралитет... В Гренадерских казармах нас привели на обед. На столах груды белого хлеба.

Солдаты сами разносили нам пищу по столам. Говорили, что в нашу судьбу вмешался английский консул, хлопотал о нас...

Петроградские гренадеры! Если кому-нибудь из вас попадутся эти строки, примите от всей нашей роты, хотя и с большим запозданием, сердечную признательность за братское отношение в ту тяжелую для нас минуту, мы навсегда сохранили добрую память о часах, проведенных в ваших казармах, 7 ноября — 25 октября 1917 года. Ходили слухи, что погибли все

защитницы Зимнего дворца. Нет, была только одна убитая, а поручику Верному свалившейся балкой ушибло ногу. Но погибли многие из нас впоследствии, когда, безоружные, разъезжались по домам. Нас ловили солдаты и матросы, насиловали, выбрасывали на улицу с верхних этажей, выбрасывали на ходу из поездов...”

Вот и все вооруженное восстание. Несolidно? Зато богато последствиями.

Символично: женщины оказались последними защитницами дворца — “оплота самодержавия” — в неестественной, не женской, странной роли, заведомо обреченной на провал. “Беда, коль пироги начнет печи сапожник...”

И впрямь, беда.

* * *

Ленин и Крупская были счастливы.

Они ждали и дождались.

Он наконец-то смог отомстить проклятым Романовым за казнь брата. Расходясь по земле кругами, эта месть захватывала все большие и большие просторы и была уже неподвластна Ленину.

Как всегда водилось в человечестве, так и в революции и в послереволюционные годы стенка шла на стенку — кто кого — и побеждал сильнейший. Примеров тому множество. Возьмем лишь несколько.

Из школьных учебников знаем мы, как зверствовали белые, убивая красных, как “в паровозных топках сжигали нас японцы, живьем по голову в землю закапывали нас банды Мамонтова”.

Это все с точки зрения большевиков. А вот и непредвзятое мнение очевидца-антибольшевика Д.Варецкого:

“Страшную картину разрушения, жестоких расправ с местной советской властью оставлял за собой Махно. Сгоревшие дотлевающие здания райкомов и комбедов, продовольственных складов и мельниц, сожженные мосты, и в каждом селе трупы: председатели ревкомов, сельские милиционеры, случайные люди, попавшие под горячую руку, валялись застреленные, изрубленные шашками, избитые прикладами. Обруб-

ки человеческих тел без ног и рук, трупы с мелко изрубленной шашкой головой, “в капусту”, как говорили махновцы, с головами без ушей и носов, с выкинутыми вон кишками...”

Но что же было с другой стороны?

В то время, как Надежда Константиновна утверждала марксистско-ленинскую нравственность среди нищих и безграмотных, “творцы” красного террора ничем не уступали, — если не превосходили, ибо были победителями, а победителей не судят, — “творцам” белого террора.

И всюду нередко проглядывали женские лица.

В восемнадцатом году в Одессе зверствовала “красная” женщина-палач, Вера Гребенюкова (“Дора”). С.П.Мельгунов рассказывает: “Она буквально терзала свои жертвы: вырывала волосы, отрубала конечности, отрезала уши, выворачивала скулы... в течение двух с половиной месяцев ее службы в одесской чрезвычайке ею одной было расстреляно 700 с лишним человек, то есть почти треть расстрелянных в ЧК всеми остальными палачами”.

Да уж! Если женщина берется за мужское дело, она всем докажет, что может исполнить его лучше мужчины, иначе ее спишут как глупую бабу.

С.С.Маслов описывал женщину-палача, которую видел сам: “Она регулярно появлялась в Центральной тюремной больнице в Москве (1919 г.) с папироской в зубах, с хлыстом в руках и револьвером без кобуры за поясом. В палаты, из которых заключенные брались на расстрел, она всегда являлась сама. Когда больные, пораженные ужасом, медленно собирали свои вещи, прощались с товарищами или принимались плакать каким-то страшным воем, она грубо кричала на них, а иногда, как собак, била хлыстом. Это была молоденькая женщина... лет двадцати—двадцати двух”.

А вот сообщения о революционной деятельности Ревекки Пластининой-Майзель-Кедровой, которая “расстреляла собственноручно 87 офицеров, 33 обывателя, потопила баржу с 500 беженцами и солдатами армии Миллера”.

Может быть, это единичные случаи?

Еще одесская героиня пятидесяти двух расстрелов: “Главным палачом была женщина-латышка со звероподобным лицом; заключенные звали ее “мопсом”. Носила эта женщина-

садистка короткие брюки и за поясом обязательно два нагана...”

“В Рыбинске был свой зверь в облике женщины — некая “Зина”.

Есть такая в Екатеринославе, Севастополе.

Не многовато ли убитых для единичных случаев?

“В Киеве, в январе 1922 года была арестована следовательница-чекистка, венгерка Ремовер. Она обвинялась в самовольном расстреле 80 арестованных, преимущественно молодых людей. Ремовер была признана душевнобольной на почве половой психопатии. Следствие установило, что Ремовер лично расстреливала не только подозреваемых, но и свидетелей, вызванных в ЧК и имевших несчастье возбудить ее болезненную чувственность”.

Интересно, много ли таких, как Ремовер, было арестовано?

Чем эти ужасы лучше кошмаров тридцать седьмого?

“Комиссарша Нестеренко заставляла красноармейцев насиловать в своем присутствии беззащитных женщин, девушек, подчас малолетних...”

Что это все такое, если не деградация женской природы, которая в жестоких страстях мужского мира не может быть собой?

О, если бы Надежда Константиновна, мудрая Крупская вовремя поняла, что мир не делится на классы, на партии и группировки, на врагов и единомышленников, а делится он лишь на мужчин и женщин, и поняв это, с первых же дней революции или много раньше, с чисто женской хитростью, которой ей хватало, сумела посадить всех врагов за дружеский стол переговоров? С этого началось бы возрождение человечества. Если бы она также исподволь внушала своему кумиру не “беспощадно истреблять”, а “миролюбиво отпускать”, то...

То с другой стороны истребили бы?

Да.

Значит, и с другой стороны должна была оказаться своя мудрая Крупская. Десятки, сотни, тысячи, миллионы женщин со своим пониманием жизни. Почему бы и нет? Женщин на земле больше, чем мужчин. Женщина дает жизнь. Женщине

хотелось бы знать, почему не спрашивают ее мнения о том, как следует распоряжаться человеческими жизнями?

Если бы...

* * *

Внутри кремлевской стены с первых же дней советской власти, сначала незаметно, но все более разрастаясь, пошла своя борьба за ВЛАСТЬ. Внутренняя. Жестокая. И в ней Крупская заняла свое место.

Она сразу сумела показать себя всем не просто женским приложением к Ленину, взяв в руки дело народного образования.

По инициативе Надежды Константиновны во всех школах страны был отменен закон Божий.

Вспоминая ли свою религиозную мать или в силу некоторого смущения жесткой мерой, Крупская посчитала необходимым в письменной форме объяснить человечеству свое негативное отношение к религии:

“Зачем мне нужна была религия? Я думаю, что одной из причин было одиночество. Я росла одиноко, я очень много читала, много видела. Я не умела оформить своих мыслей и переживаний так, чтобы они стали понятны другим. Особенно мучительно это было в переходный период. У меня всегда было много подруг...

Но мы общались как-то на другой почве. И вот тут-то мне очень нужен был Бог. Он, по тогдашним моим понятиям, по должности должен понимать, что происходит в душе у каждого человека. Я любила сидеть часами, смотреть на лампадку и думать о том, чего словами не скажешь, и знать, что кто-то тут близко и тебя понимает. Позже изжитию остатков религиозности мешало отсутствие понимания закономерности явлений общественного характера. Вот почему марксизм так радикально излечил меня от всякой религиозности”.

Тут все противоречиво и не слишком убедительно. Непоследовательность слов “росла одиноко” и “всегда много подруг”. Склонность к религиозному созерцанию, лишь подменная марксизмом, очевидна.

Непривлекательна категоричность: далеко не всех, как ее,

марксизм мог излечить от религиозности. Зачем же навязывать его?

Ее мысль обращена к детям: “Я считаю, что антирелигиозная пропаганда должна начинаться очень рано, еще в дошкольном возрасте, потому что эти вопросы очень рано начинают интересовать теперь детей...”

В работе с детьми ее бездетность, возможно, играла свою роль: искренне любя детей, она не знавала их с пеленок, не растила их, не проводила над их кроватками бессонных ночей и поэтому в ее воспитательных программах всегда просвечивала некая нежизненность, ирреальность идей, которые тем не менее она заставляла быть реальными. И все же они были лучше, добрее мужских общеобразовательных циркуляров.

* * *

Глобальная женщина Крупская в чисто человеческом масштабе проявлялась по-разному. Вот эхо далеких лет, полученное мною в 1992 году. Хочу рассказать о Надежде Константиновне...

“1937 год. Моя сестра Лена страдает ревматизмом и болезнью сердца. Ей нужно длительное лечение. Мама в отчаянии. Она живет в деревне Липняги с шестью детьми. Я учусь в Рыбинске и решаюсь написать письмо Крупской. Ответ получаю дней через восемь—десять. А на следующий день меня вызывают в Рыбинский райздравотдел. Выделяют на весь летний сезон бесплатную путевку в санаторий для сестры. Маме выдают денежное пособие на детей...”

Сестра жива, слава Богу, и сейчас. А я виню себя, что не поблагодарила Надежду Константиновну.

Нина Курицина”.

А сколько таких писем получала Крупская? Скольким помогла? А сколько Нин не решились попросить о помощи?

* * *

Крупская совершенно искренне думала: “...библиотекарей и учителей надо подбирать с большой осмотрительностью, ибо

главное в библиотекаре и в учителе не талант, не душевные качества, а классовый подход к человеку или книге”.

Она серьезно считала: “Кто-то в своих воспоминаниях писал, что Владимир Ильич любил Фета. Это неверно. Фет — махровый крепостник, у которого не за что зацепиться даже”.

Прочитаешь такое и невольно задумаешься, а если бы в руках Надежды Константиновны волею судьбы сосредоточилась самая большая ВЛАСТЬ, она — во многом успешнее Сталина, ибо была более образованна — сумела бы поставить дело культурной инквизиции.

Большая ВЛАСТЬ и Крупская — странная мысль. А нельзя ли ею, как ключом, открыть некую потайную дверь?..

Эйфория счастья и успеха прошла быстро. Жестокие будни съели радость.

Гражданская война.

Голод по всей России.

Борьба с контрреволюцией.

Болезни Надежды Константиновны.

Выстрел Фани Каплан в Ленина. (По официальной версии. — Л.В.)

Внезапная смерть Свердлова.

Смерть Инессы Арманд...

Перечислениям неприятностей и ударов несть числа. И все они окрашены тревожной обстановкой внутри партии, разногласиями, взаимными неприятностями, открытой или тайной враждой, сговорами, шепотами, возней.

Над полубездыханным телом России, соединясь, склоняются люди самые разные, часто совершенно несовместимые, невероятны амбициозные и жаждущие доказать свою правоту, а есть и жаждущие просто урвать...

Если к началу болезни Ленина борьба на фронтах России затихла, то внутри стен Кремля уже пылали свои пожары.

* * *

Внезапная болезнь Ленина испугала Крупскую. Впервые за эти послереволюционные годы победы в ее голове поселилась мысль: что будет без него?

Разговоры о смещении Ленина уже ходили в партийных

кругах. Пословица “мавр сделал свое дело, мавр должен уйти” начинала порхать из уст в уста. Доносилось кое-что и до Надежды Константиновны, но она не придавала этому значения, уверенная — кроме Ленина, никто не видит правильного пути.

Но болезнь Ленина от ЦК партии большевиков не зависела, и, когда он рухнул, свет померк перед глазами Крупской.

Что бы там ни болтали, ни сплетничали, эта пара была накрепко привинчена жизнью друг к другу. В их дуэте он стал той самой головой, которая поворачивалась, как того нужно было шее. Но она была той самой шеей, которая отлично знала, куда хочет повернуться голова. Сознание, что она отдает всю себя ему — со всеми своими достоинствами и недостатками, с многочисленными гуманитарными талантами, с холодным умением видеть мир и людей насквозь, с циничностью оценок, прикрываемой филистерскими разговорами о деле рабочего класса, которому она, хоть никто не просил ее об этом, отнюдь не филистерски, а искренне и преданно думала, что служила, — это сознание было главной осью ее жизни.

Со своей стороны, он привык к ней и любил ее, как умеют мужчины любить свое “альтер эго”. Более двадцати лет супружества — не шутка. Многолетняя семейная жизнь вообще к сильным страстям не располагает, но сильная, почти кровная привязанность тут несомненна.

Елизавета Драбкина вспоминает рассказ своего друга, курсанта кремлевских курсов Вани Троицкого, как однажды, когда он поздно вечером дежурил на посту у квартиры Ленина в Кремле, Владимир Ильич попросил его, если он услышит внизу на лестнице шаги Надежды Константиновны, задержавшейся на каком-то заседании, постучать в дверь и позвать его. Ваня вслушивался в ночную тишину. Все было тихо. Но вдруг отворилась дверь квартиры, и быстро вышел Владимир Ильич.

— Никого нет, — сказал Ваня.

Владимир Ильич сделал ему знак.

— Идет, — прошептал он заговорщически и сбежал вниз по лестнице, чтобы встретить Надежду Константиновну: она шла, ступая совсем тихо, но он все же услышал”.

И вот Ленин сражен первым приступом болезни. В самый разгар очередной внутривнутрипартийной баталии. Крупская по долгу и праву жены сразу же занимает оборону у постели больного. Над больным склоняются лучшие врачи и выносят вердикт: полный покой.

Невежественный в медицине, но именно поэтому глубоко ее уважающий Центральный Комитет ВКП(б) поручает своему генсеку товарищу Сталину ответственность за соблюдение режима, установленного врачами.

А если точнее, сам Сталин берет на себя такую ответственность. С согласия ЦК. И берет не зря.

Ему уже потихоньку принесла секретарша Ленина продиктованное ей "Завещание", где больной вождь предупреждает свою партийную машину: "Сталин слишком груб, и этот недостаток, вполне терпимый в среде и в общении между нами, коммунистами, становится нетерпимым в должности генсека. Поэтому я предлагаю товарищам обдумать способ перемещения Сталина с этого места и назначить на это место другого человека..."

Неделю спустя, после утверждения Сталина ответственным за здоровье вождя, "Владимир Ильич потребовал, чтобы ему разрешили, хотя бы в течение короткого времени диктовать его дневник, — вспоминает Елизавета Драбкина. — На совещании И.В.Сталина, Л.Б.Каменева, Н.И.Бухарина с врачами решено было предоставить Владимиру Ильичу право диктовать ежедневно пять—десять минут, но так, чтобы это не носило характера переписки и чтобы на записки Владимир Ильич не ждал ответа. Свидания запрещаются. Ни друзья, ни домашние не должны сообщать Владимиру Ильичу ничего из политической жизни, чтобы этим не давать материала для размышлений и волнений".

Люди есть люди, и каждому болевшему понятно: чуть тебе стало лучше — ты, если деятельная натура, тут же берешься за дело. Чаще всего без особого вреда для здоровья. Именно поэтому врачи не настаивали на изоляции Ленина, но она была чрезвычайно необходима его заботливым соратникам. Профессор Ферстер считал, что, если бы Ленина в октябре двадцать

второго года и дальше оставляли бы в бездеятельности, он лишился бы последней радости... Работа для него была жизнью. Бездеятельность означала смерть.

Понимая это, Крупская вела себя у постели больного так, как считала нужным: она помогала мужу выжить. И 21 декабря он попросил, а она написала под его диктовку письмо Троцкому. По поводу монополии внешней торговли. Ничего особенного.

Письмо?

Троцкому?

Лютому врагу Сталина?

При попустительстве Крупской за спиной Сталина Ленин переписывается с Троцким?

Сталин по телефону не пожалел грубых слов для Надежды Константиновны. И в завершении сказал: она нарушила запрещение врачей, и он передаст дело о ней в Центральную Контрольную комиссию партии.

Сегодня читать такое смешно. Посторонний человек, не врач, а товарищ по работе угрожает жене больного, обвиняя ее в том, что она плохо за ним следит.

Крупской не до смеха.

Нервы ее на пределе. Однако она отбивается от сталинских угроз со свойственным ей хладнокровием. Пишет в Контрольную комиссию, предлагая созданной ею машине разобраться в чисто человеческой коллизии: "Я в партии не один день. За все тридцать лет я не слышала ни от одного товарища ни одного грубого слова, интересы партии и Ильича мне не менее дороги, чем Сталину. Сейчас мне нужен максимум самообладания. О чем можно и о чем нельзя говорить с Ильичем, я знаю лучше всякого врача, так как знаю, что его волнует, и, во всяком случае, лучше Сталина".

Разумеется, жена знает мужа за двадцать с лишним лет совместной жизни лучше всякого врача!

Но если партии нужно, можно доказать, что не жена, не врач, а она, партия, знает, что должно делать с больным.

Партия — превыше всего!

Ссора Крупской со Сталиным произошла через несколько дней после начала болезни Ленина, в декабре 1922 года. Ленин

узнал о ссоре 5 марта 1923 года и продиктовал секретарше письмо Сталину:

“Вы имели грубость позвать мою жену к телефону и обругать ее. Хотя она вам и выразила согласие забыть сказанное, но тем не менее этот факт стал известен через нее же Зиновьеву и Каменеву. Я не намерен забывать так легко то, что против меня сделано, а нечего говорить, что сделанное против жены я считаю сделанным и против меня. Поэтому прошу вас взвесить, согласны ли вы взять сказанное назад и извиниться или предпочитаете порвать между нами отношения”.

После диктовки Ленин был очень взволнован. Это заметили и секретарши, и доктор Кожевников.

На следующее утро он попросил секретаршу перечитать письмо, передать лично в руки Сталину и получить ответ. Вскоре после ее ухода его состояние резко ухудшилось. Поднялась температура. Отнялась речь. На левую сторону распространился паралич. Больше Ленин не вернулся к активной жизни.

Есть легенда, ее придерживался Троцкий, что Сталин травил Ленина медленно действующим ядом. Рассказывали, что Сталин сам сообщал ЦК, якобы Ленин, в минуты болезни, просил у него яду, дабы прекратить мучения.

В реальности же Сталину не нужно было стараться, как средневековому отравителю. Достаточно было сделать лишь то, что он сделал по отношению к Надежде Константиновне.

Из всех известных мне поступков Ленина я думаю о последнем как о самом прекрасном и благородном — письме Сталину, защищающем жену. Сам нуждаясь в защите, он защитил свою женщину.

Это стоило ему жизни.

Почти целый год еще Ленин жил. Дышал. Она не отходила от него, осознавая: с его уходом перевернется страница истории не так, как они заложили ее, предчувствуя, что жизнь всего, наспех собранного в ленинском кулаке государства окажется в другом, более страшном кулаке.

Задумывалась ли она над перспективой самой начать борьбу за ВЛАСТЬ? Приходили ли ей в голову мысли о том, что весь их безумный подвиг с Ильичем по созданию гигантской партийной машины был не нужен?

Я уверена — нет.

Крупская у одра умирающего Ленина не сомневалась ни в чем. Она знала: музыка не виновата, если фальшивят музыканты. И верила в чудо победы тех ленинских идей, которые на ее глазах превращались в сталинские.

* * *

Она была железная. Ни слезинки не увидели люди в ее глазах в дни похорон. За долгое время его болезни она свыклась с фактом его смерти. Говорила на панихиде, обращаясь к народу и партии:

— Эти дни, когда я стояла у гроба Владимира Ильича, я передумала всю его жизнь, и вот что я хотела сказать вам. Сердце его билось горячей любовью ко всем трудящимся, ко всем угнетенным. Никогда этого не говорил он сам, да и я бы, вероятно, не сказала этого в другую, менее торжественную минуту... товарищи, умер наш Владимир Ильич, умер наш любимый, наш родной... Большая у меня просьба к вам: не давайте своей печали по Ильичу уходить во внешнее почтение его личности. Не устраивайте ему памятников, дворцов его имени, пышных торжеств в его память — всему этому он придавал при жизни такое малое значение, так тяготился этим. Помните, что многое еще не устроено в нашей стране...

Разве похоже на речь убитой горем любящей жены?

То голос борца революции, знающего, каким путем идти дальше, и готового взять в руки бразды правления. Да, она знала, что готова, сможет, сумеет лучше прочих...

Она также знала: никто, никогда, ни при какой погоде не даст ей в руки эти бразды.

Оставалось лишь искать опору.

* * *

Сразу после смерти Владимира Ильича Надежда Константиновна написала два письма за границу: Алексею Максимовичу Горькому и дочери Инессы Арманд, Инессе Александровне.

Она описывала последние дни своего мужа и похороны в

Москве. В письме Горькому есть такие строки: "...похоронили мы вчера Владимира Ильича. Он был до самой смерти таким, каким и раньше, — человеком громадной воли, владевшим собой, смеявшимся и шутившим еще накануне смерти, нежно заботившимся о других. Например, в воскресенье вечером у Владимира Ильича был глазной врач, проф. Авербах. Уже попрощавшись, он через некоторое время опять пришел посмотреть, кормят ли его. Около газеты, которую мы читали каждый день, у нас шла беседа. Раз он очень взволновался, когда прочитал в газете о том, что Вы больны. Все спрашивал взволнованно: "Что? Что?"

Крупская пишет Горькому так, словно и не лежал Ленин в параличе, словно он был активен, деятелен, ходяч.

А как же общеизвестная легенда о впадшем в детство Ленине?

Вот несколько впечатляющих строк из воспоминаний художника Юрия Анненкова, рисовавшего Ленина:

"В декабре 1923 года Лев Борисович Каменев... предложил мне поехать в местечко Горки, куда ввиду болезни укрылся Ленин со своей женой. Я вижу, как сейчас, уютнейший барский, а не рабоче-крестьянский, желтоватый особнячок. Каменев хотел, чтобы я сделал последний набросок с Ленина. Нас встретила Крупская. Она сказала, что о портрете и думать нельзя. Действительно, полулежавший в шезлонге, укутанный одеялом и смотревший мимо нас с беспомощной искривленной младенческой улыбкой человека, впавшего в детство, Ленин мог служить только моделью для иллюстрации его страшной болезни, но не для портрета Ленина".

Даже если правда на стороне Юрия Анненкова, нетрудно понять "обман" Надежды Константиновны. Она не хочет представлять никому, даже близкому Горькому, Вождя революции в жалком виде. Он должен остаться в памяти добрым, прекрасным, могучим, великодушным.

Подруга победителя не мыслила себе другой позиции Вождя, кроме победно-сильной.

Но в этот же день она пишет еще одно письмо, о котором никто никогда не упоминает, — на Кавказ, Троцкому. Троцкий только уехал отдыхать посреди зимы в Сухуми, как Ленин умер. Сталин в депеше не рекомендовал ему приезжать на

похороны: мог не успеть. И Троцкий послушался. Позднее винил Сталина, хотя сам себе был хозяин тогда, мог бы и не внять сталинскому совету. Просто не хотелось ехать. Сталинский совет в те дни, можно сказать, был ему на руку. Я определенно думаю так. И вот почему. Находясь на отдыхе, Троцкий думал о Ленине, о его жизни и смерти, вспоминал Надежду Константиновну, “которая долгие годы была его подругой и весь мир воспринимала через него, а теперь хоронит его и не может не чувствовать себя одинокой... Мне хотелось сказать ей отсюда слово привет, сочувствия, ласки. Но я не решился. Все слова казались легковесными перед тяжестью совершившегося. Я боялся, что они прозвучат условностью. И я был насквозь потрясен чувством благодарности, когда неожиданно получил через несколько дней письмо от Надежды Константиновны”.

Что же это за люди такие были, наши вожди, если не находилось у них естественных слов сочувствия вдове и более всего думали они не о том, чтобы сердечным словом хоть как-то облегчить страдание человеку, а о том, как будут выглядеть они сами в этом сочувствии?

Крупская, не дожидаясь сочувствия, пишет ему сама: “Дорогой Лев Давидович, я пишу, чтобы рассказать вам, что приблизительно за месяц до смерти, просматривая вашу книжку, Владимир Ильич остановился на том месте, где вы даете характеристику Маркса и Ленина, и просил меня перечитать ему это место, слушал очень внимательно, потом еще раз просматривал сам.

И еще вот что хочу сказать: то отношение, которое сложилось у В.И. к вам тогда, когда вы приехали к нам в Лондон из Сибири, не изменилось у него до самой смерти.

Я желаю вам, Лев Давидович, сил и здоровья и крепко обнимаю.

Н.Крупская”.

Если верить Крупской, а не Анненкову и многим другим, Ленин до самого последнего дня действовал и жил как интеллект.

Если верить этой ее записке, Ленин перед смертью размышлял о Троцком. И последний, уже не думая о страданиях безутешной вдовы, радуется за себя: “Крупская свидетельст-

вовала, что отношение ко мне Ленина, несмотря на длительный период антитезиса, оставалось “лондонским”: это значит отношением горячей поддержки и дружеской приязни, но уже на более высокой исторической основе. Даже если б не было ничего другого, все фоллианты фальсификаторов не перевесили бы перед судом истории маленькой записочки, написанной Крупской через несколько дней после смерти Ленина”.

Да что же это такое! Ведь записочка Крупской не в прошлое глядит — в будущее, повествуя совсем не о дружеских чувствах покойного к Троцкому.

Записочка Крупской — не что иное, как протянутая рука на союз, на согласие, возможно, на политическую поддержку. Взаимопомощь.

Крупская не из тех, кто будет предаваться женской вдовой печали. Она действует, но ей приходится выбирать между лаем и черной бездной, между Сциллой и Харибдой, между Троцким и Сталиным. Она готова выбрать Троцкого, хотя, кажется, уже видит: победа не будет на его стороне.

Окажись Троцкий менее суетным и менее одержимым пламенной любовью к самому себе, она многое смогла бы противопоставить Сталину — своему главному оппоненту по жизни и по партии. Вместе с Троцким она бы возглавила борьбу внутри партии и, глядишь, победила бы. Но Троцкий соскользнул, и она осталась без реальной поддержки.

Не затем, однако, Крупская отдала всю себя революции, чтобы какой-то там Сталин, быть может случайно залетевший к большевикам, воспрепятствовал ее революционной страсти!

Дело ее жизни было, как говорится, “на мази”, и ничто не могло помешать ей довести его до конца. Даже личное горе. Оно, кстати, тоже должно было работать на “великое дело”.

Уже в мае 1924 года Крупская выступает на XIII съезде партии, первом съезде после смерти Ленина, с содокладом о работе в деревне. Ее встречают продолжительными аплодисментами.

“Существует привод между авангардом и рабочим классом, между РКП и рабочим классом, этот привод уже прочно налажен. Владимир Ильич говорил об этой системе приводов, что должны быть приводы от авангарда рабочего класса к рабочему классу, а от рабочего класса, от пролетариата, к серед-

няцким и бедняцким слоям крестьянства. Вот первый-то привод у нас есть, а над постановкой второго привода, от рабочего класса к крестьянству, надо еще поработать”.

Это разве речь безутешной вдовы? Это речь робота.

Совершенно неожиданно ненавистный ей Сталин может понять ненавистную ему Крупскую более, чем кто бы то ни было. Осознав в ней главную созидательницу партийной машины, он вот-вот увидит в ней верную помощницу себе, да и ей легче будет с ощущением его железной руки. Вот-вот — и они соединят свои усилия на приводах.

Однако люди есть люди, и машины, ими создаваемые, не предусматривают тонкостей и оттенков чувств: оба не сумели переступить через взаимонеприятие.

Еще были в народе веками жившие при царях понятия о “доброй матушке-царице” — и, хотя Крупская никогда не предъявляла подобных претензий, чем черт не шутит, когда Бог спит?

Бывший семинарист Сталин внимательно наблюдал, какими несмолкающими аплодисментами встречают и провожают вдову Ленина народные массы и партийные митинги.

Приходила в голову мысль: чего доброго, захотят использовать старуху на роль новоявленной царицы — память о последней, Александре Романовой, убитой в Екатеринбурге, еще не выветрилась у народа.

Он обижал ее? Это видели и понимали все, но никто не смел вступить? Он бросал ей в лицо, что она своим неумелым уходом загнала Ленина на тот свет? Он заставлял ее ходить в Мавзолей, упрекая, что она забыла любимого мужа? Говорили, все было именно так.

Крупская умоляла, требовала похоронить Ленина. Ее страшил ритуал поклонения ленинским мощам, устроенный Сталиным: в двух шагах от квартиры, где она жила, лежал непохороненный труп ее мужа, и это было невыносимо. Очередь к его забальзамированному телу стала как бы символом всех нескончаемых очередей в стране.

Невестка Каменева, актриса Галина Сергеевна Кравченко, вспоминает: “Приходила Крупская, приходила к Льву Борисовичу в 30—31 годах, плакала, просила, чтобы он защитил ее от грубостей Сталина. Он сочувствовал, успокаивал, но, не

знаю, чем он мог помочь. Она была большая, рыхлая, видно, что больная. Мягкая такая, славная. Плакала. Я ее успокаивала, а она голову положит мне на плечо и говорит: "Галечка, Галечка, так тяжело..."

* * *

Декабрь 1925 года. XIV съезд партии. Крупская выступает на нем с беспокойством о своем детище: "...авторитет нашей партии может быть поколеблен".

В чем дело?

"В прежние времена наша партия складывалась в борьбе с меньшевизмом и эсерством... мы привыкли крыть наших противников, что называется, матом, и, конечно, нельзя допустить, "чтобы члены партии в таких тонах вели между собой полемику..."

Ай-ай-ай, пуританка Надежда Константиновна! Значит, "врагов" можно матом, а однопартийцев нельзя? Где же интеллигентность? Разве неясно вам, умнице, что любая полемика должна быть на высоте, кто бы ни был оппонентом?

Увы, неясно. Вседозволенность власти сделала свое дело — Крупская уже отделена от общечеловеческого суперчеловеческими условиями властного мира.

В этой речи Крупская предостерегает аппарат своей машины от излишнего увлечения капитализмом, ссылаясь на Ленина. И каждое ее слово — работа над усовершенствованием партийной машины.

Ее слушают, ее слышат, ей продлевают время выступления.

Декабрь 1927 года. XV съезд партии. Крупскую встречают бурными аплодисментами.

Ее волнует проблема политического просвещения общества — то есть его активная политизация в одном лишь большевистском направлении. Это, в ее понимании, и есть основа культурной революции.

Июнь 1930 года. XVI съезд партии.

Крупская приветствует коллективизацию: "Эта перестройка на социалистических началах сельского хозяйства — это настоящая подлинная аграрная революция". Она клеймит

выброшенного за пределы страны Троцкого, который “никогда не понимал крестьянского вопроса”, она предлагает в деле коллективизации мощнее использовать все механизмы своего партийного детища: “...борьба с кулаком заключается в том, чтобы на идеологическом фронте не оставалось никакого следа кулацкого влияния”. А без руководящей работы партии это невозможно. Она предлагает каждому члену партии “неустанную ленинскую бдительность”, иначе он, “борясь с перегибами, не заметит важного; иногда по чрезвычайно важной стороне дела ударит, а того, с чем надо бороться, не увидит”.

Вот такая агрессивность развилась в Надежде Константиновне, когда ей шел седьмой десяток!

Январь 1934 года. XVII съезд партии.

В своей речи Крупская на каждом шагу поминает Сталина в унисон со всеми другими ораторами. Талантливая Крупская, приняв сталинские “правила игры”, умело говорит о нем не славословя, с неким даже достоинством, вроде бы даже как-то дополняя его. Самого Сталина!

“Вот на XVI съезде товарищ Сталин заострил вопрос о всеобщем обучении. Конечно, это вопрос громадной важности, это сознавала партия с самого начала...”

То есть не воображай, товарищ Сталин, что ты открыл Америку. Ленин вместе со мной этим занимался, еще когда ты в семинарии учился богу, с маленькой буквы, молиться.

“...Но только на известной ступени, когда созданы были предпосылки для осуществления этого, можно было провести ту громадную работу...”

То есть до тебя, Сталин, предвидели и предполагали.

Чуткое ухо Сталина ловило все нюансы. Думаю, интонации Крупской резали ему слух.

Острый на язык Радек пустил сплетню, что раздраженный ее высказываниями в свой адрес Сталин сказал:

“Пусть помалкивает. А то завтра партия объявит вдовой Ленина старую большевичку Стасову”.

Она пережила Ленина на пятнадцать лет. Давняя болезнь мучила и изнуряла ее. Она не сдавалась. Каждый день работала, писала рецензии, давала указания, учила жить. Написала, неоднократно переписывая, книгу воспоминаний, где, словно

утюгом, разглаживала прошлое. В этой книге видно, как гнулась она под гнетом сталинского времени, как все же, где могла, не сгибалась она. В этой книге, если читать ее и по строкам, и сквозь строки, видна вся созидательница адской машины, вся великолепная исполнительница ленинских идей.

Наркомпрос, где она работала, окружал ее любовью и почитанием, ценя природную душевную доброту Крупской, уживавшуюся вполне мирно с суровыми идеями.

Но каково было видеть Надежде Константиновне постепенную и планомерную гибель ленинской гвардии, эту агонию большевизма, это перерождение его в сталинизм?! Она, женщина, приветствовавшая пролитую кровь — дворянскую, белогвардейскую, царскую — понимавшая необходимость народной крови для защиты своей машины, тяжело переживала потерю большевистской крови.

Созидательница машины, которой не дано было право держать руль, не отвечала за ход шестеренок и двигателей.

А тот, кто отвечал за них, переделывал механизмы под свой нрав и разум.

Творчество Крупской, составившее одиннадцать внушительных томов, содержит много полезного, неверно понятого сталинской школой. Но, думаю, ее ум и знания не пригодятся еще долго, заслоненные общими негативными реакциями на ленинизм.

* * *

26 февраля 1939 года Крупская праздновала свое семидесятилетие. Вечером собрались друзья. Сталин прислал торт. Все дружно ели его. Наутро она, одна из всех, умерла в больнице от острого отравления.

Даже сегодня, в наши открытые для разоблачения Сталина дни, оставшиеся в живых участники вечера у Крупской решительно отмечают версию отравленного торта.

Кто знает...

“Бойся данайцев дары приносящих...”

Сталин лично нес урну с прахом Крупской.

Я заканчивала историю первой кремлевской жены в дни, когда огромная партийная машина, созданная и ее руками, многими после нее многократно перестроенная, сначала, как шагреновая кожа, усыхла в размерах и вдруг совместными — нападающим и защищающим — ударами была разбита вдребезги августовскими днями 1991 года. По обе стороны баррикад — в той Москве, где почти двадцать лет жила некоронованная царица революции, где она умерла, — сошлись идеи большевиков старого и нового образца и руками своих детей и внуков расправились с машиной.

Ой ли?!

Мадам История ходит не по прямой, а возвращается “на круги своя”.

Не затем Надежда Константиновна столько работала, чтобы какие-то мы явились и перечеркнули..

II
ПАТРОН
И
ПОМАДА



ПОДПОЛЬЕ НАВЕРХУ

Весной 1974 года в тиши лондонской улочки Челси парк-гарденс я ужинала в обществе трех — каждая по-своему замечательна — эмигрантских дам прошлого.

Саломея Николаевна Андроникова, внучка поэта Плещеева и дочь бакинского генерал-губернатора. Подруга поэтов русского серебряного века.

Приятельница Ахматовой в десятилетиях.

Спасительница Цветаевой в двадцатых, когда та бедствовала в Европе.

Возлюбленная Зиновия Пешкова — международного авантюриста и французского генерала, старшего брата Якова Свердловского и приемного сына Максима Горького.

Муза поэта Осипа Мандельштама.

Вдова бывшего управделами Временного правительства Александра Гальперна.

Добрая, злая, все на свете понимающая, замечательная читательница.

Женщина, свободная от каких бы то ни было политических взглядов, если не считать таковым и пристрастное чувство к родине, сохраненное в эмиграции во всей неприкосновенности. Красавица, несмотря на приближающиеся девяносто.

Мария Игнатьевна Закревская-Борейшо-Бенкендорф-Будберг, дочь украинского помещика, родом из Лозовой, где родился и мой отец, а значит, мы с нею в некотором роде землячки.

Возлюбленная английского дипломата-разведчика Брюса Локкарта.

Вдова графа Бенкендорфа.

Жена барона Будберга.

Секретарь и близкая подруга Максима Горького.

Гражданская жена Герберта Уэллса.

Переводчица русской и советской литературы на европейские языки.

Железная женщина по определению одних — Мата Хари по подозрениям других.

Анна Самойловна Калина, дочь богатого московского купца.

Гимназическая подруга Анастасии Цветаевой.

Адресат стихотворения Марины Цветаевой “Эльфочка” из первой книги поэтессы “Вечерний альбом”.

Недолгая муза художника Оскара Кокошки.

Компаньонка Саломеи.

Не знаю, как мы за столом пришли к теме революции и большевиков, помню лишь, Анна Самойловна, мило надув сморщенные губки, выдала:

— Пока большевики в Кремле, моей ноги в родной Москве не будет. Ничего не хочу иметь общего с вашей революцией.

Мне это высказывание не понравилось. Хоть была я из СССР, жена аккредитованного в Лондоне советского журналиста-международника, но, подобно Саломее, никаких политических взглядов не имела. То обстоятельство, что к 1974 году была я в своей стране автором нескольких поэтических книг лирического характера, помогало мне оставаться самой собой и не прилепляться к литературно-политическим компаниям. Хотя это трудное одиночество.

Живя в Лондоне с 1973 года, стала я замечать за собой черты псевдопатриотизма. Мне, например, категорически не нравилось, когда кто-то ругал мою страну. Пусть он и совершенно прав. Это чувство знакомо многим. Еще Александр Сергеевич Пушкин говорил, что порой ненавидит отечество, но ему неприятно, если иностранец разделяет с ним это чувство.

А тут сидели далеко не иностранки. Стараясь быть вежливой, я сказала:

— Позвольте, почему революция моя? У вас по поводу революции ко мне не может быть никаких претензий. Ваше поколение сделало ее. Ваше. Это у меня могут быть к вам претензии, а не у вас ко мне.

Что началось! Все три — такие разные — набросились на меня, твердя одно:

— Революция была необходима!

— Самодержавие прогнило насквозь!

— Дальше терпеть весь тот ужас было нельзя!

— Царь погряз в бессилии. О царице лучше не говорить, и так ясно: психоз и разврат.

— Конечно, кровавая расправа с Романовыми не имеет оправдания, но это уже другой вопрос.

— Царизм довел Россию до революции — и совершилось то, что должно было совершиться. Но и все. Большевистской революции никто не ожидал — она была не нужна!

— Почему же ваше Временное правительство не удержало власти в своих руках? — спросила я Саломею Николаевну, как будто тогда это от нее зависело. А она-то и за своего Гальперна, причастного к этому правительству, вышла только в эмиграции, не от хорошей жизни.

— Да, — согласилась она. — Временное правительство никуда не годилось. Я всегда это говорила. Мой покойный муж, Александр Яковлевич Гальперн, тогда даже не жених, а один из поклонников, сидел внутри этого правительства и каждый день писал мне письма в Крым, где я проводила лето с дочкой от первого мужа и няней. Расписывал ужасы и беспорядки на улицах. Не советовал пока возвращаться в Петербург. Просил переждать. Пугал голодом.

Что вы думаете? Постепенно, к середине осени его письма становились все более спокойными.

У меня есть исторический документ о несостоятельности Временного правительства: письмо Александра Яковлевича от двадцать четвертого октября тысяча девятьсот семнадцатого года — заметьте, канун Октябрьской революции.

Саломея Николаевна выходит из своей кухни-столовой, где мы обедаем, и недолго отсутствует.

Письмо, желтое, как и подобает, от времени, разворачивает бережно. Осторожно. На бумаге царские водяные знаки — двуглавый орел. Она опускает личные подробности и читает главное:

“Совершенно уверенно сообщаю Вам, дорогая, что теперь можно ехать. Жизнь, слава Богу, налаживается. Вчера по-

явился пышный белый хлеб, как раньше. Вам голодать не придется. Жду с нетерпением. Буду встречать..."

Она показывает мне эти строки, и я прочитываю их. Написаны четким, аккуратным почерком, почти без наклона.

— Вот, — указывает перстом Саломея, — вечером этого дня, двадцать четвертого октября, мой Гальперн сидел в тюрьме у большевиков. Чудом вышел. Так, спрашиваю я вас, куда годится правительство, которое под своим носом ничего не видит? Потом, в Париже, выйдя замуж за Гальперна, я часто спорила с ним — у нас были совершенно разные подходы к жизни, но это нам не мешало — и всегда говорила: "Так вашему правительству и надó. Получили по заслугам".

— Значит, царь был плох. Временное правительство плохо. И большевики плохие? — спрашиваю я.

— Плохие. Они, конечно, многое сразу же сделали разумно своими декретами. Народ на свою сторону взяли. Правильно повели себя. Но слишком круто. Слишком. Так нельзя.

— Они еще за это поплатятся, — ввернула непримиримая Анна Самойловна.

— Может, они не могли иначе. Такая шла рубка, — как-то неуверенно сказала баронесса Будберг, у которой за плечами было слишком хорошее знакомство с большевиками и с чрезвычайкой, когда ее взяли чекисты вместе с Локкартом.

— Понимаешь, Мура, — задумчиво произнесла Саломея Николаевна, — я думала над этим. Понимаешь, они были подпольщики. Это накладывает свой отпечаток. Подпольщики...

На этом слове я остановила пленку.

Да, да, я приходила к Саломее Николаевне с магнитофоном. Ей хотелось "оставить себя на магните". Она говорила, что очень тщеславна, и если уж есть такое новое средство "голосом запечатлеться на века", почему им не воспользоваться. Она всегда требовала включать магнитофон: и за разговором, и за ужином, если гости не возражали. На этот раз возражений не последовало.

Анне Самойловне было безразлично. Думаю, она не сомневалась, что я записываю невинные разговоры у Саломеи для КГБ.

Мария Игнатьевна, узнав, что мы ужинаем под магнитофон, сказала:

— Терять мне нечего. На какую разведку ты работаешь? Ну, ну, я пошутила. Мне терять нечего. Знаешь, четыре разведки платят мне пенсию.

— Она все врет, — шепотком сказала себе в тарелку Анна Самойловна, пользуясь тем, что слух отличный только у нее и у меня. — Набивает себе цену.

Подпольщики

Каждая новая власть, придя к рулю, с удовольствием обнаруживает и обнарудует злоупотребления старой. И тут же начинает свои собственные злоупотребления. Так было в веках, во всех странах и на всех материках.

Подпольщики — арестанты, эмигранты, ссыльные — большевики вошли в Кремль, счастливые от сознания своей не совсем ожидаемой сверхпобеды. Они были чисты перед народом — вместо того чтобы служить и прислуживать старому режиму, они вскрыли его язвы и, рискуя многим, даже, случилось, жизнью, трудно искали истину. Светлое будущее всего человечества, осуществленное руками рабочего класса и бедного трудового крестьянства с помощью вышедшей из народа интеллигенции, — вот, с теми или иными вариациями, основная схема большевиков.

И жизнь дала сказочную возможность. Древний Кремль распахнул ворота.

*Весь мир насилья мы разрушим
до основания, а затем
мы наш, мы новый мир построим,
кто был ничем, тот станет всем! —*

пели они.

Судьба сказала:

“Разрушили? Стройте!”

Они вошли в Кремль, группа мужчин разного возраста, в большинстве своем немолодые, все до одного вчерашние арестанты, ссыльные, эмигранты, со своими неоконченными спорами о светлом будущем, со своими несогласиями и недоговоренностями.

Цари были царями. Они царили, не провозглашая свободы, равенства и братства народов. Они знали, что свободы нет, есть лишь осознанная необходимость. Равенства на земле быть не может, ибо никто не равен никому, а царь выше всех других. Божий помазанник. Братство народов — чушь. Многочисленные этносы, населяющие Россию, едины в своих различиях и равны в одном: они все царские подданные, должны служить ему, а он должен о них заботиться.

Великие и малые правители веками собирали эту психополитико-экономическую структуру России с Литвой, Польшей, Кавказом, Украиной и т.д.

В 1917 году, к осени, все расплзлось, разделилось и вышло из берегов.

Большевики развесили свои полотнища с лозунгами и декретами и попали в самую точку, пообещав измученной войной России, всему трудовому народу мир, хлеб, землю. Но практически не было тех, кому все это обещалось: старые классовые структуры рассыпались на глазах, новые еще не сложились. Народ представлял собой некую неопределенную массу, с которой можно делать все, что угодно. Требовалось длительное время и большое терпение, чтобы сформировать общество. Но жить тем, кто тогда жил, нужно было в повседневности. Назад дорога не просматривалась. В сегодняшнем дне царили хаос и неопределенность. Завтра обещалось светлым и праздничным, как вековая мечта. Голод гражданской войны сменился локальными благополучиями нэпа. Ленин, не зная отдыха, колеблясь и сомневаясь во многом и многих, вел свою, ставшую нечеткой, линию. С ним боролись вчерашние соратники. После него борьба приняла еще более жестокий характер. Взгляды борющихся сторон не были проверены жизнью, но внедрялись, чтобы проверить их. Россия становилась страной-экспериментом. Власть пьянила и кружила головы.

Цари, короли и президенты приходят на власть, предполагая и принимая как должное все и всяческие привилегии. Привилегированность — традиция обществ. Правители мира и их челядь защищены от остального мира стеной удобств и сверхудобств, как говорится, на законном основании. И нигде народ не волнуется по поводу того, почему у хозяев или правителей

все эти удобства есть: у царей — навсегда, у президентов и их челяди — на время правления.

Большевики вошли в Кремль с идеей отмены всех и всяческих привилегий. Им претили барские замашки и исключительные обстоятельства. Не за то боролись они, чтобы обуржуазиться и омещаниться.

Боролись... Сутью жизни вчерашних арестантов и ссыльных всегда была борьба. Ее принципы они положили в основу мирных инициатив. Мир стал войной. В мирное время по приказам новой власти было совершено столько разрушений “ненужных устаревших форм” прошлой жизни, созданных столетиями, сколько не разрушали жестокие баталии. Взрывались основы веками складывавшегося общества.

Большевики вошли в Кремль и очутились перед необходимостью, толкаясь боками в одной гигантской кухне народной жизни, вести экономику домашнего, то бишь народного, хозяйства. Для успеха такого рода работы не было опыта, образования, соответствующего воспитания — никаких предпосылок.

* * *

Опыт революционного подполья диктовал новой власти свои нормы поведения. Скрытность. Тайны во всем — от мелочей до крупного. Строгая подчиненность младшего по чину старшему. Весь этот партийный “демократический централизм”, который легкомысленному человеку вроде меня мог показаться набором пустых фраз, был нутром партийной машины и работал безотказно: руководил — управлял.

* * *

Стиль тюрьмы, подполья, ссылки — это подозрительность, недоверие, жестокость, изворотливость, ложь во спасение, предательство ближних.

Стиль тюрьмы становился стилем свободной жизни, превращая ее в тюрьму. Полагаю, что в упоении побед большевики всего этого не замечали, возвеличивали новый стиль, возводили в крайнюю степень восторга, любовались им и требовали следовать ему неукоснительно.

Анна Михайловна Ларина, вдова Н.И.Бухарина, вспоминает 7 ноября 1924 года, первую годовщину Октября без Ленина. Она была тогда девочкой. Отец взял ее с собой на Красную площадь:

“В то время праздник на трибуне Мавзолея встречали не только члены Политбюро, но и более широкий круг партийных работников. Я, как и во многих других случаях, сопровождала отца, помогая ему добираться. (Отец Анны Михайловны был инвалидом. — Л.В.) Так я оказалась на трибуне... Как только мы с отцом поднялись на левую трибуну Мавзолея, ко мне подошел Троцкий и сказал:

— Ты что на себя нацепила? — и дернул рукой мой пестрый шарфик (красный в голубых цветочках), который мать не без моего желания повязала мне поверх пальто, чтобы я выглядела нарядной. — Где твой пионерский галстук?! Ты, очевидно, не знаешь, почему пионерский галстук красного цвета! Красный цвет — символ пролитой крови восставшего рабочего класса!

Он произнес эти слова строгим, грозным тоном, будто по меньшей мере я была проштрафившимся солдатом Красной Армии, которого ждет кара.

Я до такой степени смутилась и так была взволнована, что праздник был отравлен, и у меня было лишь одно желание — поскорее вернуться домой.

В свое оправдание я сказала Троцкому:

— Это мама повязала мне шарфик вместо галстука.

— Неплохая у тебя мама, — ответил Троцкий, — а совершила такое зло!

Так и выразился — “зло”.

Мамино “зло” еще больше огорчило меня, и у меня брызнули слезы. Отец, увидев мой жалкий вид, заступился за меня:

— Посмотрите, Лев Давидович, какие огромные красные банты в косах моей дочери, так что “крови” более чем достаточно.

Оба они рассмеялись...”

Чуждость, невообразимость этой сцены очевидна. Шуточки Троцкого с маленькой девочкой — чрезвычайно сильная деталь. Не из такой ли детали вырос Павлик Морозов — несчастное дитя, жертва революционного героизма?

Думаю, одной детали достаточно, чтобы увидеть: не будь Сталина, Троцкий был бы не слабее. И, видимо, дело здесь не в том, какая фигура пришла к власти, к руководству партийной машиной, а в устройстве самой машины, чья изначальная жестокость и жесткость оправдывались, обосновывались и обстоятельствами жизни, и идеями классового подхода ко всему, включая детские шарфики. Впрочем, возможно, я ошибаюсь...

* * *

Возможно, ошибаюсь?

И не будь Сталина, Троцкого, а приди после Ленина к рулю мягкий человек, все было бы иначе? Ведь роль личности в истории — факт неоспоримый.

Я стала искать фигуру мягкую, многое понимающую, в каком-то смысле цивилизованную, побывавшую в эмиграции, в Европе, не такую жесткую, как Сталин, не такую эксцентричную, как Троцкий, не такую аморфную, как Луначарский, не такую железную, как Дзержинский, не такую простецкую, как Буденный, не такую интеллигентную, как Каменев, не такую непоследовательную, как Бухарин, не такую циничную, как Радек.

Нашла: Зиновьев. У него и вид не слишком партийно-правильный. Явный налет поэтичности: этакая лохматость, губастость, склонность к полноте — значит не злой характер. И две жены в активе. И обе работают на дело революции. И между собой в хороших отношениях, а это значит сумел Зиновьев семейные сложные конфликты разрешить самым оптимальным образом. И поесть любит, и повеселиться не прочь. То есть — сам живет и способен дать жить другим — так что ли?

Вроде бы так.

Комиссар путей сообщения в первые дни декабря, сын царского генерала, большевик, позднее порвавший с большевиками, А.Нагловский оставил потомству поучительное воспоминание: “Я был в кабинете Зиновьева, когда туда пришел председатель петербургской ЧК Бакаев. Он заговорил о деле, сильно волновавшем тогда всю головку питерских большевиков. Одна пожилая женщина, старая большевичка, была арестована за то, что при свидании со знакомой арестованной “белогвардейкой” взяла от нее письмо, чтобы передать на волю. Письмо было

перехвачено чекистами. Дело рассматривалось в ЧК, и вся коллегия во главе с Бакаевым высказалась против расстрела этой большевички, в прошлом имевшей тюрьму и ссылку. Но дело дошло до Зиновьева, и Зиновьев категорически высказался за расстрел. В моем присутствии — свидетельствует Нагловский — в кабинете Зиновьева меж ним и Бакаевым произошел крупный разговор. Бакаев говорил, что если Зиновьев будет настаивать на расстреле, то вся коллегия заявит об отставке.

Зиновьев взъерепенился, как никогда, он визжал, кричал, нервно бегал по кабинету и на угрозу Бакаева отставкой заявил, что, если расстрела не будет, Зиновьев прикажет расстрелять всю коллессию ЧК. Спор кончился победой Зиновьева и расстрелом арестованной женщины”.

Чем он лучше остальных?

* * *

Подруга Крупской Ариадна Тыркова в книге “На путях к свободе” рассказывает о своей встрече в 1913 году в Женеве с четой Ульяновых:

“Я раньше Ленина не встречала и не читала. Меня он интересовал прежде всего как Надин муж... После ужина Надя попросила мужа проводить меня до трамвая... Дорогой он стал дразнить меня моим либерализмом, моей буржуазностью. Я в долгу не осталась, напала на марксистов за их непонимание человеческой природы, за их аракчеевское желание загнать всех в казарму. Ленин был зубастый спорщик и не давал мне спуска, тем более что мои слова его задевали, злили...”

— Вот погодите, таких, как вы, мы будем на фонарях вешать.

Я засмеялась. Тогда это звучало как нелепая шутка.

— Нет, я вам в руки не дамся.

— Это мы посмотрим!”

* * *

Вспоминает Троцкий:

“Жили в Кремле в первые годы революции очень скромно. В 1919 году я случайно узнал, что в кооперативе Совнаркома имеется кавказское вино, и предложил изъять его, так как торговля спиртными напитками была в то время запрещена.

— Доползет слух до фронта, что в Кремле пируют, — говорил я Ленину, — произведет плохое впечатление.

Третьим при беседе был Сталин.

— Как же мы, кавказцы, — сказал он с раздражением, — будем без вина?!

— Вот видите, — подхватил шутливо Ленин, — грузинам без вина никак нельзя!

Я капитулировал без боя.

В Кремле, как и по всей Москве, шла непрерывная борьба из-за квартир, которых не хватало. Сталин хотел переменить свою, слишком шумную, на более спокойную. Агент ЧК Бельский порекомендовал ему парадные комнаты Кремлевского дворца. Жена моя, которая заведовала музеями и историческими памятниками, воспротивилась, так как дворец охранялся на правах музея. Ленин написал ей большое увещательное письмо: можно-де из нескольких комнат дворца унести более ценную мебель и принять особые меры к охране помещения; Сталину необходима квартира, в которой можно спокойно спать; в нынешней его квартире следует поселить молодых товарищей, которые способны спать и под пушечные выстрелы, и проч. Но хранильница музеев не сдалась на эти доводы. Ленин назначил комиссию для обследования вопроса. Комиссия признала, что дворец не годится для жилья. В конце концов Сталину уступил свою квартиру сговорчивый Серебряков, тот самый, которого Сталин расстрелял 17 лет спустя”.

Спецжизнь и спецлитература

Они вошли в Кремль и с его холма увидели Россию. Она принадлежала им со всеми ее богатствами: царскими кладовыми и погребями, музеями и галереями, княжескими и барскими особняками. Со времен Ивана Калиты все это собиралось и сохранялось. Теперь предстояло сберечь.

Однако тут же возник и ленинский лозунг “Грабь награбленное!”. Его можно было понимать как угодно.

Тюрьма есть тюрьма. Кто сидел в ней, сильно отличается от того, кто в ней не сидел. Люди, прошедшие тюрьму, знают такое, что нам, грешным, неведомо. Достоевский, отсидевший в “мертвом доме”, говорил, что Всеволоду Соловьеву не хвата-

ет опыта тюрьмы, необходимого всякому мыслящему человеку. Чрезвычайного опыта!

Имея этот опыт, большевики легко ввели “чрезвычайку”.

* * *

Полные самых благородных намерений, большевики не желали никаких привилегий.

Но в первое же послеоктябрьское время члены нового Совнаркома стали падать в голодные обмороки прямо на местах работы — в кабинетах бывшего царского правительства.

Ленин, не желая потерять свою гвардию, решительным указом ввел с п е ц п и т а н и е . Оно было временной мерой — до тех пор, пока не утрясется хозяйственный вопрос. Эта мера продолжается по сей день. Она легла в основание партийной машины, хотя Крупская, когда привинчивала винтики и шарики машины, и думать о таком не могла: жизнь внесла коррективы. Все семьдесят лет с п е ц ж и з н ь слуг народа возбуждает сначала молчаливое, а сегодня громкое возмущение миллионов, не попавших в спецсписки. Где же провозглашенные равенство и братство?

Английскую королеву определенная часть народа не любит за то, что на нее идет много средств из бюджета, но есть законы, некогда провозгласившие эту привилегию. Большевики не объявили о своих привилегиях широким массам. Они продолжали твердить о равенстве, живя с п е ц ж и з н ь ю , легкой в основу жизни общества, чем создали в обществе фигуру противоречия. Более семидесяти лет партийный и государственный аппараты делили между собой сливки общественного продукта, которого не производили. Третья фигура в этом дележе — “выборные” представители народа — получали свое, поменьше, в кругу собравшихся над продуктом. Остаток, полусъеденный по дороге широкой сетью сферы обслуживания, получал производитель.

Такова грубая схема.

Сама жизнь диктовала большевикам спецформы: Ленин не помышлял об охране, но выстрелила, по-видимому, Каплан, — ему приставили охрану.

Охранять одного Ленина? Другие разве не значительные люди? Штат охраны кремлевских вождей разрастался.

Главные большевики вошли в Кремль не одни, а большой толпой — с женами, чадами и домочадцами. Расселились по квартирам. Все это многолюдье, шумящее, кричащее, спорящее, растущее, каждый день, естественно, желало жить: есть, пить, одеваться. Причем хорошо.

Зря, что ли, по тюрьмам и ссылкам здоровье растрачивали?

* * *

Кремлевские жены под стать мужьям. Соратницы. Сподвижницы. Революционерки. Ниспровергательницы основ. Как Надежда Константиновна, но помельче масштабом. Они не собирались стоять у плит или стирать пеленки. По ту сторону Кремлевской стены, в народе, их ждали серьезные дела. Предстояло помогать мужьям заботиться о голодном и замерзшем народе. И они помогали, как могли. Не жалея сил, увлекаясь работой: поднимали беспризорников, ликвидировали безграмотность, создавали для трудящейся женщины ясли и детсады. Хотя идея детсада и была внедрена, хотя и спецсады, и спецясли появились тут же, жены из “высших эшелонов власти” предпочитали держать детей дома. Именно по этой причине у них возникла необходимость в домработницах и няньках. Много бывших нянек, кухарок, горничных, бонн бродили по Москве, потеряв хозяев. Нужно было преодолеть щепетильный момент и нанять такого рода службу. Кое-кто преодолел. Не все. Большинство жен считало: брать в Кремль слуг от “бывших хозяев” хоть и шикарно, однако буржуазно, нескромно, могут осудить. А также опасно. Чего доброго, убьют или отравят.

Большевицкие жены были подвержены традициям секретности и таинственности не меньше своих мужей — они ведь тоже пришли из тюрем, ссылок, эмиграции. Ко всему этому прибавился новый страх — перед контрреволюцией: а вдруг придут, вернутся, затребуют свое?

Весь новый кремлевский двор от мала до велика знал о расстреле царской семьи. Неужели ни одна женщина из кремлевской новой семьи не содрогнулась? Не воспротивилась? До-

становлено неизвестно, однако легко предположить, что в большинстве своем — нет. Кремлевские жены-большевички и соратницы не должны были сомневаться в справедливости ленинско-свердловского решения, перечисляя преступления на совести царя и всех Романовых: бедность народа, которую их мужья должны были ликвидировать (глагол! — Л.В.), войну... С царицей тоже ясно — немка, погрязла в разврате и злоупотреблениях.

Дети царя и царицы? Ну да, дети, дети... Вроде бы...

Нет! Вырастая, дети могли стать предметами политических интриг для всякого рода врагов советской власти, контрреволюционеров. Их необходимо было ликвидировать (тот же глагол в еще более серьезном значении. — Л.В.) как можно скорее в условиях гражданской войны.

Железная логика? Разве нет?

Тем временем большевики укреплялись.

Новые царицы — не царицы, придворные дамы — не придворные дамы постепенно свыкались со своими ролями. Осваивались.

— Я в тюрьме сидела, а теперь в Кремле сижу!

— Мы боролись и победили, нам положено!

В самом деле — еще вчера тяготы тюрьмы и ссылки, стесненность эмигрантских средств к существованию, а сегодня сложнейшая проблема: одну даму возит новая заграничная машина, а другую — старая; при этом муж первой по положению ниже мужа второй. Непорядок!

В борьбе за автомобиль отлично пошли в ход привычные, характерные навыки людей, прошедших тюрьму и подполье: подозрительность, изворотливость, опыт внутрипартийных провокаций.

* * *

Запрещение книг с самого начала стало нормой советской жизни. От поколений силой заслонили целый пласт литературы и искусства. Лучший.

В моей молодости не издавали Сергея Есенина — у него была “религиозно-патриархальная, в сочетании с уличной, психология”.

Достоевский? Ни в коем случае! “Носитель вредных, махрово-консервативных взглядов”. Федор Михайлович к тому же “страдал склонностью к патологическому созданию образов”.

В середине шестидесятых большая группа поэтов и критиков — мне посчастливилось быть в ней — возвращала к жизни имя Александра Блока, припечатанного новой идеологией “представителем упаднической буржуазной культуры декадентского толка”.

Булгаков, Платонов, Ахматова, Гумилев, Волошин, Цветаева, а позднее Пастернак — вся лучшая литература столетия была под запретом.

Начала запрет добродушнейшая и скромнейшая Надежда Константиновна.

“Известно, что после Октября дело просвещения Руси Ленин отдал в руки своей жене, Надежде Крупской. Эта духовно и интеллектуально весьма ограниченная советская леди (грубее — партийная дура-начетчица) издала один за другим три циркуляра, исключительно замечательных тем, что они говорили ясно всякому, что бестиарий начался”, — негодовал литератор-эмигрант Роман Гуль.

В ноябре двадцать третьего года Горький написал Ходасевичу: “Из новостей, ошеломляющих разум, могу сообщить, что в России Надеждой Крупской запрещены для чтения Платон, Кант, Шопенгауэр, Вл.Соловьев, Тэн, Рэскин, Ницше, Лев Толстой, Лесков”.

Да, запретила. Даже Толстого. Не художественные произведения, а те, вредные, по мнению Ленина, с философскими взглядами непротивления злу насилием. Как же без насилия?!

Надежда Константиновна стояла у своего детища-машины, которая должна была производить психологию и мышление новых людей, и ничего старого, пусть даже великого, не должно было просочиться в новые мозги строителей коммунизма. Но как совместить: Надежда Константиновна, сделавшая так много для всеобщей грамотности России, позволила себе запретить книгу?! Одной рукой созидала, другой разрушала? Противоречие?

Нет.

Воспитанная тюрьмой и ссылкой, возросшая на запрещенной литературе, на печатании запретных листовок и возвра-

ний, она не видела криминала в запрещении книги как таковой. Корни ее поступка лежат в прошлом нашего отечества, и не признаться в этом — значит спрятать голову под крыло. Вспомним хотя бы судьбы русских поэтов начала девятнадцатого века, их подцензурность и трагизм.

Инквизиторша...

Назови ее тогда так, удивилась бы. Она старалась для будущих поколений, очищала их от литературной скверны, мечтая создать замечательного, усредненного человека нового общества без ненужных поисков и отклонений в ушедший мир. Без корней. Или с дистиллированными корнями.

*В этой своей роли, как, впрочем, и во многих других, Крупская была менее всего женщиной. Соратником. Борцом. Со-председателем всего самого большевистского. Соучастником. В мужском роде и в мужском деле. Создавая школьные и пионерские циркуляры, она отлично подлаживала их под мужскую властвующую структуру, в которых девочки и мальчи-
ки, как разные существа, почти неразличимы.*

Другим кремлевским избранницам оставалось брать с нее пример.

* * *

Высшие чины Кремля жили внутри стены с 1918-го по середину 50-х годов.

Я была в кремлевских квартирах и запомнила тяжелую темную дверь, потом лестницу, потом опять тяжелую дверь, а за ней — ярко освещенный коридор со сводами. Красный длинный ковер с зеленой разрисованной каймой лежал по всей ширине коридора. Вдалеке зеркало, делавшее коридор длиннее.

Поэт Владислав Ходасевич бывал в этом коридоре в начале двадцатых, я — в середине сороковых, но коридор за двадцать пять лет не изменился. Воспоминания Ходасевича так и называются “Белый коридор”. Мне придется несколько раз обращаться к ним по ряду причин. Одна из них — очень яркое, пожалуй, единственное в своем роде, художественно-документальное описание первых лет жизни вождей в Кремле.

Ходасевичу понадобилось прийти к Каменеву с просьбой о

жилье. Каменев был тогда председателем московского Совета. Поэт воспользовался тем, что жена Каменева, Ольга Давидовна (она же сестра Троцкого — подпольщики успешно женились в своем кругу: общие интересы и надежно. — Л.В.), курировала пролетарское искусство и покровительствовала поэтам.

“Дверь Каменевых, — пишет Ходасевич, — в самом конце Белого коридора, направо. Мягкая мебель — точно такая, как у Луначарского: очевидно, весь Белый коридор ею обставлен. Выделяется только книжный шкаф, новый, темно-зеленый. Подхожу, вижу корешки. Улыбаюсь. Грабари, Бенуа, “Скорпионы” да “Альционы” глянули на меня из-за стекол каменевского шкафа. Много книг, и многое, вижу, не разрезано. Да и где же так скоро прочесть все это? Видно, что забрано тоже впрок, ради обстановки и для справок на случай изящного разговора. В те дни советские дамы, знавшие только “Эрфуртскую программу”, спешили навести на себя лоск. Они одевались у Ламановой, покровительствовали пролетарским искусствам, ссорились из-за автомобилей и обзаводились салонами. По обязанности они покровительствовали пролетарским писателям, но “у себя” на равной ноге хотелось им принимать “буржуазных”.

С тех самых пор пошла раздвоенность: борются с буржуазией, а сами млеют от свойственных ей удобств, капитализм клеймят, а сами ездят в капиталистических “роллс-ройсах”, не имея отечественных автомобилей, эксплуататоров ненавидят, а сами уже сидят на шее народа со своими временными привилегиями, которые с каждым днем захватывают все большие слои разрастающейся партократии — людей, обслуживающих партмашину.

Но вернемся к Ходасевичу.

“Мы с Ольгой Давидовной коротаем вечер. Она меланхолически мешает угли в камине и развивает свою мысль: поэтами, художниками, музыкантами не рождаются, а делаются; идея о прирожденном даре выдумана феодалами для того, чтобы сохранить в своих руках художественную гегемонию; каждого рабочего можно сделать поэтом или живописцем, каждую работницу — певицей или танцовщицей; дело все только в доброй воле, в хороших учителях, в усидчивости...

Этой чепухи я уже много слышал на своем веку — и от большевиков, и не только от них.

После всевозможных околесиц для меня становится ясно, что Ольга Давидовна намерена собрать писателей, музыкантов, артистов, художников, чтобы сообща обсудить проект. Это значит — опять будут морить людей заседаниями... Мне хочется выгородить товарищей, и я начинаю доказывать Ольге Давидовне, что писателей звать не стоит, что они могут читать лекции по своей специальности, когда все будет готово, но организовывать они ничего не умеют, это не их дело. Между прочим, так оно и есть в действительности, но Ольга Давидовна мечтает именно хорошенько позаседать. К счастью, в эту минуту входит прислуга — толстая баба в валенках — и зовет Ольгу Давидовну к сыну”.

Эта колоритная картинка кремлевского быта, написанная не без яда, насквозь просвечивает другие времена, когда партия десятилетиями решала, что и как должны писать писатели. Основы стиля руководства искусством были заложены с первых дней, и дело не в Ольге Давидовне, которую позднее заменили, а в принципе партийной безошибочности и правоты, возведенном в догму.

* * *

Стиль кремлевской исключительности пришел в нравственное противоречие с народной жизнью. Это противоречие углублялось с каждым днем, каждым годом, каждым десятилетием. И выросла сегодняшняя бездна.

Кремлевская жизнь с самого начала рождала легенды и суперлегенды. Вот уже семьдесят лет живет слух, что вожди в голодные дни гражданской войны ели ложками черную икру. Нет дыма без огня. Был прием по случаю второй годовщины Октября. Федор Раскольников и его боевая подруга Лариса Рейснер привезли из своего успешного волжского похода захваченные в царских рыбных складах бочки с черной икрой. И разложили горы икры перед участниками приема.

Эта икра стоном прошла по устам поколений — забыто, кто, когда, по какому случаю ее привез, забыто, что было лишь раз; помнится — едят икру ложками, а люди голодают!

За несколько лет в Кремле сложился особенный быт, непохожий на дворцовый — с подчеркнуто демонстративной большевистской скромностью, нередко прикрывающей факты исключительности. И все же это был двор. С хозяевами и слугами. Шоферы, повара, уборщицы, няньки, охранники, начальники обслуги, разного рода распорядители — вся эта челядь, набранная из проверенных, революционно настроенных товарищей, поначалу служила людям революции, словно самой революции, иступленно, самоотверженно, бескорыстно. Кремль создал свою уникальную систему хозяйственно-ходатайственного руководства. Вот пример.

Пламенная немецкая революционерка Клара Цеткин летом 1926 года жила на подмосковной кремлевской даче. Ее соседкой была С.Фортунато, работавшая в АХО (административно-хозяйственном отделе Кремля) с июня 1919 года. Фортунато заболела воспалением легких. Ей понадобились деньги и дополнительное лечение. Клара Цеткин написала письмо Авелю Софроновичу Енукидзе, секретарю Президиума ЦИК СССР. Я нашла это письмо в мало кому известном сборнике “Советские архивы” № 3 за 1990 год.

“Многоуважаемый и милый товарищ Енукидзе!

Благодаря случайному соседству по даче, я встретила тов. Фортунато, которая после своей тяжелой болезни чувствует себя очень слабой и нуждается в отдыхе. Мне говорили, что она обратилась с просьбой продолжить ей отпуск для окончательного восстановления своего здоровья. Я разрешила себе сердечно просить вас поспособствовать этому отпуску. Кроме того, поспособствовать отпуску необходимых средств для восстановления ее здоровья. Благодаря своей предусмотрительности, добросовестности и сознанию долга тов.Фортунато, заведующая кремлевскими ценностями, сохранила и сэкономила немалые суммы для СССР. К этому еще можно дополнить, что за все годы своей работы в Кремле т.Фортунато всего один раз пользовалась отпуском, а именно в прошлом году, после двух несчастных случаев.

Я думаю, многоуважаемый тов.Енукидзе, что вы хорошо

знаете справедливость всех этих оснований и пойдете навстречу тов. Фортунато.

С коммунистическим приветом и благодарностью,
уважающая Вас

Клара Цеткин".

Узнаете, советские люди? Узнаете сопроводительные, подкрепляющие ваши просьбы письма в разные инстанции, ваша необходимость получить квартиру сопровождается ходатайственным письмом, ваша необходимость лечь в больницу нуждается в сопроводилровке. Да что там, такой пустяк, как запись в научный зал библиотеки, требует отношения с места работы. Как говорится, в порядке особого исключения — вся жизнь.

Тут сама Клара Цеткин вступилась. И вы думаете, так просто, в один миг все было решено с Фортунато? Ничего подобного.

Волокиту интересно проследить. Письмо Клары Цеткин было рассмотрено 3 августа 1926 года на заседании Секретариата ЦИК СССР. Секретариату в голодной стране больше нечем заняться? Секретариат почему-то решает, как болеть Ленину, ехать или нет на отдых Троцкому...

Решение Секретариата вынесено: "1. Выделить тов. Фортунато в виде пособия на лечение двести рублей. 2. Просить Секретариат ВЦИК продлить отпуск тов. Фортунато на 1 месяц".

На том не кончилось. 11 августа 1926 года сам совет секретарей ВЦИК (!) заслушал предложение Секретариата Президиума ЦИК СССР о продлении отпуска сотруднице АХО Кремля тов. Фортунато и постановил продлить ей отпуск на один месяц.

А если бы не приехала из Германии на нашу революционную землю Клара Цеткин, помирай скромная труженица Фортунато?!

Система сопроводительных писем пришла из большевистского подполья: свой человек должен дать рекомендацию, тогда все будет сделано. Свои люди должны ее затвердить, тогда все будет правильно.

Из "записной книжки" Ивана Федоровича Попова

Он любил вспоминать один разговор с Елизаветой Васильевной в Париже. И даже сам записал его.

“Человек вы молодой, надеюсь, правдивый, отвечайте, кто, по-вашему, Владимир Ильич? — пытала мать Крупской. — Я вам сейчас поясню, зачем и почему спрашиваю. Вот, знаете, мы, пожилые люди, родители, особенно матери, — как собираемся вместе, разговор у нас идет больше всего о детях и особенно о дочерях... Чья дочка за кем замужем. Одна говорит, за адвокатом, другая — за писателем, третья — за профессором... и так далее. А я сижу и думаю, что мне ответить, когда до меня очередь дойдет. “А ваша Наденька, Елизавета Васильевна, за кем?” А я и не знаю, как мне надо будет отвечать, за кем.

Например, можно бы ответить: за адвокатом. На самом деле Владимир Ильич государственный экзамен в Петербургском университете выдержал на адвоката и к одному присяжному поверенному в Петербурге был приписан для практики и даже дела каких-то рабочих вел. А ведь все-таки не адвокат. Не это его постоянное занятие, не это профессия. И также нельзя мне сказать, что он писатель... Книг он немало написал. И каждый день все что-то пишет. А ведь пишет-то он не просто для самого писания и не для заработка, как иные: значит, не писатель. И тоже, сказать к примеру, не профессор; конечно, мог бы он по своей учености, преподавать в университете, а ведь не пошел на это...

Вы не подумайте только чего не надо. Я очень, очень его люблю, но, видно, не придумано еще слово для обозначения того, что мой зять делает”.

Бедная, бедная вдова несостоявшегося революционера! Уж и в тюрьму дочери передачи носила, и в ссылку с дочерью к ссыльному зятю ездила, и в эмиграции по полгода живет с ними, как горничная и кухарка служит дочери и зятю, на ее глазах все разговоры о газете “Искра”, о партии, о рабочем классе, о мировой революции. И ведь не темная она, не безграмотная. Стихи, как известно, в молодости писала. А не может

понять, чем же так упорно и настойчиво занимаются ее дочь и зять.

Мировая революция для сознания Елизаветы Васильевны — хаос и потрясение основ, безбожное дело. Но способна ли она признать, что по четыре раза в день готовит пищу безбожникам и антихристам? Нет, не способна. Была бы способна, бежала бы на край света, только бы не знать, не понимать, чего хотят они, под видом счастья народного. Ее инстинкт ведет помогать дочери. И дочь ее — по всему видно — порядочная, и зять. Не может признать Елизавета Васильевна, чтобы порядочные люди непорядочным делом занимались.

Почему я вдруг вроде назад повернула — вспомнила разговор Попова с тещей Ленина? Хочу понять, что же это за люди были, пришедшие в Кремль править и наложившие главный отпечаток на нас, сегодняшних. Можно сказать, анкету хочу составить. Кратчайшую. Без беллетризованных подробностей. Анкету о профессии и образовании.

Ленин — гимназия, три месяца юридического факультета Казанского университета, курс юридического факультета в Петербурге экстерном.

Сталин — духовное училище, пять лет духовной семинарии в Тифлисе — не окончил.

Свердлов — профессиональный революционер, без образования.

Троцкий — профессиональный революционер, без образования.

Калинин — рабочий, токарь по металлу, профессиональный революционер, без образования.

Каменев — два курса Московского университета.

Молотов — профессиональный революционер, без образования.

Каганович — профессиональный революционер, без образования.

Буденный — военачальник, без образования.

Ворошилов — рабочий, пастух, профессиональный революционер, без образования.

Хрущев — рабочий, несколько курсов партийной школы — не окончил...

Остальные “первые” — Брежнев, Андропов, Черненко,

Горбачев получили высшее и высшее партийное образование при советской власти.

А их жены, соратницы, игравшие немалую роль в общественной жизни, бывшие заведующими, управляющими, членами ЦК и даже наркомами?

Крупская — гимназия, один курс Бестужевских курсов.

Аллилуева — гимназия — не окончила, Промакадемия — не окончила.

Седова — домашнее образование.

Каменева — без образования.

Калинина — без образования.

Молотова-Жемчужина — неоконченное среднее образование.

Ворошилова — белошвейка.

Конечно, дело не в образовании. Иной, не образованный высшим учебным заведением, куда сильнее и полезнее иного окончившего два факультета.

Однако когда так много не слишком образованных людей — и все они без исключения прошли тюрьму, ссылку, большинство прошли эмиграцию — приходят к управлению огромной, полуразрушенной политикой и войнами страной, это опасно для будущего, не говоря уже о настоящем.

Разумеется, умные люди, они понимали, что необходима опора на образованный, сложившийся до них мир. И в ряде случаев они сумели подойти к людям этого мира, и в ряде случаев они встретили на первых порах понимание.

Но стиль тюрьмы, окрик и звук скрежещущего насилия отпугнули, отвратили интеллигента — ученого, инженера, литератора.

Машина партийного управления не справилась с человечностью.

* * *

Казнили Берия... С него сняли гимнастерку, оставили белую нательную рубашу, скрутили веревкой сзади руки и привязали к крюку, вбитому в деревянный щит. Этот щит предохранял присутствующих от рикошета пули.

Прокурор Руденко зачитал приговор.

БЕРИЯ. Разрешите мне сказать...

РУДЕНКО. Ты уже все сказал. (Военным.) Заткните ему рот полотенцем.

БАТИЦКИЙ. Товарищ командующий, разрешите мне (достаёт свой "парабеллум"). Этой штукой я на фронте не одного мерзавца на тот свет отправил.

РУДЕНКО. Прошу привести приговор в исполнение.

Батицкий вскинул руку. Над повязкой сверкнул дико выпученный глаз, второй Берия прищурил. Батицкий нажал на курок, пуля угодила в середину лба. Тело повисло на веревках, — так рассказывает А. Антонов-Овсеенко на основании документов и воспоминаний участников события.

Осужденный просил слова перед казнью. В любом цивилизованном мире даже такому злодею, как Берия, в последнем слове не отказывают, но здесь прокурор Руденко, который, вполне возможно, еще недавно пировал вместе с Берия на пикниках или, может быть, только мечтал об этом, буквально заткнул ему рот полотенцем.

Батицкий, победы не Хрущев, а Берия, прицелился бы в Хрущева с не меньшим удовольствием. Почему нет?!

Бедный, бедный, жалкий, жестокий, мужской мир.

Несчастные большевики, получившие в 1917 году уникальнейшую возможность преобразить звериный лик ВЛАСТИ как таковой, не только не воспользовались этой возможностью, но в упоении ВЛАСТЬЮ усилили зверства.

Закон — "ТЮРЬМА" — лег в основание новых формирующихся нравственных категорий, начиная с самого главного: с семьи, с ребенка. Исконные, но веками забываемые на общественных уровнях такие естественные законы семейных отношений с 1917 года были подчинены законам всеобщих повинностей: выходя из дому, человек сразу же попадал в некие воинские формирования, независимо от пола, возраста и характера: октябрюта, пионеры, комсомольцы, коммунисты. Внутри этих формирований человек растворялся, хотя не скажешь, что проявляться не мог. Разумеется, мог и должен был, но лишь в рамках, в строгих рамках установленных принципов. Оттуда, из этих формирований, люди и их дети возвращались в семьи, часто разрушая семейные очаги своей обобществленной, антисемейной нравственностью.

Тут и многочисленные примеры конфликтов отцов и детей, жен и мужей, сестер и братьев, когда разница во взглядах способна довести до кровопролития.

Разумеется, все эти явления не изобретены большевиками. Они были в человечестве всегда очень сильно, есть сегодня и грандиозно будут завтра, если тысячелетиями молчащая в своем углу женщина не выйдет из угла с единственной целью: возродить общечеловеческую семью.

* * *

Юрий Дружников, эмигрировавший в семидесятых на Запад, вспоминает о своей случайной экскурсии на ближнюю сталинскую дачу весной 1953 года, когда еще “дух” Сталина не выветрился там:

“Зал длиной метров тридцать. Овальный противоположный конец, как в дворянских особняках позапрошлого века. Много одинаковых окон, плотно задраенных тяжелыми белыми гардинами, такими же, как во всех важных учреждениях центра Москвы.

Нижняя часть стен, метра на полтора от пола, коричневая, отделанная карельской березой, что выглядит довольно казенно. Под окнами — батареи электрического отопления, укрытые решетками из такой же березы. В промежутках между окнами висят портреты. Это члены Политбюро: Маленков, Булганин, Каганович, Микоян, Ворошилов, Молотов, Хрущев...

Посреди зала, на всю его длину, стол. Плоскость покрыта темно-зеленым бильярдным сукном. Вокруг спинки жестких кресел из светлого дерева. Вдоль стен кресла, диваны. На полу колоссальный ковер на весь зал — кажется, единственная действительно дорогая здесь вещь...

— Мы с вами находимся в помещении, где проходили заседания Политбюро, — торжественно произносит экскурсовод. — Товарищ Сталин любил, чтобы каждый из присутствующих сидел за столом точно под своим портретом.

Ничто не смутило нас, двадцатилетних, тогда. Теперь читаю старую свою запись и останавливаю глаза. Что за домашние сборища лидеров? Они кто, подпольщики?”

— Слушайте, у меня чуть не случился роман с большевиком-подпольщиком, — сказала, смеясь, Саломея Николаевна.

— Ого! А почему “чуть”? — заинтересовалась баронесса Будберг.

— Мы поехали с мамой из Баку в Петербург. Это был наш первый выезд в большой свет. Мама везла меня. Показать обществу. Папа ждал нас в Петербурге. Я была юная, совершенное дитя, худенькая, как цыпленок.

— И красоты неимоверной, — прогудела Мария Игнатьевна.

— Не думаю, но что-то во мне, конечно, было. И в вагоне познакомились мы с очаровательным человеком. Грузин. Светский, свободный в манерах. Влюбился. Смотрел на меня так волнующе. Но что-то в нем было неуловимо скользкое. Назвал свое имя — кажется, Вахтанг. На остановках он всегда волновался и норовил уйти погулять. Приносил мне цветы, соленые огурцы, яблоки. Мы долго с ним по вечерам разговаривали возле нашего купе, у окна. Так, обо всем. Знаете, эти разговоры, когда говорят одно, а думают другое. Он сказал мне, что никогда меня не забудет. Но я от природы не слишком обращаю внимания на мужские комплименты — им ничего не стоит говорить это каждой встречной женщине.

Перед Петербургом наш попутчик заметно волновался, все оглядывался. Сказал мне, что уверен в нашей будущей встрече, взял адрес квартиры, где мы с мамой собирались жить, но своего адреса не предлагал. Я и не спрашивала. Я как-то сразу поняла, что он — с загадкой. Тогда подпольщиков была масса! Поезд подошел. Папа встречает нас и родственники тоже, все шумят, с цветами. Вахтанг куда-то исчез. Не попрощался. А я заметила, что на перроне много полицейских. Не знаю, показалось мне или на самом деле, уже выходя из здания вокзала, я опять увидела в стороне большую группу полицейских, а в их кругу — как будто наш попутчик, его спина, голова вниз. Так оно и было. Он написал мне из какой-то глухомани, Архангельск, что ли, не помню, что его взяли, как только поезд подошел к перрону. В письме представлялся полным именем,

извинялся, что революционное подполье не давало тогда ему права назвать себя, объяснялся в любви и опять выражал уверенность в нашей встрече. Я никогда с ним больше не встрети-лась.

Уже в эмиграции я узнала, что Авель Софронович Енукидзе — это был он — занимает высокий пост в советском правительстве. А в начале тридцатых мой брат попал в типичную советскую беду — в тюрьму по оговору. Я написала Енукидзе, чтобы он помог. Переслала письмо с оказией, и Енукидзе, представьте, все сделал для моего брата. Даже ответ прислал — написал, мол, счастлив, что я его за столько лет не забыла. Звал переехать в Россию — “одного вашего слова достаточно, и все у вас будет”.

Писал: “...если вы все такая же решительная, умная и прекрасная, как тогда в вагоне, ваше место здесь”. Мой муж, Александр Яковлевич, возненавидел это письмо. Одна мысль, что я могу уехать, привела его в бешенство. Кажется, он письмо уничтожил.

И знаете, что я думаю? Мои два, да, да, кажется, два письма Енукидзе, возможно, были уликой против него, когда его, бедного, Сталин посадил и потом ликвидировал.

— Вполне вероятно, — прогудела Будберг. — Я знала Енукидзе. Красивый был. Очень любил творческую интеллигенцию. Большой бабник. Холостяк. Может, он вас тем письмом замуж звал. Хорошо, что не поехали. Вас бы вместе ликвидировали. Говорили, он покровительствовал балету Большого театра и развлекался с балеринами. Его за какие-то такие делишки Сталин из руководства выкинул. Оба бобылями жили, но Сталин на баб глаз не поднимал, а этот вертелся.

Давайте помянем красавчика, — подняла она рюмку с водкой, — пострадать из-за юбки — святое дело. А вы, Саломочка, наверно, правы. Ему Вас заодно с другими в любовницы вписали: переписка с любовницей-эмигранткой, английской шпионкой, женой известного масонщика Александра Гальперна.

А? Что? Звучит пятьдесят восьмая статья? Дорого обошелся Енукидзе невинный флирт в вагоне из Баку в Петербург.

— Ах, это всего лишь предположение, — сказала Саломея.

ЖЕНСКИЙ ВОПРОС И МУЖСКОЙ ОТВЕТ

Несомненной и, возможно, главной победой партии большевиков была быстрая и почти полная ликвидация безграмотности, преобразившая лицо России. И как бы сегодня ни кляли большевиков их дети, внуки и правнуки, они клянут довольно грамотно, литературным языком, почти без ошибок.

Научив страну читать и писать, новая власть не в первую очередь, даже не во вторую, считая более главными всевозможные политико-экономические проблемы, а, пожалуй, в пятую и шестую подошла к так называемому “женскому вопросу”.

Машина, столь любовно создаваемая Надеждой Константиновной, наконец-то запустила свои металлические, механические щупальца в мир тонких и сложных материй.

“Замутили воду” дамы: Инесса Арманд, Лариса Рейснер и, в особенности, Александра Коллонтай, очень много внимания уделявшая “женскому вопросу” в первые пореволюционные годы. Прелестные фурии, отнюдь не кремлевские жены, а кремлевские соратницы, чтобы не сказать возлюбленные, в той или иной степени стояли на позициях “свободной любви”.

“Для классовых задач рабочего класса, — писала Коллонтай, — совершенно безразлично, принимает ли любовь форму длительного и оформленного союза или выражается в виде проходящей связи”.

Это она, умница, красавица, изящная и тонкая, словно статуэтка севрского фарфора, генеральская дочь, ушедшая в революцию, провозгласила теорию любви, как “стакана воды”: выпито и забыто. Пытаясь применить теорию на практике, Коллонтай, однако, полюбила большевика Павла Дыбенко, он был моложе ее на шестнадцать лет, и его измены с молодыми девушками она переживала, как нормальная женщина, тяжело, бурно, забыв про свой “стакан воды”.

Но на первых порах идеи “свободной любви”, ярко высказанные Коллонтай в статье “Дорогу крылатому эросу”, взбудоражили солидную публику. Разволновалась нравственная

Надежда Константиновна. Она дала отпор Александре Михайловне Коллонтай в статье “Брачное и семейное право”, написав: “Единобрачие является наиболее нормальной формой брака, наиболее соответствующей природе человека”.

Крупская и Коллонтай.

Жена и гетера.

Два полюса женского проявления.

Возможно ли их примирить? Нет. Благоразумнее дать разобратся самой жизни.

В 1923—1924 годах были дискуссии о партэтике, на них возникал “женский вопрос”. Беру его в кавычки, уверенная, что такого вопроса нет в природе. Любой самый малый “женский вопрос” немедленно становится мужским: мы — неделимы, а тот факт, что “женский вопрос” все-таки есть — свидетельство аномии, нравственной болезни общества.

Дискуссии обнажили прежде всего полную несостоятельность людей партийной машины по-человечески подходить к человеку.

Вот лишь некоторые, но характерные высказывания участников: Крупской, Ярославского, Сольца, Луначарского, Лядова-Мандельштама:

“Беспартийная масса рассматривает партию как застрельщицу в создании новых норм семьи, семейного быта”.

“Женская слабость” воспевалась когда-то поэтами как “вечно женственное”, и нами определенно расценивается как неизбежное последствие векового рабства женщины в результате исторических условий, которые будут окончательно устранены только при коммунизме”.

“Новый тип женщины выковывается (глагол! — Л.В.) на наших социалистических фабриках и заводах. Там можно наблюдать, правда, медленный, но многообещающий рост женщин будущего, красота которых ничего общего не имеет с вечно женственной красотой, воспетой поэтами старого времени. По кусочкам особый тип женщины уже воспроизводится (глагол! — Л.В.) новыми поэтами и писателями, но в целом он еще настолько весь в динамике роста, что не поддается художественному воплощению”.

“Партия имеет право заглянуть в семью каждого из нас и проводить (глагол! — Л.В.) там свою линию”.

“Члены нашей партии слишком мало думают об индивидуальной пропаганде прежде всего в собственной семье”.

“Мы должны быть беспощадными, если выявится, что под влиянием жен коммунисты-мужья отступают от коммунистической этики”.

“Из практики контрольных комиссий известно немало случаев, когда все совершенные преступления делались под влиянием буржуазных жен, иногда принявших личину коммунисток. Однако неизвестен случай, когда контрольная комиссия в таком деле поставила бы развод условием оставления в партии. В иных случаях это было бы очень к месту и давало бы соответствующие результаты”.

“Партия справлялась со многими болезнями, справится и с непорядками в семейной жизни коммунистов”.

“Мы имеем право требовать, и мы должны требовать от членов партии, чтобы духовное верховенство в семье принадлежало коммунистам. Коммунист, который не может домашнюю жизнь повернуть по-своему, внести в семью свое руководящее коммунистическое начало, такой коммунист очень мало стоит. Партия до сих пор слишком мало занималась семейным бытом, и этот пробел уже давно чувствуется в низах”.

“Фронт беспартийных жен еще не встал перед партией как одна из важных задач”.

“Семья еще долго будет являться важнейшим фактором нашей жизни. До идеала еще очень далеко”.

Удивительное высказывание. Не значит ли оно, что идеал коммуниста — жизнь без семьи? Всех детей сдадим в приют, и все бабы будут наши — вот идеал?

“Настоящее освобождение женщины, настоящий коммунизм начнется только там и тогда, где и когда начнется массовая борьба (руководимая владеющим государственной властью пролетариатом) против этого мелкого домашнего хозяйства или, вернее, массовая перестройка (выделено не мной. — Л.В.) его в крупное социалистическое хозяйство”.

Вот, вот — ВЛАСТЬ, борьба, перестройка — фантомы мужской силы, втискиваемые в хрупкие формы семейных отношений.

Могло ли такое отношение к жизни и человеку кончиться для человека добром в огромном масштабе?

Сегодня мы, советские люди, — новая общность — плоды той этики. И не скоро освободимся от ее влияния. Если освободимся, а не попадем в новое рабство.

От таких взглядов на женщину и мужчину, превращающих обоих в роботов партии, знаменателен переход к идее семьи. Большевик А.А.Сольц, много времени посвятивший этой идее, говорит буквально следующее:

“Семейный вопрос — это вопрос о том, как должен жить член партии в своей семье. Лучше всего об этом сказала Н.К.Крупская. Я от нее первой услышал такую удачную формулировку, что семья члена партии должна быть в известном смысле ячейкой содействия. Это должна быть такая группировка товарищей, когда один в семье живет приблизительно так же, как он живет и вне семьи, и все члены семьи должны всей своей работой и жизнью представлять нечто похожее на ячейку содействия”.

Рассуждая, как добиться (глагол! — Л.В.) подобного идеала, партийцы приходят к выводу:

“Нужен резкий перелом во всем деле воспитания наших детей. Если буржуазное общество через свои школы, свои детские дома сумело проводить (глагол! — Л.В.) искусственное воспитание мещанина, против которого шла уже сама жизнь, то мы должны первый удар нанести по этому месту, изменить прежде всего дело воспитания наших детей. Можно ли коллективного человека воспитать в индивидуальной семье? На это нужно дать категорический ответ — нет! Коллективно мыслящий ребенок может быть воспитан только в общественной среде. В этом отношении лучшие родители губят своих детей, воспитывая их дома”. — Так говорил и писал большевик М.Н.Лядов в 1924 году.

Результатом дискуссий стало первое в истории партии “Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) по “женскому вопросу”, предписывающее все то, о чем говорилось выше. Первое вплоть до 1989 года — когда появилось последнее.

Это “Постановление” сделало свое дело: коллективное развитие человека пошло в массовом масштабе.

Женское начало с его миролюбивым, миротворческим ха-

рактором не востребовалось новой, не виданной прежде властью, провозгласившей мир, свободу, братство и поднявшей эти мирные слова на штыки. Женщина должна была стать подспорьем нового мужского общества во всех делах на равных, но без собственного лица, или полуравных: все же рожать кому-то надо, а мужчине пока что ни одному не удалось родить.

Кремлевских семей “Постановление” вроде бы не коснулось. Кремлевские жены были в массе своей женщины разумные. Интуицией, достойной внимания, они ощущали, что жизнь и “постановления” их мужей не одно и то же. Посему и держали своих командиров, вождей, комиссаров не только товариществом партийного масштаба, но и уютом, буржуазным семейным теплом, кремлевским бытом, который утрясался, укреплялся, устанавливался как некая, становящаяся незыблемой, величина.

Кремлевский быт внутри ограниченного красной стеной пространства — тема во многом неизвестная и вполне неисчерпаемая.

Коротко могу сказать одно: чтобы удержать около себя вождей, кремлевские жены должны были быть хозяйками и соратницами, марфами и мариями. Одновременно.

Все же щупальца машины достали и Кремль, не так — так этак, изувечивая человеческие отношения внутри кремлевских семей.

ЖЕНЩИНА РЕВОЛЮЦИИ, или ЛЕГЕНДА О ЛАРИСЕ

Легенда возникла сразу после Октябрьского переворота. Разные люди рассказывали ее примерно одинаково: в ночь взятия Зимнего дворца большевиками на крейсер "Аврора", в сопровождении группы красных моряков, взошла женщина невероятной, нечеловеческой красоты, огромного роста, с косами вокруг головы. Лицо бледное, ни кровинки. Словно ожившая статуя.

Она-то и распорядилась дать залп.

— Знаменитый залп "Авроры", возвестивший Октябрьский переворот?!

— Да.

— Женщина на корабле — плохая примета...

* * *

Ходили слухи, что Лариса Рейснер, интеллигентная девица, дочь профессора, еще до революции имела политические связи с моряками, с Кронштадтом и вела среди моряков революционную пропаганду.

Говорили, что Федор Раскольников, руководитель большевиков Кронштадта, не бог весть кто по происхождению, и девушка из очень приличной семьи, Лариса Рейснер, то ли спутались, то ли вместе занимаются революцией, то ли то и другое — это модно...

Вряд ли можно причислить ее к списку кремлевских жен, хотя мужчины, с которыми она связывала судьбу, были людьми Кремля.

Ее называли Женщиной Революции.

Лариса — по-гречески значит "чайка" — сильная, смелая, быстрая, хищная птица. Она полностью совпадала со своим

именем, Рейснер — фамилия, как всякая иностранная, звучит загадочно для русского уха.

Она родилась в Петербурге, в 1895 году. Надежда Крупская в это время уже страстно работала на ленинскую идею борьбы за освобождение рабочего класса.

Она ушла из жизни в 1926 году. Овдовевшая Крупская в это время искала себе опору в мире, созданном ее же руками.

Кометой промелькнула Лариса на пылающем небе революции и сгорела, оставив за собой след, похожий на восклицательный знак. Во всяком случае, таким этот след казался сначала.

* * *

Среди множества воспоминаний о ней не было ни одного, где бы не говорилось о ее красоте. Все вместе как-то даже сумели обрисовать ее.

“Стройная, высокая, в скромном сером костюме английского покроя, в светлой блузке с галстуком, повязанном по-мужски. Плотные темноволосые косы тугим венчиком лежали вокруг ее головы. В правильных, словно точеных, чертах ее лица было что-то нерусское и надменно-холодноватое, а в глазах острое и чуть насмешливое”.

Всеволод Рождественский, поэт.

“Темные волосы, закрученные раковинами на ушах... серо-зеленые огромные глаза, белые прозрачные руки, легкие, белыми бабочками взлетающие к волосам, когда она поправляла свою тугую прическу, сияние молодости, окружавшее ее, — все это было действительно необычайным. Когда она проходила по улицам, казалось, что она несет свою красоту, как факел, и даже самые грубые предметы при ее приближении приобретают неожиданную нежность и мягкость... Не было ни одного мужчины, который прошел бы мимо, не заметив ее, и каждый третий — статистика, точно мной установленная, — врвался в землю столбом и смотрел вслед, пока мы не исчезали в толпе. Однако на улице никто не осмеливался подойти к ней: гордость, сквозившая в каждом ее движении, в каждом повороте головы, защищала ее каменной, нерушимой стеной”.

Вадим Андреев, сын писателя Леонида Андреева.

“Необычайная красота ее, необычайная потому, что в ней начисто отсутствовала какая бы то ни было анемичность, изнеженность, — это была не то античная богиня, не то валькирия древненемецких саг...”

Юрий Либединский, писатель.

“Я совсем не был готов, входя в купе, к красоте Ларисы Рейснер, от которой дух захватывало, и еще менее был подготовлен к чарующему каскаду ее веселой речи, полету ее мысли, прозрачной прелести ее литературного языка”.

Эндрю Ротштейн, английский журналист.

Даже женщины не могли не признавать эту красоту. Весьма скептически относившаяся к Ларисе Надежда Мандельштам, жена поэта, писала о Рейснер: “Она была красива тяжелой и эффектной германской красотой”.

Вокруг Ларисы всегда ходили легенды. Вот и германская красота не случайно возникла — вроде бы предки ее были рейнские бароны.

Художник Василий Шухаев изобразил Ларису в виде Джонконды. Это дало свою пищу слухам — возможно в ней была итальянская кровь.

И все подряд отмечали фамильную гордость Ларисы.

Те, кто любил эту семью, утверждали: гордость идет Рейснерам, как плащ и шпага мушкетерам Дюма.

Говорили также, что род главы семьи Рейснеров взял свое начало от крестоносцев.

Противники этой семьи уверяли, что предок хозяина дома крещеный еврей.

В семье было четверо: профессор Михаил Андреевич Рейснер, его жена Екатерина Александровна, по всем отзывам современников женщина талантливая, замечательно добрая и благородная, очень элегантно происхождения: урожденная Хитрово, находившаяся в родстве с Храповицкими и Сухоминовыми; двое детей — Игорь и Лариса.

Жили интересно. Отец, революционно настроенный, читал лекции для рабочих — они имели огромный успех, в особенности о “Машине времени” Уэллса, — умело используя на русской почве утопические идеи знаменитого англичанина. В 1914 году М.А.Рейснер вместе с Ларисой выпустил несколько

номеров литературного журнала "Рудин". Название журнала в честь героя романа Тургенева, окончившего жизнь на баррикадах, говорило о направлении.

Короткий век, отпущенный Ларисе Рейснер (1895—1926) пришелся на мировую войну, революцию, гражданскую войну.

Но вначале были стихи. По форме они соответствовали понятиям декадентской поэзии.

* * *

*...Палитру золотит густой, прозрачный лак,
Но утолить не может новой жажды:
Мечты бегут, не повторяясь дважды,
И бешено рука сжимается в кулак.*

*Апрельское тепло не смея расточать,
Изнеможенный день идет на убыль,
А на стене все так же мертвый Врубель
Ломает ужаса застывшую печать.*

*Но есть предел желаний и труда,
Смеется на холсте лицо Горгоны,
Смеется гибельно, невозможная стоны,
Как под ударами гремющая руда!*

Столь витиевато и узорно описывала Лариса Рейснер состояние художника, не способного вырваться из плена своей эстетики. Думая о себе. И вырывалась, вырывалась — вырывалась:

Песня красных кровавых шариков

*Мы принесли, кровеносные пчелы,
из потаенных глубин
на розоватый простор альвеолы
жаждущих соков рубин.
Вечно гонимый ударом предсердий
наш беззаботный народ
из океана вдыхаемой тверди
солнечный пьет кислород.
Но, как посол, торопливый и стойкий,*

*радости долгой лишен,
Мы убегали на пурпурной тройке,
Алый надев капюшон.
Там, где устали работать волокна,
наш окрыленный прыжок
бросит, как ветер, в открытые окна
свой исступленный ожог.*

Такие стихи в дни молодости Ларисы назывались “научной поэзией”. В наше время похоже начинали некоторые молодые метафористы.

Высокомерный царь поэтов, Александр Блок, всегда относившийся к поэзии женщин, мягко говоря, с плохо скрываемым равнодушием, однажды, ведя вечер, в котором участвовала Лариса Рейснер, талантливо сумел сказать о ней много добрых слов. И ни слова о ее поэзии.

Стихи были похожи на нее — красивые и холодные, однако в этом холоде жила огромная энергия жажды самовыражения, которая и позднее вела ее перо, создавая цветистые очерки о фронте и об Афганистане, где были сравнения: “колеса — это катушки, на которые намотано пространство”, где было много птиц, в особенности лебедей — Лариса обожала их, — где угадывалась красивая рука талантливой словесной вышивальщицы.

Своеобразие ее характера состояло в сочетании горделивого себялюбия со страстной любовью к жизни.

Революция высветила эти черты.

* * *

Ходили слухи, что Лариса Рейснер имела непосредственное отношение к охране памятников старины и искусства в Зимнем дворце, которые с первых минут Октября приходилось спасать от разбушевавшихся революционных масс. Говорили также (никто, однако, не проверял), что от той деятельности остался у Ларисы на память о революции золотой перстень с такой величины алмазом, что — ой, ой, ой!..

Говорили: прямо из Зимнего, передав народному комисса-

ру Луначарскому дело охраны ценностей, Лариса Рейснер ушла с моряками-балтийцами на фронты гражданской войны.

Утверждали, что летом 1918 года Лариса в боях под Казанью своей не женской смелостью решала исход сражений.

Рассказывали, что Лариса переделалась простой бабой, крестьянкой, пробралась в расположение колчаковских войск и в тылу у белых подняла восстание.

Через всю советскую культуру — литературу, живопись, драматургию, кино — на протяжении семидесяти лет проходит образ женщины-революционерки в кожанке, с револьвером в руке или с рукою, опущенной в карман кожанки — предполагается револьвер в кармане.

Она ведет революционных матросов в бой. Она стоит на капитанском мостике во время страшной баталии, не уступая, а порой и превосходя силой духа и выносливостью самых крепких мужчин.

Образ, хоть и вобрал в себя разных женщин, прежде всего списывался с Ларисы Михайловны Рейснер. Начало этому положил Всеволод Вишневский своей “Оптимистической трагедией”, где вывел Ларису как женщину-комиссара, ибо был на корабле, команду которого своими речами вдохновляла Рейснер.

В жизни, однако, все выглядело иначе. Ни один документ, ни с одной стороны не подтверждает того факта, что Лариса Рейснер распоряжалась действиями крейсера “Аврора” в ту октябрьскую ночь. Но, как говорится, нет дыма без огня. Женщина была. На крейсер не поднималась, но к нему подходила, возглавляющая делегацию, посланную Городской думой Петрограда, — графиня Панина. Делегаты Думы пытались проникнуть, опасаясь, что “правительство может погибнуть под развалинами”, в Зимний, в Смольный и на “Аврору”, но их никуда не пустили.

Что же касается Ларисы Рейснер, то она появилась на революционной сцене России несколько позднее рядом с фигурой Федора Раскольникова.

* * *

В 1918 году Лариса Рейснер прошла по Волге, Каме и Белой весь путь вместе с военной флотилией, которая помогала Крас-

ной Армии отвоевывать города и селения от белогвардейцев и чехословацкого корпуса. И во многом, благодаря ее личности и ее перу поход оказался легендарным.

Командующий флотилией — Федор Раскольников. Фигура сильная, многозначная, резкая, чрезвычайно характерная для того периода. Можно сказать — живой монумент революционного энтузиазма. Образ революционной силы. Лишь перед Ларисой смягчался Раскольников.

Война счастливо совпала с любовью.

Возможности Федора были грандиозны.

Красота и смелость Ларисы необычайны.

Все в превосходной степени.

Лариса стала женой и флаг-офицером, адъютантом Раскольникова. Случались в походе, благодаря присутствию Ларисы, экзотически-незабываемые впечатления. По пути следования флотилии на берегах Волги, Камы и Белой было много брошенных помещичьих имений. В некоторых остались нетронутыми мебель, еда, одежда.

Лариса облачалась во всевозможные “ничьи” наряды и появлялась на кораблях то в пышных платьях дам, то в легких платьицах девушек. При этом она была проста в обращении с командой, демократична и весела.

Она любила опасные ситуации и сама нарывалась на опасности. Так, один из участников событий Волжской флотилии Н.Карташов, восхищаясь Ларисой, рассказывает, как она неожиданно появилась у них на канонерской лодке и приказала открыто пойти в разведку на катере. Третий комфлот возражал, считая нецелесообразным подвергать команду бессмысленному риску. Упрямая Лариса настояла на своем:

“Она встала рядом у руля, улыбалась, довольная тем, что идет навстречу опасности. Быстроходный катер-истребитель, рассекая воду, устремился по фарватеру вниз, в расположение противника. А затем скрылся из нашего наблюдения. Лишь по начавшейся стрельбе 37-миллиметровых пушек и пулеметов нам удавалось определять его местонахождение. С наших судов открыли заградительный огонь. Началась артперестрелка. Вскоре катер-истребитель, искусно маневрируя, возвратился обратно целым и невредимым”.

Откуда это чувство вседозволенности?

За Ларисой Рейснер стояло многое: и революционная деятельность отца, и ее собственная преданность большевикам, и, конечно, прежде всего “морской вождь” — Федор Раскольников.

Восторгаясь Ларисой, ее красотой, стремительностью, уверенной смелостью, простые мужики-матросы вряд ли принимали всерьез эту хозяйку революции. Трудно поверить, что их могли вдохновить ее ненатуральные речи, обращенные к ним:

“Товарищи моряки! Братва! Вы хорошие и боевые молодцы. Все как на подбор собрались. Мне пришлось быть в Казани и видеть, как контрреволюционеры-белогвардейцы расправлялись с нашими братьями. Этого никогда не забыть... Мне удалось вырваться и пробраться сюда через линию фронта, и вот я опять среди своих... Я счастлива встретиться с вами и приветствовать моряков, почувствовать ваш боевой дух, вашу готовность бить и гнать врагов с нашей родной матушки-Волги. Мы вместе должны мстить нашим заклятым врагам”.

Все же она вдохновляла их, завшивленных, замученных нескончаемыми малопонятными войнами мужиков, взбадривала своей победительной женственностью, напоминая, что где-то есть у них пусть не такая, но своя баба.

Ларису Рейснер можно назвать часто встречающимся в России типом ряженой, народной артисткой, у которой жизнь — огромная сцена для проявления ее талантов.

Она великолепно сыграла поэтессу, вышивающую слово, разведчицу, пробирающуюся по болотам в стан врага, комиссара, зовущего в бой, журналистку, идущую на труднейшее задание. Она бросала свое красивое тело под снег и град, под обстрелы, пила воду из вонючих луж, рядом с кавалеристами лихо сидела в седле и наслаждалась, чувствуя, что ежеминутно рискует получить пулю, и наслаждалась, чувствуя, что пуля не берет ее, и наслаждалась, зная, что скоро сменит этот наряд на другой, ибо вот-вот предстоит ей другая, принципиально другая роль!

В результате небезопасной игры с жизнью Лариса Михайловна привезла с фронтов гражданской войны тропическую малярию. Болезнь сильно мучила ее, но и эту игру со смертью она превозмогала с лихой мужественностью.

Когда смерть действительно подошла к ней, лишь в последние минуты жизни, сжигаемая брюшным тифом, Лариса на мгновение очнулась от бреда и ясно сказала:

“Теперь я понимаю, в какой опасности я нахожусь”.

Точно учуяла опасность, как будто бы все о себе знала наперед.

* * *

Она не отказывала себе ни в чем: ни в возможности быть убитой белогвардейцами, ни в возможности умереть от тифа, ни в возможности жить по-царски там, где голодают люди.

Она говорила: “Мы строим новое государство. Мы нужны людям. Наша деятельность созидательная, а потому было бы лицемерием отказывать себе в том, что всегда достается людям, стоящим у власти”.

Что ж, хотя бы искренна была. Другие молчали или прибеднялись, вроде бы не знали, что “у кого власть, у того и сласть”.

Воз тот и ныне там.

Она умела превратить в подвиг любую безнравственность.

Поэт Осип Мандельштам рассказывал своей жене, как Лариса устроила у себя вечеринку исключительно дабы облегчить чекистам арест тех, кого она пригласила в гости.

Она же могла принести голодной Ахматовой мешок продуктов, подвиг тут не в том, что продукты было тяжело достать — для нее не тяжело было, а в том, пожалуй, что она, непреклонная, склонялась перед истинной поэзией, понимая свою неистинность в стихах.

Клубок противоречий!

* * *

Приятель юности Ларисы Рейснер, поэт Всеволод Рождественский в своих воспоминаниях достаточно красноречив:

“Однажды, как сейчас помнится, в сырой осенней полумгле 1920 года я услышал мягкий шелест автомобильных шин близко за своей спиной. Большая легковая машина, затормозив, остановилась несколько впереди меня. Из окна кабины выглянуло чье-то смутно знакомое женское, приветливо улыбающе-

еся лицо. Но странно — в морской форменной фуражке. Я сделал несколько шагов ближе и сразу же узнал — Лариса! Да, это была она — в морской черной шинели, элегантная и красивая, как всегда”.

Далее Рождественский рассказывает, как через несколько дней пошел к Ларисе по ее приглашению, захватив с собой друзей-поэтов Михаила Кузмина и Осипа Мандельштама:

“Лариса жила тогда в Адмиралтействе. Дежурный моряк повел по темным, гулким и строгим коридорам. Перед дверью в личные апартаменты Ларисы робость и неловкость овладели нами, до того церемониально было доложено о нашем прибытии. Лариса ожидала нас в небольшой комнатке, сверху донизу затянутой экзотическими тканями. Во всех углах поблескивали бронзовые и медные будды калмыцких кумирен и какие-то восточные майоликовые блюда. Белый войлок каспийской кочевой кибитки лежал на полу вместо ковра. На широкой и низкой тахте в изобилии валялись английские книги, соседствуя с толстенным древнегреческим словарем. На фоне сигнального корабельного флага висел наган и старый гардемаринский плащ. На низком восточном столике сверкали и искрились хрустальные грани бесчисленных флакончиков с духами и какие-то медные, натертые до блеска, сосуды и ящички, попавшие сюда, вероятно, из тех же калмыцких хурулов. (Это были скромные трофеи, доставшиеся от волжского похода. — Л.В.). Лариса одета была в подобие халата, прошитого тяжелыми золотыми нитями, и если бы не тугая каштановая коса (цвет волос все воспоминатели называют разный: черный, каштановый, золотистый, русый — поди пойми, какого же цвета были волосы у Ларисы Рейснер? — Л.В.), уложенная кольцом над ее чистым и строгим пробором, сама была похожа на какое-то буддийское священное изображение”.

Ох уж этот невинный, без желания разоблачить, разоблачающий взор поэта!

Эклектический воляпюк обстановки, в которой живет прославленный комиссар, неожиданно вдруг свидетельствует о том, что железная революционерка, прежде всего и самое главное, — женщина, в изысканности вкуса обнаруживающая поиск духовных устремлений — к востоку, к покою, к умиротворению.

А что?

Разве нельзя?

Взятые в боях в качестве добычи священные предметы чужого быта и религии могут принести умиротворение???

Рождественский рассказывает, что Лариса в тот вечер выразила желание пойти на маскарад в "Дом искусств". Она тянулась к миру поэтов, столь милому ее романтической натуре, и хотела появиться там не в костюме морского офицера, а так, чтобы все обратили на нее внимание как на женщину.

С подсказки Рождественского взбрело ей в голову надеться в бесценный, известный всем костюм работы художника Бакста из балета "Карнавал". Это платье было подлинной театральной драгоценностью. Директор государственных театров Экскузович держал возле него целый наряд портных и гардеробщиц. Для охраны. Это подзадорило Ларису, и она обещала трем поэтам, что будет на маскараде в платье Бакста.

И она была! И танцевала в наряде Бакста вместе с Рождественским, который так описывал это волнующее событие:

"Я увидел только что появившуюся маску в пышно разлежавшемся бакстовском платье. Ее ослепительные, точеные плечи, казалось, тоже отражали все огни зала. Струящиеся локоны, перехваченные тонкой лиловой лентой, падали легко и свободно. Ясно и чуть дерзко светились глаза в узкой прорези черной бархатной полумаски. Перед неизвестной гостьей расступались, оглядывали ее с восхищением и любопытством. Она же, задержавшись с минуту на пороге, шуршащим облаком поплыла ко мне..."

Далее Рождественский подробно рассказывает, как Лариса, танцуя, вдруг увидела в дверях зала директора Экскузовича, как сбежали они от него вдвоем с бала и вернули в дрожащие руки перепуганной старушки-костюмерши, отвечающей за платье, эту драгоценность, как вернулись они с Ларисой на маскарад и наблюдали за взволнованным директором, звонившим по телефону в костюмерную:

"Да я сам видел его здесь, десять минут назад. Собственными глазами!.."

Разумеется, огромный коричневый, английский, трофейный автомобиль, принадлежавший Морскому штабу, служил

Ларисе не только в часы работы, но и в минуты вот таких развлечений.

Невозможно представить себе, чтобы необычность и смелость столь разных обликов Ларисы Рейснер, ее праздничная, вызывающая нарядность на фоне нищеты и разрухи не вызвали раздражения и кривотолков. Она же говорила, нисколько не оправдываясь, а утверждаясь:

“Надо уважать людей и стараться для них. Если можно быть приятной для глаз, почему не воспользоваться этой возможностью”.

При этом как комиссар Морского Генерального штаба имела личного секретаря и множество других атрибутов новой власти.

В 1923 году она внезапно, резко рассталась с Федором Раскольниковым.

Они благополучно уехали в Афганистан, куда он был послан с дипломатической миссией. Лариса там оказалась, как и следовало ожидать, в центре внимания дипломатического корпуса. Но ничего никому не объясняя, Лариса через некоторое время сорвалась в Россию, неоглядно, бесповоротно, как умела только она. Многие тогда говорили, что это был совершенно мужской поступок. Думаю иначе. Думаю, совершенно женский по своей внешней нелогичности, совершенно женский по неоглядности. Тем более что в Москве ее ждал другой.

Раскольников переживал, писал ей, умолял вернуться.

“Конечно, найдется много людей, которые превзойдут меня остроумием, но где ты найдешь такого, кто был бы тебе так безгранично предан, кто так бешено любил бы тебя на седьмом году брака, кто был бы тебе идеальным мужем? Помни, я тебя не только безмерно люблю, я тебя еще беспредельно уважаю”.

* * *

Все подвиги и переодевания Ларисы Михайловны происходят на фоне жесточайшего голода, семейных разрух, чудовищного вандализма. Лариса воюет, танцует, отдает приказы, утверждает в своей молодой прекрасной силе, претерпевает болезни во имя революции, а в это время расстреливают цар-

скую семью, уничтожают многих выдающихся людей России, жгут книги. Именем революции. Лес рубят — щепки летят.

Расстреливают царскую семью...

Я долго искала по книгам и документам какую бы то ни было реакцию Надежды Константиновны Крупской на убийство семьи Николая Романова. Ведь Крупская, в сущности, добрая женщина, любящая детей. Как она отнеслась к тому, что были в упор застрелены больной мальчик, юные девушки, женщины?

Может, от нее скрыли кровавую расправу?

Может, она была решительно против нее?

Возможно, и сам Ленин не знал о распоряжении Якова Свердлова — расстрелять царскую семью?

Нашла!!!

В книге воспоминаний Крупской о Ленине, среди ряда не слишком значительных фактов, сказано:

“Чехословаки стали подходить к Екатеринбург, где сидел в заключении Николай II. 16 июля он и его семья были нами расстреляны, чехословакам не удалось спасти его, они взяли Екатеринбург 23 июля”.

Вот так. И не нужно иллюзий. Расстрел царской семьи для Крупской, соиздательницы машины разрушения, был неоспоримо правильным, необходимым, насущным актом.

Примерно месяц спустя после расстрела семьи бывшего царя России Лариса Рейснер в составе Волжской военной флотилии идет из Свияжска в Нижний Новгород на бывшей царской яхте “Межень”. И много шутит по этому поводу. Об одной такой шутке вспоминает участник этого похода Л. Берлин:

“Лариса Михайловна была в приподнятом настроении. Она по-хозяйски расположилась в покоях бывшей императрицы и, узнав из рассказов команды о том, что императрица нацарапала алмазом свое имя на оконном стекле кают-компания, тотчас же озорно зачеркнула его и вычертила рядом, тоже алмазом, свое имя”.

Повторяю, это происходит месяц спустя после расстрела Романовых. Откуда алмаз? Может, нашла тут же, в каюте Александры Федоровны?

Или слухи о кольце, взятом в Зимнем на память о революционных днях Октября, не просто сплетни?

Товарищ Л. Берлин ни слова не говорит, откуда в руке Рейснер взялся алмаз.

Неужели???

Но ведь то было совсем другое время, чем сегодня. Разгар революции. Грабь награбленное. Своя революционная нравственность, своя эстетика, которую новое общество вот уже семь десятилетий не может переварить.

Лариса ведет себя как хозяйка положения.

Впрочем, мысль о кольце всего лишь догадка. Ничем не доказанная, одна из многих догадок.

Есть еще предположение, странным образом связанное с яхтой “Межень”, Ларисой Рейснер и расстрелянным царевичем Алексеем.

В воспоминаниях поэта Владислава Ходасевича о посещении семейства Каменевых в Кремле, где он воочию наблюдал утверждение стиля кремлевских победителей рассказывается, как Ольга Давидовна Каменева, жена Председателя московского Совета, умилялась своим подростком-сыном: “А какой самостоятельный — вы и представить себе не можете! В прошлом году (то есть в 1918-м. — Л.В.) пристал, чтобы мы его отпустили на Волгу с товарищем Раскольниковым. Мы не хотели отпускать — опасно все-таки, он настоял на своем. Я потом говорю товарищу Раскольникову: “Он, наверное, вам мешал? И не рады были, что взяли?” А товарищ Раскольников отвечает: “Что вы! Да он у вас молодчина! Приехали мы с ним в Нижний (яхта “Межень” ждала Раскольникова в Нижнем, как раз в то время. И, похоже, Раскольников, Лариса Рейснер и сын Каменева вместе оказались на бывшей царской яхте. — Л.В.). Там всякого народа ждет меня по делам видимо-невидимо. А он взял револьвер, стал у моих дверей — никого не пустил!” Вернулся наш Лютик совсем другим: возмужал, окреп, вырос. Товарищ Раскольников тогда командовал флотом. И представьте — он нашего Лютика там, на Волге, одел по-матросски: матросская куртка, матросская шапочка, фуфайка такая, знаете, полосатая. Даже башмаки — как матросы носят. Ну — настоящий маленький матросик”.

“Слушать ее мне противно и жутковато, — пишет Хода-

севич. Ведь так же точно, таким же матросиком, недавно бегал еще один мальчик, сыну ее примерно ровесник: наследник, убитый большевиками, ребенок, кровь которого на руках вот у этих счастливых родителей!

А Ольга Давидовна не унимается:

— Мне даже вспомнилось: ведь и раньше, бывало, детей одевали в солдатскую форму или в матросскую...

Вдруг она умолкает, пристально и как бы с удивлением глядит на меня, и я чувствую, что моя мысль ей передалась. Но она надеется, что это еще только ее мысль, что я не вспомнил еще о наследнике. Она хочет что-нибудь поскорее добавить, чтобы не дать мне времени о нем вспомнить, — и топит себя еще глубже.

— То есть я хочу сказать, — бормочет она, — что, может быть, нашему Лютику в самом деле суждено стать моряком. Ведь вот и раньше бывало, что с детства записывали во флот..."

Увы, боюсь, не передалась Ольге Давидовне Каменевой чуткая мысль Владислава Фелициановича Ходасевича, а ему ее мысль передалась. Похоже, она доподлинно знала, чью матросскую курточку, матросскую шапочку, полосатую тельняшку и даже башмаки получил в подарок от Федора Раскольников-ва ее сын, примерно ровесник Алексея Романова. Думаю даже, сообщил ей об этом Раскольников, может быть, вместе с Ларисой Михайловной, как говорится, с восторгом упоения.

Почему бы и нет? Романтика революции! Пусть сын пламенного революционера Каменева носит царскую одежду! Так им и надо, проклятому романовскому отродью!

Улыбка революции?

Усмешка?

Гримаса?

Ольга Давидовна, конечно же, отнюдь не смелая Лариса Рейснер. Хотя и родная сестра Троцкого. При всем своем стремлении быть кем-то, она прежде всего домашняя хозяйка, мать. Как бы ни хорохорилась, кого бы из себя ни изображала, ей и радостно, и страшно при мысли, что на ее ребенке обноски казненного царевича.

Она прячет страх перед возмездием, не рассказывает о своем страхе никому, а тут Ходасевичу почти проговорила...

Вот какую смесь разных переживаний скорей всего и увидел в лице Ольги Давидовны Владислав Фелицианович, вряд ли знавший подробности жизни на яхте "Межень" летом 1918 года.

* * *

Лариса предъявляла мужчинам высокий счет: глобальность ума, мужественность, нежность, преклонение перед нею, непреклонность. Где взять?

Она подобострастно относилась к Ленину. Признавалась: "Вы меня знаете, я не робкого десятка, но когда случается быть вблизи Ильича, я совершенно теряюсь, я становлюсь робкой, как девочка. Это нечто огромное".

Все женские места вокруг Ленина были давно и прочно заняты, тут Ларисе негде было развернуться. Она осталась вне ленинского личного внимания, но служила ему как могла и умела.

Взор Ларисы, упавший после гражданской войны в поэтическую среду, выхватил самого интересного. "Петербургцы много злословили в 1920 году по поводу прогулок верхом на вывезенных с фронта лошадях — эти "светские прогулки" Ларисы Рейснер и Блока, в то время когда люди терпели лишения, были неуместны. Жители островов видели всадницу и всадника — пара ехала шагом и вела долгие беседы", — вспоминает писатель Лев Никулин.

О чем они говорили? Наверняка о революции, о будущем. И уж конечно, о поэзии. "Стихи Лариса не только любила, но еще втайне верила в их значение, — пишет Надежда Мандельштам в своих "Воспоминаниях". — В первые годы революции среди тех, кто победил, было много любителей поэзии. Как совмещали они эту любовь с готтентотской моралью: если я убью — хорошо, если меня убьют — плохо"?

Думаю, это неплохо совмещалось у многих. Сталин, к примеру. Поэзия ведь сама по себе не детская игра, а тоже, в какой-то степени, игра смертельная, жестокая. На острие ножа. Недаром всегда стояли друг против друга поэт и царь: один с пулей, другой со словом. Пуля побеждала мгновенно, слово — вечно. Пример? Пушкин, Лермонтов, Гумилев.

Лариса, нежно, а может, и страстно обожающая Блока, знакомит его со своей семьей.

Она дает Блоку на прочтение комплект журнальчика “Рудин”, который ее отец вместе с нею и своей женой, Ларисиной матерью, издавал еще в пятнадцатом году. Тогда Блок, занятый своей поэзией, не заметил этого журнальчика. Теперь же он даже записал в дневнике весьма подробное мнение о нем. Несмотря на то, что в “Рудине” была статья Ларисы о Блоке, в которой она возвеличивала его талант, поэт отнесся к изданию, я бы сказала, с брезгливым недоумением. Его поразили фальшь и двуличие издателей: выступая против войны, они рекламировали на страницах минеральную воду “Кувака”, принадлежащую одному из главных военных чинов действующей армии. Это тонкое наблюдение зоркого поэта высвечивает характерную, видимо, семейную черту Рейснер: хорошую приспособляемость сознания к условиям жизни.

Обращение к Блоку было естественно: поклоняясь его поэзии, Лариса в душе надеялась на некое чудо превращения в великую поэтессу. Это была ее тайная и давняя мечта. Мешала Ахматова — она царила безраздельно. Вряд ли разум, скорее чувство, вело Ларису на встречи с Блоком, не давшие ей ничего, кроме сознания своей поэтической невеликости.

Но разве этого мало для умной женщины?

Еще до революции были у Ларисы Рейснер лирические отношения с литературным соперником Александра Блока — Николаем Гумилевым. Литературовед и критик И. Крамов, исследователь творчества Рейснер, написавший о ней в 60-х годах роман “Утренний ветер”, привел в романе строки из письма Гумилева к ней:

“У Вас красивые, ясные, честные глаза, но Вы слепая; прекрасные, юные, резвые ноги, но нет крыльев; сильный и изящный ум, но с каким-то странным прорывом посередине. Вы — принцесса, превращенная в статую”.

В сущности, этими словами Гумилев дает точнейшую характеристику поэтической индивидуальности Ларисы Рейснер.

Достаточно жестоко. Он как бы отказывает ей в силе поэтического чувства.

Прав, конечно, однако, как человек — Лариса была силь-

ным средоточием чувств. Ее поэтическая беда состояла в том, что поэзия для нее, при всем желании состояться как поэту, была, повторяю, одним из красивых нарядов, в которые можно облачиться. Не сутью и смыслом жизни.

Гумилев, желая смягчить удар, писал дальше в этом письме: “Но ничего! Я знаю, что на Мадагаскаре все изменится. И я уже чувствую, как в какой-нибудь теплый вечер гудящих жуков и загорающихся звезд, где-нибудь у источника, в чаще красных и палисандровых деревьев, Вы мне расскажете такие чудесные вещи, о которых я только смутно догадывался в мои лучшие минуты. До свидания, Лери, я буду писать вам”.

Говорили — Ахматова, в то время жена Гумилева, даже ревновала. Сцены закатывала. Могу этому поверить, зная страсти молодой Ахматовой ко всякого рода выяснениям отношений.

Однако Лариса Рейснер отлично понимала, что такое Ахматова как поэт. 24 ноября 1921 года, находясь с Раскольниковым в Афганистане, заслоненная чужими горами ото всего, что происходит в России, и от казни Гумилева, состоявшейся в августе 1921 года, она пишет Ахматовой:

“Дорогая и глубокоуважаемая Анна Андреевна! Газеты, проехав девять тысяч верст, привезли нам известие о смерти Блока. И почему-то только Вам хочется выразить, как это горько и нелепо. Только Вам — точно рядом с Вами упала колонна, что ли, такая же тонкая, белая и лепная, как Вы. Теперь, когда его уже нет, Вашего равного, единственного, духовного брата, еще виднее, что Вы есть, что Вы дышите, мучаетесь, ходите, такая прекрасная, через двор с ямами. (О, эти дворы с ямами! Большевики ли их протоптали? Всегда ли были они? О, эти дворы с ямами — когда же мы разровняем их? — Л.В.)

Вы даете какие-то книги. (Ахматова в это время служит в библиотеке. — Л.В.). Книги, гораздо хуже Ваших собственных.

Милый Вы, нежнейший поэт, пишете ли Вы стихи? Нет ничего выше этого дела. За одну Вашу строчку людям отпустится целый злой, пропащий год.

При этом письме посылаю посылку, очень маленькую, “немного хлеба, немного меда”.

* * *

Любопытный вопрос: почему Лариса Михайловна, столь могущественная особа в коридорах новой власти не спасла Николая Гумилева от расстрела? Разрешается он просто — Лариса в это время была в Афганистане. Позднее она с уверенностью говорила всем, что, будь она в Москве в те дни, смогла бы остановить казнь.

Надежда Мандельштам вспоминает, как, находясь с мужем в гостях у Ларисы Михайловны, услышала из уст хозяйки легенду о телеграмме, которую якобы мать Ларисы уговорила Ленина послать в ЧК.

Легенда о телеграмме жила долгие годы. В семьдесят девятом году, будучи главным редактором альманаха “День поэзии”, я пыталась опубликовать в альманахе стихи Гумилева, обращаясь к разным литературным и партийным чиновникам за поддержкой. Это отдельный и длинный рассказ, ему не тут место. Скажу лишь — о телеграмме мне говорили разные люди, уверяя, что она находится в “Деле” Гумилева и запоздала, ибо приговор слишком быстро вынесли.

Однако та же Надежда Мандельштам вспоминает и другое: как в отсутствие Ларисы бывала в доме ее матери, и та “сокрушалась, говоря, что не придала значения аресту Гумилева и не попробовала обратиться к Ленину — может быть что вышло”.

Теперь все знают, что телеграммы не было, ни ленинской, ни горьковской — ничьей.

“Но какую телеграмму и куда? Погиб он, и не нужна ему никакая телеграмма” — вспоминается горько-насмешливый Булгаков.

* * *

Глубоко затаившая разочарование от несбывшейся попытке стать крупной поэтессой, Лариса Рейснер много и успешно работала в журналистике. Выпускала в свет книги очерков.

В манере ее письма сначала было много от поэтического языка: сравнения, метафоры, нарочитая красота, которую принято называть красотой. Она писала природу, видя ее глазами поэта:

“Зеленые леса открылись посредине, как книга. И чтобы она не захлопнулась, между двух листов положена синяя закладка, ясная, веселая уральская речка Косьма”.

Однако где-то с 1923 года Лариса Михайловна решительно изменила стиль, как писательница совершенно переделалась. Знакомые с ее творчеством люди все как один отмечали зрелость, строгость, освобождение от излишних красот. Многие знали, что за литературной трансформацией стиля журналистки Ларисы Рейснер стоит неординарная фигура мужчины.

Карл Радек-Зобельсон — один из семи членов Политбюро ЦК большевиков, действовавших после кончины Ленина. Плодовитый публицист. Остроумный и циничный. Сочинитель многочисленных сомнительных, с точки зрения большевистской благонадежности, анекдотов. Далеко не романтической внешности. Блуждали в журналистских кругах две строчки перефразированного Пушкина:

*Лариса Карлу чуть живого
В котомку за седло кладет.*

Их порой сравнивали с карикатурой на Пушкина и Наталью Николаевну.

Чем Радек победил Ларису?

Он стал заинтересованным читателем и терпеливым советчиком в литературных поисках и находках Ларисы последних лет ее жизни. Это оказалось необходимо ей для нового самоутверждения.

Быть в тени Лариса не умела. Любя поэтический мир, не став в нем первой, она медленно отходила от поэзии к прозе, от прозы — к очерку. Вместе с Радеком ездила в Гамбург, писала о баррикадах. Внезапно заболела...

Поэт Варлам Шаламов смолodu, не приближаясь, обожал ее. Он оставил воспоминания о похоронах Ларисы:

“Молодая женщина, н а д е ж д а литературы, красавица, героиня гражданской войны, тридцати лет от роду умерла от брюшного тифа. Бред какой-то. Никто не верил. Но Рейснер умерла. Я видел ее несколько раз в редакциях журналов, на улицах, на литературных диспутах она не бывала... Гроб стоял в Доме печати на Никитском бульваре. Двор был весь забит

народом — военными, дипломатами, писателями. Вынесли гроб, и в последний раз мелькнули каштановые волосы, кольцами уложенные вокруг головы.

За гробом вели под руки Карла Радека...”

Последняя фраза Шаламова ошеломила меня.

Я вдруг увидела, как тот же Карл Радек, спустя одиннадцать лет, так же беспомощно и жалко, так же публично будет переживать результат своего многолетнего падения: поддержка Троцкого, измена Троцкому, панегирики Сталину, страх перед возможной тюрьмой, ложные показания на многих и многих соратников, лишь бы спастись. Бедный человек!

Хорошо, что Лариса ушла, не зная, как обоих ее ближайших друзей — и Радека, и Раскольниковца — раздавила машина, на которую работали они вместе с Ларисой со всей страстью неугомонных натур.

Можно представить, где оказалась бы Лариса Михайловна, доживи она до 1937 года, хотя бы за связь с этими двумя “врагами народа”. Впрочем, одиннадцать лет, отделявшие Ларисину смерть от года кровавой инквизиции, могли по-разному развернуть жизнь. Непредсказуемость Ларисы Рейснер предполагала самые неожиданные повороты судьбы.

Как бы то ни было, она хотела создать тип женщины русской революции по аналогии с женщинами французской революции, и она создала его не пером своим, а всей своей жизнью. Для этого старалась быть и казаться. И не зря, и недаром была воплощена в прозаическом, драматургическом и поэтическом слове самыми разными творцами искусств.

* * *

*Лариса, вот когда посожалею,
Что я не смерть и ноль в сравненье с нею.
Я б разузнал, чем держится без клею
Живая повесть на обрывках дней, —*

писал Пастернак в стихотворении “Памяти Ларисы Рейснер”, невероятной своей интуицией чувствуя, что с ее уходом потеряна возможность разгадки некой женской тайны, без которой трудно жить в жестоком мире мужского господства.

Спустя годы, видимо, много думавший о Ларисе, Борис

Пастернак дал героине романа "Доктор Живаго" ее имя. Он написал Варламу Шаламову: "Имя главной героини я дал в память о Ларисе Михайловне". Вот так: хотела быть в литературе творцом, а стала музой.

Они непохожи, Лариса Рейснер и Лара из "Живаго", но Пастернак вряд ли думал о сходстве. Он запечатлевал свое время, и для него это имя звучало сигналом надежды, веры, любви.

Такое было время...

След Ларисы в раскаленном небе революции, похожий на восклицательный знак, был утверждением женской силы.

Над чем?

Она ведь была всего лишь талантливym подспорьем в мужском деле разрушения, оттого, быть может, и рядилась в "чужие одежды", что не имела своей.

Из другого времени, с нашего холма, знак ее восклицания видится знаком вопроса.

Но о чем спрашивает она?

СНОХА

Иду по Беговой — по знакомой московской улице.

Вот стадион “Юных пионеров”.

Вот справа группа серых бегемотов — жилые дома. Здесь в сороковых годах жили многие писатели. Доска на доме:

“Советский писатель Борис Горбатов...”

Налево по улице — Бега. Злачное место.

Направо видны корпуса Института имени Герцена и Боткинской больницы.

По Беговой идет, ползет, бежит лето 1991 года.

Пронесются машины. Много среди них так называемых “иномарок” — свидетельство новых веяний.

Повсюду приватизация чего-то, пока непонятно чего. Вроде бы квартир.

Середина дня, но я знаю: у многих включены телевизоры — все ждут, когда объявят имя первого президента России.

В магазине “Ткани” на Беговой — пусто.

В магазине “Молоко” ремонт. Сегодня всюду ремонт в магазинах — нечем торговать. Люди вот уже второй год готовятся к голодной зиме. Можно ли готовиться к голоду? Да. Запасаться. А если скоро негде будет запастись?

В магазине “Обувь” на Беговой продаются одни галоши. Больше ничего нет. Такие грязно-коричневые, как будто зараннее измазанные грязью. Когда-то за галошами давились в очередях. Сразу после войны все покупали другие галоши — черные, блестящие, на красной байковой подкладке.

“Почта” на Беговой принимает переводы, продает марки и открытки, выдает письма до востребования. Тут все, как всегда.

Я вхожу в дом, где “Почта”. Он огромный, многоэтажный. В стиле сталинского ампира. Просторный вход и широкая площадка перед лифтами.

Мне открывает дверь немолодая женщина. Но и не старуха.

Хотя по всему, что я знаю о ней, женщина, должно быть, очень стара. Она была когда-то звездой немого кино!

Звездой!

Ее имя — Галина Кравченко.

Кто-нибудь помнит?

Вся фигура большая, сильная. Если бы не походка — Галина Сергеевна несколько лет назад сломала шейку бедра — ей можно было бы дать...

Ах, не будем гадать. Все жалкие женские ухищрения лишь выдают, а не скрывают наши годы. Каждой столько, сколько есть, плюс или минус тот возраст, в котором она себя чувствует.

К Галине Сергеевне эта сентенция вообще не относится. Она не думает о своем возрасте — ей есть о чем думать.

Настоящее связано с бытом, как у всех, нелегким, с помощью по хозяйству дочери, зятю, внуку.

Будущее связано с благополучием этих же людей: внука, дочери, зятя.

А прошлое...

Она родилась в 1904 году, в Казани, в семье небогатой, но способной путешествовать по миру и побывавшей вместе с хорошенькой девочкой Галей в Париже. От того путешествия остались у Галины Сергеевны штук пятнадцать уникальных фотографий, прикрепленных одна к другой и вставленных в металлическую пластинку. Если перебирать фотографии, как колоду карт, получается движение, девочка Галочка сначала смотрит перед собой, потом поворачивает головку вправо-влево, потом посылает воздушный поцелуй, предназначавшийся стоявшей за фотоаппаратом маме. Это была первая съемка Галины Кравченко в "синематографе". Книжечка жива по сей день.

Девочка Галочка вместе с родителями приехала в Москву. Училась в гимназии на Лубянке — там еще не было того страшного учреждения.

Любя танцевать, Галина Кравченко поступила в балетную школу, потом в училище при Большом театре. У нее были хорошие учителя, предрекавшие ей славу балерины. И красавица она была писаная — высокая, стройная блондинка с

точеными чертами лица, — весь этот банальный набор примет достаточно точен. Плюс яркая индивидуальность.

Она уже танцевала в разного рода балетных и оперных спектаклях и считала, что жизненный путь определен — будет балериной. Но случайная встреча повернула судьбу. Все было буднично — Галина пришла к матери, которая работала в Наркомпроде (что-то связанное с распределением продуктов. — Л.В.), и там встретила немолодого, внимательно ее рассматривавшего человека. Это был режиссер Всеволод Пудовкин. Он уговорил ее идти учиться в киношколу.

Галина Кравченко выросла стопроцентной советской супердевушкой. Она не только прекрасная балерина, но и акробатка: выступала с акробатическими этюдами, танцевала на проволоке.

Увлекалась спортом — плавала, стреляла, скакала на лошади.

Водила мотоцикл.

Занималась боксом. Вспоминает: “Мне непонятны люди, которые называют бокс “мордобоем”. Бокс — это танец, это молниеносная реакция. Прежде всего — мысль и только потом быстрота движений”.

Все это помогало ей на киносъемках, которые шли одна за другой.

Она снималась в “Папироснице от Моссельпрома” и в “Аэлите”, играла главную роль в нашумевшем в свое время фильме “Угар нэпа”, в фильмах “Лесная быль” и “Солистка его величества” о Матильде Кшесинской. Во всех фильмах Кравченко танцевала, стреляла, скакала на лошадях сама. Но с фильмом “Солистка его величества” связано знаменательное событие. Галина Сергеевна описывает его так: “Солистка” снималась в Ленинграде, понадобилась срочно какая-то до съемка с моим участием. А я как раз была вызвана в Москву. Стали искать дублершу, кого-нибудь из учениц хореографического училища. Нашли высокую, худенькую, какой я тогда была, мою тезку, Галину Сергеевну Уланову”.

Поразительно! Галина Кравченко, сама того не подозревая, открыла путь великой балерине...

Ко всем талантам, Галина Кравченко еще и прекрасная рассказчица. В ее книге “Мозаика прошлого” много замеча-

тельно интересных, часто смешных эпизодов из истории немого кино. Не могу удержаться, не рассказать об одном из них, странным образом наконец-то подводящем к главной теме нашего рассказа.

Шли съемки фильма о любви Лермонтова к легендарной Адель Омер де Гелль, которая в лермонтоведении считается мистификацией. Вроде была она в жизни поэта. Вроде бы не было такой женщины в жизни поэта. Но в кино она была. И Кравченко играла ее.

“В фильме есть эпизод похищения Омер де Гелль горцами, — рассказывает Галина Сергеевна. — Режиссеру очень понравился один из инженеров-строителей Военно-Грузинской дороги, работавший неподалеку от того места, где мы снимались, и режиссер предложил ему участвовать в эпизоде. Его одели в костюм того времени. Режиссер разъяснил, что он должен делать: перекинуть меня через седло и ускакать со мной в горы.

Стали снимать. Раздалась команда: “Приготовились! Начали!”

Мой партнер увлекся съемкой больше, чем нужно.

В горах у него была прекрасная усадьба, куда он меня и умчал. Во дворе он меня осторожно спустил с седла на землю, развязал руки и, галантно попросив подождать, скрылся. Через минуту он появился с огромным кувшином и сказал: “Прошу вас, молодое вино, маджари!” Но не успел он опомниться, как я вскочила в седло его лошади и поскакала обратно”.

Это был тридцатый год. Двадцатишестилетняя красавица, кинозвезда уже встретила своего героя, и не в кино, а в жизни уже умыкнули ее в мир странный, необыкновенный, звездный, полный удивительных превращений.

О нем и его людях ее рассказ, записанный мною в раскаляющемся на части Советском Союзе, в России, в Москве, на Беговой улице.

— Мне вспоминается один человек, — говорит Галина Сергеевна. — Ратмиров. Старичок. Аристократ. Он был когда-то выслан за хиромантию, потом вернулся. В двадцать шестом году он гадал мне по руке и сказал нелепые слова: “Вы выйдете замуж, будете находиться близко к очень крупному человеку,

попадете в международный политический скандал, но выйдете сухая из воды”.

Какой бред! — думаю. — Международный политический скандал и я? Какая связь? Замуж не собиралась. Ушла и забыла про дурацкое гаданье. Однажды, в двадцать девятом году, мой друг, Владимир Шнейдер, режиссер, только что вернувшийся из Китая, позвонил, говорит, приходи, — мы с его женой учились в ГИKe, — приоденься, будет один очень интересный человек. Влюбишься.

А я была строптивая. Нарочно оделась кое-как в простое ситцевое платье.

Действительно, познакомил меня Володя с красивым, элегантным человеком в летной форме. После вечера у Шнейдеров пошел меня провожать, а по Театральной площади ходил трамвай, я вскочила на подножку, рукой помахала, говорю, не люблю, когда меня провожают. Так и застыли в памяти его удивленные глаза, глядящие вслед моему трамваю. Стал мне звонить. Голос у него бархатный, завораживающий. Сказал, что сам водит мотоцикл. А я как раз увлекалась мотоциклетным спортом, но мой приятель, который обучал меня профессиональному вождению, уехал на Дальний Восток, и я осталась без мотоцикла.

Тогда было разрешено после двенадцати ночи на Ленинградском шоссе тренироваться на мотоциклах.

Мой новый знакомый стал ездить со мной на своем мотоцикле “Харлее”. Признавался, что ни одну девушку до сих пор не сажал за руль.

Лютик был летчик. Кончил Военно-воздушную академию имени Жуковского. Очень красивый...

— Лютик?!

— Да, сын Каменева. Александр Львович. Все с детства звали его — Лютиком. И я стала звать.

* * *

Тут опять всплыли воспоминания Владислава Ходасевича о визите в семью Каменева. Сидит Ходасевич с Ольгой Давидовной Каменевой, и она рассказывает ему о подростке-сыне Лютике, который болеет где-то в соседней комнате:

— Такой способный. Прекрасно учится, необыкновенно живо все схватывает, прямо на лету. Всего четырнадцать лет (кажется, она сказала именно четырнадцать) — а уже организовал союз молодых коммунистов из кремлевских ребят... У них все на военную ногу.

Если не ошибаюсь, этот потешный полк маленького Каменева развился впоследствии в комсомол. О сыне Ольга Давидовна говорит долго, неинтересно, но мне даже приятно слушать от нее эти человеческие, не из книжек нахватавшие слова. И даже становится жаль ее: живет в каких-то затвержденных абстракциях, схемах, мыслях, не ею созданных; недаровитая и неумная, все-то она норовит стать в позу, сыграть какую-то непосильную роль, вылезть из кожи, прыгнуть выше головы. Говорит о работниках, которых не знает, об искусстве, которого тоже не знает и не понимает. А вероятно, если бы взялась за посильное и подходящее дело, была бы хорошим зубным врачом... или просто хорошей хозяйкой, доброй матерью. Ведь вот есть же в ней настоящее материнское чувство...

К счастью моему, в эту самую минуту, не стучась, в комнату ввалились два красноармейца с винтовками. Снег сыпался с их шинелей — на улице шла метель. У одного из них в руках был пакет.

— Товарищу Каменеву от товарища Ленина.

Ольга Давидовна протянула руку.

— Товарища Каменева нет дома. Дайте мне.

— Приказано в собственные руки. Нам намеренно попало за то, что вашему сынку отдали.

Ольга Давидовна долго и раздраженно спорит, получает-таки пакет и относит в соседнюю комнату. Красноармейцы уходят. Она снова садится перед камином и говорит:

— Эдакие чудаки! Конечно, они исполняют то, что им велено, но нашему Лютику можно доверить решительно все, что угодно. Он был еще совсем маленьким, когда его царские жандармы допрашивали — и то ничего не добились. Знаете, он у нас иногда присутствует на самых важных совещаниях, и приходится только удивляться, до какой степени он знает людей! Иногда сидит, слушает молча, а потом, когда все уйдут, вдруг возьмет да и скажет: “Папочка, мамочка, вы не верьте товарищу такому-то. Это он все только притворяется и вам

льстит, а я знаю, что в душе он буржуй и предатель рабочего класса". Сперва мы, разумеется, не обращали внимания на его слова, но когда раза два выяснилось, что он прав был, прав относительно старых, как будто самых испытанных коммунистов, — признаться, мы стали к нему прислушиваться. И теперь обо всех, с кем приходится иметь дело, мы спрашиваем мнение Лютика".

"Вот те на! — думаю я. — Значит, работает человек в партии много лет, сидит в тюрьмах, может быть, отбывает каторгу, может быть, рискует жизнью, а потом, когда партия приходит наконец к власти, проницательный мальчишка, чуть ли не озаренный свыше, этакий домашний оракул, объявляет его "предателем рабочего класса" — и мальчишке этому верят".

* * *

Далее идет уже известный нам рассказ Ольги Давидовны о поездке мальчика Лютика на Волгу, где Лариса Рейснер и Федор Раскольников с ног до головы одели мальчика в матросский костюм.

Галина Сергеевна не знает о моем ужасном предположении и, нежно полюбив ее с первой встречи, я не хочу ее расстраивать, что мальчик Каменев, Лютик, наряжался в костюмчик убиенного царевича Алексея.

* * *

Галина Сергеевна продолжает:

— Лютик сказал мне, что его отец хотел бы познакомиться со мной. Мама Лютика, Ольга Давидовна, отдыхала в Сочи, когда мы познакомились и начали кататься по ночам на мотоцикле. Лев Борисович и Лютик заехали за мной на машине с шофером, и мы поехали в Горки. У Льва Борисовича своего ничего не было — все было казенное. Когда он ездил в Италию обрабатывать Муссолини, ему там подарили великолепный автомобиль, он его отдал во ВЦИК.

Тогда за рулем можно было выпить, и Каменевы взяли с собой бутылку. На пути в Горки мы устроили привал. У них была с собой еда. Я накрыла на траве. Лев Борисович укрепил

бутылку на дереве и предложил расстрелять ее. Он выстрелил — мимо. Лютик выстрелил — мимо. Шофер — тоже мимо. Я умела стрелять, но подумала, если промахнусь, не стыдно, никто ведь не попал. Выстрелила — бутылка разлетелась.

“Вот это девица!” — сказал Лев Борисович.

Ольга Давидовна? Она была тяжелая. Неприветливая. Конечно, образованная, умная. Говорили, что в молодости была красивая. У нее были прострелены голова и нога. Она вообще-то редко бывала дома, все время работала. Жестокая. Когда мы уже вместе жили, Лютик часто приходил усталый, только снимет сапоги, она звонит, приезжай за мной, хотя у нее была машина, к ней прикрепленная, а ей хотелось перед сотрудниками сыном гордиться.

Через несколько дней после нашей поездки в Горки Лев Борисович сказал: “Сегодня вы у нас останетесь”.

Вышла я замуж в июне двадцать девятого года. Почти семь лет прожила в семье Каменевых. Все, что было, было при мне.

Сначала — сказочная жизнь. Сказочная. Квартира Каменевых была на Манежной площади напротив Кремля. Раньше они в самом Кремле жили, но там стало тесно. Тут, на Манежной, шесть комнат. Квартира на одну сторону. Над нами Анна Ильинична, сестра Ленина. Противная. У нас собиралась молодежь, шумела. Анна Ильинична всегда присылала прислугу, требуя, чтобы мы потише себя вели. Народ приходил разный, в основном артистический.

У нас в доме родилась идея фильма “Веселые ребята”. Однажды, на Новый год, было сто четырнадцать человек. Приходил Эйзенштейн, Лев Борисович обожал его. Устраивались просмотры новых советских и зарубежных картин. Устраивали тир прямо в доме. Из духовой домашней винтовки в потолок стреляли...

— Ах! — хочу я перебить Галину Сергеевну. — Может, поэтому Анна-то Ильинична прислугу присылала?! Но молчу, слушаю:

— У Каменевых был второй сын, Юра. Он в школе учился. Чудесный мальчик. В тридцать первом году мы с Лютиком осенью поехали в Крым. Я ждала ребенка. Была на седьмом месяце. Лютик получил из Америки “форд” и показал мне весь Крым — и Форос, и Суук-Су, и Мухолатку. В Мухолатке дом

Политбюро. Когда мы туда приехали, никого из членов Политбюро не было — только дети их собрались — пять пар. Взрослые дети. Нас с Лютиком поместили в апартаменты Сталина: спальня, кабинет, гостиная. После Мухоматки я нигде отдыхать не могла — так там было все удобно и комфортабельно. Это был настоящий отдых. Сначала смущал нас охранник, потом мы к нему привыкли. Не замечали. Все время были на колесах, путешествие сказочное, потом в Москве рассказывали, а Лев Борисович шутил, что ребенок, наверно, родится на роликах. Каменевы хотели девочку, внучку, я говорила: лучше бы лошадку, а родился Виталик. Коллонтай новорожденному Виталику винтовку подарила. Лев Борисович был к ней равнодушен. Ольга Давидовна работала в ВОКСе. Возглавляла. Потом работала в кинофикации, начальником отдела по прокату. Очень была добросовестная...

* * *

— В тридцать четвертом году я снималась в Крыму. Съемки закончились к началу декабря, и я с Марком Донским, режиссером, села в поезд, — подходит Галина Сергеевна к последней странице. — По дороге узнала, что убит Киров. Меня встречал Лютик, бледный как полотно. В доме было сложно. Шестнадцатого декабря взяли Льва Борисовича. Глебову взяли. Это женщина, с которой Лев Борисович был близок. У нее от него сын.

Лютика сняли с работы. Он работал по автоматике производства у Владимира Ивановича Бекаури.

Льва Борисовича сослали в Минусинск.

Пятого марта тридцать пятого года Лютика взяли дома. Пришли поздним вечером. Устроили страшный обыск. Четверо. Среди них один полковник. Полезли в шкаф, где были пленки с моими фильмами. Поганый полковник под утро сунул руку в шкаф и сразу вытащил уникальную пленку, где Лев Борисович снят с Лениным. Они ее забрали. А мои пленки, все до одной, вытаскивали, разматывали, смотрели на свет и бросали на пол. Весь пол был в кучах размотанных пленок. Месяц я раскладывала их обратно.

Двадцатого марта взяли Ольгу Давидовну. Она простилась с Юрой. Сначала ее выслали на три года в Горький.

Меня с маленьким Виталиком выселили из правительственного дома. В тридцать восьмом году Юра решил поехать к Ольге Давидовне в Горький. Он был чудесный мальчик, благородный, добрый, чистый. Поэтичный. Я отговаривала его, боялась отпустить. Но он настоял. И не вернулся. Его взяли в Горьком вместе с матерью. Расстреляли. Если бы он не поехал, я бы сделала все, чтобы спасти его.

* * *

— Галина Сергеевна, скажите, вы понимали, что происходит и к чему все идет?

— Ольга Давидовна все понимала. Она ждала. Лев Борисович тот вообще был не от мира сего, а она ждала и боялась. Меня всегда потрясал пессимизм Ольги Давидовны. Она часто говорила мне:

“Ох, Галенка, плохо нам будет, плохо. Живите, пока живется, вы молодые. Плохо будет”. — “Почему вы так говорите?” — “Я это чувствую. Я много знаю. Вот увидите, нас ожидает огромное горе. Жизнь будет очень трудной, сложной”.

Лев Борисович, наоборот, очень был оптимистичен. И весь в искусстве. Я не помню, чтобы он когда-нибудь в доме говорил о политике. Он, когда я вошла в их дом, вообще уже отошел от политики. Весь в книгах. Обожал музыку.

Троцкий? Брат Ольги Давидовны? Я его не знала. Он уехал, вернее, его выслали в двадцать седьмом, а я пришла в дом в двадцать девятом. Ольга Давидовна никогда о брате не говорила. Сережа, младший сын Троцкого, у нас бывал. Очаровательный. Скромный. Двое детей. Такое несчастье. Когда нас выселяли, после ареста Льва Борисовича и Ольги Давидовны, мы все попали в один дом, и я, и Юра, младший брат моего мужа Лютика, и Сережа, сын Троцкого. Дом был на улице Горького, 27, дом ВЦИКа. Гостиничного типа. Бывшая дореволюционная гостиница. Не перворазрядная. Там мы все и жили.

Наташа? Жена Троцкого? Наташа Седова? Нет, я ее не

знала, она уже была там, за границей. Говорили, что скромная. Очень любила его. Русская была. Старший сын уехал с ними, а Сережа отказался ехать. Его потом расстреляли, детей его куда-то угнали — я не знаю концов. Такое горе...

— Галина Сергеевна, — меняю я грустную тему, — вы помните, чем питались в семье Каменева?

— О да. Это хорошо помню. Питание было на мне. “Кремлевка” была. Пятьсот рублей вносили на месяц за человека, и я ездила за обедами. Обеды были на двоих, на Льва Борисовича и Ольгу Давидовну, но девять человек бывали сыты этими обедами — вот так. Я ездила за ними на машине Льва Борисовича. В доме жили кухарка и Терентьевна, няня Лютика. Строгая была, никаких девиц Лютика не признавала, а меня полюбила сразу. Выпить обожала. И угостить. Когда мы поздно приходили из гостей или со спектакля, нас всегда ждал легкий ужин и водка — красная, желтая, белая. В графинчиках.

В “кремлевке” к обедам давалось всегда полкило масла и полкило черной икры. Зернистой. Вместе с обедом или вместо него можно было взять так называемый “сухой паек” — гастрономию, бакалею, сладости, спиртное. Вот такие рыбины. Чудные отбивные. Все что хотите.

Если нужно больше продуктов, всегда можно было заказать.

Готовые обеды очень вкусные — повара прекрасные.

Где была “кремлевка”? А там, где сейчас, в доме правительства, внизу, налево. Она делилась на две части: одна для людей, близких к Кремлю, — разных чиновников и партийцев, ну, помельче, а другая — для высших чинов, — туда я и ездила. Там было все. На масленицу давали горячие блины. Везли в судках — не остывали, это же близко от Кремля, и машине Льва Давидовича — зеленый свет.

С одеждой было потруднее. Я одевалась в мастерской Наркоминдела, на Кузнецком. Там встречалась с Надеждой Аллилуевой.

Помню, году в тридцать втором, Лев Борисович говорит мне: “Галенка, будете в городе, купите мне носки”.

Поехала — вернулась.

“Носков нет, Лев Борисович”. — “Как нет?” — “Так. В Москве нигде нет носков”.

Очень он удивился.

Вторая семья Льва Борисовича нас как-то не касалась, хотя мы все знали о ней. Там тоже, как и здесь, было два сына: один у Глебовой от первого мужа, другой от Льва Борисовича. И разница между детьми такая же, как у наших сыновей: шестнадцать лет между рожденьями Лютика и Юрочки.

Настоящая фамилия Льва Борисовича Розенфельд. Нет, он не был еврей, как принято считать. Отец его, инженер-путеец, из обрусевших прибалтийских немцев. Что? Фамилия еврейская? Почему? А Бенкендорф?

* * *

— Как взяли моего сына Виталика? Когда? В пятьдесят первом году. Летом. Я помню, засиделась в гостях у моего друга Николая Николаевича Миловидова, юриста — замечательный был человек, мастер своего дела. Возвращалась во втором часу ночи, смотрю, недалеко от дома стоит мой сын Виталик. Он был громадного роста. Красивый. Только что стукнуло восемнадцать.

“Ты что?” — спрашиваю.

“Так, не спится. Тебя встречаю”.

У меня уже была дочь от второго мужа. Но я тогда отравила ее в Грузию. На лето.

Вошли мы в квартиру, и через несколько минут “они” явились. Трое. Увели Виталика и всю ночь шарили. Обыск делали. Хамы невероятные. Это вообще была варфоломеевская ночь — этой ночью взяли всех подростков детей “врагов народа”, Леночку Косареву тогда же взяли.

— А что они искали у Виталика?

— Связи искали. Письма Льва Борисовича. Нашли два письма. Оба — мне. Одно Лев Борисович в больницу-кремлевку прислал, когда Виталик родился, свекор тогда подарил мне револьверчик. Павел Аллилуев привез из-за границы два одинаковых револьверчика — один подарил Льву Борисовичу, другой своей сестре. Из него она, говорят, и застрелилась. Хотя ведь ходили слухи, что Сталин ее...

— Галина Сергеевна, если можно, вернемся к Лютику. Как его взяли?

— Он два раза сидел. Первый раз в Бутырках. Я с маленьким Виталиком ходила к нему. Виталик все говорил:

“Папа через канавку”.

Две сетки, а между ними пространство — канавка.

Лютик попросил меня на свидании: “Напиши, ради Бога, Иосифу Виссарионовичу, чтобы меня этапом не посылали, а нормально отправили”. Он получил три года ссылки.

Я тут же написала, отнесла письмо, и через двадцать четыре часа позвонил Поскребышев, сталинский секретарь, — омерзительная личность, но известие сообщил хорошее:

— Иосиф Виссарионович письмо прочитал, все, о чем просите, разрешено.

Я Лютика провожала.

Позвонили мне “оттуда”, сказали, откуда звонят, говорят: ваш муж сегодня отъезжает с Казанского вокзала в семь вечера, просит привезти ему к поезду кожаное пальто, столько-то денег и чемодан.

Я побежала. На вокзале, в специальной комнате, сдала вещи и расписку потребовала. Я была молодая, экспансивная, ничего не боялась.

“Давайте, расписку, вы все жулики”.

Они дали.

Я кинулась в справочную, там подтвердили, что поезд отходит в семь часов пять минут на Алма-Ату с первого пути.

Бежала вдоль состава, искала вагон с решетками. Состав был — ну я не знаю сколько — мне казалось, что сто вагонов. Оставалось очень мало времени: нету, нету, нету, и у самого паровоза — вагон. Очень приличный. Вижу — малиновые фуражки, и вдруг Лютик, уже бритый, уже хороший, потому что в тюрьме он был ужасный, без пояса, без знаков различия, а тут уже нормальный.

Увидал. Только показал на пальцах — три года. Мы с ним очень хорошо простились.

А сзади меня, поодаль, все время стоял человек в малиновой фуражке. Когда поезд ушел, он сказал:

“Теперь быстрее уходите. Я дал вам возможность проститься. Уходите, а то мне влетит”.

Я его поблагодарила.

Второй раз Лютика посадили уже безвозвратно...

— Галина Сергеевна, вы с Лютиком любили друг друга?

— Очень любили. Мы с ним просто не расставались. Когда я читаю сейчас в “Огоньке”, что он стоял на шоссе и ждал, пройдет машина Вышинского или Сталина, словом, был террористом, мне смешно: я с ним не расставалась. Даже в академию, где он учился, за ним на машине приезжала. Сама машину вела.

* * *

Галина Сергеевна раскладывает справки и свидетельства о смерти. Их много. Они заполняют весь стол — бумажки об убийстве людей и бумажки о том, что убили напрасно.

Каменев Лев Борисович, умер 25.08.1936 года в возрасте 53 лет. Причина смерти — прочерк. Место смерти — г. Москва.

Каменева Ольга Давидовна, умерла 11.09.41 года в возрасте 58 лет. Причина смерти — два прочерка. Место смерти — прочерк.

Каменев Юрий Львович, умер 30.01.1938 года, в возрасте 17 лет. Причина смерти — прочерк. Место смерти (между этими двумя словами вписано слово “регистрации”. — Л.В.) — Москва.

Значит, его привезли из Горького, куда он поехал навестить мать и не вернулся? В чем его обвиняли? За что убили?

Каменев Александр Львович, умер 15.07.39 года, в возрасте 33 лет. Причина смерти — прочерк. Место смерти — прочерк.

* * *

А справки из Верховного Суда СССР — эти образцы социалистической бюрократии, звучат хором: “За отсутствием состава преступления”.

* * *

Есть у Галины Сергеевны еще две горьких справки. Одна от 11 ноября 1955 года: “Дана гражданину Кравченко Виталию

Александровичу, 1931 года рождения, в том, что определением Судебной Коллегии по уголовным делам Верховного Суда СССР от 5 ноября 1955 года постановление Особого Совещания при Министре Государственной безопасности СССР от 18 августа 1951 года в отношении него отменено и дело производством прекращено за отсутствием в действиях состава преступления”.

Подпись неразборчива.

Другая — свидетельство о смерти: “Кравченко Виталий Александрович, умер 3.08.1966 года, в возрасте 34 лет. Причина смерти — отравление. Место смерти — Москва”.

Виталий — сын Галины Сергеевны и Лютика, внук Льва Каменева. Я ничего не спрашиваю о нем, зная, нет страшнее горя для матери, чем потеря сына. В любом возрасте. О чем спрашивать? Зачем?

— Да, — говорит Галина Сергеевна, — всю семью взяли, осталась я с маленьким мальчиком. Все, конечно, тут же отвернулись — и околоправительственные друзья, и многие приятели-актеры. Я их не виню. Такое было время. Люди боялись за себя.

Режиссер Абрам Роом, например, его жена, актриса Ольга Жизнева, писательница Анна Антоновская — те не боялись, продолжали со мной дружить.

Карьера моя покатилась.

Сняли меня с почти законченной картины “Счастливый полет”. Да уж, такой оказался счастливый. Взяли другую актрису.

Награждали актеров, участников февральского фестиваля 1935 года. Меня в списке награжденных не было. В Большом театре Енукидзе зачитывал список награжденных. Все посмотрели в мою сторону, а Енукидзе в противоположную. Вы слышали о таком? Авель Енукидзе. Милый был человек, но слишком баловался с девочками-балеринами. Сталин ему это напомнил вместе с политическими претензиями.

И за вторым мужем моим следили. Мы с ним еще не жили вместе, он приходил ко мне, а на улице несколько человек гуляют, на окна смотрят, ждут, когда он выйдет.

Меня, конечно, в покое не оставили. В тридцать восьмом

году опять начали мучить. Вызывать, допрашивать. Я уже была замужем, другую семью завела, дочка родилась, а в покое не оставляли. Стал звонить человек, говорил, что я подлежу высылке, что он меня посадит, предлагал помогать ему. Мне подсказал один знающий человек, кому написать в НКВД, — генералу Коруцкому. Написала. Он меня принял и сказал, что тот занимается самодеятельностью и больше не будет меня беспокоить. Сказал, чтобы жила спокойно.

* * *

Я уже хочу уходить, закрываю блокнот, выключаю магнитофон, а Галина Сергеевна вдруг говорит:

— Знаете, я иногда думаю, что все, происшедшее со мной, страшный сон. Не раз, не раз вспомнила я старика Ратмирова. Все он правильно нагадал.

Я выжила. И в кино снималась. Но, глядя правде в глаза, знаю — меня под корень подкосила вся эта история. Много больше могла бы я сделать в искусстве. Да что обо мне говорить. Я сегодня вспоминаю их всех: обаятельного Льва Борисовича, и несчастную Ольгу Давидовну, и Юрочку прекрасного, и своего незабываемого Лютика, и думаю — да были ли они? Не приснился ли мне сон? Я в последнее время, когда многое узнала про расстрел царской семьи, почему-то думаю, что всех их с детьми и женами жизнь наказала. Так жестоко и виноватых и невинных. Виталика за что?

Я торопливо меняю тему разговора — сама мать. И красивая даже в старости Галина Кравченко с удовольствием, с увлечением рассказывает мне о разных актерах, с кем вместе играла, о фильмах. Она — живая история нашего немого кино, о котором мы сегодня или ничего не знаем, или знаем очень мало.

А за окном шумит Москва 1991 года, проносятся автомобили, идет приватизация квартир, выбран первый Президент России, а 17 июля по всей стране в церквях служат первый широкий молебен за упокой святых душ: Николая, Александры, Ольги, Татьяны, Марии, Анастасии, Алексея...

АЛЛИЛУЙЯ АЛЛИЛУЕВОЙ

К октябрю 1917 года главные силы большевиков собрались в Петрограде. И рядом с каждым вождем была подруга. Не всегда венчанная. Не зарегистрированная. Однако верная союзница. Жена.

Рядом с Лениным — Надежда.

Рядом с Троцким — Наталья.

Рядом с Каменевым — Ольга.

Рядом с Ворошиловым — Екатерина.

Рядом со Свердловым — Клавдия.

Рядом с Буденным — Надежда.

Рядом с Дзержинским — Софья. И так далее.

Сталин — один как перст. Без присмотра, без пригляда. Посылкам, по северам и сибирям, всухомятку. Без женской ласки, без домашнего тепла. Много лет.

Далеко позади слабое, теплое воспоминание о Екатерине Сванидзе. Первой жене.

Екатерина была деревенская девушка, но, с присущим большинству грузинок природным аристократизмом черт лица, фигуры, манер поведения.

Грузинская жена — всегда символ верности, терпения, скромности, послушания: служить мужу, растить детей, знать свое место. Древняя традиция.

Екатерина Сванидзе и стала жить по традиции, ждать мужа, ублажать его. Получала в ответ то, на что может рассчитывать женщина, не претендующая на счастье: частое одиночество, тревоги и скромные плотские радости для продления рода.

Первая жена Сталина верила в Бога. Можно предположить, что его не раздражала богобоязненность и набожность Екатерины: он сам лишь недавно расстался с духовной семинарией, о чем не сожалел, но и не был враждебен к церкви, как Ленин и многие другие большевики. Через всю его жизнь прошла иногда хорошо, иногда плохо скрываемая склонность

к религии. Так, в первые годы после революции, когда в стране появилась возможность для церковного издания “Христианин”, Сталин был среди тех, кто смотрел на этот факт благосклонно. Однако победила тогда другая точка зрения, которой придерживалась борющаяся с религией Надежда Константиновна.

Прочитала я в воспоминаниях дочери Сталина, что ее отец более всех на свете любил свою мать и с умилением рассказывал, как мать сокрушалась: “Жаль, что ты так и не стал священником”.

Быть может, это именно женское влияние обеих Екатериин — жены и матери — сохранило в Сталине своеобразную терпимость к религии? Говорили, что в самые тяжелые минуты войны он даже молился, а позднее одной из первых его мирных бумаг был приказ о возвращении церкви ряда ценностей, включая мощи некоторых святых.

Итак, первую жену нашла Иосифу его мать. Но это лишь предположение. Одно из многих. Образ первой сталинской жены двоятся, троится, четвертится: то ли тихая, домашняя женщина, то ли искусная портниха, обшивавшая саму супругу тифлисского генерал-губернатора Свечина, то ли отличная прачка и гладильщица, то ли разносчица ленинской “Искры” — помощница мужа. За последнюю деятельность вроде и тюрьмы удостоилась. А может, хозяйка, портниха, прачка, революционерка вместе?

Друг детства Иосифа Джугашвили, Иосиф Иремашвили, оставил воспоминания, где есть строки о сталинской первой жене — она “глядела на мужа как на полубога”.

Родом Екатерина Сванидзе была из селения Диди-Лило, близ Тифлиса. Думаю, если сегодня кому захотелось бы пройти по домам и хижинам Гори и Диди-Лило, много интересных сведений можно было бы собрать о семье Сталина и его молодости. Такого, о чем никто не знает.

Грузины долго хранят в памяти черты умерших людей. Быть может, как никакой другой народ на свете.

Екатерина Сванидзе умерла от тяжелой болезни в 1909 году. Остался малолетний сын — Яков.

Именно в Грузии, и даже далеко от Гори и Диди-Лило, в маленькой деревеньке Анаклия, на берегу моря, в старой хи-

жине, много лет назад я впервые услышала легенду о том, что Сталин не был сыном своего отца, а родился от местного князя, у которого мать Сталина служила горничной.

Есть и другая легенда — о знаменитом русском путешественнике Пржевальском, который в конце семидесятых годов XIX века жил в Гори, и мать Сталина убирала в его комнатах. Как бы то ни было, каждому, кто хоть раз попадет в стольный город Санкт-Петербург—Петроград—Ленинград, советую зайти в скверик, расположенный как раз возле Адмиралтейства, и взглянуть на памятник Пржевальскому. Я “нашла” его, случайно забредя в скверик. Уже на подходах к памятнику, едва бросив первый взгляд, окаменела — бюст Сталина? В шестидесятых довольно странно было увидеть в нашей стране, да еще в Ленинграде, скульптурное изображение свергнутого со всех пьедесталов грозного вождя. Приближение никаких опровержений не дало: это был Сталин!!! Я обошла со всех сторон — он! Могло ли быть, чтобы вождя забыли убрать из скверика? Невозможно.

Номенклатура и конъюнктура зорко следили за “наглядной агитацией”, к которой принадлежат и памятники. Я наклонилась к золотым буквам на темном граните постамента и прочла: “Пржевальский”. Да, удивительное сходство русского дворянина с сыном грузинского сапожника.

Однажды, оказавшись в обществе человека, боготворящего Сталина, я рассказала ему о бюсте Пржевальского и о легенде, связанной с рождением его идола.

Меня долго разоблачали. Он говорил, что нельзя в подобных гнусностях подозревать чистую, честную, благородную женщину, сталинскую мать.

Вот где сошлись, не понимая друг друга, мужской и женский миры: никогда, ни при какой погоде не могла бы я посчитать нечестной, нечистой женщину, у которой закружилась голова перед статным, красивым и знаменитым Пржевальским. Известно, что супруг сталинской матери был человеком суровым, жестоким. Пьяницей. Известно также, что он частенько бивал жену и сына. Да если бы даже и был он, горийский сапожник, ангелом во плоти, неужели женщина, живущая рядом с ним, не живое существо, способное чувствовать самостоятельно?

Мужская властвующая психология диктует женскому миру свои законы, в том числе и через религиозные послушания. В ответ, не имея права возразить и самовыразиться, женщина использует свои природные привилегии на тайну: обнять кого пожелает и родить от кого пожелает — так что “комар носа не подточит”.

Сталин — сын своего отца.

Сталин — сын местного князя.

Сталин — сын Пржевальского.

Есть и четвертое предположение, встречающееся в разных книгах, с претензией на достоверность. Так Антонов-Овсеенко в книге “Сталин без маски” пишет:

“Отцом Сталина был Яков Егнаташвили, купец 2-й гильдии. Он жил в Гори и нанял прачкой юную Екатерину Геладзе из села Гамбареули. Чтобы покрыть грех, Егнаташвили выдал Кэто замуж за холодного сапожника Виссариона Джугашвили из села Диди-Лило”.

Оттуда же, откуда потом появилась в жизни Сталина и Екатерина Сванидзе, первая жена Сталина? Интересное совпадение. Или не совпадение, а закономерность факторов: с этим селом у семьи были, видимо, крепкие связи. Именно этот факт работает на легенду о происхождении Сталина от его собственного отца, ибо в грузинских селах семейная честь была превыше всего. Но все бывает на свете. Не берусь ничего утверждать: лишь мать Сталина знала правду. А ее не спросишь.

Ходят по миру также и полулегенды об осетинском происхождении Сталина, художественно подкрепленные меткой строкой Осипа Мандельштама: “и широкая грудь осетина”.

Как бы то ни было, точно не зная об отце Сталина, человечество имеет сведения об его матери. Лучшим описанием ее представляются мне строки внучки, Светланы Аллилуевой, в возрасте шести лет посетившей бабушку в 1934 году. Воспоминания смутные, но, как всякие смутные воспоминания, высвечивают наиболее яркие детали увиденного и почувствованного: “Она жила в каком-то старом красивом дворце с парком; она занимала темную низкую комнату с маленькими окнами во двор. В углу стояла железная кровать, ширма, в комнате было полно старух — все в черном, как полагается в Грузии. На кровати сидела старая женщина. Нас подвели к ней, она

порывисто нас всех обнимала худыми, узловатыми руками, целовала и говорила что-то по-грузински... Я заметила, что глаза у нее — светлые на бледном лице, покрытом веснушками, и руки покрыты тоже сплошь веснушками. Голова была повязана платком, но я знала — это говорил отец — что бабушка была в молодости рыжей, это считается в Грузии красивым”.

Не моя задача — разбираться в родословной Сталина. Он вообще интересует меня в этой книге, как и все остальные мужчины, лишь в связи с той или иной из героинь.

Уверена, что легенды об отце Сталина так и останутся легендами.

Удивительным образом явление всех этих легенд и невозможность что-либо доказать, даже при сильном желании, странно напоминают древние как мир мифы о безотцовском возникновении Бога Озириса, о непорочном зачатии Христа девой Марией.

Вы шокированы, читатель?

Напрасно.

Через два—три тысячелетия, если человечеству суждено выжить, все наши истории будут выглядеть иначе. Они образуют мистическими и романтическими тайнами. И явление Анти-Бога, Анти-Христа может вполне совпасть с идеей многопорочного, в противовес непорочному, не божественного, в противовес божественному, зачатия.

Кстати, что мы знаем о рождении Дьявола?

Кто были родители Сатаны?

* * *

Революционные дни понесли Иосифа Сталина на крыльях удачи. Он становился в первые ряды новой ВЛАСТИ. Как бы ни хотелось самолюбивому Льву Троцкому доказать, что роль его главного противника в деле революции сильно преувеличена, факты и свидетельства очевидцев говорят обратное.

Ленин не один год знает и ценит Сталина. Ему принадлежит характеристика: “У нас один чудесный грузин засел и пишет для “Просвещения” большую статью”.

Надежда Константиновна, ненавидя Сталина, все же выжимает из себя: “Ильич много разговаривал со Сталиным по

национальному вопросу, рад был, что встретил человека, интересующегося всерьез этим вопросом, разбирающегося в нем”.

На другой день после взятия большевиками власти Ленин, формируя правительство, включает Сталина в состав Совета Народных Комиссаров: председателем по делам национальностей.

А то обстоятельство, что среди руководителей Октябрьского восстания нет имени Сталина, ровно ни о чем не говорит: честь победы над женским батальоном может принадлежать кому угодно.

Сотрудник сталинского Наркомата по делам национальностей С.С.Пестковский, ушедший за границу, свидетельствует, что Ленин в революционные дни буквально не расставался со Сталиным. Пестковский однажды застал их обоих, стоящих на стульях перед стеной с картой России.

Итак, Сталин на виду, а это обязывает.

* * *

В начале 1918 году советское правительство собирается в Москву. Все будут жить с семьями прямо в Кремле. Есть от чего закружиться голове — в самом Кремле!

Ничего не утверждаю, но вот возможный ход мысли: вдовец Сталин должен жениться. Он непременно войдет в Кремль вместе со спутницей жизни. Хватит быть белой вороной, скитаться по чужим квартирам, перехватывая у сердобольных жен соратников то от обеда, то от ужина.

Гордый и независимый характер дальше не может жить без семейной зависимости. Просто даже неудобно перед людьми.

Кто-то из “друзей” пустил слух, что Сталин никогда не женится: не найдется женщины, способной выдержать его дикий характер.

Ну это мы еще посмотрим.

Конечно, хорошую идею предложила ему мать; приехать самому в Грузию, взять в деревне девушку. Молодую, сильную, красивую. Привезти в Кремль и сделать своей хозяйкой. Невозможно.

Нет времени ехать. Да и как на это посмотрят соратники?

На смех поднимут. Они хоть и твердят с утра до ночи о

народе, народе, народе, но сами давно уже не народ... А кто? Трудно сказать. Профессиональные революционеры, это какая-то уже элита. Раньше — элита наоборот. Теперь, как говорится, “из грязи в князи”.

Так вот, деревенская девушка из народа на роль кремлевской жены члена народного правительства решительно не подходит... Как эта девушка-грузинка будет выглядеть в окружении сильных соратниц? Рядом с Крупской, которая всю революцию на себе вывезла? Нелепо. Рядом с интеллектуалкой, почти барыней Седовой? Ядовитый Троцкий отпляшет на Сталине.

Ни в коем случае нельзя выглядеть смешным.

Но где та женщина, которая могла бы хоть как-то соответствовать его новому положению?

Да вот она. Рядом. В соседней комнате. (Сталин в это время живет в Петрограде у Аллилуевых. — Л.В.) Сидит, корпит над уроками. Милая девчушка, на его глазах превращающаяся в девушку. Она странно напоминает ему другую девочку-гимнастку, которую он видел однажды в цирке, на базаре, гибкую и тонкую. Образ темноволосой гибкой женщины, гитаны — его идеал. Он преследует Сталина...

Надя, Наденька, Надежда.

Дочь его друга-революционера Сергея Аллилуева, у которого он теперь живет в Петрограде, потому что жить ему негде, и где его кормит Надя, потому что мать семейства, Ольга Евгеньевна, загуляла. Она часто загуливает. Еще Нади не было, гуляла напропалую. Муж терпел, как Чернышевский. Сталин не потерпел бы — он из другого теста.

Взять Надю — это мысль. Если задуматься, она предназначена ему судьбой. Когда и как это случилось?

В декабре 1900 года Аллилуевы жили в Тифлисе, у них в доме Сталин познакомился с человеком, повернувшим его жизнь. С Виктором Курнатовским. У Курнатовского был революционный талант. Он только приехал и сразу сплотил всех большевиков Тифлиса.

От него Сталин впервые услышал о Ленине. О Крупской почему-то он много рассказывал. Потом, когда Сталин в Кракове встретился с этой парой, Ленин превзошел все рассказы Курнатовского. Крупская решительно не понравилась: Сталин

не любил чересчур деятельных и некрасивых женщин. Может, это чисто грузинская черта? А может, чисто мужская?

Да, конечно, хорошо бы привезти жену из Грузии. Дома говорить на родном языке... А то он уже отвык.

Надя почти ребенок. Чистый лист. В декабре 1900-го, когда он, тогда еще холостой, с Курнатовским пришел к Аллилуевым, Нади не было на свете! Появилась через девять месяцев. Ольга, жена Аллилуева, тогда, прямо при муже, то на него, то на Курнатовского вешалась. А если и Надя такая же влюбчивая, как мать?

Предназначена ему...

Ведь это он, Сталин, когда-то в Баку спас ее. Она играла на набережной и упала в воду. Он был рядом и одним движением выхватил ее из воды.

Для себя выхватил? Надя хорошенькая, умненькая девочка. И вообще — молодая, прекрасная. Дочь честного большевика Сергея Аллилуева, ничем не испорченная. Нетронутая... Не прошедшая этих вонючих царских тюрем, как прошла сестрица Троцкого, жена Каменева, Ольга. Не размокшая в ссылке, как жена Ворошилова, Екатерина — у нее, говорят, до Клима в ссылке какой-то любовник был, тоже из большевиков.

Чистая, невинная Надя. Крестница Авеля Енукидзе — не последнего человека в большевистских кругах.

Кого еще искать? Жена Сталина — дочь Аллилуева.

Такая достойна Кремля. Жаль, маленькая еще. Ничего, вырастет. Воспитается.

Наступает его время. Его ждут великие дела. Не сразу, не вдруг, но он будет первым в России. Точно выбранная женщина рядом — половина успеха. Надя чистый лист? Он напишет на этом листе все, что нужно ему.

“И будешь ты царицей мира!..”

* * *

А за стенкой Надя писала письма Алине Ивановне Радченко, жене большевика И.И.Радченко, которая опекала юную Надежду.

“Летом я лентяйничала. Пришлось мне подогнать новое, в особенности по алгебре и геометрии. Сегодня утром я ходила держать экзамен, но еще не выяснила, выдержала или нет. Все

же думаю, что выдержала по всем предметам, кроме русского сочинения, хотя тема и была легкая, но я вообще слаба на этот счет”.

Май 1916 года.

“Нас скоро распустят на каникулы, а придется Рождество, наверное, провести в Петрограде. Ехать куда-нибудь долго, дорого и трудно”.

Декабрь 1916 года.

“Самый трудный для меня предмет — немецкий, потому что у нас читают, а не переводят, а я совсем не обладаю немецким языком, а также французским. Наконец я достигла того, что у меня по Закону Божьему пять. Это что-то небывалое, но я всю четверть долбила назубок, что ужасно противно... Папа и мама скрипят по-прежнему”.

Январь 1917 года.

“Мы сидим в классе и слушаем какой-нибудь скучный предмет, как Закон Божий, когда нужно пользоваться хорошей погодой... я очень жду лета... я поехала бы к вам, чтобы поступить кем-нибудь служить. Я думаю, что мне уже можно поступить, потому что мне скоро будет шестнадцать”.

Январь 1917 года.

“А теперь у нас занятия на четыре дня прекращены, ввиду беспокойного состояния Петрограда, и у меня теперь есть время. Настоящее положение Петрограда очень и очень нервное, и мне очень интересно, что делается в Москве”.

26 февраля 1917 года. Канун революции.

“...Сильно скучаем, так как движения в Петрограде нет уже четыре дня. Но после этих скучных дней настал праздник, и большой — а именно — 27-е февраля! Настроение у папы приподнятое, он весь день стоит у телефона. Сегодня приехал Авель Енукидзе и совершенно неожиданно попал прямо с Николаевского вокзала на праздник”.

27 февраля 1917 года.

Лето 1917 года Надя проводит под Москвой, на даче у Радченко, как она и мечтала в письмах, а в квартире Аллилуевых этим летом несколько дней живет Ленин. И конечно, как всегда, Сталин. Вернувшись в Петроград, Надя опять пишет Радченко:

“С провизией пока что хорошо. Яиц, молока, хлеба, мяса можно достать (обратите внимание, дорогие читатели, на этот великий, так нам знакомый глагол “достать”. Он вошел в жизнь вместе с революцией и за семьдесят лет власти не вышел из жизни. — Л.В.), хотя дорого... В общем, жить можно, хотя настроение у нас (и вообще у всех) ужасное, временами прямо плачешь: ужасно скучно, никуда не пойдешь... В Питере идут слухи, что 20-го октября будет выступление большевиков, но это все, кажется, ерунда”.

19 октября 1917 года.

“Живу я пока хорошо, хотя и скучно, но мы ведь всегда так жили. Занятия у нас идут плохо. Два раза в неделю выключают электричество, и, значит, занимаемся только четыре раза в неделю. Хотела купить Ив.Ив. еще папирос, но такая большая очередь, прямо беда! Надо вставать с ночи, причем даже дают (опять чудо-глагол: “дают”, революционное новообразование, сразу влетевшее в речь. — Л.В.) очень мало...”

Я теперь в гимназии все воюю. У нас как-то собирали на чиновников деньги, и все дают (вот тут этот глагол еще в старом значении. — Л.В.) по два, по три рубля. Когда подошли ко мне, я говорю: “Я не жертвую”. Ну и была буря! А теперь все меня называют большевичкой, но не злобно, любя... А пока до свидания, мне еще надо несчастный Закон Божий учить”.

11 декабря 1917 года.

Надины письма — любопытные документы пред- и после-революционных дней Октября.

“Поздравляю с Новым годом. У нас он совсем изменил нашу домашнюю жизнь. Дело в том, что мама больше не живет дома, так как мы стали большие и хотим делать и думать так, как мы хотим, а не плясать под родительскую дудку;

вообще — порядочные анархисты, а это ее нервирует. Хотя это второстепенные доводы, а главное, то, что у нас дома для нее уже нет личной жизни, а она еще молодая и здоровая женщина. Теперь все хозяйство пало на меня. Я изрядно за этот год выросла и стала совсем взрослая, и это меня радует.

Мой недостаток — стала очень грубая и злая, но я надеюсь, что это пройдет”.

Февраль 1918 года.

“Я очень рада, что вы, наконец-то получили посланные мной папиросы... Возня с хозяйством мне страшно надоела, но теперь, кажется, мама меня скоро опять заменит — ей очень скучно жить без своей шумной оравы. Мы ей, конечно, страшно рады.

...в Питере страшная голодовка, в день дают (! — Л.В.) осьмушку фунта хлеба, а один день и совсем не давали. Я даже обругала большевиков. Но с 18 февраля обещали прибавить. Посмотрим!

...я фунтов на двадцать в весе убавилась, вот и приходится перешивать все юбки и белье — все валится. Меня даже заподозрили, не влюблена ли я, что так похудела”.

Февраль 1918 года.

* * *

Похудеть, конечно, можно и от наступившего внезапно голода.

А можно и в самом деле — от любви. Если верить дочери Надежды Аллилуевой, Светлане, которой тогда на свете не было, но ей рассказывали все родственники, то на юную Надежду “камнем свалилась любовь к человеку, на 22 года старше, вернувшемуся из ссылки, с тяжелой жизнью революционера за плечами... к человеку, идти рядом с которым нелегко было и товарищам. А она пошла рядом, как маленькая лодочка, привязанная к огромному океанскому пароходу, — так я вижу эту “пару” рядом, бороздящую бешеный океан”, — пишет Светлана.

Подобное литературное описание сегодня может вызвать у

некоторых ироническую улыбку. Но нельзя и не понять Светлану Аллилуеву — она дочь. Ее право защищать родительскую честь — естественно и достойно понимания.

Что же касается фактов, то они таковы: через несколько дней после февральского 1918 года, приведенного здесь письма Нади к Алине Радченко, Надя уже в Москве. Гимназия брошена, видимо, без особенного сожаления. В Москве Надя поступает на работу под непосредственное руководство Сталина.

Юная Надя сразу же становится ему помощницей. Переехав в марте 1918 года в Москву, получив кабинет и жилье в Кремле, Сталин начинает искать помещение для своего Наркомата по делам национальностей. Как мы знаем из воспоминаний Ходасевича, помещение найти очень трудно. И Сталин решается на самозахват. Надежда уже работает секретарем в его Наркомате, она отстукивает на машинке объявление: “Это помещение занято Наркомнацем”.

Сталин и Пестковский, оставивший рассказ о той истории, едут с Надиной бумажкой к облюбованной Сталиным гостинице и видят на ее дверях уже отпечатанное кем-то другое “объявление”: “Это помещение занято Высшим Советом Народного Хозяйства”.

Недолго думая, Сталин срывает чужую записку и вешает Надину.

Однако сей первый блин оказался для Сталина комом — битву за помещение выиграли те, кто его первым занял.

Можно предположить, что отношения между Сталиным и Надей из отношений ребенка и доброго дяди, спасшего ее от смерти, друга и соратника отца, становятся несколько иными.

Можно предположить, что с первых дней жизни в Москве Надя становится фактической женой Сталина.

Ей только что исполнилось семнадцать.

Ему — тридцать девять.

Она — по свидетельству своего отца, родилась в сентябре 1901 года.

Он, по свидетельствам всех энциклопедий, в декабре 1879 года.

Вообще-то по закону, много позднее принятому Сталиным, такой брак недействителен: жена — несовершеннолетняя.

Если быть особенно строгими, можно и растление усмотреть.

Но тогда он еще не был полноправен издавать законы и на свой брак, видимо, смотрел иначе, чем потом на другие.

Однако не всем эти отношения виделись так просто. Одна из легенд, якобы рассказанная сестрой Надежды Анной Сергеевной, в последние годы ее жизни, по возвращении из сталинского лагеря, гласит: в 1918 году Надежда сопровождает Сталина в Царицын не как жена, а как сотрудница. Тут же и ее отец, Сергей Яковлевич. Все едут в одном салон-вагоне. Состав движется медленно, долго стоит на станциях. Одной ночью Аллилуев слышит крик дочери, кидается к ее купе, навстречу Надя с рыданиями: Сталин только что изнасиловал ее. Отец хочет застрелить насильника, но Сталин падает ему в ноги и просит руки дочери.

В силу исторической невообразимости Сталина, о нем могут возникнуть самые невообразимые легенды. По поводу этой легенды есть вопрос: почему же тогда они сразу не зарегистрировали брак?

Анна Сергеевна объясняет это тем, что Надя долго не соглашалась выходить за нелюбимого человека.

В книге же Светланы Аллилуевой "Только один год" есть строки: "Ольга Аллилуева, будущая теща, относилась к нему очень тепло... но брак дочери ее не обрадовал: она долго пыталась отговорить маму и попросту ругала ее за это "дурой". Она никогда не могла внутренне согласиться с маминым браком, всегда считала ее глубоко несчастной, а ее самоубийство — результатом "всей этой глупости".

Отговорить? Значит, Надежда хотела, стремилась, если ее приходилось отговаривать?

Есть еще точка зрения. Регистрация брака в первые годы, даже десятилетия, после революции вообще не имела значения для большевиков, в том числе руководящих. Идея свободной любви витала над ними, не становясь нормой, однако как-то влияя на жизнь и быт. Все эти регистрации объявлялись мешанством, обывательщиной, пережитками буржуазности. Другое дело, если появлялись дети. Им надо было записывать мать и отца.

Надежда Аллилуева зарегистрировалась со Сталиным, а через пять месяцев родила сына, Василия.

Вот и вся легенда.

В эйфории революции на союз Сталин — Аллилуева окружение посмотрело едва ли не с восторгом: все случилось как бы внутри одной, большой, дружной большевистской семьи!

* * *

Царицын, видимо, стал вехой в жизни юной Аллилуевой. Она прибыла туда 6 июня 1918 года в составе сталинского окружения и в сопровождении 400 красногвардейцев. У Сталина полномочия от Совета Народных Комиссаров. Чрезвычайные. По руководству продовольствием. Надя оказывается в городе, стремительно превращаемом в военный лагерь. Позднее Ворошилов назовет его “Красным Верденом”.

На улицах и перекрестках красноармейские патрули.

Тюрьмы переполнены заключенными.

Фронт под Царицыном растянут на 60 километров.

Волгу бороздят два крейсера, миноносец и вооруженный пароход с орудиями и двадцатью пулеметами.

Сталин требует от центра специальных военных полномочий “для своевременного принятия срочных мер”. Полномочия получены, и Сталин приступает. Он знает, падение Царицына — это путь белым к Москве.

Один и тот же народ становится друг против друга, по обе стороны народившейся и умирающей, красной и белой идей, и стоят насмерть. Внутри каждого лагеря свои жесткие камни.

Сталин, с помощью представителя ЧК Червякова, “чистит” командование Красной Армии, арестовывает почти весь штаб военного округа, держит его на барже, которая потом “случайно” тонет. Имя Сталина в Царицыне произносят шепотом.

Медовые месяцы Нади, недоучившейся гимназистки, обогреты кровью.

Она лишь видит, что вокруг ужас, смерть, летний зной и выстрелы. При чем тут она?

О да, Надя всосала большевизм с молоком матери. Но домашний большевизм и жестокая реальность лета 1918 года так

непохожи. Все говорят ей, что идет борьба за дело рабочего класса. Верит. А если не верить, то как жить?

Любовь под пулями?

Любовь революционная, жгучая, припахивающая чужой смертью, становится стереотипом?

Вот и у Раскольниковых с Ларисой Рейснер. И у Клим Ворошилова с Екатериной.

Надя влюблена? Еще бы! Ее любит Сталин! Она его жена! С ума можно сойти от того, что брошено к ее ногам.

Остановить бы ее тогда и спросить: ты любишь Иосифа Джугашвили? Немолодого, угрюмого, странного человека?

Она не поймет — она любит Сталина, революционера, борца, вожда.

Разве такое трудно предположить? Легче легкого.

И Сталин, и Ворошилов, и Раскольников взяли с собой женщин на боевые позиции, рискуя... Похоже, не так уж и рисковали они своими походными женщинами, за плотным прикрытием красногвардейцев и матросов.

У Романа Гуля, описывающего оборону Царицына, есть описание Екатерины Ворошиловой, но ни слова о Наде: "В полуразграбленном, пустынном особняке горчичного фабриканта командарм Клим Ворошилов живет с женой Екатериной Давидовной. Здесь полутемная спальня, Екатерина Давидовна нарядная, изящная женщина. Она пролетает по городу на военном автомобиле".

Наверно, и Надя также?

А выше, по Волге, вместе с Раскольниковым в эти дни совершает свои подвиги Лариса Рейснер. Они встретятся с Надей в Москве 7 ноября 1918 года, на приеме в честь первой годовщины Октября. И Надежда отведаст икры, привезенной Ларисой.

* * *

Вернувшись из "медового похода", Надежда Аллилуева начинает работать секретарем Ленина. Она оказывается прекрасным, исполнительным, неутомимым работником. Ленин доверяет ей самые секретные материалы.

Юная Надя, конечно же, попадает под магическое обаяние,

которое отмечают все женщины, когда-либо общавшиеся с Лениным.

Ему приятно видеть возле себя милое, молодое, аллилуевское личико. Что он думает о ней и о Сталине, уже доподлинно зная ему цену? Жалее Надежду? Или он вообще не думает ни о чем личном?

Жена Сталина — секретарь Ленина: отличная позиция для Сталина, он будет всегда в курсе всех дел.

Сталин, однако, сталкивается с тем, что его молодая жена не приносит ему с работы секретных сведений. Это поначалу нравится: крепким орешком оказалась Надя. Но бывают ситуации, когда ему необходимо знать. А она — молчит. И ничего с ней не поделаешь.

В дневнике дежурных секретарей запись секретаря Н.С. Аллилуевой: “Владимир Ильич нездоров... Мария Ильинична сказала, чтобы его ничем не беспокоить — если сам запросит об ответах, то запросить кого следует. Приема никакого, поручений пока никаких. Есть два пакета от Сталина и Зиновьева — об них ни гугу, пока не будет особого распоряжения и разрешения...”

Надежде начинает нравиться, что ей, девчонке, доверяют тайны, не должны быть известными даже Сталину. Она ощущает свою самостоятельность, отдельность от него. И это льстит ее независимому, амбициозному характеру. Коса начинает находить на камень. Особенности его натуры, волею судьбы оказавшиеся позднее заметными миллионам людей, поворачиваются к ней и придвигаются вплотную.

Надежда Аллилуева чувствует, что Ленин и Крупская, с их дореволюционным воспитанием, безусловно ближе ей, чем грубый, резкий, беспощадный муж. Она хочет думать, что любит его. Она хочет его любить. Она его любит!

Милую Наденьку, которая росла на глазах подпольщиков, властвующих в Кремле, обожают все большевики. Они радуются, что она уже большая, замужем и работает секретарем у самого Ленина.

Когда у нее случаются неприятности по работе — опаздывает, не слишком грамотна, сама признавалась в письмах: “Я вообще слаба на этот счет” — и вопрос о ней готов вот-вот подняться, Ленин берет ее под защиту. Он знает, что Надежда

не манкирует своими обязанностями. У нее просто-напросто родился ребенок, она не справляется. А что касается грамотности — дело наживное. Надя не успела окончить гимназию.

* * *

Волею судьбы двадцатидвухлетняя Надежда оказывается внутри конфликта Ленин — Сталин — Крупская и ведет себя безукоризненно.

Волею судьбы она, еще с царицынских времен, свидетельница конфликта Сталин — Троцкий.

Волею судьбы она знает о своем муже такое, чего не знает никто.

Когда он выпьет, расслабится, его любимая тема разговора с ней: скоро, очень скоро вся ВЛАСТЬ будет в его руках. ВСЯ! Исполнительная и законодательная.

Она не любит этих разговоров, они кажутся ей какими-то не большевистскими. Но, может, она не права, ему виднее. Если присмотреться к ленинским соратникам, они заметно изменились после революции. Чем? Отношением друг к другу. Раньше их подозрительность была направлена на царский строй. Теперь друг на друга. И Сталин такой же. Может, даже хуже других.

Она одной из первых узнает о “Завещании Ленина”, в котором он так точно, так беспощадно характеризует ее мужа. И она вынуждена самой себе сказать, что Ленин прав: Сталин груб, резок, часто несправедлив. И к ней тоже. А может быть, несправедлива она? Они такие разные. Может, они просто не понимают друг друга? Она молода, ей хочется веселиться, учиться — жить! Тут, в кремлевской клетке, она, как затворница. Под охраной, как в тюрьме со всеми удобствами. И люди вокруг старые, сорока-пятидесятилетние, озабоченные властью. Друг друга в чем-то подозревают. Скука! Скука! Скука! Ей надоели “тайны мадридского двора”, как ее мать называет кремлевскую деятельность.

Но и он разочарован: лучше бы привез девушку из грузинской деревни. Все сделал для Нади: вопреки своим принципам терпит няnek и кухарок в доме, лишь бы ей было удобно. Чего ей не хватает? Каждое ее желание — закон. У мамы, что

ли, с папой ей такое снилось? Дом на широкую ногу: еду, какую хочешь, выписывай — принесут. Любой театр или кино — пожалуйста. Он, правда, не всегда сопровождает, и она обижается. Ну тут уж терпи, он занят. Чего ей мало? Скрытная. В истории с “Завещанием Ленина” как себя повела? Не на его стороне. Не на стороне мужа! В общем-то, в идеале правильно, по-большевистски, но ему-то обидно, он живой человек. А в общем-то правильно.

Нервная очень. В мать: у Ольги Евгеньевны шизофрения. Теперь это Сталину доподлинно известно. Ольга ходит в кремлевскую спецполиклинику, и ему оттуда докладывают. Очень нервная Надежда. Несколько раз такие истерики закатывала — упаси Бог.

Права была его мать: девушка из грузинской деревни лучше всего подходила бы ему в жены. Как Екатерина, первая жена.

Троцкий в своих воспоминаниях называет Екатерину Сванидзе “молодой, малокультурной грузинкой” — однако известно: у этой девушки из грузинской деревни до 14 лет были домашние учителя, брат ее учился в Берлине.

Психология революционеров-большевиков, построенная на классовом подходе, заведомо определяла: если человек из деревни, значит, беден и малокультурен.

И то и другое в реальной жизни необязательно: бедность притбилисской деревни с бархатным климатом вообще сомнительна, а что касается культуры, то человечеству еще предстоит разобраться, не взято ли лучшее в культуре любого народа у его прародителя, возделывавшего землю?

Жена Троцкого Наталья Седова оставила свои воспоминания о маленьком Яше, сыне Сталина от Екатерины Сванидзе:

“Яша — мальчик лет 12-ти, с очень нежным, смуглым личиком, на котором привлекают (внимание) черные глаза с золотистым поблескиванием. Тоненький, скорее миньятюрный, похожий, как я слышала, на свою умершую от туберкулеза мать. В манерах, в обращении очень мягок. Сереже, с которым он был дружен, Яша рассказывал, что отец его тяжело наказывает, бьет — за курение. “Но нет, побоями он меня от табаку не отучит”. “Знаешь, вчера Яша провел всю ночь в

коридоре с часовым, — рассказывал мне Сережа. — Сталин его выгнал из квартиры за то, что от него пахло табаком”.

Однако Бухарин рассказывал Троцкому нечто вроде бы противоречащее воспоминаниям Натальи Седовой. Троцкий пишет:

“Только что вернулся от Кобы, — говорил он мне. — Знаете, чем он занимается? Берет из кровати своего годовалого мальчика, набирает полон рот дыму из трубки и пускает ребенку в лицо...

— Да что вы за вздор говорите! — прервал я рассказчика.

— Ей-богу, правда! Ей-богу, чистая правда, — поспешно возразил Бухарин с отличавшей его ребячливостью. — Младенец захлебывается и плачет, а Коба смеется-заливается: “Ничего, мол, крепче будет...”

Бухарин передразнил грузинское произношение Сталина.

— Да ведь это же дикое варварство?!

— Вы Кобы не знаете: он уж такой, особенный...”

“Годовалый мальчик” — это, конечно, Василий Сталин.

Странные картинки, не так ли? Эта странность на уровне быта, попадая на уровни управления страной, получает поистине неограниченные возможности.

Сталин все чаще вспоминает Екатерину. Иосиф Иремашвили в уникальных воспоминаниях о молодых годах Сталина приводит его слова, сказанные на похоронах первой жены: “Это существо смягчало мое каменное сердце; она умерла — и вместе с ней последние теплые чувства к людям”.

При всем, что мы знаем о каменном сердце Сталина, я искренне сомневаюсь в его “каменности” — жестокие люди сентиментальны. Много примеров тому оставил Сталин. Отношение к дочери. Думаю, и к Надежде было у него сентиментальное чувство. Особенно поначалу. Чувство, споткнувшееся о ее самостоятельный и нервный характер.

После смерти Ленина его бывший секретарь, Надежда Аллилуева, идет работать в журнал “Революция и культура”. Не имея никакого образования, кроме шести классов гимназии и секретарских навыков, приобретенных в ленинской канцелярии, она не без успеха познает редакционную работу.

Любую работу будет делать она, лишь бы не сидеть в кремлевских стенах с детьми и по ночам в застольях с мужем.

Проблема детей решается просто — няня, экономка, ребята-чекисты из охраны на подхвате.

Застолье обязывает. Она не пьет и вообще не любит, не выносит пьющее застолье. Ну не выносит! Такая натура. Что поделать? А Иосиф Виссарионович обожает застолье. В силу национального характера и таких внезапно открывшихся неограниченных возможностей пить сколько и что душе угодно. Ничего не поделаешь, любит.

Кто-то должен уступить. Она уступает, уступает, уступает, уступает... И срывается, убегает вместе с детьми к родителям.

Разве девушка из грузинской деревни так поступила бы?

Сталин возвращает жену домой. Стыдно, что люди скажут. Хоть бы его-то не позорила — весь на виду.

После ленинской смерти стремительно нарастает его влияние в партии, его сила в правительстве, его отлично организованная популярность в народе. Уже широко понесли сталинские портреты по праздничным площадям. Все вокруг вертятся, боятся, уважают, понимают, а дома понимания нет. Обидно. Ведь дом — это крепость. Что он за вождь без хорошего тыла? С врагами как справиться? А врагов полно.

Она все реже соглашается с ним. Какие враги? Те же самые большевики, ленинцы, партийцы! Ну какой враг Троцкий? Он просто самовлюбленный индюк. Впрочем, очень дельный и талантливый — все говорят. Каменев вообще золотой человек. И Зиновьев тоже. И Николай Иванович Бухарин, душа. Почему они все ссорятся, ссорятся, не могут договориться? Ведь общее же дело. Как Ленина не стало, они словно с цепи сорвались в один клубок.

Сталин победит. Она чувствует это. Чувствует без радости. Со страхом. Почему? Трудно объяснить. Надежда Сергеевна не хочет крови. Она ее видела. В Царицыне. Правда, со стороны, но она не хочет...

В доме живет сын Сталина от первой жены, Яков. Очень славный мальчик. И сын погибшего Артема живет у Сталина. В Кремле все стали усыновлять, удочерять детей-сирот.

Надежде Сергеевне чужие дети не мешают, они для нее как свои. Даже лучше. Они уже большие. Ей нравятся большие дети. С маленькими она не находит языка. Со своими малышами — Светланой и Василием — строга. Сталин излишне мягок. Странно: такой жесткий — мягок с детьми. А еще Сталин!

Споры, как воспитывать детей, у Сталина и Аллилуевой перерастают в ссоры. В итоге оба не воспитывают, а портят. Слишком много народу крутится между родителями и детьми: няньки, слуги, охранники, но выхода нет — жизнь летит по заведенному механизму кремлевского быта.

* * *

Ноябрь двадцать седьмого года. Тяжелая, мрачная осень. Этот месяц всегда труден для Надежды Сергеевны. Она давно заметила — в ноябре ей плохо, настроение ужасное. Жизнь вокруг не способствует веселью. Идет последняя схватка Сталина с Троцким. Из партии исключают многих деятелей оппозиции. Среди них люди, милые сердцу Надежды Сергеевны.

Она ничего не понимает.

Она ничего не понимает?

Она понимает все!

Сталин успешно проводит свою линию. В редкие минуты семейного мира Надежда Сергеевна пытается поговорить с ним. Он отмахивается — не женское дело. Не лезь куда не просят. Вечером будут гости, позаботься о столе.

Пьющий муж с его похмельным поздним утром, с чувством вины за вчерашнее, заглушающим все другие чувства, вполне управляем. Она знает это, но ей некогда. К тому же она на пределе — вот-вот сорвется. За столом срывается все чаще. И словами, словами его! Хуже, чем ладонью по щекам. Он лишь краснеет, но молчит при людях. И каждое слово запоминает, а потом возвращает. Наедине.

Почему она не может его понять и стать рядом?

В ноябре двадцать седьмого года кончает с собой видный дипломат Иоффе. Да, конечно, все знают, он болен, обречен, но мог бы еще и пожить. Все знают, что он — троцкист, вместе с Троцким подписывал мирный договор в Брест-Литовске.

Самоубийство в ноябре...

Надежда Сергеевна хорошо знала Иоффе, уважала его. Она идет на его похороны.

Иоффе провожают толпы народу. Среди них Троцкий. Много молодежи. Поют военные песни времен гражданской войны, где звучит имя Троцкого. На кладбище выступают Троцкий, Каменев, Зиновьев. А в первом ряду слушает их жена Сталина. Она слышит, как Зиновьев, сбившись с похоронного тона, над гробом Иоффе клеймит преступления ее мужа, предающего интересы партии. Слушает молча. А что творится в ее душе — кто скажет? Никто.

Митинг окончен. Надежда Сергеевна в сопровождении охраны выходит из ворот Новодевичьего кладбища. У ворот строй солдат, вызванный из казарм для поддержания порядка. Какой-то юноша из окружения Троцкого кричит солдатам: “Красноармейцы! “Ура!” вождю Красной Армии товарищу Троцкому!” В ответ тишина. Троцкий видит это. Стоит, потупясь. Идет к машине. Аллилуева тоже видит это. Идет к машине. Она знает — Сталин победил.

Победа не радует ее.

Почему она не может стать рядом со Сталиным? И быть его вторым “я”, такой же жестокой всепобеждающей силой?

Вот ведь и Ольга рядом с Каменевым. И Екатерина во всем поддерживает Клима. И Наталья — за Троцкого. Почему Надежда другая? Кто скажет? Почему она не может, не хочет его поддерживать? Не видит за ним правды? А за другими, что ли, правда есть? Нет ее. Неужели она в самом деле шизофреничка, как он крикнул ей во время последней ссоры?

— А ты параноик, — отдала она ему, — у тебя повсюду враги!

И он смолчал.

* * *

Надежда Сергеевна оставляет журнал “Революция и культура”, идет учиться в Промакадемию. Хочет стать специалистом по химическим волокнам.

Вне стен Кремля все интересно. Даже трудности в учении по-своему легки. Она старается не выпячивать в Академии, кто она такая. К зданию Академии на “форде” не подъезжает.

Останавливает машину за квартал, идет пешком, требуя от охраны не маячить слишком близко. Ей кажется, что вокруг никто не знает, чья она жена.

Зачем ей эта иллюзия? От природной скромности? Или от стыда: чья она жена? Последнее столь же маловероятно, сколь и возможно.

Будучи психологически разорванной между своей и сталинской правдой, Аллилуева умом все более и более уходит в сторону противников своего мужа. И сердцем тоже.

Можно ли представить себе Надежду Константиновну в такой ситуации? Ни в коем случае: Ленин прав, даже когда он неправ. А неправым он не бывает. Конечно, Надежда Константиновна не так глупа, чтобы настолько идеализировать своего вождя. Самой себе, во тьме ночной она наверняка признавалась во многом.

Недаром, по свидетельствам близких, она называла “ражью” его порой излишне эмоциональное, возбужденное состояние, до конца хорошо известное лишь ей. Но люди никогда не узнают ее несогласий с ним. Она сведет все несогласия воедино, она подправит его так, что и он не заметит, где она его подправила. Она заслонит собою любой его промах. Она объяснит себе и другим необходимость любого ленинского террора.

Аллилуева другая.

Связывало ли обеих Надежд что-нибудь? Такая разница возрастов. Сложно все было. Сталин третировал Крупскую. Аллилуева, наверно, сочувствовала ей. Но Крупская сама могла быть не слишком понятна Аллилуевой. Мог отвращать ее воинствующий атеизм. Надежда Сергеевна все больше и больше обращалась к Богу. Это приносило кратковременное успокоение мятущейся душе. Она стала ходить в церковь. Все вокруг заметили это.

Христианские настроения Аллилуевой подтвердила мне недавно сноха Каменева, Галина Сергеевна Кравченко:

— Надежду Аллилуеву я часто встречала в начале тридцатых в мастерской для высших чинов Кремля, их жен и детей. У нас с ней была общая портниха. Не могу сказать, чтобы мы были близко знакомы. Сидели в мастерской, ждали, когда вызовут на примерку.

Какая она была? На мой взгляд, очень неинтересная. Се-

рая. Скучная. И вкус ее мне, любившей всякие экстравагантности, не нравился, скучный.

Выглядела Аллилуева старше своих лет. Пожалуй, можно было дать под сорок. Если у молодой жены старый муж, они с годами сравниваются в возрасте.

Аллилуева была очень верующая. Да, да, не удивляйтесь, она в церковь ходила. Все знали и много говорили об этом. Ей, видно, разрешалось, что другим партийцам запрещалось: она состояла в партии с восемнадцатого года. Вообще, заметно было, что она немножко “того”. Как теперь говорят, с фиалками в голове.

* * *

Начались первые процессы тридцатых годов. В “процессе Промпартии”, охватившем многие отрасли советской промышленности, были так или иначе “замешаны” многие преподаватели академии, где училась Аллилуева. Она умела быть в хороших отношениях со сталинскими врагами. И чем дальше, тем больше.

Она явно не хотела быть хозяйкой, заниматься детьми, и они росли как трава.

Все это Сталину решительно не нравилось. И вообще его характеру претили самостоятельные женщины.

* * *

Бывший секретарь Сталина Бажанов, ушедший за границу, описал много деталей сталинского быта. Он вспоминал кремлевскую квартиру вождя: перед дверью постоянный часовой, в маленькой передней солдатская шинель и фуражка Сталина, а в четырех комнатах квартиры простая мебель. Бажанов рассказывает, что поначалу еду в дом приносили из столовой Совнаркома, а потом повара стали готовить дома — Сталин боялся отравления.

“В своей семье, — писал Бажанов, — он держит себя деспотом. Целыми днями он соблюдает у себя высокомерное молчание, не отвечая на вопросы жены и сына”.

Он же рассказывал о том, что Сталин, если не в духе, а это

случалось часто, молчал за обедом, и все молчали. После завтрака Сталин обычно сидел у окна в кресле. С трубкой.

“Раздается звонок по внутреннему телефону Кремля.

— Коба, тебя зовет Молотов, — говорит Надежда Аллилуева.

— Скажи ему, что я сплю, — отвечает Сталин”.

Многое видно в фигуре Аллилуевой, зовущей мужа к телефону. Молодая женщина живет в атмосфере вранья по малым мелочам. А если она живет в такой атмосфере, то и сама должна лгать. Отвечать, что его нет, когда он есть. Вряд ли Молотов хочет сообщить Сталину о прилете грачей. Наверно, важный вопрос.

Для Надежды Сергеевны, “всосавшей большевизм с молоком матери”, революционер, слуга народа, способный на мелкое вранье, вряд ли долго будет предметом восхищения и душевной любви.

Аллилуева уже второй десяток лет — женщина Кремля из верхнего “эшелона” ВЛАСТИ и несколько лет — первая леди королевства, некоронованная царица советского типа: без короны, но с царскими возможностями. Глаголы “достать” и “дают”, применительно к продовольствию, ею крепко забыты. Как ни храни старые скромные платья с заплатками, которые просто жаль выбросить от чувства ностальгии по своей молодости, факт остается фактом: она может позволить себе многое — она жена Сталина. И этим все сказано.

Однако не все.

* * *

Был праздник — седьмое ноября 1932 года. Пятнадцатая годовщина со дня Октябрьской социалистической революции. Сначала парад, потом демонстрация трудящихся. На трибуне Мавзолея — все правительство во главе с товарищем Сталиным. На нижней трибуне, среди ответственных лиц с женами и зарубежных гостей праздника, стояла Екатерина Лебедева, жена заместителя начальника военного отдела ЦК ВКП(б) Алексея Захаровича Лебедева, героя гражданской войны. Она стояла рядом с мужем и испытывала ставший привычным для советского человека в этот день прилив энтузиазма. Знаете

чувство, когда при виде торжеств на Красной площади — ком в горле? Кто постарше — знает.

— Аллилуева, Аллилуева, жена Сталина, жена... — прошелестело по трибунам. Глаза Екатерины Лебедевой замесались по колоннам демонстрантов, и она увидела: “Надежда Аллилуева шла со своей Промакадемией в первом ряду, под знаменами. Она сразу же бросалась в глаза — высокая, в распахнутом пальто, хотя было холодно. Она улыбалась и смеялась, что-то говорила своим спутникам, смотрела в сторону Мавзолея, махала рукой, ее белое мраморное лицо было прекрасно. Взмах руки был царственный. Она была вся... лучезарная”.

Под крики здравицы товарищу Сталину, его жена, Надежда Сергеевна, прошла Красную площадь, свернула, оторвавшись от своих спутников, в хорошо знакомые ей Спасские ворота и, сопровождаемая группой охраны, вышла на нижние трибуны, стала на заранее приготовленное ей место, рядом с Никитой Хрущевым. Холодало. Она поеживалась, запахнув пальто, и все посматривала вверх на Мавзолей. С нижней трибуны ей был виден Сталин, и она говорила Хрущеву, что волнуется, как бы он ни простудился, он такой упрямый, она умоляла одеться потеплее, но он не слушается.

Обычные стереотипные волнения заботливой жены...

На следующий день был вечерний прием в честь праздника, завершившийся для узкого кремлевского круга вечеринкой в квартире Ворошилова, откуда Сталин и Надежда Сергеевна вернулись домой не вместе и в разное время. Она пораньше, он очень поздно.

Они спали порознь: она — в спальне, он — у себя в кабинете или в маленькой комнатке при столовой, возле правительственного телефона. Этот телефон стал обязательным приложением к главе правительства и партии. Он мог зазвонить в любую минуту, но звонить могли только особо доверенные люди, в особо экстренных случаях. Наверно, поэтому цвет телефона был определен раз и навсегда — КРАСНЫЙ.

Обычно по утрам экономка будила Надежду Сергеевну. Так должно было быть и на сей раз. Экономка нашла Аллилуеву лежащей на полу возле кровати в луже крови. Рядом маленький пистолет “вальтер”, привезенный ей в подарок братом

Павлом из-за границы. Испуганная экономка позвала няню. Надежда Сергеевна была уже холодная. Вдвоем женщины уложили ее на кровать. Они побоялись разбудить Сталина, спящего в нескольких метрах возле красного телефона. Позвонили Авелю Енукидзе и Полине Молотовой. Они пришли. Разбудили Сталина.

Он вышел в столовую и услышал: “Иосиф, Нади больше нет с нами”.

Так рассказывали все очевидцы своим домочадцам и позднее Светлане, дочери Аллилуевой и Сталина.

Самоубийство в ноябре...

* * *

Чем дальше уходит время, тем все запутаннее и непонятнее клубок противоречий, приведших Надежду Аллилуеву к трагическому концу. Вопреки немногочисленным и кажущимся достоверными фактам, он обрастает множеством сплетен, слухов, легенд и мифов. Новые поколения приносят новое отношение к этому печальному событию.

Я уверена, что история никогда не разберется с узлом “Сталин и Аллилуева”, как бы доказательны ни были все новые и новые открытия. Другие поколения увидят пьесы и фильмы об этой загадочной паре столетия: девушка и деспот. Много мыслей это породит. Много чувств будет высечено мыслями. А если человечеству суждено не погибнуть, сквозь десятки столетий эта история, быть может, и обрастет чертами божественности. Кто знает?

Вранье началось сразу. 10 ноября в газете “Правда” появился следующий некролог:

Н.С.АЛЛИЛУЕВА

“В ночь на 9 ноября скончалась активный и преданный член партии тов. Надежда Сергеевна Аллилуева.

ЦК ВКП(б)”.

И сразу же за этим траурным сообщением крупным шрифтом заголовок:

“ДОРОГОЙ ПАМЯТИ ДРУГА И ТОВАРИЩА НАДЕЖДЫ СЕРГЕЕВНЫ АЛЛИЛУЕВОЙ

Не стало дорогого, близкого нам товарища, человека прекрасной души. От нас ушла еще молодая, полная сил и бесконечно преданная партии и революции большевичка.

Выросшая в семье рабочего-революционера, она с ранней молодости связала свою жизнь с революционной работой. Как в годы гражданской войны на фронте, так и в годы развернутой социалистической стройки, Надежда Сергеевна самоотверженно служила делу партии, всегда скромная и активная на своем революционном посту. Требовательная к себе, она в последние годы упорно работала над собой, идя в рядах наиболее активных в учебе товарищей в Промакадемии.

Память о Надежде Сергеевне как о преданнейшей большевичке, жене, близком друге и верной помощнице тов. Сталина будет нам всегда дорога.

*Екатерина Ворошилова, Полина Жемчужина,
Зинаида Орджоникидзе, Дора Хазан,
Мария Каганович, Татьяна Постышева,
Ашхен Микоян, К. Ворошилов, В. Молотов,
С. Орджоникидзе, В. Куйбышев, М. Калинин,
Л. Каганович, П. Постышев, А. Андреев,
С. Киров, А. Микоян, А. Енукидзе”.*

Что можно понять из этого общепринятого набора стандартных газетных соболезнований? Умерла. От чего? Болела? Несчастный случай? Ни слова о причине смерти. О покойной, о женщине, жене первого человека в государстве — как о бесполом существе: преданность партии, революционная работа. Лишь одна деталь, но характерная: женские имена и фамилии подписавших некролог даны полностью и вынесены перед мужскими фамилиями — лишь это говорит о том, что ушло из жизни существо женского пола.

Далее, в заметке-соболезновании от руководства Промакадемии им. товарища Сталина, где училась жена Сталина, появляется фраза — намек на причину смерти — фраза так и оставшаяся во всем некрологе единственной: “...болезненное состо-

яние не могло приостановить ее большевистского упорства в учебе”.

Как хотите, понимайте. Может, она была больна и продолжала учиться, надорвалась и умерла от этого?

Почему же все-таки нет медицинского заключения? Ведь жена Сталина, не кто-нибудь!

А слухи ползли, ползли под звуки траурных маршей.

Убита,

застрелена,

самоубийство...

“Правда” от 11 ноября уже как бы несколько пришла в себя. В соболезнующих заметках появляются более раскованные слова: “умер молодой, скромный и преданный боец великой большевистской армии. Умер в пути, в походе, на учебе”. Но опять все в мужском роде. Газета решительно поворачивается от умершей к “пострадавшему”. Все соболезнования адресованы лично товарищу Сталину: “Мы, близкие друзья и товарищи, понимаем тяжесть утраты товарища Сталина со смертью Надежды Сергеевны, и мы знаем, какие обязанности это возлагает на нас в отношении к товарищу Сталину”.

Какие?..

В траурных репортажах рассказывается о торжественном карауле, в котором стоит и товарищ Сталин, но в последнем репортаже с кладбища ни слова нет о том, что на кладбище Сталин присутствовал.

Его там не было.

Несколько дней идет, убывая, траурная аллилуевская нота на страницах “Правды”.

А в газете от 16 ноября особо выделенный материал:

“Дорогой Иосиф Виссарионыч,

эти дни как-то все думается о вас и хочется пожать вам руку. Тяжело терять близкого человека. Мне вспоминается пара разговоров с вами в кабинете Ильича во время его болезни. Они мне тогда придали мужества.

Еще раз жму руку.

Н.Крупская”.

Боже мой, почему мне так много видится за этой соболез-

нующей записочкой? Все в ней продумано, выверено, вычислено, высчитано — все многозначно.

Это “ы” в его отчестве она употребила не зря. Редактор, конечно же, не осмелился исправить “ошибку”, а может быть, и сам автор не разрешил ничего исправлять?

Многие, знавшие Крупскую, отмечали индивидуальность ее языка: “я тогда была неписучая”, “это ведь и титечному ребенку ясно”. Эдакая симпатичная инфантильность, нарочитость, претенциозность исключительности: Крупской можно то, чего нельзя другим.

Думаю буква “ы” в слове В и с с а р и о н ы ч — тоже из ряда ее неологизмов. Всего лишь буква, но говорит о многом: Надежда Константиновна, как никто, имеет право на фамильярность с ним в государственном масштабе, потому что она — Крупская, а он всего лишь Сталин.

Втяжелую для него минуту она фамильярностью этого “ы” как бы подчеркивает свое к нему отношение: не сверху, не свысока, а с высоты.

Наверно, Крупская имеет свое мнение о самоубийстве и даже, может быть, об убийстве, но, не располагая никакими другими возможностями, выражает свое подлинное к нему отношение, обращаясь на “вы” с маленькой буквы. Все остальные пишут ему: “Вы”.

“Тяжело терять близкого человека”.

Это о нем, но и о ней. Эти слова должны напомнить ему, что ОНА потеряла ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА ЛЕНИНА!!!

А две последние фразы вообще образцы многозначной прозы, если вернуться к отношениям Сталина и Крупской перед смертью Ленина.

Она напоминает ему “пару разговоров в кабинете Ильича”, понимая, что он вспомнит не их, а грубый разговор с нею по телефону.

Почему она хочет от него этого воспоминания? А если она живет с сознанием, что Сталин отравил Ленина?

Можно ли жить с таким сознанием и продолжать делать общее дело вместе с “отравителем”?

Я не сторонница сплетни об отравлении Ленина Сталиным, но я знаю, что Надежда Константиновна может вынести все:

она воплощает идею, и нет земной силы, способной помешать ей.

Не дает ли она ему понять: “Никто не забыт, ничто не забыто”?

Маловероятно? Кто докажет?..

В газете “Известия” о смерти и похоронах Аллилуевой материала меньше, и весь он как бы поживее. Даже в одном из номеров Надежде Сергеевне посвящены стихи Демьяна Бедного с такими строками:

*У смерти есть свое жестокое коварство;
Щадя нередко тех, кто стар, и слаб, и хил,
Она разит того, кто полон юных сил,
Кто был, казалось, так далек от входа в царство
Воспоминаний и могил.*

Если принять во внимание, что придворный поэт Кремля, Демьян Бедный, не мог не знать хотя бы двух главных версий смерти Надежды Сергеевны, то для кого этот стишок?

Для народа, которому нечего знать лишнее: смерть сразила молодую. И хватит вам. Восторгайтесь стихами как таковыми.

* * *

Приступая к работе над этой книгой, заранее зная, что глава об Аллилуевой будет трудной и полной всяческих противоречий, я, как говорится, “прыгнула с обрыва”. По ноль девять узнала телефон справочной КГБ и позвонила:

— Мне нужен отдел, в котором хранится дело о самоубийстве Аллилуевой-Сталиной.

Трубка помолчала и выдала без комментариев обычный семизначный номер. По этому номеру мне дали еще номер. И так далее. Может быть, на пятый раз я попала, не знаю куда, но куда надо. Очень доброжелательный молодой мужской голос расспросил меня. Оказывается, он даже мои стихи знает. Попросил позвонить через неделю. И я получила ответ:

— ДЕЛА АЛЛИЛУЕВОЙ НЕ СУЩЕСТВУЕТ. СТАЛИН ОТДАЛ ПРИКАЗ НЕ ВОЗБУЖДАТЬ ПО ЭТОМУ ПОВОДУ НИКАКИХ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ.

Что значил этот ответ? Он давал мне возможность предполагать все, что угодно. И я начала свой поиск.

Слухов, легенд и сплетен так много, что их стоило бы классифицировать.

Было две версии смерти Аллилуевой: убийство и самоубийство. В первой три предположения: убита самим Сталиным, убита охранниками, убита сообщниками. Каждая версия распадается еще на несколько. Вот основные:

“Сталин сам убил ее из ревности. Она завела роман со своим пасынком Яковом. Он застал их. С ней расправился на месте, а сыну сказал, что отомстит позднее. Поэтому-то он и Якова из немецкого плена не вызволил”.

“Сталин убил ее как своего политического противника. Она возмущалась его политикой, коллективизацией, а он не мог этого слушать — правда глаза колет”.

“Сталин приказал ее убить, чтобы самому не марать рук, узнав, что она политически изменила ему — вошла в группу врагов народа, была такая группа “девяноста двух”.

“Она действительно была в оппозиции, входила в группу, враждебную Сталину. Сообщники, боясь, что она предаст их, убрали ее”.

“Сталин приказал охране ее убить, она надоела ему ревностью, и вообще, они уже давно не жили как муж и жена. Она мешала ему жить, как он хотел, — пить вино и гулять с балеринами”.

“В Аллилуеву стреляли — спасти ее было невозможно. Истекающая кровью, она сказала: “Это Иосиф. Не простил, что я заступилась за Надю Крупскую, когда она просила миловать. Своей рукой, сам...”

В этой невозможной версии меня, конечно же, привлекло появление имени Надежды Константиновны рядом с трагедией другой Надежды.

Версия самоубийства:

“Она покончила с собой, потому что хотела наказать его за хамство, грубость, пьянство и разврат. В эту ночь она узнала, что он был с другой женщиной, и не выдержала”.

Сообщая слухи, я не даю им оценок. Могу лишь сказать, что все они представляются мне далекими от истины.

Послушаем лучше людей, знавших Аллилуеву и Сталина:

“Ревность, конечно. По-моему, необоснованная. Парикмахерша была, к которой он ходил бриться. Супруга этим была недовольна... Такая молодая... У нас была большая компания после 7 ноября на квартире Ворошилова (по другим сведениям: 8 ноября в ГУМе, по третьим — в Большом театре. — Л.В.). Сталин скатал комочек хлеба и на глазах у всех бросил этот шарик в жену Егорова (по другим сведениям, в жену Тухачевского, по третьим — в артистку Большого театра. — Л.В.). Я это видел, но не обратил внимания. Будто бы это сыграло роль. Аллилуева была, по-моему, немножко психопаткой в это время. На нее это действовало так, что она не могла уж себя держать в руках. С этого вечера она ушла вместе с моей женой, Полиной Семеновной. Они гуляли по Кремлю. Это было поздно ночью, и она жаловалась жене, что вот то ей не нравилось, это не нравилось... Про эту парикмахершу... Почему он вечером так заигрывал... А было просто так, немножко выпил, шутка. Ничего особенного, но на нее подействовало. Она очень ревновала его. Цыганская кровь. Полина Семеновна осуждала его поступок, говорила: “Надя была неправа. Она оставила его в такой трудный период”. Это — записанное Феликсом Чуевым свидетельство Молотова, ближайшего соратника Сталина. Общеизвестно, что Молотов был на стороне своего вождя. В его словах слышно осуждение Аллилуевой. Но он сидел за столом вместе с ними в тот вечер, он знал больше других. Ему было что сказать и что скрыть.

“В самый разгар сплошной коллективизации, голода в деревне, массовых расстрелов, когда Сталин находился почти в полном политическом одиночестве, Аллилуева, видимо, под влиянием отца, настаивала на необходимости перемены политики в деревне. Кроме того, мать Аллилуевой, тесно связанная с деревней, постоянно рассказывала ей о тех ужасах, которые творятся в деревне. Аллилуева рассказывала об этом Сталину, который запретил ей встречаться со своей матерью и принимать ее в Кремле. Аллилуева встречалась с ней в городе, и настроения ее все укреплялись. Однажды, на вечеринке не то у Ворошилова, не то у Горького, Аллилуева осмелилась выступить против Сталина, и он ее публично обложил по матушке. Придя домой, она покончила самоубийством”.

Так хотелось видеть эту трагедию Троцкому из его мексиканского далека.

“Она кричала в тот вечер перед смертью: “Я вас всех ненавижу! У вас какой стол, а народ голодает!”

У нее было большое разочарование в политике, которой она увлекалась сначала. Разочарование, как шок. Вроде бы Буденный кому-то рассказывал, что Сталин поздно ночью вошел в комнату и увидел, что тяжелая бордовая штора на окне колыхается.

Ему показалось, что за шторой кто-то есть. Он всегда боялся врагов, нападения, боялся, что его убьют, маньяк был и пальнул в шевелящуюся штору. А за шторой стояла Надежда Сергеевна. Что она там делала, неизвестно, просто, может, стояла и думала, глядя в темноту ночи. Вот и получилось, что он ее случайно убил”, — снохе Каменева, Галине Сергеевне Кравченко, тайна смерти Аллилуевой запомнилась в такой интерпретации.

“В ноябре 1932 года, придя домой из института, я застала там Н.И. (Николая Ивановича Бухарина. — Л.В.). Он пришел сразу же после похорон Надежды Сергеевны Аллилуевой — жены Сталина. Я увидела его взволнованного, бледного. Они тепло относились друг к другу, Н.И. и Надежда Сергеевна; тайно она разделяла взгляды Н.И., связанные с коллективизацией, и как-то улучила удобный момент, чтобы сказать ему об этом. Надежда Сергеевна была человеком скромным и добрым, хрупкой душевной организации и привлекательной внешности. Она всегда страдала от деспотического и грубого характера Сталина. Совсем недавно, 8 ноября, Н.И. видел ее в Кремле на банкете в честь пятидесятилетия Октябрьской революции. Как рассказывал Н.И., полупьяный Сталин бросал в лицо Надежде Сергеевне окурки и апельсиновые корки. Она, не выдержав такой грубости, поднялась и ушла до окончания банкета. Они сидели друг против друга, Сталин и Надежда Сергеевна, а Н.И. рядом с ней (возможно, через человека, точно не помню). Утром Надежда Сергеевна была обнаружена мертвой. У гроба Надежды Сергеевны был и Н.И. В такой момент Сталин счел уместным подойти к Н.И. и сказать ему, что после банкета он уехал на дачу, а утром ему позвонили и сказали о случившемся. Это противоречит тому, что сообщает

Светлана — дочь Надежды. Не хотел ли он в разговоре с Н.И. отвести от себя подозрение в ее убийстве? Было ли это убийство или самоубийство, мне неизвестно. Н.И. убийства не исключал. Как рассказывал Н.И., первым, кто увидел Надежду Сергеевну мертвой, кроме няни, пришедшей ее разбудить, был Енукидзе, которому няня Светланы решилась позвонить, побоявшись сказать об этом первому Сталину. Не это ли послужило причиной того, что А.С.Енукидзе убрали раньше остальных членов ЦК?

Н.И. рассказывал, что перед закрытием гроба Сталин жестом попросил подождать, не закрывать крышку. Он приподнял голову Надежды Сергеевны из гроба и стал целовать.

“Чего стоят эти поцелуи, — с горечью сказал Н.И., — он погубил ее!”

В печальный день похорон Н.И. вспоминал, как однажды он случайно приехал на дачу Сталина в Зубалово в его отсутствие; он гулял с Надеждой Сергеевной возле дачи, о чем-то беседуя. Приехавший Сталин тихо подкрался к ним и, глядя в лицо Н.И., произнес страшное слово: “Убью!”

Н.И. принял это за шутку, а Надежда Сергеевна содрогнулась и побледнела”, — рассказывает Анна Михайловна Ларина-Бухарина в своей книге “Незабываемое”.

“Я никогда, конечно, не видела жену Сталина, но Семен Михайлович, вспоминая ее, говорил, что она была немного психически нездорова, в присутствии других пилила и уничижала его. Семен Михайлович удивлялся: “Как он терпит?!” — говорит сегодня вдова маршала Мария Васильевна Буденная. — Сталин жаловался, когда это случилось, Семену Михайловичу: “Какая нормальная мать оставит детей на сиротство? Я же не могу уделять им внимание. И меня обездолила. Я, конечно, был плохим мужем, мне некогда было водить ее в кино”.

Это сдерживание себя, эта страшная внутренняя самодисциплина и напряжение, это недовольство и раздражение, загоняемое внутрь, сжимавшееся внутри все сильнее и сильнее, как пружина, должны были в конце концов неминуемо кончиться взрывом, — пружина должна была распрямиться со страшной силой...”

Так и произошло. А повод был не так уж значителен сам по

себе и ни на кого не производил впечатления, вроде “и повода-то не было”. Всего-навсего небольшая ссора на праздничном банкете в честь XV годовщины Октября. “Всего-навсего” отец сказал ей: “Эй ты, пей!” А она “всего-навсего” вскрикнула вдруг: “Я тебе не ЭЙ!”, и встала, и при всех ушла вон из-за стола”. — Так видится трагедия и тайна смерти матери Светлане — дочери Сталина и Аллилуевой, — которая тогда была еще шестилетним ребенком и знает то, что видел Молотов, по рассказам самых разных людей.

“Я с глубоким уважением относился к Надежде Аллилуевой. Она так отличалась от Сталина! Мне всегда нравилась в ней скромность... Потом Надя покончила с собой. Она умерла при загадочных обстоятельствах. Но как бы она ни умерла, причиной ее смерти были какие-то действия Сталина... Ходил даже слух, что Сталин застрелил Надю... Согласно другой версии, которая представляется мне более или менее правдоподобной, Надя застрелилась из-за оскорбления, нанесенного ее женскому достоинству...” — это говорит Хрущев, сослуживец Надежды по Московскому городскому партийному комитету, в то время еще не вхожий в высшие коридоры власти.

Как видим, слухи и домашние и партийные легенды более или менее совпадают, не слишком много разноголосицы. Современники дополнили нескладывающуюся картину новыми сообщениями: у Аллилуевых по линии матери была плохая наследственность — Ольга Евгеньевна страдала психическим расстройством. Оно же постигло и Анну, старшую сестру Надежды Сергеевны, правда, она прошла через сталинскую тюрьму и одиночку и после этого заболела.

Страшные судьбы постигли всех Аллилуевых, кроме во время умершего Сергея Яковлевича, отца семейства.

Отца...

Много лет я держу в памяти совершенно невероятную историю, рассказанную мне в юности, в середине пятидесятых, одной старой большевичкой, бывшей слушательницей института “Красной профессуры”. Она просила никогда не упоминать ее фамилии, уверяла, что ничего не боится, сейчас за это не посадят, — говорила она, — но просто стыдно, что с ее именем может быть связана такая информация. Даже не знала,

как ее назвать. Позорной, что ли? Какой-то нечеловеческой. Даже звериной.

Должна сказать, что спустя много лет, сегодня, собираясь рассказать услышанное от старой большевички, я испытываю то же чувство: мне стыдно, что с моим именем может быть связано обнародование этого предположения. Маловероятного. Ужасающего. Чудовищного.

Но “говоря — говори”.

Я не записывала рассказа старой большевички, поэтому не имею права на прямую речь. Она сообщила мне, что у нее была в начале тридцатых знакомая девушка из семьи старых большевиков, которая дружила с Надеждой Аллилуевой. Аллилуева часто жаловалась подруге на грубость и равнодушие Сталина. Они были тогда чужды друг другу. Сталин, по словам Аллилуевой, много пил, просто спивался, а ей пить нельзя, у нее по наследству от матери очень слабая психика, и она вообще пить не любила. Он при всех заставлял, ну, как это грузины заставлять умеют, она злилась, дерзила ему. Оставшись наедине, он, пьяный, был невыносим. Она иногда готова была убить его.

И разговоры о женщинах. Пошлые. Она не ревновала, нет. Они ее достоинство оскорбляли, эти пьяные мужские бредни. Он, пьяный, колобродил целыми ночами, а потом спал до полудня — и все это раздражало ее. Стыдно было: вокруг кричат “великий Сталин!”, а она такого “великого” видит! И дети не радовали. Она было начнет заниматься ими, он грубо вмешивается. У нее опускаются руки. Она чувствует, что уходят ее лучшие годы куда-то в песок или в помойную яму.

Аллилуева рассказывала это подруге откровенно и даже плакала. Она была очень экспансивна. Говорили, что у нее случаются сильные психические срывы. Отец этой девушки, старый большевик, бывал у Сталина в доме, он видел многое из того, о чем говорила Аллилуева, и даже рассказывал, что Надежда Сергеевна сама публично одергивала выпивающего Сталина. Даже оскорбляла его.

Однажды, это было примерно за неделю до седьмого ноября, Аллилуева сказала своей подруге, что скоро с ней случится что-то страшное. Она проклята от рождения, потому что она — дочь Сталина и его жена одновременно. Этого не должно быть

в человечестве. Это кровосмешение. Сталин якобы сам сказал ей это в момент ссоры. Бросил в лицо: мол, то ли от меня, то ли от Курнатовского. А когда она остолбенела, пытался поправить положение: пошутил, мол.

Она прижала к стенке свою мать, которая в молодости хорошо погуляла, и та призналась, что действительно была близка со Сталиным и со своим мужем в одно время, вроде бы то ли в декабре 1900-го, то ли в январе 1901-го, и, если честно, не знает, от кого из них родилась Надя, хотя, конечно, она на законного отца похожа, значит, от него.

Аллилуевой все же стало казаться, что она — дочь Сталина, а значит, сестра своих дочери и сына. В общем какой-то бред. Дьявольская история.

В последние дни своей жизни она считала, что таким, как она, проклятым, не место на земле.

Девушку эту, подругу, после самоубийства Аллилуевой никто нигде больше не видел.

Какое-то древнее сочинение...

Хочется думать, что это выдумка.

Царь Эдип наоборот? Или пример Лота с дочерьми?

* * *

Он откровенно оплакивал ее. И себя. Все окружающие описывали его страдания.

Искал причину ее смерти в дурных влияниях других людей.

В себе искал — не уделял внимания, не водил в кино.

Возмущался — как могла она оставить его в такую тяжелую минуту. Он как раз начинал свои расправы с “врагами народа”.

Возмущался — оставила ему детей, зная, что он не может уделять им много внимания. Хотела наказать его? Наказала?

Больше не женился. Разговоры о женщинах из семьи Кагановича напрасно волнуют воображение желающих кое-что узнать из личной жизни Сталина.

Майя Лазаревна Каганович, которую сегодня называют “невенчаной женой Сталина”, сказала мне, видимо, привычно при этом вопросе поеживаясь: “Ой, это такая чушь! Когда

пошел этот слух, я была пионеркой. Мы в семье страшно боялись, чтобы до Сталина не дошло”.

Ходили слухи о сестре Кагановича, враче, Розе. Даже в книге Стивена Кагана, якобы племянника Кагановича, “Кремлевский волк”, вышедшей на Западе и перепечатанной у нас, Роза описана пышно.

— Кто такая Роза Каганович? — спросила я Серафиму Михайловну, сноху Кагановича.

— Не было такой.

* * *

Надежда Сергеевна оставила Иосифу Виссарионовичу предсмертное письмо, содержание которого, кроме него, кажется, никому не стало известно. Что было в письме? Легко предположить.

Любая жена, получив экстремальную предсмертную возможность выложить все, что скопилось у нее за пятнадцать лет совместной жизни, напишет самое главное: о его преступлениях перед нею и его преступлениях вообще.

В сущности, разница между обидами жены печника и жены Сталина лишь в формах подачи своих обид.

Как и разница между печником и Сталиным лишь в поворотах судьбы и в возможностях самовыражения.

* * *

Самоубийство верующих противоречит законам церкви. Православная церковь не отпевает самоубийц.

Но, может быть, для большевички Аллилуевой Бог и церковь не были одно и то же? Трагедия ее одинокой души, возможно, состояла в несоответствии попытки обращения к Богу с невозможностью порвать с богопротивным миром.

В прежние времена царица, пришедшая к конфликту с царем, могла постричься в монастырь. И там найти себе успокоение. Монастыри в дни “царствования” Аллилуевой крушили по всей России. Тихий, далекий, угличский Апихарский монастырь, где она могла бы хорошо укрыться, разгромили как раз в тридцать втором. Но Аллилуева не монашеского типа

женщина. Поэтому ушла из этого мира, как и пришла в него: загадочно.

Можно ли представить себе рядом с Лениным женщину, подобную Надежде Аллилуевой?

Нет.

Можно ли представить себе рядом со Сталиным женщину, подобную Крупской?

Пожалуй, если омолодить и окрасивать ее, можно.

Что из этого следует? Да то, что мужской властвующий мир не терпит рядом с собой женского "Я", не сливающегося с ним. И убирает его, то ли своей рукой, то ли ее собственной. Как получится.

Две Надежды...

Надежда Сталина несла совершенно другое предназначение, чем Надежда Ленина.

Не старая дева, не "синий чулок", а полудевочка, полурбенок.

Не из тюремных лишений и ссылок, а из теплого дома, наполненного детьми.

Не бездетность, согреваемая общесоюзной любовью к детям, а материнство, охлажденное мелкими необходимостями и партийной суетой.

Не подчинение мужу своих чаяний и недюжинных способностей, а неподчинение мужу своих чаяний и скромных способностей.

Не долгая жизнь с иллюзиями цели, а ранняя смерть без иллюзий о великих целях.

Крупская — надежная Надежда. Женщина времени рождения эпохи.

Аллилуева — безнадежная Надежда. Женщина времени перерождения эпохи.

Самоубийство Аллилуевой — бесполезный протест против тирании мужчины над женщиной.

Бесполезный сигнал тревоги человечеству о надвигающейся опасности, исходящей от ВЛАСТИ.

Голос совести в душе кремлевской жены, не желающей думать одно, а делать другое.

Вылет из золотой клетки Кремля на простор бессмертия.

Психология самоубийцы всегда будет волновать оставшихся на земле. Попытки анализа мало что дают. Есть лишь одно сходное во всех случаях обстоятельство: самоубийца до последней минуты не уверен, что поступит именно так.

Останься Вероника Полонская с Маяковским, он был бы жив? Помиришь Марина Цветаева с сыном до его выхода из дому, она не повесилась бы?

Войди Сталин с нежными словами, и Аллилуева была бы жива?

Если это самоубийство...

* * *

Ее уход из жизни развязал ему руки. Многие гадают и предполагают: не уйди она сама, он ликвидировал бы ее вместе с другими "врагами народа"?!

Думаю иначе.

ОНА СОВЕРШИЛА БЫ СВОЮ ВЕНДЕТТУ, И ЕГО НАШЛИ БЫ ОКРОВАВЛЕННЫМ В ВАННЕ.

Шарлотта Корде, не сотворившая своего поступка?

А если бы она действительно убила его, где были бы мы теперь? Там же?

СОВЕТСКАЯ ЭСФИРЬ

Веками по миру бродит сплетня, прочно утвердившаяся в роли легенды: существует якобы единый еврейский центр, рассылающий евреям, рассыпанным по всему миру, необходимые указания для тех или иных действий.

Так, на рубеже нашего столетия, а может и раньше, этот центр “повелел” еврейским женщинам выходить замуж за перспективных во всех отношениях русских мужчин, стремящихся к власти, всемерно содействовать им на этом пути, влиять на них и, достигнув желаемого, направлять их властную деятельность по руслу, нужному этому еврейскому центру.

Думаю, что и сплетня и легенда вышли из древней древности, из главы “Ветхого Завета” — “Эсфирь”.

Это на ней, еврейской красавице, женился персидский царь Артаксеркс. Брат Эсфири, Мардохей, предупредил царя о грозящей опасности и заслужил доверие. Но придворный Артаксеркса, Амен, подговорил царя перебить евреев и взять их деньги в свою казну, надеясь, что вместе с другими будет убит и мудрый Мардохей.

Однако Мардохей послал к жестокому царю свою сестру, царицу Эсфирь, и она просила пощадить жизнь ее народа и уничтожить его врагов.

Царь послушался, “указ перебить всех евреев был отменен, и евреи, уничтожив своих врагов, пока жива была царица Эсфирь, жили благополучно”.

Эсфири начала двадцатого века в России негде было взять своего Артаксеркса. Николай Второй был занят, да и окружение его, в отличие от древних придворных, не слишком жаловало не то чтобы евреек в жены, пусть даже и крещеных, но и единокровных женщин не слишком высокого происхождения.

Сергей Витте со своей еврейской женой был явным исключением, и факт его женитьбы по сию пору вызывает у не-

официальных историков разные толкования, касающиеся политики Витте.

Пришлось эсфирям пуститься в революционные круги, благо их отверженность и черта оседлости, которую, конечно же, хотелось перейти, к тому располагали.

В начале двадцатого столетия большая группа еврейских девушек повывлетала из своих местечек навстречу зову революционных труб. Девушки были очень разные. Но у всех одна общая черта, пленявшая “простых парней” из Луганска, Мариуполя, Смоленска и прочих мест, включая Москву и Санкт-Петербург: некая явно ощутимая экзотичность, почти что “заграничность”, непохожесть на тех женщин, среди которых “простые парни” росли.

Со своей стороны, девушкам определенно нравилась мужественность и бравость славянского мужского начала, их великодержавное происхождение казалось защитой, которую не способны были дать свои мужчины из черты оседлости.

Так, к началу революции и позднее, в двадцатых—тридцатых годах, многие партийные вожди и их окружение оказались женаты на еврейках: Ворошилов, Молотов, Киров, Дзержинский, Луначарский, Каменев, Косарев, Андреев, Поскребышев. Некоторые вожди-евреи женились на русских женщинах: Троцкий, Зиновьев, Свердлов. Думаю, для них в россиянках была своя экзотика.

По-человечески понятно и естественно. Думаю, весь мир в результате жестоких этнических войн через несколько тысячелетий придет к смешанному типу и гибриды будут владеть землей. Но пока люди еще бьются друг с другом из-за того, какая кровь в ком течет, считая: моя кровь — лучше.

Женщинам всех рас и наций изначально национализм чужд. Женщины изначально открыты навстречу мужчине, не раздумывая, какого он происхождения.

Женщины изначально интернациональны.

Однако правящий мужской мир никогда не дает женщинам права своего общеженского голоса в решении этнических вопросов. А тысячелетия мужской власти делают свое дело: если мужчине надо, он вышлет вперед свою женщину, под страхом смерти приказав ей действовать вопреки ее природе.

де. И она поступит так, как он велит, заранее зная, что ничего хорошего из этого не выйдет.

Многовековые драки за землю — это мужское дело. Многовековые войны за выход к морю, за право владеть железной, медной или золотой рудой — это вечные мужские захватнические заботы.

Между женщинами разных национальностей, в отличие от мужчин, таких проблем нет. Женщина не хочет владеть землей. Она генетически знает, что не земля принадлежит человеку, а человек принадлежит земле. Женщине, какие бы другие недостатки у нее ни были, чужды идеи превосходства одного народа над другим. Если же появляются женщины, которым это не чуждо, а они появляются, и во множестве, — это все напрочь экологически разрушенные существа, либо подменившие свою природу мужской природой, либо подчинившие ее требованиям мужского мира.

Многие революционерки были таковы, независимо от их национальности.

Не знаю, есть ли еврейский центр, рассылающий девушек к перспективным мужчинам, но знаю, что большевистский центр, рассыпанный по ссылкам, тюрьмам и эмиграциям, явно предпочитал, чтобы женщины и мужчины, связанные единством революционной большевистской цели, объединялись в семьи, независимо от национальных различий, и религиозных тоже.

Классическим примером такой пары стали Ворошиловы — Екатерина Давидовна и Климент Ефремович.

* * *

Вот и начинаются страницы, где изредка буду появляться я со своими воспоминаниями. Они детские, в них нет значительности соучастия, причастности к кремлевской жизни. Я никогда не жила кремлевской жизнью, на высшем уровне, никогда не дружила с детьми кремлевских вождей: они мной не интересовались, а я — ими.

Мои сверстники “оттуда”, во всяком случае, те, с кем я была знакома, казались скучны: юноши увлекались джазом, американскими фильмами и водкой, девушки соревновались

друг с другом в нарядах и красоте женихов, жаждущих войти в кремлевский круг.

Один из юношей этого круга, вяло ухаживая за мной, сказал однажды о кремлевских детях: “Мы все живем в коммунизме, чтобы когда-нибудь спуститься в социализм. Задача, чтобы это случилось как можно позже”.

Для невесты одному из них я была недостаточно “кремлевская” и недостаточно блондинка. Для подруги одной из них — тоже недостаточно “кремлевская” и недостаточно элегантная.

У меня был свой круг, и в нем я была совершенно счастлива.

В сущности, никакого круга не было. Кругом были книги, свои и чужие стихи.

“Одинокая стихоплетка”, — назвал меня отец. И был прав.

* * *

Моя семья в 1941 году эвакуировалась из Харькова, где отец работал в секретном конструкторском бюро, в город Нижний Тагил. Там прошли четыре военных года. На исходе четвертого отец отправил нас с мамой в Москву самолетом, оттуда мы должны были лететь в Харьков, уже освобожденный от немцев. В Харькове была оставлена вся довоенная жизнь, и матери не терпелось скорее увидеть все собственными глазами.

Перелет был тяжелейший. Меня вывернуло наизнанку. С трудом я воспринимала окружающий мир. Помню, поселились мы в маленьком номере гостиницы “Москва”. Из окна был виден Кремль, но не прямо, а где-то слева, наискосок шла его стена. Первую ночь в гостинице я спала как в бреду.

Утром мама разбудила меня — еще было темно. Быстро помогла одеться, говоря, что сейчас придет дядя Петя Ворошилов, которого я должна помнить, он приезжал к нам в Нижний Тагил, он отведет меня к своей маме, пока моя мама будет занята, но она скоро освободится и заберет меня.

В ответ мне хотелось реветь, спать, есть, пить. Но я была уже большая, умела терпеть.

Пришел дядя Петя — я его вспомнила: он, как и мой отец, был танковый конструктор. Взял за руку, повел, усадил в машину на заднее сиденье. Сел рядом. Впереди с шофером сидел военный. Я, кажется, успела подремать.

Показалось — мы очень быстро приехали к какому-то подъезду. Вошли, поднялись на второй этаж в ярко освещенный коридор. Дядя Петя толкнул ногой дверь. На его голос вышла темноволосая, с гладкой прической, большая старая женщина с не улыбающимся лицом. Она повела меня на кухню. Дядя Петя исчез. Самое главное, что я заметила и от чего окончательно проснулась, был ее халат невероятной красоты. Белый, атласный, до полу. С райскими цветами по всему полю — немецкая трофейная материя. Позднее такие халаты появились и на Урале. Дамы из заводского генералитета нашили их себе.

Женщина, не говоря мне ни слова, усадила за стол, налила какао (!), намазала маслом белый хлеб, положила на хлеб кусок розовой колбасы. Я помню вкус бутерброда. То была кремлевская еда, незнакомая мне в заводском поселке Нижнего Тагила. Мы вообще ели скудно, хотя в сорок четвертом уже были в поселке американские подарки. Но в моей семье, кроме свиной тушенки, других подарков не было.

Пока я ела и пила, вошел в кухню мальчик Клим и сказал женщине: “Бабушка, и мне дай”. Он был меньше меня ростом, хотя, наверно, одного со мной возраста, и я ему явно не понравилась. Мы поели, ушли в его комнату, он дал мне книжки. Я полистала — книжки были хоть и красивые, красочные, но детские, я к тому времени уже выросла из них. За моими девятилетними плечами была своя библиотека.

Там, в уральском заводском поселке в моей семье, состоявшей из многих женщин, совершенно не родственниц, а маминых подруг, взятых в эвакуацию как родственниц, жила тетя Таня Егорова — бывшая барыня, которая где-то выкопала глухонемого человека, приносящего в дом книги для прочтения. За деньги.

Ничего не зная о запрещениях Надежды Константиновны, я взахлеб читала такие вредные книжки, что Крупская пришла бы в ужас: здесь была и “Жизнь” Мопассана, и “Бесы” Достоевского, и полное собрание Лидии Чарской, и “Анна Каренина”, и “Ключи счастья” Анастасии Вербицкой. Что мне какой-то “Мойдодыр”, которого подсунул Клим!

Потом мальчик Клим повел меня в квартиру к другому мальчику, то ли Юре, то ли Сереже. Там, в большой комнате,

стояла большая елка. Мы втроем начали украшать ее. Мальчики притащили стремянку, а я влезла на самый верх. Они подавали мне игрушки и говорили, куда надо вешать.

В открытую дверь внезапно вошли трое или четверо мужчин и остановились в дверях. Стоящий впереди был отлично виден мне сверху: до боли знакомый, невысокий, в защитном френче, точь-в-точь такой, каким его рисовали на картинках и изображали на фотографиях, но не с черными, а с пегими волосами. Усы показались черными. Волосы были пострижены ежиком и стояли на голове, окаймляя хорошо сверху видную мне, как небольшое блюдечко, плешь.

Он поднял голову, осмотрел елку и меня, в оцепенении присевшую на стремянке.

— Высоко забралась, больно падать будет! — сказал он, как показалось мне с акцентом, и все трое или четверо прошли сквозь комнату в другую. А у меня так страшно забилося сердце. Где-то в горле.

Какие-то мужчины быстро увели нас из комнаты, и мы с Климом пошли обедать к нему. Он сказал бабушке: “Там пришел Сталин”.

На сей раз с нами за столом сидела его бабушка в том же атласном халате, а подавала обед другая женщина. Опять было очень вкусно. Но я запомнила только вишневый компот — вишня моя любимая ягода. Консервированный вишневый компот.

Вечером я узнала от мамы, что была в доме маршала Ворошилова, женщина в халате его жена, Екатерина Давидовна, дядя Петя их сын, а Клим их внук.

Я рассказала маме, что видела самого Сталина и он мне, а не кому-нибудь, мне лично сказал: “Высоко забралась, больно падать будет”. На это мама ответила: “Не выдумывай”.

Но я сказала: спроси Клима, и мама, кажется, поверила: “Видишь, а ты не хотела идти”.

Про свою “встречу со Сталиным” никому не рассказывала, понимая — никто не поверит, а также неким чутьем понимая, что “встреча” не имела никакого значения. Ни для него, ни для меня.

* * *

Я больше никогда не видела Екатерину Давидовну, но как-то о ней в нашей семье зашел разговор, и память моя сразу выдала этот толстый, скучный, старый облик.

Опровержением мне да послужат слова Романа Гуля в его книге “Красные маршалы”. Он описывает ее роскошными красками:

“Она пролетает по городу на военном автомобиле в каракулевом мантии. И многие чекисты косятся на занимающуюся туалетами в этом городе жену командарма...”

В третьем этаже горчичного дома, на широкой постели красного дерева спит жена командарма, элегантная женщина Екатерина Давидовна. А в штабе все еще дым сигарок, плевки, шум, мат...”

Двадцать шесть лет отделяет мои воспоминания от времени описанного Романом Гулем. Могла ли она так измениться? Могла.

А может быть, мы видели ее разными глазами?

Эйфория революционных побед. Вседозволенность военного времени. Апофеоз славы Ворошилова — и она, жена командарма.

Откуда же пришла Екатерина Давидовна и каким образом ее судьба сплелась до самой смерти с Ворошиловым и Кремлем?

* * *

В большой квартире на улице Грановского и сегодня живет Надежда Ивановна Ворошилова, жена, теперь уже вдова, того самого дяди Пети, который привез меня к Екатерине Давидовне, и мать, увы, преждевременно умершего Клим.

Сюда из Кремля переехали Ворошиловы при Хрущеве, и дух той эпохи сохранен в сочетании дореволюционного шкафа стиля “модерн”, занимающего половину столовой и большого стола (в кремлевских семьях заметно любили большие столы) с портретами Климента Ефремовича, Петра Климентьевича, Надежды Ивановны, их детей — Клим и Владимира, большими парадными портретами, выполненными модным в то

время приправительственным живописцем Александром Герасимовым.

Мне, в молодые годы смеявшейся над герасимовской “мазней”, вдруг сегодня эти портреты показались интересными. Я немедленно узнала того дядю Петю, ну точь-в-точь, который отвез меня в кремлевскую квартиру Ворошилова, увидела юную Надю, прелестную девушку, этакую русскую герцогиню Альба, и она немедленно проступила в сидящей напротив меня постаревшей Надежде Ивановне. Лишь Клим Ворошилов, народный комиссар, никак не пробился ко мне с полотна: слишком привыкло сознание к стереотипу образа, чтобы разглядеть в нем индивидуальность.

Портрета Екатерины Давидовны нет. Она не любила позировать.

Надежда Ивановна говорит, вспоминает, и в ее рассказе, как в зеркале, возникает свое, для меня незнакомое, лицо Екатерины Давидовны.

“Она родилась в селе Мардаровка, за чертой оседлости, в очень бедной многодетной еврейской семье: два брата, три сестры. Девичья фамилия ее Горбман. Звали ее Голда.

Выучилась мало-мальски грамоте и возмечтала вырваться из Мардаровки. Поехала в Одессу, выучилась там на белошвейку.

Чувствуя недостаток общего образования, стала ходить в школу для взрослых — там преподавала Серафима Гопнер, пламенная революционерка.

Девушка из Мардаровки втянулась в революционное движение без особого труда. Вошла в партию эсеров. Как эсерка и была сослана в 1906 году в Архангельскую губернию. Там было много ссыльных, из разных партий. В основном мужчины. Каждая революционная ссыльная девушка — как луч света в темном царстве.

Многие революционные романы начинались в ссылках.

И у Голды Горбман там начался роман. С Авелем Енукидзе. Как он начался, неизвестно, известно лишь, что кончился роман разрывом.

Позднее ссыльные стали замечать черноглазую эсерку в

обществе ссыльного большевика Клим Ворошилова, невысокого роста, симпатичного, озорного”.

Сквозь рассказ Надежды Ивановны просвечивает драма женской души.

Авель Енукидзе с его блистательной внешностью, с его грузинским темпераментом, только что, можно сказать, в поезде флиртовал с дочерью генерал-губернатора Саломеей, и — белошвейка, родом из Мардаровки!

Для нее он был звездой. Для него она — всего лишь мимолетное увлечение, если вообще, увлечение. В ссылке. От отсутствия кого бы то ни было другого.

Сила девушки из Мардаровки оказалась в том, что она не заиклилась на своих переживаниях, не стала плакать, а быстро нашла себе достойную замену. Да, да, достойную. Если с Авелем Енукидзе она чувствовала себя зависимо, неуверенно, без надежд на будущее, то с Климом она была более чем на месте: рабочий и белошвейка — ровня.

“Екатерина Давидовна, — продолжает Надежда Ивановна, — обладала по отношению к Клименту Ефремовичу особым тактом. Она сразу же поставила его перед собой на пьедестал. Он с первой минуты был для нее на всю жизнь. Она никогда не сомневалась в правильности его поступков, она не позволяла себе критики в его адрес, она была полностью подчинена ему, его делу и предназначению. За всю жизнь ничто не могло свернуть ее с этого пути. Гармония оказалась полная. Много лет спустя, уже после смерти Екатерины Давидовны, Климент Ефремович говорил мне, что она была с первой минуты предельно честна с ним, все рассказала ему о Енукидзе и о себе, чтобы он никогда не упрекнул ее, чтобы не было между ними никогда никакой неясности”.

Ворошилов быстро переагитировал свою подругу в большевичку: пойдя рядом с ним, она приняла и его взгляды.

Может быть, так поступать советовал еврейским девушкам некий центр? Кто тогда дал такой же совет русской Надежде Константиновне?

И вообще, чтобы представить себе луганского рабочего, занявшегося опасными делами и попавшего в ссылку, перспективным мужчиной, нужно большое воображение. Видимо,

понятие перспективы для революционеров начала века было не в реалиях жизни и быта, а в предощущениях.

“Ее освободили из ссылки раньше, чем его, — говорит Надежда Ивановна, — она уехала, он остался. Но разлука была недолгой. Вернулась. Жить со ссылкой ей разрешили (точно так же, как и Ленину с Крупской. — Л.В.) только при условии венчания в православной церкви. Как венчаться еврейке?

Она приняла православную веру и стала Екатериной. Их тут же обвенчали. Узнав об этом, очень расстроились ее родители. В Мардаровке, в синагоге, при большом стечении народа ее проклял местный раввин. (Почему-то не посвященный в указания легендарного центра: поощрять подобные браки. — Л.В.)

Ссылка Ворошилова кончилась, и они с женой уехали в Луганск, на его родину. Был у него “волчий билет”, устроиться на работу не мог. Средства к существованию зарабатывала белошвейка, Екатерина Давидовна”.

В апреле 1917 года все большевики съехались на встречу с Лениным в Петроград. Были здесь и Ворошилов с Екатериной Давидовной. В Петрограде встретилась она со своей учительницей Серафимой Гопнер, которая дала Ворошиловой рекомендацию в партию большевиков. А после Октября 1917 года началась кремлевская жизнь Екатерины Давидовны, продолжавшаяся до самого последнего ее дня 1959 года.

* * *

Всю гражданскую она прошла рядом с Климентом Ефремовичем. Была с ним на Царицынском фронте... Она стала ортодоксальнейшим членом партии. Для нее не было середины. Она никому не давала поблажки, и в первую очередь себе. Это оказалось довольно тяжело для окружающих. Все удивлялись, как они уживаются — контактный, доброжелательный и веселый Климент Ефремович и суровая, неразговорчивая, даже угрюмая, высокоидейная Екатерина Давидовна...

“У нее не было колец, серег, она презирала драгоценности. Мне, когда была моя свадьба, она категорически сказала: “Не вздумай нацеплять сережки”, — вспоминает Надежда Ивановна. — Всегда носила строгие, почти мужские, костюмы —

как униформу. Правда, ее костюмы были очень хорошо сшиты, сама хорошая портниха — она следила за тем, как сделана ее одежда”.

* * *

В 1918 году в Царицыне Екатерина Давидовна была членом женсовета Первой конной армии. Занималась детьми-беспризорниками. Распределяла их по детским домам. Ей очень приглянулся мальчик Петя. Она показала его сначала Буденному.

— Какой кудрявый! — восхитился он.

Екатерина Давидовна задумалась не на шутку. Знала: детей у нее не будет — болезнь, результат того первого романа. А мальчик запал в душу. Она позвала Климента Ефремовича посмотреть на Петю. Он посмотрел и не стал раздумывать.

Вспоминал Петр Климентьевич Ворошилов: “Она очень хорошо за мной, маленьким, ухаживала. Шила все по женским выкройкам, которые сохранились у нее с тех пор, как она была белошвейкой. Вообще все для меня она делала сама. Только, когда мы жили в Ростове, появилась гувернантка Лидия Ивановна, которая говорила по-немецки и учила меня языку. Стал я их сыном в 1918 году. Было мне тогда четыре года”.

Говорит сегодня Надежда Ивановна: “Никогда в жизни ни Екатерина Давидовна, ни Климент Ефремович не сказали мне, что Петя, мой муж, не их родной сын, хотя знали, что это всем известно. Климент Ефремович и бранил его, и упрекал, и сердился так, как сердятся только на родных детей. Без всяких комплексов.

В двадцатых годах все кремлевские люди демократично жили в квартирах рядом со своими помощниками, готовили по очереди. На дачах все было на равную ногу. Пете в детстве попало, когда повариха послала его за хлебом, а он не захотел идти. Климент Ефремович рассвирепел, бегал за ним вокруг клумбы, хотел надрать уши...

И Петр Климентьевич любил их как родных. Когда Климент Ефремович умер в 1969 году и встал вопрос о наследстве, вопрос о том, что Петр Климентьевич приемный сын Ворошилова, не вставал — он был родной”.

Екатерина Давидовна с Петей приехала в Москву из Царицына в 1919 году. Жили в “Метрополе”, потом поселились в Кремле. Она училась и работала. И колесила по стране вместе с ребенком вслед за командармом. Окончила Высшую партийную школу, пошла в газету “Беднота”, потом вернулась в Высшую партшколу и проработала там многие годы заведующей парткабинетом. В последние три-четыре года перед своей смертью Екатерина Давидовна была заместителем директора Музея Ленина. Строгая, суровая, неласковая. Правильная. Сама партийность во плоти. Родная племянница Екатерины Давидовны за глаза звала ее “парттетя”.

В 1928 году Екатерина Давидовна сильно заболела. Перенесла тяжелую операцию. Делали ее за границей. И с этого времени стала полнеть, тяжелеть. Она очень любила детей, и одного Пети явно не хватало для ее материнских чувств. Ворошиловы поселили у себя еще двоих: Трудю, племянницу Екатерины Давидовны, и Колю, племянника Климента Ефремовича.

Появились в доме дети Фрунзе: Таня и Тимур.

Смерть командарма Михаила Фрунзе от операции по тем временам таила в себе некоторые загадки. Слухи и шепоты, что его “зарезали” (глагол! — Л.В.) врачи по указке свыше, витали в воздухе. Масла в огонь подлила повесть писателя Бориса Пильняка-Вогау, прозрачно намекавшая именно на такую ситуацию. В особенности после того, как во вступлении к повести, в журнале “Новый мир” (1926 г.) сам Пильняк оговорился, что личность героя Гаврилова не имеет ничего общего с Фрунзе и не следует проводить аналогий.

Эта оговорка “сработала” (глагол! — Л.В.), как ни странно, наоборот. Воронский, главный редактор “Красной Нови”, которому Борис Пильняк-Вогау посвятил повесть, написал письмо в редакцию “Нового мира”, заявив, что отвергает посвящение повести себе, ибо она “представляет собой злостную клевету на нашу партию”.

Каким-то образом сплетни вокруг повести “Убийство командарма” коснулись имени Ворошилова, якобы “приложившего руку” к сему делу.

Дружба Фрунзе и Ворошилова была известна, и когда ЦК решал вопрос об осиротевших детях Фрунзе, естественно оказалось ворошиловское опекуновство над ними. Так Таня и Тимур появились в доме Климента Ефремовича и Екатерины Давидовны. Последняя полюбила их, особенно Таню, — она всегда мечтала о девочке, всей своей любовью к ней опровергая сплетню.

* * *

Чем более я слушала воспоминания Надежды Ивановны, сверяя их со своими полузабытыми ощущениями, тем более казалось мне, что образ Екатерины Давидовны двоится, что она не совсем та, какую казалась в тридцатых, и ей было что упрятать из своей молодости от цепких глаз кремлевских стен. Нет, нет, не криминальное, скорее наоборот, живое, естественное, человеческое. Я почему-то была уверена, что далеко не всегда была Екатерина Давидовна угрюмой “старой” женщиной, какой увиделась мне с “высоты” моих детских лет, и не всегда была “парттетей”.

Короткое описание Екатерины Ворошиловой Романом Гулем всего лишь мазок, штрих, взятый со слов других людей.

Но вот конкретное воспоминание очевидца, участника событий З.Ю.Арбатова, который в 1917—1922 годах работал в советских учреждениях Екатеринославля. Ему приходилось встречать Ворошилова и Буденного по делам службы. И даже бывать у них в доме. “Архив русской революции” сохранил его рассказ: “Отделом социальной помощи в Екатеринославле заведовал Шаляхин. С первых дней своей работы он заявил, что собес питает за счет государства паразитов, мелкопомещанскую контрреволюционную массу, а за счет них можно увеличить ставки для красных инвалидов, их вдов и вдов партработников. Подняв этот вопрос на заседании исполкома, Шаляхин предложил изыскать способ для тихого уничтожения пенсионеров. “Шутя” предложил выстроить большой крематорий, загнать туда всех старушек и старичков и сразу избавить социалистическое государство от сотен тысяч паразитов.

Более трех месяцев Шаляхин воевал с пенсионерами, приостановив выплату пенсий, пока не приехала жена Ворошило-

ва, бывшего тогда членом реввоенсовета Первой конной армии Буденного, и, вступив вместо Шалахина в заведование отделом, стоя на точке зрения безоговорочного выполнения всех декретов советской власти, распорядилась открыть выплату пенсии всем пенсионерам, с выдачей пенсии за время с момента приостановки выплаты”.

Браво, Екатерина Давидовна! Я рада была обнаружить эти строки во множестве воспоминаний о революции. Они — как бы мое “спасибо” за Ваше угрюмое гостеприимство в конце декабря сорок четвертого года. Рада быть первой в описании Вашего образа и хочу оказаться максимально объективной. Поэтому пусть вместо меня продолжит свои воспоминания З.Ю.Арбатов, отнюдь не пылающий любовью к большевикам:

“Как саранча облепили пенсионеры собес и в два дня наличность кассы и весь наличный запас собеса в Госбанке, рассчитанный на три месяца, был выплачен пенсионерам... Тогда Шалахин пошел открытой войной на Ворошилову, агитируя против нея и в исполкоме, и в партии, и вообще, при каждом удобном случае. Агитация Шалахина имела успех без особого труда, так как Ворошилова мало была похожа на пролетарку. Всегда изящно и нарядно одетая — зимой в дорогом и модном каракулевом пальто, а летом в элегантной шелковой накидке. Ворошилова, которую и называли все не словом “товарищ”, а по имени и отчеству — Екатериной Давидовной, напоминала собой даму выше среднего буржуазного класса. Хотя она одно время и была в ссылке, но внешне она оставалась милой Екатериной Давидовной, которая, уже будучи женой одного из вождей пролетариата, кокетливо принимала ухаживания молодых, красивых командиров конной армии, в большинстве состоявших ранее в лучших кавалерийских полках... Нередко на улице можно было встретить Екатерину Давидовну, окруженную свитой кавалеристов, и эта группа внешне и по беседе была очень далека от рабоче-крестьянской Красной Армии, давая скорее картинку полковой жизни былой царской армии.

На руке Ворошиловой задорно блестела широкая золотая браслетка с часиками, и сама она частенько говорила, что партийный комитет не любит ее за буржуазный вид и непролетарские наклонности. А поклонники были не пролетарские, а совершенно буржуазные. В квартире Ворошиловой, в прекрас-

ном старинном особняке, с утра до поздней ночи работали швеи и мастерицы для Ворошиловой и жены Буденного.

Ворошилов и Буденный жили в одном особняке; вместе совершали на автомобиле прогулки за город или по Днепру на моторной лодке. К обеду подавались вино, свежие фрукты и живые цветы. За обедом, по случаю назначения Ворошиловой заведующей собесом, присутствовал и я. Ворошилова во время обеда страдала от частых и громких отрывков тов. Буденного, а к концу обеда, когда Буденный всей пятерней вступил в борьбу с кусочками еды, застрявшими в его крепких и больших мужицких зубах, Екатерина Давидовна бросила салфетку и встала из-за стола”.

Я показываю Надежде Ивановне выдержки из воспоминаний З.Ю.Арбатова:

“Ворошилов, работавший в партии еще с революции девятьсот пятого года, будучи рабочим-клепальщиком Луганского паровозостроительного завода, ко времени большевистской революции уже имел солидный стаж политического пролетарского деятеля и самообразованием и любовью к чтению приобрел некоторые исторические познания, преимущественно из области революционных эпох. Интеллигентность жены помогла Ворошилову в дальнейшем развитии, и сейчас этот человек способен наизусть цитировать целые страницы из Маркса и Энгельса”.

— Это не совсем так, — говорит Надежда Ивановна. — Екатерина Давидовна не была интеллигентна. Она могла показаться такой в том антураже, о котором рассказывает Арбатов, но она была, как это принято говорить, “из простых”. И это было видно всегда. Умна, по-своему добра, но неинтеллигентна. И вообще, я не узнаю ее в арбатовских воспоминаниях — это какая-то другая Екатерина Давидовна. В тридцатые годы, когда я появилась в семье, она уже была очень скованна, немногословна, очень зажата. Она не умела выражать свои чувства. У нее своих детей не было, и она могла привязаться к приемным детям и внукам, не своей крови, но совершенно не умела выразить привязанность. Нет, не сухая, а скованная.

— Может быть, она просто зажалась, видя, что происходит вокруг в кремлевской жизни? Зажалась и выживала?

— Может быть... Вообще, она была очень замкнута, акку-

ратна, все делала по часам, рано ложилась спать, а молодежь в доме только этого и ждала, и Климент Ефремович, бывало, к нам присоединялся.

* * *

Арбатов вспоминает: “Жена Буденного на тридцать пятом году своей жизни начала изучать грамоту. Простая баба, казачка, ни душой, ни умом не понимала высоты положения, занимаемого ее мужем, и часто ругалась с Буденным, не разрешавшим ей приглашать к себе на квартиру ее земляков — казаков-одностаничников. В квартиру Ворошилова и Буденного были вхожи только высшие штабные работники — бывшие офицеры царских полков”.

Бывшая белешвейка Екатерина Давидовна, много общавшаяся в юности с барынями, которых обшивала, хорошо усвоила их манеры и привычки. Общение с “кавалерами, бывшими офицерами” и новый для нее, сравнительно с дореволюционным, стиль жизни быстро сформировали тип “советской барыни”, которая, впрочем, и мальчика-сироту сумела сделать родным сыном, и бедным пенсионерам в тяжкие дни помогла.

Надежда Ивановна сомневается и в том месте воспоминаний З.Ю.Арбатова, где он пишет о ее кокетстве в обществе офицеров:

“Климент Ефремович был такой ревнивец! Он бы убил ее!”

* * *

Вспоминает Надежда Ивановна и об охране — Ворошилова долгие годы охранял всего один человек, латыш Жан. А после убийства Кирова НКВД завело новую моду: целый штат охраны.

“Идем мы вдвоем с Климентом Ефремовичем, гуляем на даче, а дача была в бывшем поместье Вогау, — рассказывает Надежда Ивановна, — и он говорит охранникам:

— Вам не кажется, что мало вас меня охраняет? Спереди человек, справа, слева, сзади по человеку. А наверху нет!

— Доложим! — говорит охранник, приняв его слова за чистую монету.

Климент Ефремович сердится:

— Вам надо меня приковать. И все будет в порядке!

Отряд его охраны считался самым дружным среди таких же отрядов. Климент Ефремович требовал от них:

— Вы тут ни черта не делаете, хотя бы учились.

И они учились. Один его водитель так выучился, что стал деканом автодорожного института".

Странно, не правда ли: не нравится охрана — уברי, ходи один. Однако нельзя — все вожди с охраной. Зачем выделяться?

* * *

Молодость Екатерины Ворошиловой угасала, по-видимому, вместе с революционным пылом. За стенами Кремля, где ей предстояло жить, был иной пыл: борьба вождей между собой.

Вернувшись из своих ворошиловских походов, с двадцатых годов, Екатерина Давидовна становится одной из самых заметных кремлевских жен. Она дружит с Надеждой Сергеевной Аллилуевой. И в тот роковой для жены Сталина день они все сидят за одним вечерним, праздничным столом в квартире Ворошилова.

Екатерина Давидовна знала очень много. Значительно больше, чем хотелось бы, скажем, Сталину. Она вполне могла не слишком нравиться ему со своим внимательным, все видящим взглядом, со своей растущей тяжеловесностью во всем. И вполне могла раздражать его. Действовать на нервы: "Подумаешь, барыня из Мардаровки!"

Позднее, когда под влиянием возраста и обстоятельств "барыня" Ворошилова окончательно превратилась в "парттетью", то есть закрылась, спрятала свою непосредственность, окуталась броней партийно-идейной сталинской правильности, она вела себя так, что придрататься к ней было очень трудно.

Чем уязвить такую? Вот тебе — ни орденочка, ни медальки за всю твою правильность!

Так мог думать Сталин. А мог и вообще не думать о ней. Но факт остается фактом: все работающие активные жены Кремля

были в наградах. Екатерина Ворошилова — нет. Это ее заделало.

* * *

Надежда Ивановна, сноха Ворошиловых, прожившая с Екатериной Давидовной в одной квартире более тридцати лет, вспоминает разные годы, разные события и отношения внутри семьи:

“Моя семья приехала из Самары. Отец был эсером, в 1918 году перешедшим на сторону большевиков. Он работал в Наркомземе СССР, был по профессии агрономом. Стал работать в Москве заместителем начальника главка по сахарной свекле. Жили мы в знаменитом Доме на набережной с тридцать первого по тридцать четвертый. Тогда атмосфера в доме была совсем другой, чем та, которую описал в “Детях Арбата” Анатолий Рыбаков. Между детьми не бывало разговоров и пересудов, чей отец где работает. Дети интересовались только друг другом.

Я училась в одной школе с Петром Ворошиловым, но познакомились мы с ним в тридцать втором, в доме отдыха. Поженились в тридцать пятом.

Екатерина Давидовна была весьма своеобразной женщиной в вопросах отношения полов. Мы встречались с Петром Климентьевичем, прежде чем поженились, три года. Но она с особым пристрастием высчитывала, когда родился наш сын Клим. С точностью до дня. Ей явно хотелось удостовериться в моей невинности до свадьбы. Я всегда очень стеснялась ее неприступности и холодности. С Климентом Ефремовичем было легко, не сравнить, как с Екатериной Давидовной.

Она три года присматривалась ко мне, прежде чем признала меня действительной женой Петра Климентьевича.

Думаю, ей было трудно выдерживать контактность и импульсивность Климента Ефремовича и вообще ей трудно было быть женой человека с такой властью. Она никогда им не командовала, но он без нее ничего в доме не решал. Разногласий у него с ней никогда не было.

Екатерина Давидовна как-то внутренне была всегда уверена, что переживет Климента Ефремовича. Очень рано начала

собирать материалы для его музея. Порвав с родной семьей, она гордилась Ворошиловым, как своим родом. Все, что касалось его, должно было быть отличным и достойным имени.

Он пережил ее на десять лет.

В 1937 году моего отца арестовали как врага народа. Вскоре взяли и мать. А я при этом жила в семье Ворошилова. Ходила с передачами в тюрьму.

Никогда ни одного упрека не сделал мне Климент Ефремович. Я ни разу не попросила его ни о чем, касающемся моих родителей. Вела себя, как будто ничего не случилось. Но однажды, в разговоре наедине, Екатерина Давидовна сказала мне, что моя мать — мещанка.

Я ответила:

— Это не криминал.

Свекровь моя — ни слова в ответ. Она, видимо, пыталась самой себе объяснить, за что посадили мою мать, не находила ответа, и это “мещанка” было попыткой объяснения. Климент Ефремович, ни слова не сказав мне о “моих врагах народа”, накануне войны все же вытащил маму из тюрьмы. По состоянию здоровья. Она жила с нами, с Климентом Ефремовичем и с Екатериной Давидовной, в одной квартире.

Жили мы мирно. Ворошиловы очень оберегали мою с Петром Климентьевичем любовь. Мы наполняли их жизнь суетой, заботой, давали ощущение семейного клана. Любовь к нашим двум сыновьям они распределили так: Клим принадлежал Клименту Ефремовичу, младший, Володя — Екатерине Давидовне.

У меня был в жизни период, когда Петр Климентьевич, танкостроитель по профессии, уехал работать в Челябинск, а я осталась в Москве, родила второго сына и загуляла: бросила учиться, ходила по театрам, роман завела.

Екатерина Давидовна была очень недовольна. Высказывала свою неприязнь, но не ко мне, а к моему образу жизни. Климент Ефремович молчал. Она, конечно, его накручивала. Обычно она уходила на работу рано. Чтобы не встречаться с нею, я прикидывалась спящей в своей комнате и выходила к завтраку вместе с Климентом Ефремовичем, который работал допоздна и вставал попозже. Он начинал читать мне басню “Стрекоза и муравей” — это было его единственным упреком:

*Попрыгунья-стрекоза
Лето красное пропела,
Оглянуться не успела,
Как зима катит в глаза.*

В конце июля 1941 года Климент Ефремович отправил нас с Петром и маленьким сыном в Челябинск на Уралмаш, где Петру предстояло работать в танковом КБ. В Челябинске нам сказали, что квартир нет, жить негде. Жили сначала в вагоне. Потом нас с Петром повели в квартиру, где все комнаты были заняты, и сказали, что завтра всех этих людей выселят, а нас вселят.

Я подняла крик: не буду вселяться, где люди живут. Позвонила в Москву и рассказала все Екатерине Давидовне, а она мне говорит: “Не капризничай”.

На следующий день нашлась пустая квартира.

Екатерина Давидовна долгие годы над детским домом шефствовала. Климент Ефремович два года работал в Венгрии и привез оттуда по ее просьбе два вагона детских вещей. Она их все распределила.

Екатерина Давидовна считала, что женщина должна работать.

Ей доставляло удовольствие что-то сделать, что-то достать самой, без помощи и влияния Климента Ефремовича. Так, однажды она пришла домой и сказала: “Клим, я купила себе и Наде билеты в театр. Сама. Без твоих привилегий”.

Мы пошли. Оказалось, билеты просрочены — она перепутала дни. Нам, конечно, нашли места. Но это уже было, к сожалению Екатерины Давидовны, за счет имени Климента Ефремовича.

Разница между ней и другими женами была в том, что она старалась никогда не пользоваться привилегиями, которые относятся только к Клименту Ефремовичу.

...Сталин не любил Ворошилова, завидовал его популярности. И часто придирался. Однажды они вдвоем катались на пруду на плоскодонке. Сталин говорит: “Я знаю, Клим, ты — английский шпион”. Тот в ответ побагровел и ударил его по лицу. Чуть не опрокинулись. Было это в 1946 году.

Может, сейчас это прозвучит странно, но Екатерина Дави-

довна считала, что Сталин завидует популярности Ворошилова. Она однажды сказала это мне шепотом и с оглядкой.

Помню еще вот что: Клименту Ефремовичу исполнилось шестьдесят. Праздновали в Грановитой палате. (Ничего себе! — Л.В.) Сталин держал речь. Он говорил о том, каким по его мнению должен быть партработник. Все мы были в восторге от его речи, лишь потом я подумала: а ведь он ни словом не упомянул о юбиляре...

В застолье Сталин следил, чтобы у всех были полные рюмки. Сам подливал. И следил, чтобы пили до дна. Как не напиться. Помню, Молотова несли...

...Сталин был очень груб, и Климент Ефремович брал с него пример. Да и не он один — все окружение.

В 1937 году я поступила учиться в Станкин. Без протекции поступила. Только начала учиться — вызывают в комитет комсомола: "У тебя родители враги народа, нужно публично отказаться от них". Я и бросила Станкин. Не работала, не училась. И Екатерина Давидовна переживала, что дома сижу, бездельничаю. Его точила за мое безделье, а он ко мне относился безукоризненно, Климент Ефремович. Сказал как-то:

— Ты, Надя, знаешь почем фунт лиха.

Она жила в вечном страхе. Появились в доме дети Фрунзе — она стала бояться моего растлевающего влияния на них: дочь репрессированных родителей, мало ли какие критиканские речи я могу вести.

Все это особенно усилилось в ней к тридцать седьмому году, и после тоже сильно проявлялось. Вообще, с тридцать седьмого между всеми кремлевскими семьями пролегла пропасть. Оставшиеся на свободе замкнулись внутри семейных кланов, прекратились совместные вечеринки. Как-то все внезапно осели, огрузли, постарели.словно ураган пролетел над Кремлем. И его окрестностями.

Перед войной Ворошилова не всегда приглашали на Политбюро. Это было дурным знаком — могли взять в любую минуту. А если приглашали, весь дом не спал.

Политбюро заседало по ночам. Мы дома ждали — вернется ли? Екатерина Давидовна никогда не выдавала своего состояния, ждет молча, переживает — виду не подает.

Все всего боялись. Как бы чего не вышло. Кто бы чего не сказал. Как бы не взяли, не посадили...

К старости она помягчала. Я провожала ее в больницу и навещала ее в больнице, она эмоционально — непохоже на нее — выражала признательность, как будто стеснялась, что причиняет хлопоты.

Перед смертью она как-то сказала: — Надя, у вас с Петей нет дачи, это плохо, жалко. Надо бы.

— А кто нам говорил, что в наших условиях это опасно? Как только частные дачи заводятся, сразу следует персональное дело.

Она кожей ощущала опасность и ни в чем не давала себе воли. Полина Семеновна Жемчужина-Молотова считала, что ей все было можно, Екатерина Давидовна считала, что ей ничего было нельзя.

* * *

“Сталин не любил Ворошилова”... — сказала Надежда Ивановна. Трудно поверить.

Как так “не любил?” Ворошилов был его любимцем! Это знали все!

Неожиданно слова Надежды Ивановны получили для меня поддержку просто-таки официальную. В знаменитом докладе Хрущева на XX съезде есть такой пассаж:

“Один из старейших членов нашей партии, Климент Ефремович Ворошилов, очутился в почти невозможном положении. В течение ряда лет он фактически был лишен права участвовать в заседаниях Политбюро. Сталин запретил ему присутствовать на заседаниях Политбюро и получать документы. Когда происходили заседания Политбюро и Ворошилов узнавал об этом, он каждый раз звонил по телефону и спрашивал, разрешено ли ему присутствовать на совещании. Иногда Сталин давал ему это разрешение, но всегда показывал свое недовольство. Вследствие необычайной подозрительности Сталина, у него даже появилась нелепая и смехотворная мысль, что Ворошилов был английским агентом. (*Смех в зале.*) Да, да — английским агентом. В доме Ворошилова была даже сделана

специальная установка, позволяющая подслушивать, что там говорилось. (*Возмущение в зале.*)

* * *

— Екатерина Давидовна была сурова, — продолжает Надежда Ивановна. — Никогда не обнимет, не приласкает, никогда не выразит сильных чувств, хотя, конечно, она была человеком сильных чувств. Сдерживала их. Она в душе была недовольна, ее корбило, что я своими родителями — “врагами народа” — порчу незапятнанную карьеру Климента Ефремовича. Ничего не говорила, но иногда показывала это всем своим видом. Моя единственная родная сестра Вера, когда наших родителей взяли, стала жить с нами. И тут я увидела недовольство Екатерины Давидовны: я ее, хозяйку дома, не спросила, можно ли взять в дом сестру. Но я очень сестру любила. И сказала своему мужу: “Если мною так сильно недовольны, мы с Верой можем уйти”.

Муж пошел объясняться с родителями, Екатерина Давидовна молчала, а Климент Ефремович сказал ему: “Пусть твоя Надя глупости не говорит. Я уже доложил на Политбюро о всех своих “врагах народа” в семье.

У Веры начался роман с Тимуром, сыном Фрунзе. Этого Екатерина Давидовна перенести не могла.

Она вызвала меня для короткого разговора:

— Нам одного мезальянса хватит. (Это она обо мне с Петей.)

Вере пришлось расстаться с Тимуром. А любовь была в самом начале.

После расстрела евреев в Бабьем Яру с Екатериной Давидовной будто что-то случилось.

Там, в той страшной яме, погибли ее родная сестра с дочерью.

Екатерина Давидовна как будто глаза открыла на жизнь. Как будто что-то увидела — стала много человечнее, чем была до сих пор.

Когда возникло государство Израиль, я услышала от Екатерины Давидовны фразу:

— Вот теперь и у нас тоже есть родина.

Я вытаращила глаза: это говорит ортодоксальная коммунистка-интернационалистка! Проклятая в синагоге за измену своей религии!

Видимо, я не могла ее понять, потому что не была еврейкой и не меня проклинали в синагоге.

Я ничего не сказала ей.

Когда Климент Ефремович умер, у него на сберкнижке ничего не было. Ворошиловы всегда любили помогать людям. Обнаружилась девушка, Любочка Бронштейн. Она не была никому из них родственницей, но в доме бывала, и оба принимали участие в ее судьбе: Климент Ефремович помог ей поступить в консерваторию, Екатерина Давидовна купила ей рояль. Сейчас Любочка живет на Западе, рассказывает небылицы о Ворошилове. Что ж, у каждого своя совесть.

— Вот вы, Лариса, были у нас на правительственной даче, — говорит Надежда Ивановна. — Может быть, заметили, что в окно на коне въехать нельзя, а Любочка рассказывает, как въезжал в окно на коне Ворошилов.

* * *

Я была там со своим отцом и матерью однажды на шестидесятилетии Петра Климентьевича. Окон не помню, но помню огромное застолье, водку-ворошиловку, крепкую и горькую, — перец с лимоном. Помню красивые палисадники и пруд. Помню, как за столом дети Петра Климентьевича, Клим и Володя, на магнитофоне (магнитофон был тогда редкостью) записали шуточные приветствия своему отцу-юбиляру. Как все смеялись, а старенький, маленький, почти совершенно глухой Климент Ефремович рассердился: — Выключите эту штуку. Живые люди пусть говорят друг с другом.

Выключили.

Помню, как рассказывал он, что территория дачная — большая, через забор, бывает, перелезают грибники, охрана их приводит, и Ворошилов лично допрашивает — кто, откуда. Смотрит, каких грибов набрали. У людей душа в пятках — не знают, что он с ними сделает. И радуются — отпустил!

Помню, пели песни. Сам Ворошилов похрипывал в такт: “С нами Ворошилов, красный командир”.

И, сидя на скамье в окружении детей, внуков и гостей, говорил: “Эх, жалко, жена померла. Вот радовалась бы”.

Какой он был, командарм Ворошилов, и сколько жизней у него на совести — не моя задача определять... На Страшном Суде он, поди, за все уже ответил. Но Надежда Ивановна, натерпевшаяся от свекрови, и ее сын Владимир Петрович — никакая по крови не родня Клименту Ефремовичу и Екатерине Давидовне — говорят мне сегодня: — Пожалуйста, не пишите о них плохо. Они были очень хорошие люди. Они сделали много добра.

* * *

Петр Климентьевич рассказывал:

“Мы приехали в Ростов-на-Дону. Двадцать второй год. Поселились на одной лестничной клетке с Буденным.

Квартира большая. Все вещи остались от сбежавших хозяев. Даже попугай. Маленький, беленький попугайчик. Он говорил по-французски, а также: “алло!”, “ха-ха-ха!”, “не может быть!” — явно, дама жила и по телефону болтала.

Попочка быстро выучился у Екатерины Давидовны:

— Попочка чаю хочет! Попочка хороший.

Климент Ефремович учил его петь “Интернационал”.

Буденные, Семен Михайлович и Надежда Ивановна, каждый день бывали у нас. И мы у них. Когда Семен Михайлович увидел попугая, он “заболел”:

— Хочу такого же!

Однажды пришли они к нам обедать, и Буденный говорит:

— Зайдем-ка к нам на минуту.

А вид хитрый и счастливый.

Зашли.

— Смотрите!

Видим — сидит на двери попугай — белый, хохлатый, здоровый. С кривым глазом.

И как выдал он концерт из отборнейшего мата! Как выдал!

Буденный на него руками машет, а он ему...

Женщины с криками убежали к нам. А мужики на пол от хохота повалились.

Оказывается, этого бандита привезли из солдатских казарм. А до этого он был у матросов. А до матросов в кабаке. Внушительная биография.”

* * *

— Как они прощались перед ее смертью! Я не рассказывала вам? — говорит Надежда Ивановна. — Забыть не могу, как они прощались, ну просто Филемон и Бавкида.

Это был пятьдесят девятый год. Она “уходила”.

— У меня рачок завелся, — говорила нам, но, Боже упаси, не Клименту Ефремовичу.

Апрель. Тяжелая весна. Она лежала на даче. У нее был пост из врачей и медсестер.

И он заболел, сильный грипп с высокой температурой.

Так и лежали: она — в комнате направо, он — в комнате налево. У каждого свои врачи и медицинский пост.

Она сказала себе, что доживет до его выздоровления. А он, хоть в жару, в бреду, судно не признавал, сам ходил в уборную. К ней не заглядывал, боялся заразить.

Выкарабкался Климент Ефремович. Екатерине Давидовне все хуже и хуже. Началось кровотечение. Она просила своих врачей, чтобы никаких подробностей о ней ему не сообщали.

Наконец так ей стало плохо, что собрался консилиум и решил перевезти ее в больницу. Сказали ему. В мягкой форме. Но он понял. Она ему никогда не жаловалась на болезни, он по глазам врачей прочитал всю сложность ситуации. Попросил разрешить ему пройти к ней.

Мы все, и врачи, и я, и мой муж, понимали — это их последнее свидание. Он сел на краешек ее постели. Она взяла его за руку, и мы слышим:

— Помнишь, Климушка, как мы с тобой пели в Петербурге?

А у обоих — абсолютный слух.

И она запела. А он следом:

— Глядя на луч пурпурного заката...

Старческими, слабенькими голосами. Врачи и сестры за дверью зажали рты руками, и слезы текут по щекам.

Допели они романс до конца. Он ее поцеловал. А через несколько дней она умерла в больнице.

Она никогда о себе не думала, она думала только о нем. И немного не дожила до дня своей с ним золотой свадьбы. Конечно, Климент Ефремович с его широким, ярким характером, такой известностью, очень нравился женщинам, но Екатерина Давидовна этого не замечала или не хотела замечать...

P.S. Надежда Ивановна Ворошилова рассказала, что после смерти Климента Ефремовича в доме побывали люди из КГБ, с большим вниманием изучили все хранящиеся там документы и унесли многое с собой, в том числе и воспоминания Екатерины Давидовны. Она писала их много лет.

Где они? Что в них? Открытие ли тайны: как внутри сталинского Кремля изящная женщина превратилась в парттетью? Вряд ли. Скорее всего разутюженные, в лучших традициях Крупской, события нашей истории с точки зрения женщины, всегда готовой к тому, что охранник, оберегающий ее от возможных врагов, способен превратиться в охранника, видящего врага в ней.

Если первое предположение верно, мы нигде не найдем этих воспоминаний, они уничтожены. Если верно второе, они, возможно, живы в партархиве. И тогда придется читать сквозь строки, что тоже весьма интересно.

ТРИ ЖЕНЫ МАРШАЛА БУДЕННОГО

Бумеранг истории, возвращаясь, бьет, не щадит. Партийная машина управления, выходя из строя, выворачивает своим ковшом все, что можно и нельзя, все, что нужно и не нужно.

Был у ВЛАСТИ? Приказывал, снимал, назначал, пользовался, не отсидел, не погиб в тюрьме? Получай по заслугам!

В итоге каждому достаются и цукаты из пирога славы, и деготь из бочки меда.

Кто в нашей стране не знает легендарного маршала Буденного? Какой мальчишка из всех поколений советских детей не хотел быть, как Буденный, — с шашкой, на коне? Есть даже лошадки буденновской породы.

Попавший в песню, из песни не выпадет:

*Буденный наш братишка,
С нами весь народ!
Приказ голов не вешать,
А идти вперед!*

Каверзный вопрос анкеты первых десятилетий советской власти — “Чем занимался до 1917 года?” — ничего хорошего дать Семену Буденному не мог, если бы не его кавалерийские таланты: он лихо служил от солдата до вахмистра в царской армии, бессрочную лямку тянул и за подвиги четырежды был удостоен Георгиевского креста. Полный Георгиевский кавалер.

Бродит в наши дни сплетенка, якобы снялся brave солдат Семен Буденный в столичной фотостудии — просунул голову в дырку на панно, а на солдатской рубашке, нарисованной stationным художником, все четыре Георгиевские креста висели.

Думаю, авторы этой сплетенки не поверили бы ни живому виду тех крестов, ни документам о них — все на свете можно подделать. Но как подделаешь воспоминания тех, кто в то же самое время, когда кресты солдат получал, знал, за что и почему они получены? В белогвардейской литературе, в частности

у Романа Гуля, которого не обвинишь в пристрастии к большевикам, кресты Буденного сомнению не подлежат. Он никогда не носил их по вполне понятным причинам: красному коннику негоже показывать, кем был до 1917 года.

Эти красивые кресты с черно-оранжевыми лентами прекрасно смотрелись бы на его кителе рядом с тремя звездами Героя Советского Союза, кабы люди жили как люди, не дрались из-за кусков земли и хлеба, а гармонично переходили из одной системы в другую.

Впрочем, при условии гармонии в человеческом обществе, возможно, военный талант Буденного и не пригодился бы.

Он смолоду мечтал стать коннозаводчиком и, наверно, был бы известен этим на весь мир не менее, чем своими воинскими доблестями.

Буденный — солдат-кавалерист с 1903 года. Участник японской войны, где побеждал в боях с хунхузами. Участник германского, австрийского, кавказского фронтов первой мировой войны. Участник знаменитого Баратовского похода в Персию.

Буденный — самый лучший наездник не какой-нибудь — кавказской! — кавалерийской дивизии. Ученик петербургской школы верховой езды. Конник-профессионал.

Попади он в свое время не на фронты, а на конные состязания — был бы первым среди первых мирового класса кавалеристов.

В 1917 году, тридцатичетырехлетний Буденный, которого вот-вот произведут в офицеры, решительно выбирает революцию, а в ней большевиков.

— Я решил, — посмеивался он много позднее, — что лучше быть маршалом в Красной Армии, чем офицером в Белой.

Буденный был легендой еще до революции, но удесятерил свою славу после нее. Под напором конницы Буденного сдавались и Ростов, и казачья столица Новочеркасск, и много-много других. Известна его фраза тех лет: “Да по мне все равно какой фронт, мое дело рубать”.

Его называли “красным Мюратом”.

Его называли “советским Маккензи”.

Он был плоть от плоти, кость от кости народа и, казалось,

не менялся с годами под тяжестью похвал и наград, а если и менялся, этого никто не замечал.

На взгляд женщины, любящей в мужчине силу и мощь, Буденный был хорош собой: коренастый, ладно скроенный и крепко сшитый, с крупными чертами по-своему красивого крестьянского лица, с острым, быстрым, смелым взглядом карих глаз, с выхоленными усами.

Буденный прошел через весь двадцатый век героем, сильной личностью, которую ничем не сломишь: шашкой не зарубишь, в воде не утопишь, тюрьмой не испугаешь...

Стоп!

* * *

На взгляд женщины, он хорош собой...

Интересно, какую женщину выбрал легендарный герой в спутницы жизни? Красавицу? Умницу?

Обыкновенным людям часто кажется, что необыкновенные люди непременно должны быть счастливы и не ограничены в своих возможностях. А в жизни-то все проще простого: прекрасная кинозвезда кончает самоубийством от одиночества, настоящий великий мужчина несчастлив в личной жизни.

Почему?

Первая жена Семена Буденного была казачка из соседней станицы. Надя, Надежда, Надежда Ивановна.

Очень это имя часто встречается среди кремлевских жен, как бы напоминая о его втором, главном, общечеловеческом значении.

В начале 1903 года, перед уходом в армию, повенчался он с Надеждой в Платовской церкви и семь лет не виделись — лямку тянул.

В 1917 году, когда полк распустили, вернувшись в Платовскую станицу, Буденный организовал красный отряд и спустя некоторое время взял с собой в отряд жену. Она воевала вместе с ним, была в медицинской части заведующей снабжением. Доставала продукты. Жене командира легче было доставать, чем другим.

Какую еще жену нужно красному командиру? Лучшего и желать не надо.

Настало мирное время. В 1923 году Буденный с Надеждой Ивановной приезжает в Москву, а в 1924 году Надежда Ивановна выстрелом из пистолета убивает себя.

Слухи и сплетни витали над Буденным и Надеждой.

Говорили, а кто говорил — поди найди, что еще в прошлые годы, когда Семен был на царской войне, Надежда нагуляла себе ребеночка, родила мертвого и зарыла его в огороде...

Говорили соседки Буденного по лестничной клетке в Москве, и даже ему нашептывали, что гуляет Надежда Ивановна со студентом.

Говорили, застал неверную жену с возлюбленным бравый Семен Михайлович. Скандал был, и якобы она винулась, объясняла, что хочет ребеночка, а детей у нее от Семена нет, вот и думала, может, со студентом ребенок получится, хотя знала она, что после тех, тайных, родов не родит больше...

Много лет спустя Семен Михайлович рассказывал взрослой дочери, что семейная жизнь с Надеждой Ивановной к 1924 году у него разладилась: жили как чужие.

Однажды вечером возвращался Буденный с работы. Жена была с друзьями в театре. Шел он в свою квартиру на улице Грановского, а во дворе, загораживая дорогу, стояла компания мужчин. Было темно. Тогда оперативная служба еще не слишком хорошо работала по охране особо важных людей. Буденный снял пистолет с предохранителя и прошел сквозь компанию. Вошел в квартиру. Сел на постель и стал снимать сапоги. А сапоги у него были отменные, ухоженные — без талька не снимались, не одевались. Пока снимал, пришла жена с друзьями, увидела — на столе лежит пистолет. Говоря что-то и весело смеясь, она приставила пистолет к своему виску.

Буденный снимает сапог и видит в раскрытые двери Надежду Ивановну с пистолетом у виска.

— Положи! — кричит. — Он заряжен!

Она смеется:

— Я боевая, умею обращаться...

И не закончила фразу. Грохнул выстрел. Она упала. Напав себя уложила. Свидетелей в комнате было несколько. Все сначала окаменели...

В 1924 году Семен Буденный женился во второй раз. Он встретился с Ольгой Стефановной Михайловой на отдыхе.

Ольга Стефановна прекрасно пела, мечтала стать певицей. Это очень нравилось Семену Михайловичу, сам он отлично играл на гармонии. Когда они поженились, она поступила в консерваторию. Окончила ее и пела в Большом театре.

Сильный голос, контральто. Пела Ваню в "Иване Сусанине", Леля — в "Снегурочке".

Прожили Ольга Стефановна с Семеном Михайловичем тринадцать лет. У каждого была своя жизнь. Общая как-то не получалась.

Хотел, конечно, Буденный детей.

Ольга Стефановна не хотела портить фигуру, надолго выбывать из любимой работы.

Функция самки ее не устраивала так же, как некогда и многодетную Инессу Арманд. Но если Арманд не до конца понимала, чего хотела в своем грандиозном революционном действовании, то женщина двадцатых—тридцатых, вышедшая из семьи курского железнодорожника и знавшая бедность, хорошо и точно знала: будет певицей, знаменитостью, хочет блистать и покорять.

Ничего плохого в этом желании не было, но не совпадало оно с желаниями немолодого Буденного, мечтавшего о семейном уюте, тепле, ласке и детских голосах. Тоже, разумеется, ничего плохого в желании Буденного не было. Оно, скажем прямо, старомодно, однако несколько более естественно, чем желание Ольги Стефановны. Их можно бы и совместить?

Жили время от времени в семье племянники Ольги Стефановны — Сергей и Люся, заполняя собою бездетный дом.

Будучи сам обладателем Божьего дара — истинного таланта наездника, Буденный ценил дарование певицы. И перед оперным голосом жены преклонялся.

Подошел тридцать седьмой год. В безумии доносов, разбирательств, арестов, шпиономании, всеобщей подозрительности жила страна, и прежде всего кремлевский двор. Каждый день кого-то брали, и никто не знал, кого возьмут завтра.

Летом 1937 года Ольга Стефановна была арестована.

Меня, девочку, мало интересовали подвиги Буденного, но году эдак в 1950-м моя мать, Екатерина Васильевна, придя из гостей, рассказывала:

— Была еще жена Буденного. Очень милая, скромная. Молодая. Даже стеснительная.

— Ах, Катя, — оборвала ее пришедшая вместе с ней жена генерала Х. — Какая вы наивная. Это и не жена вовсе, а бывшая домработница его жены. Настоящая жена Буденного была красавица, певица Михайлова. Ее посадили, и она погибла в тюрьме. Буденный сам в тридцать седьмом году отвез ее в тюрьму, чтобы НКВД не трудилось. А эта “милая, скромная, молодая” ему детей сразу нарожала и окрутила его.

Слушая в стороне завлекательную сплетню, я сразу же почему-то представила себе, как Буденный, словно Казбич раненую Бэлу из лермонтовского “Героя нашего времени”, везет на гнедом коне, перебросив через седло, бедную свою жену, красавицу- певицу Михайлову. Прямоком на Лубянку.

С тех пор я прислушивалась к разговорам, если они касались семьи Буденного.

Сплетни и легенды выглядели примерно так.

Говорили, что жена Буденного, певица Михайлова, была очень красивая. Брюнетка. Цыганистая. Глаза темные, с лиловым оттенком.

Говорили, вроде у нее был роман с иностранцем. Это в тридцать седьмом-то году! Вот Буденный от греха подальше и свез ее на Лубянку. А в доме Буденного оставалась девочка-прислуга. Он, чтобы не тратить времени на поиски новой жены, поехал к ее матери и сказал, что хочет жениться на девочке. Мать упала ему в ноги и воскликнула: “Осчастливь, батюшка!”

Говорили, что у третьей жены маршала Буденного, Марии Васильевны, пятьдесят шуб. Когда летом она развешивает их на даче в Баковке, чтобы просушить, — это зрелище...

Екатерина Сергеевна, жена маршала Катукова, уже в наши дни неожиданно вписала свою краску: “Мария Васильевна, последняя жена Буденного, была очень хорошая маленькая хозяйка большого дома. Добродушная. Смеялась как коло-

кольчик. Металась между тремя детьми. Всему их учила. В конце сороковых жены и дети военачальников обычно встречали Новый год на даче у Буденных. Мужчины ехали на Новый год к Сталину, это была неизменная традиция, а в два часа ночи Сталин отпускал их, приезжали к женам, собравшимся у Буденных. Всегда бывали пироги, вкусная домашняя еда, подарки. К детям приезжал Дед Мороз. Прекрасно!

Она и сейчас жива-здорова. Чем собирать сплетни, пойдите к ней..."

* * *

Время повернуло вспять. Часы прокрутили назад колесики и винтики заржавленных десятилетий и, казалось, остановились в ожидании правды, истины, откровения.

В большой квартире розоватого, массивного, дореволюционного дома, увешанного досками, которые старательно сообщают прохожему, что здесь жили: Жуков, Конев, Буденный, Ворошилов, Тевосян и множество других властей предержащих, в небольшой столовой, плавно переходящей в кухню и украшенной огромным обеденным столом, покрытым клеенкой, который занимает всю комнату, я сижу со своим блокнотом, а напротив маленькая, не совсем еще седая, но вполне соответствующая возрасту — семидесяти пяти годам, с добрым лицом и спокойным взглядом светлых глаз, сидит живехонькая третья жена маршала Буденного, Мария Васильевна, рассказывает жизнь, словно себе самой, не слишком обращая внимания на меня и явно не думая, как смогу я перевернуть или использовать то или иное ее воспоминание. Ей нечего скрывать.

— В Москву я приехала в тысяча девятьсот тридцать шестом году из Курска. Поступила учиться в стоматологический институт на Каляевской. Жила в общежитии. Была у меня в Москве родственница, Варвара Ивановна, родная сестра моего отца. Я ей, как приехала, позвонила. Она позвала к себе — точно назначила время. Мне, конечно, было известно, что ее дочка, моя двоюродная сестра Ольга, вышла замуж за большого человека. За знаменитого Буденного, которого знает вся страна, и, когда я шла к ним в дом, очень беспокоилась, как там

будет. Варвара Ивановна встретила меня хорошо. Я стала бывать у нее. Ольгу видела редко, она пропадала по своим делам, а Семена Михайловича ни разу не видала.

Однажды пришла, позвонила в дверь — он на пороге. Как с фотографии в газете сошел.

— Вы к кому? — говорит.

Я оробела и прошептала:

— К Варваре Ивановне.

— А, ну так я вас сейчас к ней провожу.

— Не надо. Я знаю, как идти к ней в комнату.

— Знаете? Значит, вы здесь не первый раз?

— Я часто бываю...

Когда в 1937 году посадили его жену, Варвара Ивановна попросила меня иногда приходить, чтобы помочь ей с хозяйством. Помогая тете, я стала часто видеть Семена Михайловича...

(Заметьте деталь: жена Буденного сидит в тюрьме, а мать ее, то есть теща Буденного, продолжает оставаться в доме. — Л.В.)

Я помогала готовить. Когда, бывало, днем Семен Михайлович приходил обедать, подавала ему. Он благодарил, всегда улыбался.

Однажды тетя, Варвара Ивановна, спрашивает меня:

— У тебя есть компания?

— Есть, — говорю.

— А серьезно есть кто-нибудь?

— Нет.

Она, видно, подготавливала меня. И ему сказала, что у меня нет жениха.

На следующий день Семен Михайлович спрашивает меня за обедом:

— Как вы ко мне относитесь?

Ничего не подозревая, отвечаю:

— Вы мой любимый герой.

— Замуж за меня пойдете?

Я опешила. Долго молчала. И говорю:

— Я боюсь.

Он засмеялся:

— Съездите к родителям, посоветуйтесь. И дайте мне ответ.

Он ушел — я к тетке.

Она говорит:

— Выходи. Он очень хороший человек. Это я знаю. Он все равно женится на ком-нибудь. Если даже Ольга выйдет из тюрьмы, им вместе не быть. Как это можно: у Буденного жена сидела?! Выходи.

И я поехала в Курск, советоваться. Мать открывает дверь, не ждала, испугалась:

— Тебя что, из института выгнали?

— Нет, я замуж выхожу.

Мать села на стул:

— За кого?

— За Семена Михайловича.

А они в Курске даже не знали, что Ольга в тюрьме.

— Ты в доме у них что-то натворила? — У матери сразу тысячи мыслей, одна другой хуже.

Я ничего не ответила, отдала ей письмо от Варвары Ивановны. Она написала, что Ольгу посадили и что Семен Михайлович хочет жениться на мне...

(Тут я прерываю ее рассказ и спрашиваю, не знает ли Мария Васильевна, при каких обстоятельствах взяли певицу Михайлову? Она не знает. Всегда стеснялась расспрашивать о своей двоюродной сестре у Семена Михайловича, думая, что ему будет неприятно. Но знает одно: взяли ее не дома. Ходили слухи: то ли на улице, то ли в квартире артиста Алексеева, с которым у нее вроде был роман. — Л.В.)

Долго мы с родителями сидели, говорили и решили. Уезжаю я назад в Москву, мама обнимает меня и плачет:

— Может, говорит, последний раз видимся. Теперь, поди, к тебе не приедешь. За семью замками будешь.

Вернулась я в Москву, пришла в квартиру к Буденному, подаю ему суп за обедом, он поздоровался и молчит, ничего не говорит о своем предложении. Мне как-то не по себе. Пообедал и спрашивает:

— Ну что вы решили?

— Положительно, — говорю, а у самой даже уши красные от стыда.

Он тоже весь вспыхнул:

— Боялся спросить. Вдруг откажешь!

И ушел на работу. Вечером вернулся, а я собралась уходить. К тому времени я жила уже не в общежитии. Варвара Ивановна устроила меня на Самотеке, сняла угол у женщины, которая приходила к Буденным делать генеральные уборки.

Семен Михайлович говорит:

— Оставайтесь в доме. Нечего бегать по самотекам. Вы теперь тут хозяйка.

Он от стеснения мне сначала то “ты”, то “вы” говорил. А я так вообще долго еще звала его Семеном Михайловичем и на “вы”.

Он сердился:

— Я твой муж, а Семен Михайлович на коне сидит.

Зажили мы с ним как-то сразу очень хорошо и дружно. Он так радовался, что рождались дети. У него с теми женами дети не получались, и он думал — в нем причина.

13 августа 1938 года появился на свет Сережа.

6 сентября 1939 года родилась Ниночка.

Я бросила институт. Очень жалко было бросать. И Семен Михайлович жалел, но и детей на нянек бросать не хотелось.

— Ты уж воспитывай ребят, а я буду платить тебе стипендию, — говорил мне Семен Михайлович.

Третий наш сын, Миша, родился в 1944 году.

Варвара Ивановна еще некоторое время жила с нами, а потом уехала в Ленинград к сестре. Семен Михайлович помог ей получить там квартиру. Сложное это было чувство: ее дочь — жена Семена Михайловича — в тюрьме, она сама меня выдала за него, на ее глазах наше счастье проходит, понимаете?

Жили мы с ним душа в душу с первого дня до последнего. Ни разу не ссорились. В детях он души не чаял. Самое любимое занятие для детей было: утром или вечером забраться к нему в постель, полежать, побарахтаться. Обычно он начинал что-то рассказывать и обрывал, просил их продолжать рассказ — кто как умеет.

Я с тех пор не работала. Правда, много разных курсов окончила: и курсы английского языка, и пчеловодства, и огородничества. И вышивать на швейной машине научилась. Все домоводческие дела освоила.

От общества кремлевского он меня всегда прятал. Боялся потерять. Иногда он говорил: “Как ты не побоялась пойти за меня, я такой был невезучий: одна жена застрелилась, другая в тюрьму села”.

Мы и квартиру поменяли, чтобы ему напоминаний каждый день не было.

Боялся, как бы со мной чего не случилось. И все же взял меня впервые на правительственный прием по случаю Октябрьских праздников. Сначала, пока прием не начался, Семен Михайлович меня со всеми знакомил, я стеснялась, что молодая. Потом его в президиум взяли, я осталась рядом с Ашхен Микоян, она надо мной шефство взяла. Была она хорошая мать и хозяйка дома. С остальными женщинами — Жемчужиной-Молотовой, Ворошиловой, Каганович — я не сошлась. Они были намного старше меня, деловые, начальницы у себя в учреждениях, а я девчонка. На тридцать три года моложе мужа. И бывшая жена его в тюрьме. Как-то все казалось мне неловко. И вообще, больше общалась с женами военачальников.

...Поженившись, поехали мы с Семеном Михайловичем к моим родителям. Первый раз они пришли к нам в правительственный вагон. Отец потом рассказывал, что очень было неловко идти, давил на него авторитет Буденного, а как вошел, протянул руку, заговорили, так показалось ему, что всегда знал он Семена Михайловича. Родителей своих я, когда родился первый ребенок, перевезла в Москву, и с тех пор мы все вместе жили. С нами жила и мать Семена Михайловича, Маланья Никитична.

...Что помню и знаю из прошлого? Да разное.

Например, когда в 1938 году стали сажать в тюрьму начальников конных заводов, а они были в основном заслуженные люди, революционные бойцы, Семен Михайлович пошел к Ворошилову защищать их, тот послал его к Сталину. Семен Михайлович рассказывал, как он прямо в лицо Сталину ска- зал:

— Сегодня сажают тех, кто защищал революцию. Значит, надо сажать и меня. И вас.

Сталин ответил:

— Ты, Семен, совсем с ума сошел.

Помню в войну, когда Берия без ведома Семена Михайловича стал на Северном Кавказе по своему усмотрению переставлять воинские части, Семен Михайлович разозлился и пошел к Сталину, тот не поддержал Семена Михайловича:

— Берия сам кавказец, ему лучше знать, как расставлять части на Кавказе.

— Но ведь Берия не военный человек, а чекист, — возражал Семен Михайлович. — Это не одно и то же.

Прятал меня, прятал. Однажды, после войны было, взял меня на правительственный прием и отошел куда-то в сторону. Я осталась рядом с Грозовыми. И тут, как нарочно, подошел ко мне Сталин. Может, он издали увидел, что одна женщина сидит.

В Георгиевском зале Кремля были расставлены столы, и он любил в конце приема обходить гостей с рюмочкой, разговаривать.

Сталин остановился за моей спиной:

— А я вас не знаю.

— Буденная.

— Вот оно что! Где Семен Михайлович? А, вон он, с рабочим классом общается? Мы все ему по-хорошему завидуем, что у него такая дружная семья.

А у меня сердце в пятках.

Новый год подошел, по традиции члены правительства и военачальники встречали его со Сталиным, а после двух ночи приезжали к нам, на дачу. Я всего наготовила. Встретили мы с женами и детьми Новый год, а потом мужчины подъехали. Гляжу, мой Семен Михайлович идет с огромным букетом цветов.

— Сталин прислал. Сказал: “Передай цветы жене. Вы тут со мной, а жены одни. Наверно, сердятся на меня”.

Семен Михайлович был очень добрый человек, всем старался помочь, когда к нему обращались. И любовь народа испытал. Мы с ним, бывало, в Кисловодске на отдыхе ходили на Малое и Большое Седло — так толпы за нами шли. Можно было

подумать, что митинг какой. Вопросы, ответы, споры. Все хотели рядом с ним побыть, и я старалась дать место, отойти.

Наш врач увидел, что Семену Михайловичу проходу не дают, велел поменять время прогулок. Люди узнали и опять с нами стали ходить.

Моя жизнь с ним очень была счастливая.

Мария Васильевна протягивает листок из тетрадки, на нем карандашом, крупным, разборчивым почерком, представьте себе, без единой грамматической ошибки написано письмо:

“Здравствуй, дорогая моя мамулька!

Получил твое письмо и вспомнил 20 сентября, которое нас связало на всю жизнь. Мне кажется, что мы с тобой с детства вместе росли и живем до настоящего времени. Люблю я тебя беспредельно и до конца моего последнего удара сердца буду любить. Ты у меня самое любимое в жизни существо, ты, которая принесла счастье — это наших родных деточек. Думаю, что все кончается хорошо, и мы снова будем вместе. Передай привет маме, Маланье Никитичне и всем нашим. Крепко целую Сережу и Ниночку. Желаю вам всем счастья и здоровья. Привет тебе, моя родная, крепко тебя целую, твой Семен.

19 сентября 1941 года”.

— Он много в любви не объяснялся, — говорит Мария Васильевна, но однажды сказал мне: “Спасибо тебе, Мария, ты мне продлила жизнь, создала семью. Мне после работы домой хочется. Я всю жизнь мечтал с детьми возиться”.

А мне думалось — на чужом несчастье я свое счастье строила. Не посадили бы Ольгу в тюрьму, ничего бы не было, ни семьи нашей, ни троих детей.

Маланья Никитична, мама Семена Михайловича, и его сестра Татьяна Михайловна жили с нами — и в Москве, и в эвакуации. Жили мы все дружно. Маланья Никитична все конца войны ждала:

“Хоть бы дожить до конца войны, а то умрешь и будешь думать, чем же война кончилась”.

Дачами государственными мы не всегда пользовались — Семен Михайлович свою купил, в Баковке. Он сказал мне: “Детей много. Я тебя старше — нужно свое иметь. Если со мной что случится, вас с государственной дачи в двадцать четыре часа выселят”.

За спиной Марии Васильевны, сидящей против меня, как бы охраняя ее, висит огромный, во всю стену, семейный портрет, выполненный в традициях печально известного стиля социалистического реализма. Кто знает, как через три-четыре века будет выглядеть этот портрет? Может, его с работами Веласкеса сравнивать будут? Мне же в сегодняшние дни он представляется точным совпадением со сталинским временем: самоутвердителем, жестким, парадным. Семен Михайлович, статный и бравый, со своими прославленными усами, и Мария Васильевна, пышная, в темном платье с небольшим стоячим воротничком и глубоким вырезом по моде начала пятидесятых годов, слегка отдающей стилем "а-ля Мария Стюарт". Мария Васильевна кажется на портрете едва ли не ровесницей мужа: художник не ее состарил, а его подмолодил. Они сидят окруженные безликими детьми, чьи характеры, видимо, не слишком интересовали художника, сконцентрированного на вельможной паре: храбром рубака, донском казаке Семене Буденном, и Золушке из Курска, волею судьбы ставшей подругой его жизни.

— Мария Васильевна, — набравшись духу, спрашиваю я, ибо не могу уйти, не связав все узелки этой жизни, — скажите, вас не обижает, когда сегодня вы читаете нелестные отзывы о Семене Михайловиче?

— Возмущает. Много пишут вранья. А ведь стоит поднять документы, и станет все ясно про Семена Михайловича.

— Вы будете поднимать документы?

— Этим занимается наша дочь, Нина. Она журналистка, ей и карты в руки. Обидел меня историк — Рой Медведев. Он написал, что у Буденного не было интеллекта. Медведев разве встречался с ним? Изучал интеллект Семена Михайловича?

Конечно, Семен Михайлович был не очень образованный человек. Хотя в своем деле очень образованный, но широкого, как теперь говорят, гуманитарного образования ему не хватало. Но ведь интеллект и образованность разные вещи. Интеллектуалу Медведеву следовало бы различать. Интеллект у Семена Михайловича был большой. А бывают очень образованные люди, по два образования имеют, но интеллекта Бог не дал. Разве я не права? Мне хотелось бы передать это мое мнение Рою Медведеву.

— Мария Васильевна, — начинаю я, понимая, что не могу уйти, не открыв трагическую страницу жизни Ольги Стефановны Буденной-Михайловой, — скажите, как сложилась судьба вашей двоюродной сестры?

— Ольга Стефановна вернулась в Москву в тысяча девятьсот пятьдесят шестом году. Отсидела полный срок. Была на поселении. Конечно, постаревшая, больная. Семен Михайлович устроил ее в больницу, помог получить квартиру. Она была психически нездорова, с тяжелым диагнозом. Рассказывала страшные вещи про свою жизнь. Говорила, что за ней ходила сплетня, будто бы она хотела отравить Буденного, и за это ее везде ненавидели. Ужасы рассказывала. Например, как ее неоднократно группами насиловали. Семен Михайлович не верил, считал, что это плод больного разума. Он просил ее приходить к нам, но она бывала очень редко, считая, что мне может быть неприятно ее присутствие. Мои уговоры не убеждали.

— Мария Васильевна, — бросаюсь я в очередной кипятилок желания узнать истину, — почему Семен Михайлович не пытался выручить Ольгу Стефановну? Помочь ей? Был обижен на нее за измену?

Вместо ответа Мария Васильевна достает из большой папки с документами копию письма:

“В Главную Военную прокуратуру

В первые месяцы 1937 года (точной даты не помню) И.В.Сталин в разговоре со мной сказал, что, как ему известно из информации Ежова, моя жена Буденная-Михайлова Ольга Стефановна неприлично ведет себя и тем компрометирует меня и что нам, подчеркнул он, это ни с какой стороны не выгодно, мы этого никому не позволим.

Если информация Ежова является правильной, то, говорил И.В.Сталин, ее затянули или могут затянуть в свои сети иностранцы. Товарищ Сталин порекомендовал мне обстоятельно поговорить по этому поводу с Ежовым.

Вскоре я имел встречу с Ежовым, который в беседе сообщил мне, что жена, вместе с Бубновой и Егоровой, ходит в иностранные посольства — итальянское, японское, польское, причем на даче японского посольства они пробыли до 3-х часов

ночи. Тогда же Ежов сказал, что она имеет интимные связи с артистом Большого театра Алексеевым.

О том, что жена со своими подругами была в итальянском посольстве, точнее у жены посла, в компании женщин и спела для них, она говорила мне сама до моего разговора с Ежовым, признав, что не предполагала подобных последствий.

На мой вопрос к Ежову, что же конкретного, с точки зрения политической компрометации, имеется на ней, он ответил — больше пока ничего, мы будем продолжать наблюдение за ней, а Вы с ней на эту тему не говорите.

В июле 1937 года по просьбе Ежова я еще раз заехал к нему. В этот раз он сказал, что у жены, когда она была в итальянском посольстве, была с собой программа скачек и бегов на ипподроме. На это я ответил, ну и что же из этого, ведь такие программы свободно продаются и никакой ценности из себя не представляют.

Я думаю, сказал тогда Ежов, что ее надо арестовать и при допросах выяснить характер ее связей с иностранными посольствами, через нее выяснить все о Егоровой и Бубновой, а если окажется, что она не виновата, можно потом освободить.

Я заявил Ежову, что оснований к аресту жены не вижу, так как доказательств о ее политических преступлениях мне не приведено.

Что же касается ее интимных связей с артистом Алексеевым (о чем я имел сведения помимо Ежова и МВД), то, сказал я Ежову, это дело чисто бытового, а не политического порядка, и я подумаю, может быть, мне следует с ней развестись.

В августе 1937 года, когда меня не было в Москве (выезжал дней на десять в Гороховецкие лагеря), Ольга Стефановна была арестована.

Лично я инициативы в ее аресте не проявлял, более того, был против этого, так как из того, что мне было известно от Ежова, не видел к этому никаких оснований. Работника МВД Дагина (знал его лично по работе в Ростове) к себе не вызывал и беседы с ним относительно жены не имел.

Впоследствии, после ареста ряда директоров конных заводов — Александрова, Чумакова, Тарасенко, Давыдовича и других, а также ареста жены, я пришел к выводу, что все это Ежов делал с той целью, чтобы путем интриг и провокаций



Надежда Крупская — соратник и подруга Первого Вождя.



Инесса Арманд — тоже соратник ... и подруга?



И. Арманд со своими детьми. У Крупской их не было.



Крупская и Ленин в Горках. Инессы уже нет.



Теперь нет и Ленина.



Лариса Рейснер. Пока без браунинга.



Лариса Рейснер с мужем, Федором Раскольниковым.
Уже без браунинга (она) и еще без письма Сталину (он).



Лев Каменев с невесткой Галиной Кравченко.
До поры до времени все хорошо.



Жена Каменева и сестра Троцкого — Ольга Давидовна. Такого Сталин
ей не простит.



Александр Каменев. "Лютик", как называла его жена.
В НКВД его так называть не будут.



”Лучшие друзья” с ”лучшими подругами”.
Сталин и Молотов с женами на даче.



Похоже, что идиллия. Иосиф и его Надежда.



Надежда Аллилуева с сыном Василием Сталиным.
Взгляд у нее уже не такой счастливый.



“Первый красный офицер” (в центре, стоит) со своей избранницей
(сидит, справа)



Екатерина Давидовна и Климент Ефремович с внуком.



До смерти — вместе. Завидное постоянство.



Ольга Стефановна Михайлова-Буденная в роли Розы в опере "Лакме".
Большой театр.



Она же, фото из архивов НКВД.



Маршал с новой женой Марией Васильевной и детьми.



Чета Калининых на пороге Кремля.



Он — председатель ВЦИК, но не может уберечь жену от лагеря.
Екатерина Ивановна за несколько дней до ареста...



... и немногим позже. Фото из архивов НКВД.



”Железный Лазарь” тоже не чуждался семейных радостей.
С супругой Марией Марковной и дочерью Майей.



После смерти Сталина он на вопрос, чем его наградить, сухо бросит: "Верните Полину". Молотов с женой и дочерью Светланой.



Жены — слева. "Вожди" — справа. В правительственной ложе.



Нина Берия, фотографий этой женщины в молодости сохранились единицы:



Одна из многих жертв Берии — артистка Татьяна Окуневская.



Незадолго до ареста (1948) и в 1991-м.



Нина Хрущева с детьми Радой и Сергеем.



Хрущев первым из "вождей" не постеснялся предстать перед народом
отменным семьянином.



”И один из вас, ядущих со мною, предаст меня”. Жена и дети останутся верны Хрущеву. Микоян будет доброжелательно нейтрален.



“Богатые” тоже пляшут. Соло министра культуры СССР Екатерины Фурцевой.



Сонм избранных. На торжественном заседании, посвященном дню
8 марта. Сидят в центре — Людмила Зыкина, Виктория Брежнева,
Екатерина Фурцева.



Всегда в тени мужа...



Редкий случай — в центре внимания.



Истинное призвание — семья. Со свекровью Натальей Денисовной, сыном Юрием, невесткой Людмилой, внуком и портретом мужа.



Последний из могикан. Константин Черненко с супругой Анной Дмитриевной.



До перестройки. У Раисы Горбачевой и Галины Брежневой нет взаимных претензий.



Перестройка. Слева направо: Людмила Брежнева, Раиса Горбачева, Людмила Рыжкова.



Нежное слово или ценное указание?



Первый (и последний) Президент СССР со своей "Первой леди".



Не все же Президенту подписывать...



С высокой трибуны.



Ложа — та же. Но ... жена по-прежнему слева, вождь — справа.

добиться получения показаний против меня перед нашей партией и государством и расправиться со мной.

Считаю необходимым дать хотя бы краткую характеристику Ольге Стефановне. Она дочь железнодорожного рабочего, ставшего затем служащим на железнодорожном транспорте, семья их бедная.

Женился я на ней в 1925 году. Уже после выхода замуж она поступила в Московскую консерваторию и окончила ее в 1930 году. Училась она старательно, активно вела общественную работу. Никогда не замечалось и намека на то, чтобы она проявляла какое-либо недовольство советской властью.

В материальном отношении потребности у нее были скромные, алчности в этих вопросах она никогда не проявляла.

В заключение должен сказать — я не верю, чтобы она могла совершить преступление против советской власти.

С. Буденный,

23 июля 1955 года”.

“Что же он раньше-то не написал этого письма?” — наивно хочу я спросить Марию Васильевну, но ухожу, ни о чем больше не спрашивая ее — одну из немногих кремлевских жен, сумевшую принести в атмосферу пышно-холодного ада тридцатых годов и жестко-суровых дней военных, сороковых, дух дома и тепла.

Она, девочка, как мотылек влетевшая в хоромы правителей в кровавые дни 1937 года, выжила и, как ни парадоксально, заслонила собой и детьми четырежды кавалера царского креста Георгия Победоносца и трижды Героя Советского Союза.

Маховик власти, после 1937 года еще не раз пронесившийся над семьями властителей, ни разу не коснулся буденновского гнезда, где сидела сильная маленькая мать, знавшая только свое женское дело. Был, правда, в ее жизни случай, когда ей не без риска пришлось заступиться за своего Семена Михайловича, но об этом позже, в другом месте книги.

* * *

Письмо Буденного — документ эпохи. Оно воссоздает время и раскрывает скрытые от постороннего глаза элементы адской машины.

Посещение посольства, которое сегодня ничего, кроме зависти и любопытства тех, кто не был приглашен, у современных людей не вызовет, долгие годы считалось в нашей стране если не криминалом, то поводом для криминала.

Программа скачек и бегов на ипподроме — улика против Ольги Михайловой. И пусть это заведомая чушь, но машина работает, выдает информацию. Осмысление информации — это второй вопрос: осмысляй, как хочешь!

А чего стоит предложение Ежова Буденному не говорить с женой о подозрениях, павших на нее. Интересно, послушался ли его Семен Михайлович?

Как бы то ни было, тень артиста Алексеева, неоднократное упоминание его имени в определенном контексте, увы, говорят о том, что и второй брак Буденного был несчастливym. Видимо, к объективной невозможности сделать попытку вызволить Ольгу Стефановну примешивались мужские негативные чувства.

Думаю и почти уверена: если бы в конце сороковых, когда пошел второй тур посадок в тюрьмы кремлевских жен и создавалась ситуация, при которой Мария Васильевна попала бы под колесо истории, Буденный бился бы за нее, как олень за важеньку, ибо она уже была матерью его детей, верной женой, кровно прикипевшей к его сильному, тренированному, старому телу и без боя отдать ее на съедение государственной машине не позволил бы Буденному великий мужской инстинкт сохранения рода, способный преступить любую идейность, партийность и чувство долга.

Впрочем, это всего лишь желаемое предположение...

Бродила несколько десятилетий легенда: якобы пришли чекисты брать Буденного, то ли в конце тридцатых, то ли во время войны, то ли после нее. Хотели взять на даче. При жене и детях. А он выставил в окно пулемет и как шарахнет из него. Чекисты отступили. Буденный же бросился к телефону и позвонил Сталину:

— Иосиф Виссарионович! Контрреволюция! Меня брать пришли! Живым не сдамся!

Сталин расхохотался. Приказал:

— Оставьте этого дурака в покое, он не опасен.

У меня была полная возможность проверить эту легенду у Марии Васильевны. Не стала этого делать. Если в самом деле был такой случай, она непременно с гордостью рассказала бы мне о нем — женщина никогда не забывает героизма своего мужчины.

P.S. Слухи, легенды и сплетни не умирают вместе с людьми. Стоит лишь пошевелить прошлое, как встанет оно перед глазами — во всей красе и сложности.

Опубликовала я отрывок о трех женах Буденного в “Неделе”, и ласточки слухов забились в мое окно:

“А ведь он сам застрелил первую жену, и не от ревности. Ему выстрелить ничего не стоило — на войне привык. Надоела она ему, и другая завелась”;

“Все было не так, как вы пишете про первую жену. В дом стала ходить Ольга, молодая, красивая. Открыто ходила. Своим секретарем он ее рекомендовал. А Надежда Ивановна видела, какой это секретарь. И с горя себя порешила”;

“Я жила в доме на Грановского, ребенком. Мы, дети, играя во дворе, видели, как в тридцатых годах выходила из подъезда ослепительная, нарядная красавица и уезжала в шикарных заграничных лимузинах — жена Буденного, певица. Сам Буденный всегда был где-то в отъезде. Потом, когда ее посадили, во дворе долго шептались, что она шпионка. Польская шпионка”.

В КРЕСЛЕ ИНКВИЗИТОРА

Посвящаю эту главу Виктору Николаевичу Беринову, сотруднику отдела общественных связей КГБ, моему Виргилию по кругу ада, о котором здесь идет речь.

Все дальше, уходя в глубь своей книги, я понимала — настанет час, и не обойтись без похода в этот устрашавший всех дом на Лубянской площади. В КГБ. Понимала также — никто в этом доме меня не ждет, никто не готов раскрывать передо мною свои замки и затворы. Отлично зная необходимость в нашем обществе всякого рода сопроводительных бумаг, я заручилась письмом от Союза писателей: “Просим дать возможность Ларисе Васильевой, работающей над книгой о женщинах, познакомиться со следственными делами 30—40-х годов: Буденной, Егоровой, Калининой, Жемчужиной и так далее...”

Лето и моя работа шли к концу. Суровая инстанция молчала, и я уже готовила себя: не будет у меня этой главы.

После событий 19 августа 1991 года, после того, как была сброшена статуя Дзержинского на Лубянской площади, дня через три утром мне позвонил голос из отдела общественных связей КГБ:

— Ваш вопрос решился положительно. Можете подъехать сейчас?

Он еще спрашивает!

Я летела на Лубянку. Сердце выскакивало из груди. Лишь у самой двери подъезда № 1-а, дернув дверь, я вдруг опомнилась. Она не открывалась. Я еще раз дернула. Мимо шли люди, и я спиной ощущала, как смотрят они на меня, рвущуюся в двери КГБ. Что думают? Чувство возникло такое, будто я вхожу в венерический диспансер.

Вошла. Назвала юным солдатикам свое имя.

— Подождите, — сказал один из них. — Сейчас за вами придут.

Я села на стул у самой двери.

В эту минуту с улицы вошел пожилой человек с лицом отставного военного. Он посмотрел на меня, усмехнулся и спросил:

— Вам, что ли, пропуск надо предъявлять?

— Мне, — лихо сказала я.

— Да, времена пошли, — опять усмехнулся он и вынул пропуск. Солдаты молча улыбались, раскованные, понимающие пришествие нового времени.

— Да, времена, — эхом откликнулась я, посмотрев пропуск и возвращая ему, — если бы здесь всегда сидели такие, как я, может быть, сегодня у этого дома была другая судьба.

Развязное поведение не слишком понравилось ветерану КГБ, и он, нахмурившись, пошел по лестнице, откуда навстречу мне быстро спускался мой провожатый.

Мы с ним вошли в просторную комнату, где сидела молодая секретарша с рязанско-воронежским лицом, готовым менять выражение в зависимости от ранга и значения входящего. Я, разумеется, никакого значения не имела, но с моим спутником у нее, видно, все уже было договорено. Он открыл передо мною тяжелую дверь за спиной секретарши. Маленький тамбур и еще дверь.

Мы оказались в большом кабинете с длинным Т-образным столом, массивным начальственным креслом, портретом Ленина над креслом, бюстом Дзержинского у стены, с камином в углу, с тремя окнами, глядящими на Лубянскую площадь.

— Здесь вам будет удобно? — Он обвел рукой пространство.

— Чей кабинет? — спросила я.

— Последним сидел здесь Юрий Владимирович Андропов. А до него — и Ягода, и Ежов, и Берия.

Он провел меня в конец кабинета, за которым был небольшой зал с камином, показавшийся мне знакомым, будто я уже бывала в нем.

— Да, — подтвердил мой спутник, — это первый кабинет Дзержинского. Он воспроизводится во всех революционных фильмах.

За кабинетом Дзержинского, за небольшим тамбуром, ведущим в туалет и душевую, оказалась еще одна комната с

кроватью, маленьким холодильником, платяным шкафом — место отдыха главы сего учреждения.

Мы вернулись в большой кабинет.

— Пожалуйста, располагайтесь и работайте. Можете в этом кресле.

— Нет! — испуганно сказала я и тут же подумала: “Почему? Мне представляется уникальнейшая возможность оказаться в кресле, десятилетиями наводившем ужас на всю страну. Неужели я, как пугливая курица, не испытаю своего воображения?!”

Осталась один на один с двумя тонкими папками на глянцевой поверхности вельможного письменного стола.

Кабинет дьявола? Кресло инквизитора?

Как все здесь обыкновенно. Официозно. Нисколько не страшно. Наверно, так нестрашен обезоруженный преступник или мертвый лев.

Справа три окна с видом на Лубянскую площадь, где еще недавно темной свечой стоял Железный Феликс, первый сиделец этого кресла.

Слева, под моей рукой, огромный телефонный пульт с ярким гербом Союза Советских Социалистических Республик. Сняла трубку. Она молчала, оторванная от всего мира.

Да, кабинет мертв; и то, что я сижу в нем, — лишнее тому доказательство.

На мгновение показалось: слышу лязг железных дверей, звяк тюремных ключей, крики, плач, надвинулись лица ожесточенные, измученные, палачи или жертвы — неясно, наверно, и то и другое в каждом лице — а и не все ли мы жертвы и палачи друг другу на этой земле?!

Одинокая, обнаженная фигура под ярким светом лампы, облитая ледяной водой...

Начиталась.

А все тут было проще и страшнее.

Две тонкие папки — “Дело ” Галины Егоровой, жены маршала Егорова. Она была в одной компании со второй женой Буденного. Я могла бы и не просить ее “Дела”. Она — не моя героиня. Но раз дали — посмотрю.

Как просто — две тонкие папки. А в них — судьба. Сколько судеб спрессовано в таких папках?

Галина Егорова. Она мелькнула в этой книге, в главе об Аллилуевой — это в нее бросил Сталин хлебный шарик в вечер самоубийства Надежды Сергеевны. Или в Тухачевскую...

Как сильно бьется сердце. И такое чувство, словно история повернула свое колесо, а я, подобно белке-затворнице, побежала по нему, с невероятной быстротой, стоя на месте.

* * *

“Дело” Егоровой Г.А.

1898 года рождения, уроженки Брянской области, киноактрисы, окончившей 1-й Московский государственный университет, факультет общественных наук (ФОН) отделение международных внешних сношений, беспартийной, русской.

Изобличается в том, что является агентом польской разведки, которой передавала сведения об РККА и знала о существовании антисоветского военного фашистского заговора и руководящей роли в нем своего мужа и об этом органам власти не донесла”.

Ордер на арест и обыск.

Собственноручные показания Г.А.Егоровой от 27 января 1938 года. Написаны наклонным, каким-то полудетским, испуганным почерком: “...В 1916—1917 годах училась в Петроградской консерватории и там же встретила Февральскую революцию. С неясным представлением всего окружающего, с сумбуром в голове приехала в Брянск. После Октябрьской революции стала работать в военкомате, в совнархозе, где встретилась с Егоровым, вышла за него замуж и уехала в августе 1919 года в Москву... В 1927 году познакомилась с кинематографистами, участвовала в двух картинах... Мое падение началось в 1931 году, когда я впервые начала выезжать в дипломатический свет, блестящая обстановка, туалеты, утонченное обращение, иностранная речь, атмосфера неуловимого флирта, веселье, танцы, всеобщее восхищение быстро закружили мне голову. Открылась какая-то новая, неведомая до сего времени, манящая жизнь... Вся эта блестящая обстановка нра-

вилась, импонировала тому, что было заложено еще с детства системой буржуазного воспитания...

Сначала это только сугубо официальные приемы, выезды только с мужем, потом постепенное вовлечение в круг мало-официальных приемов, каких-то лыжных вылазок, маленьких завтраков, обедов, вечеров, выездов с иностранцами в театр, присылка билетов в дипломатическую ложу и т.д. Частые выезды в дипломатический мир вскоре поставили меня в центре внимания, но особенный интерес проявили чины польской миссии.

“Вы полька?” — спросил меня посол, спросил девичью фамилию и тут же записал ее в книжку (подчеркнуто карандашом следователя. — Л.В.).

...Дружба с послом Лукасевичем усилилась, отброшена официальность, называем себя друзьями, присылка цветов, польских конфет “Вензель” через отдел внешних сношений и непосредственно домой, после того личный звонок, напоминание приехать на вечер, посвященный польской выставке, — все это вызвало интерес к Лукасевичу, и даже больше: я была влюблена, было радостно его видеть, было приятно с ним танцевать, разговаривать, я не могла оставлять без ответов его вопросы и все больше и больше выбалтывала перед ним вещи, представлявшие государственную тайну. Лукасевича интересовали вопросы главным образом жизни, быта и работы наших государственных деятелей, высших командиров армии. Разновременно я рассказывала Лукасевичу о существовавших групповщинах в рядах армии, враждебных настроениях среди отдельных лиц, рассказывала о недовольствах, проявляемых Тухачевским, Уборевичем, Якиром по отношению к Ворошилову, об их стремлении стать на место Ворошилова, на что, как каждый из них считал, он имеет основание: больше опыта, больше знаний. Рассказывала Лукасевичу, что существует вторая группировка Егорова — Буденного, которая стоит в оппозиции к Тухачевскому. Дала биографические справки и сведения о том, где учились, служили, воевали Буденный и Егоров. Лукасевич расспрашивал об отношениях Егорова и Буденного с Ворошиловым.

И наконец, в начале 1934 года передо мной был впрямую поставлен вопрос о сообщении Лукасевичу сведений военного

порядка. Он недвусмысленно дал понять, что наступил момент, когда дружба требует каких-то доказательств, что он был бы рад получить их в интересующей его области, как-то: 1. Сведения об авиации и вооружении. 2. Перемещение Красной Армии во время войны.

Я поняла, что делаю большое преступление перед своей страной, но я не могла отказать в силу моего увлечения Лукасевичем и некоторых видов на него, он был холост, вел широкую светскую жизнь, имел за границей капиталы. Я обещала сделать все...

Я как раз знала о предполагаемых назначениях во время войны, слышала в разговоре военных, руководящих командиров РККА в своей квартире, что в случае войны главнокомандующим предполагается Ворошилов, а начальником штаба или Тухачевский, или Егоров... Что касается первого вопроса, то о нем еще нужно было узнать. Я предполагала это сделать через Алскниса. На следующем банкете я поделилась с Лукасевичем, что при всем желании не смогла ничего узнать об авиации, Алскниса не видела.

Лукасевич спросил меня, правда ли, что Егоров уехал на Дальний Восток. "Да", — ответила я. "Зачем?" — "В инспекторскую поездку по укрепрайонам".

Я также сказала, что еду к нему. Лукасевич попросил меня узнать об укреплениях на Дальнем Востоке и о постройке новой железной дороги. Я обещала. В Хабаровске... я узнала о постройке железной дороги по берегу океана от бухты Тихой и о береговых укреплениях, о самолетах и подводных лодках, привозимых сюда в разобранном виде.

Все это я после возвращения в Москву передала Лукасевичу, увидевшись с ним в итальянском посольстве. Разговор происходил во время танцев, на теннисной площадке. Что касается вопроса об авиации и вооружениях, то я опять сведений не могла достать.

В течение очень длительного периода я не видела Лукасевича, он был в Польше. Все последующие встречи вплоть до его отъезда совсем из Москвы, были сугубо официальными, с подчеркнутой холодностью. Это имело свою историю. Мое, Бубновой, Буденной, Элиавы поведение с дипломатами стало бросаться в глаза и расценивалось советской общественностью

как недостойное. В апреле месяце 1934 года меня специально вызвал к себе Ворошилов и предупредил об этом. Это стало широко известно в дипломатическом корпусе: "Советским дамам сделали внушение". Я имела по этому поводу разговор с Лукасевичем на приеме в итальянском посольстве. Лукасевич предупредил меня, что нам нужно держаться официально, иначе могут произойти нежелательные для нас обоих последствия. И с этого времени то внимание, которое оказывалось мне Лукасевичем, переносится на Тухачевскую. Первые танцы, сидение рядом во время еды...

Вскоре Лукасевич совсем уехал из Москвы. В дальнейшем связь со мной поддерживал польский военный атташе, полковник Ковалевский...

Тридцать седьмой год прошел спокойно. Мне как-то не удавалось по ряду причин бывать на приемах...

В Москве 1932—1935 годов как бы сами собой организовались светские салоны, напоминающие то ли дворянское прошлое Руси, русской знати, блиставшие приемами по средам, пятницам с обязательным присутствием знаменитостей, певцов, художников, то ли салоны декабристов. Такие салоны устраивались у Бубновой, Гринько, у нас (каждая фамилия, упоминаемая обвиняемыми, непременно подчеркивалась красным или черным карандашом следователя. — Л.В.). Предлогом для этого являлась читка новой пьесы или сценария или маленький концерт какого-нибудь квартета. Внутренняя сторона грязная, нехорошая, голоса фальшивили, шли вразрез общему тону жизни в стране. Почему-то всегда получалось, что завсегдатаями этих вечеров были люди с надтреснутой душой, с личными обидами на свое положение, обойденные вниманием, я бы сказала, озлобленные существующими порядками в стране. Так получалось — женщины готовили кухню, судили, обсуждали назначения, перемещения, потихоньку поругивали руководство, отражая мысли и чаяния своих мужей... Бубнова говорила, что Андрея Сергеевича Бубнова затирают, а ведь он был в пятерке с Лениным.

Тухачевский — аристократ голубой крови, всегда весел, всегда в кругу дам, он объединял военную группу, шел, не сгибаясь, прямо к цели, не скрывая своей неприязни к руководству. Вся эта публика непризнанных талантов тянулась квер-

ху, не разбирая путей и средств, все было пущено в ход — и лесть, и двуличие, и ничем не прикрытое подхалимство, но их честолюбивые замашки кем-то были распознаны, их не пускали, сдерживали, отбрасывали назад, они негодовали, и вот эта-то озлобленность просачивалась здесь в салонах, в кругу своих. Все это было видно невооруженным глазом. Это прекло-нение перед всем заграничным, неверие в возможность сделать лучше у себя в стране, искали виновников и находили в руко-водстве...”

Тут я прервалась и перевела дух. Что сказать об этих пока-заниях? Что бы ни сказала я, всегда найдется оппонент, гото-вый опровергнуть меня, да к тому же — я еще не дочитала “Дело” до конца.

* * *

“Несколько другая публика была у Буденного, — продол-жает свои собственноручные показания Галина Антоновна, — здесь собирались соратники по Конной армии, ветераны похо-дов времен гражданской войны.

Семен Михайлович, как в зеркале, отражал в себе все до-стоинства и недостатки каждого из них и оберегал каждого человека от любого рода посягательств. Я знаю Семена Михай-ловича с 1920 года как человека приятного, веселого, себе на уме, честолюбивого, тщеславного, человека позы и некоторой доли актерства. По мере роста политического и культурного, Буденного уже не могла удовлетворять жизнь с простой мало-грамотной казачкой.

Встреча Ольги Стефановны и Семена Михайловича прои-зошла на моих глазах в Кисловодске, где я отдыхала с Егоровым в санатории. Однажды я, Егоров и Буденный поехали кататься к Лермонтовской скале. По приезду туда через неко-торый период времени неожиданно приехали две пары. Это были Кулик и Георгадзе с двумя женщинами. Одна из них была Ольга Стефановна. Я вскоре уехала с Егоровым к себе в сана-торию, а Буденный остался с новой компанией.

Наутро разыгралась сцена ревности с Куликом, который привозил Ольгу Стефановну для себя. Так начался роман Бу-денного с Ольгой Стефановной.

Казачка застрелилась. Буквально на второй день после самоубийства казачки в дом Семена Михайловича пришла Ольга Стефановна. Что принесла она в жизнь Буденного? Красивая, молодая, успешная в области французского языка, солистка Большого театра. Все это радовало и восхищало Буденного.

И вдруг, по истечении 12-летней счастливой семейной жизни, арест Ольги Стефановны. Таким убитым, как у нас на даче, я Семена Михайловича никогда не видела. У него слезы катились градом по щекам. О том, что может плакать Буденный, я никогда не могла предполагать. Арест Ольги Стефановны, с одной стороны, бил по его самолюбию, а с другой — заставил его страдать из-за потери любимой женщины, из-за потери налаженной, привычной семейной жизни.

Новый год мы встречали вместе у нас на даче. После ужина Буденный подсел ко мне и спросил, знаю ли я об аресте Ольги Стефановны. Я ответила утвердительно и спросила, что же произошло, он мне ответил, что она вместе с Бубновой оказались шпионами. Первая — шпионка польского государства, вторая — шпионка трех государств.

Ольга Стефановна вела шпионскую жизнь в течение семи лет, жила с каким-то поляком из посольства, получила за свою работу 20 000. Я впервые здесь услышала от Буденного, что Ольга Стефановна и Бубнова рассказывали обо мне на допросе, как о главаре шпионской группы, что я давала им шпионские поручения. Буденный меня предупредил, чтобы я была готова ко всяким неожиданностям”.

Собственноручные показания Егоровой Г.А. от 26 апреля 1938 года:

“В своих показаниях, которые я давала следствию в январе этого года, я не указала ряда обстоятельств, имеющих существенное значение в выяснении лица моего мужа, Егорова А.И., также и моего подлинного лица... Двуличие, двойственная жизнь, которую вели Егоров и лица, наиболее близкие к нему. Внешне они показывали себя как командиры Красной Армии, защитники революции, на деле же они были махровые белогвардейцы. Они шли с Красной Армией до поры до времени, но душа их была по ту сторону окопов, в стане врагов.

(Заметим, агрессивен становится стиль собственноручных

показаний, торжествуют в нем клише, явно подсказанные следователями. Егорова, видимо, старается писать в тоне, нужном следствию. — Л.В.)

Собирались обычно все эти люди после работы, под утро, поужинать. За столом, когда присутствовал Сталин, провозглашались тосты за советскую власть, за победу над белыми, поздравляли друг друга с приобретенными трофеями (!!! — Л.В.) и т.д. В случае, если Сталин отсутствовал, все они, в том числе и Егоров, выражали свое враждебное отношение к советской власти и лично к Сталину и выражали уверенность свою в разгроме Красной Армии... Помню, в начале 1920 года Александр Ильич Егоров вернулся домой крайне взволнованный, и когда я спросила, что случилось, он рассказал мне, что поезд Сталина по ошибке был направлен не по тому пути и едва не произошла авария. Вслед за этим пришел Манцев и о чем-то долго взволнованно разговаривал с Егоровым. По отдельным фразам, я поняла, что речь идет о едва не свершившейся катастрофе с поездом Сталина. Манцев произнес фразу: “Черт возьми, как не везет” (подчеркнуто красным следовательским карандашом. — Л.В.). Я спрашивала Александра Ильича, почему он при всей его показной близости к Сталину и пребывании в коммунистической партии ведет себя, как антисоветский человек. Егоров сказал тогда, что он и его друзья остаются офицерами, значит, людьми, которые с советской властью примириться не могут (подчеркнуто следователем. — Л.В.). Мысль о побеге за границу не оставляла Александра Ильича, и в 1921 году по окончании гражданской войны он писал мне, что советует изучать иностранные языки не теряя времени, так как наступают другие времена, устанавливается связь с заграницей и не исключена наша поездка туда. Егоров поощрял мои постоянные выезды на банкеты, где присутствовали иностранные послы, он знал о моих дружеских отношениях с Лукасевичем, которому я рассказывала на его вопросы об антисоветских взглядах Егорова, что эти взгляды разделяются также Бубновым и Буденным и что, как я поняла из разговоров Буденного, Бубнова и Егорова — все они сторонники Рыкова.

Егоров через меня договаривался с Лукасевичем об устройстве ему в Варшаве встречи с польским начальником генерального штаба Стахевичем. В Варшаве Егоров встретился со Стахевичем где-то на частной квартире. Когда мы были в Риме, в 1934 году нас пригласил к себе на обед итальянский посол в СССР Аттолико. Разговор велся на английском языке, причем переводчиком являлась я. Егоров высказывал свое восхищение перед достижениями итальянского правительства, по сути это было прямой апологией фашистского режима..."

В "Деле" Егоровой, кроме собственноручных показаний, нет никаких доказательств вины.

Но вот результат следствия — "Протокол № 55 заседания Верховного суда Союза ССР от 27 августа 1938 года, г. Москва:

СЛУШАЛИ:

Дело о предании суду военной коллегии Верховного суда СССР Егоровой Галины Антоновны по статье 58, 58 II УК РСФСР, с применением Постановления ЦИК СССР от 1.12.1934 года. С обвинительным заключением согласиться и дело принять к производству. Дело заслушать в закрытом судебном заседании без участия обвинения и защиты и без вызова свидетелей (выделено мной. — Л.В.) в порядке Постановления ЦИК СССР от 1.12.1934 года. (Постановление слушать "дела" без участия обвинения и защиты было принято после смерти Кирова. И "работало" все сталинские годы. — Л.В.) Мерой пресечения подсудимой оставить до суда содержание под стражей".

Протокол заседания Верховного суда в том же составе от 28 августа 1938 года продолжает события:

"Секретарь доложил, что подсудимая находится в зале суда и что свидетели в суд не вызывались. Председательствующий удостоверяется в самоличности подсудимой и спрашивает ее, ознакомлена ли она с обвинительным по Делу заключением. Подсудимая отвечает утвердительно. Подсудимой разъяснены ее права на суде и объявлен состав суда. Подсудимая никаких ходатайств и отвода составу суда не заявила. По предложению председательствующего секретарем оглашено обвинительное заключение. Председательствующий разъясняет подсудимой сущность предъявленных ей обвинений и спрашивает ее, признает ли она себя виновной. Подсудимая отвечает, что ОНА СЕБЯ ВИНОВНОЙ НЕ ПРИЗНАЕТ И ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ОТ

СВОИХ ПОКАЗАНИЙ НА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СЛЕДСТВЕ ОТКАЗЫВАЕТСЯ.

На следствии ее никто к даче неправильных показаний не принуждал, ее так ошеломил внезапный арест мужа, а затем ее арест, а также предъявленные ей следователем показания ее мужа, что она совсем потеряла голову и стала на допросах наговаривать на себя.

Почему ее муж Егоров дал уличающие ее показания, объяснить не может. В своих показаниях Егоров ее оговаривает”.

Судебное следствие закончено. В последнем слове подсудимая заявляет, что она хорошо понимает свое положение и потому считает, что ей остается только просить о снисхождении, так как доказать свою невиновность ей нечем. Суд удаляется на совещание. В 21 час 55 минут оглашен приговор и заседание закрыто.

“ПРИГОВОР:

Именем Союза Советских Социалистических Республик... признавая Егорову Г.А. виновной в совершении преступлений... военная коллегия Верховного суда СССР приговорила Егорову Галину Антоновну к ВЫСШЕЙ МЕРЕ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ РАССТРЕЛУ с конфискацией всего лично ей принадлежащего имущества.

Приговор окончательный и в силу постановления ЦИК СССР от 1.12.1934 года приводится в исполнение “Н Е М Е Д-Л Е Н Н О”.

Куда спешили эти могущественные, с позволения сказать, мужчины? Какую опасность для них представляла эта “шпионка”, выдававшая тайны, известные всем?

Но как сильно видно время в ее показаниях!

* * *

А дальше — 1956 год.

“Справка.

Совершенно секретно.

Егорова Галина Антоновна по нашим учетам не проходит. О ее связи с Лукасевичем и Ковалевским сведениями не располагаем.

Начальник отдела оперативного учета первого главного управления Комитета Госбезопасности СССР”.

Что за первое управление? То, которое “заведует шпионскими связями”? Да.

Еще дальше.

“Справка от 13 марта 1956 года.

Дело № 962187 в отношении Егорова А.И., бывшего зам. наркома обороны СССР, Маршала Советского Союза, прекращено за отсутствием состава преступления”.

“Справка от 20 апреля 1956 года.

...военный прокурор отдела Главной военной прокуратуры, подполковник юстиции Соломко, рассмотрев архивно-следственное Дело Егоровой Г.А. и материал дополнительной проверки, установил: в качестве доказательств виновности Егоровой к Делу приобщена выписка из показаний ее мужа Егорова А.И. (этого единственного “доказательства”, этой выписки в Деле не оказалось. — Л.В.), между тем Дело по обвинению Егорова А.И. прекращено за отсутствием состава преступления. Других доказательств в Деле нет. КГБ при Совете Министров СССР данными о принадлежности Егоровой Г.А. к агентуре иностранных разведок не располагает...”

Оговор собственной жены, конечно, не преступление. Так, пустяк.

Маршалы и генералы, храбрецы и воины уходили в тюрьму режима, который они отстояли в боях, увлекая за собою своих женщин, а те вели себя с разной степенью мужественности.

Но можно ли винить женщину в том, что она ведет себя по-женски, то есть боится тюрьмы, допроса, пытки, расстрела и в страхе теряет голову?

Можно ли? А почему бы и нет, если мы равны. Но равны ли мы?

Ничего не утверждаю, ни в чем никого не убеждаю, просто пересказала вкратце первое “Дело”, прочитанное мною в кресле, из коего правил бал сам Сатана.

* * *

На следующее утро я, уже не так взволнованно, не так эмоционально, почти спокойно села в дьявольское кресло. Раскрыла долгожданное

“Дело” Михайловой-Буденной О.С.

1905 года рождения, уроженки Екатеринослава, дочери железнодорожного служащего, до ареста солистки Государственного Большого театра Союза ССР, жены Маршала Советского Союза Буденного С. М.”

Собственноручные показания О.С.Михайловой-Буденной. Даны 14 марта 1938 года:

“Родилась в 1905 году. Отец — крестьянин, сирота, попал в город, прослужил тридцать шесть лет на железной дороге. Начала учиться в Курске в 1915 году. От царского режима у меня остались очень тяжелые воспоминания, так как отец отдал меня в гимназию. Неправильная речь, дешевые платья, вся одежда, а также звание крестьянки вызывали у соучениц насмешки. Классные дамы детям богатых родителей и сановников не разрешали со мной играть на переменах и без стеснения говорили им при мне, что у них нет ничего общего со мной. “Твой папа мужик?” — спрашивали меня.

Дабы избежать насмешек, отец в 1915 году приписался к городским мещанам. Окончила я школу в 1920 году в Вязьме и сразу же вышла замуж (пятнадцати лет?! — Л.В.) за коменданта станции Вязьма Рунова. Годы военного коммунизма, разрухи переживала безропотно, но без особого энтузиазма: происходит то, что должно происходить, на фронтах немцы и генералы предают, значит, царь не годится, а главное, что теперь никто не будет называть мужичкой. Это меня вполне удовлетворяло, хотя и голодно. В 1924 году я развелась с Руновым, он был алкоголик, пропивал свою и мою зарплату, да еще ташил из моего скудного гардероба. В 1924 году я, получив двухнедельный отпуск, поехала посмотреть Ессентуки, так как не представляла себе, что такое курорт. Здесь меня Кулик, Тюткин и Георгадзе познакомили с С. М. Буденным. Добиваться этого знакомства я не добивалась, ибо Семена Михайловича знала только по маршалу Буденному... Овдовев, Семен Михайлович предложил мне оформить связь, на что я дала согласие и переехала к нему.

В этот период умер Фрунзе и получил назначение нарком Ворошилов. Вначале за столами тосты поднимались за вождя Первой Конной Буденного, потом тосты стали подниматься за

вождей Первой Конной Буденного и Ворошилова. Последние годы конармейцы уже смело поднимали бокал за создателя Первой Конной и за вождя Красной Армии Ворошилова. За здоровье Сталина — человека эпохи, вождя мирового пролетариата — тосты всегда поднимались с энтузиазмом. В период особенно острой и уже совершенно открытой борьбы с оппозицией Троцкого конармейцы, посоветовавшись с Семеном Михайловичем, дружно объединились и решили поддерживать Иосифа Виссарионовича.

Мои личные отношения с Семеном Михайловичем были следующие: в начале знакомства я его полюбила за ласку. Несмотря на то что он меня очень любил, он давал мне почувствовать, что я — человек маленький, что совершенно верно, не имею заслуг и пользуюсь материальными благами, предоставленными мне не по праву, что он пользуется машинами и домами отдыха ЦИКа, потому что заслужил, а при чем здесь я, что при нем моя роль ухаживать и заботиться о его здоровье и хорошем настроении, что, конечно, правильно, он говорил, что я должна зарабатывать себе славу сама...”

Папка с “Делом” Михайловой не рассказывает, что происходило с Ольгой Стефановной между этим собственноручным показанием и письмом к Ежову, наркому внутренних дел, в котором Ольга Стефановна с первых же строк начинает оговаривать мужа: “С Буденным я жила двенадцать лет и привыкла видеть в нем человека жесткого, ни перед чем не останавливающегося для осуществления своих целей. За двенадцать лет я пережила много побоев, самодурства, угроз и т. д. Семен Михайлович грозил мне убийством, выдачей ГПУ как шпионки. Следствие (проследим внимательно эту фразу. — Л.В.) от меня требовало, чтобы я рассказала все, что мне известно о преступлениях и преступных замыслах кого бы то ни было против советской власти (то есть безразлично кого, лишь бы рассказала, то есть донесла. — Л.В.). Я ничего не рассказывала, так как прежде всего я должна была рассказать о Буденном, мести которого продолжала бояться. За двенадцать лет совместной жизни с Буденным у меня накопилось много фактов, свидетельствующих о том, что он вел какую-то нехорошую работу против руководителей нашей страны, и в

первую очередь против Сталина и Ворошилова, и об этих фактах я и хочу сообщить в этом заявлении”.

И далее она, бедненькая, уже, по-видимому, разрушенная самим фактом тюрьмы и акциями следствия, начинает фантазировать, мешая реальности с вымыслом, пытаясь притянуть за уши полуфакты, полусобытия вроде таких: “В период острой борьбы с Троцким я спросила Семена Михайловича, за кем мы с ним пойдем, за Сталиным или за Троцким. Семен Михайлович сказал, что это острый вопрос, сломя голову бросаться в крайности здесь нельзя, надо немножко выждать, как будут разворачиваться события дальше, тогда и решать вопрос будем”.

Или такое: “У Семена Михайловича на Дону были темные связи. Мы с ним возвращались с курорта. Во Владикавказе с ним поздоровался какой-то железнодорожник, а затем в купе за бутылкой вина этот железнодорожник долго рассказывал, как он со своим отрядом окружил красных, как душил за горло партизанский отряд, что у него получилась мертвая хватка, его еле оттащили от трупа командира...”

Или такое: “Семен Михайлович всегда держался обособленно от Тухачевского, Якира, Уборевича и Корка, однако в конце 1936 или начале 1937 года Семен Михайлович был на даче у Тухачевского, сказал, что они заключили между собой деловой договор, будут во всем помогать друг другу и не будут ссориться, одним словом, дружба до гробовой доски. Семен Михайлович и Егоров зачастили на дачу к Тухачевскому, что резко бросалось в глаза”.

Мария Васильевна Буденная рассказала мне, как спустя много лет вернулась из тюрьмы и ссылки Ольга Стефановна и говорила ей, что следствие вынудило ее давать показания против Буденного, утверждая, что он уже в тюрьме, избличен, избличил ее. Ольга Буденная рассказывала, как ее били и пытали.

Тут же в “Деле” есть показания некой К., “подсадной утки”: “Вместе со мной в камере сидит артистка ГАБТ Ольга Михайлова, бывшая жена Буденного. По ее словам, Буденный не только знал, но и был участником антисталинского, антисоветского военного заговора. Михайлова говорит, что ей приходило в голову донести на него, но она не знала, к кому

обратиться, она думала, Ворошилов не поверит и расскажет об этом тому же Буденному. Когда начались аресты и разгром военных кадров заговорщиков, Буденный очень боялся за себя и ждал ареста. Во время пленума ЦК 1937 года он также ходил сам не свой... Она сказала, что ей теперь ясно, что во время поездки в 1923—1930 годах в Сибирь Буденный под видом чаепития со старыми партизанами организовывал повстанческие отряды... Михайлова склонна считать, что Буденный хотел ее убрать и скомпрометировать политически, зная о ее связи с артистом Алексеевым, боялся, что, уйдя к нему и выйдя из-под его влияния, зная о ряде его антисоветских настроений, она может ему повредить.

Насколько я поняла, Михайлова скрыла все изложенные факты от следствия, так как, по ее словам, она была на допросе в полуневменяемом состоянии, во-вторых, ее про Буденного почти не спрашивали, в-третьих, она боялась говорить про него, в-четвертых, она только сейчас стала многое понимать и оценивать и, наконец, в-пятых, она ждала справедливого упрека, почему не донесла своевременно”.

Далее К. сообщает, по-моему, главное: “Михайлова находится сейчас в состоянии тяжелой депрессии, и беседовать с ней очень трудно, не всегда вызовешь на откровенность. 14.7.1938 года”.

Но может ли это быть главным для следствия? Увы!

Далее идет серия допросов, касающихся посещения посольств. Ольга Стефановна сознается в том, что иногда бывала в посольствах без Буденного, например, когда итальянский посол Аттолико предлагал ей спеть. Рассказывает о вопросах, которые ей задавали в посольствах: “На одном из приемов в латвийском посольстве один из свиты Мундерса спросил меня, почему не расстреляли Радека, на что я ответила: значит, он еще нужен будет.

В японском посольстве спросили, где находится Буденный, и сообщили, якобы он, по слухам, на Дальнем Востоке, готовит войну против Японии. Интересовались, почему я служу, я всегда отвечала, у нас кто не работает, тот не ест, и я люблю искусство.

Иностранцы делали намеки, что им хотелось посмотреть нашу дачу, я отвечала, что там ремонт.

Спрашивали номер телефона, я отвечала, что телефон у нас не работает.

Спрашивали, понравился ли мне Карлсбад, отвечала, что там сильные воды, но очень дорогое лечение”.

Рассказала следствию Ольга Стефановна, видимо доведенная до умопомешательства, и о друге своем, певце Алексееве, которому якобы Семен Михайлович угрожал тюрьмой. Алексеев якобы испугался и “сделал предложение, что он сам пойдет в органы НКВД и заявит на меня что-нибудь легкое, за что мне дадут года три лагеря, он за это время накопит денег и после отбытия наказания мы хорошо проживем вместе”.

Александр Иванович Алексеев — в те годы ведущий тенор Большого театра, красивый, статный, что редкость для тенора, (по отзывам помнящих его современников, блестящий Ленский), человек интеллигентный, умный, благородный — блистательный. В фотографию его можно влюбиться, а в живого Александра Алексеева и подавно. А тут и он влюблен в Ольгу Буденную. Как устоишь?

Есть в “Деле” Михайловой показания Алексеева в качестве свидетеля, оставляющие самое благоприятное впечатление. Ни одним словом он не оговаривает Ольгу Стефановну:

“Да, у нас были разговоры по вопросам текущей политики, в них она вела себя всегда положительно, я никогда не замечал каких-либо нехороших настроений.

— Что вам рассказывала Михайлова о своих взаимоотношениях с Буденным?

— Говорила, что у нее установились с ним натянутые отношения на почве ревности.

— Вы хотели донести на Михайлову в НКВД что-нибудь легкое?

— Я категорически отрицаю подобный разговор с Михайловой.

Есть в “Деле” Михайловой “Постановление младшего следователя Курковой от 3 августа 1939 года о прекращении дела и освобождении Михайловой О.С. из-под стражи”. В этом постановлении указывается: “...никаких данных для предания суду обвиняемой Михайловой не имеется”.

В тот же день в рапорте на имя своего начальника младший

следователь Куркова пишет: "Михайлова находится в очень тяжелом, болезненном состоянии. Ее необходимо лечить".

Об этом было доложено Берии, но, несмотря на это и при отсутствии доказательств виновности Михайловой-Буденной в совершении ею какого-либо контрреволюционного преступления, "Дело" на Михайлову в ноябре 1939 года все же было передано Особому совещанию со следующим обвинительным заключением:

"Следствием установлено, что Михайлова, являясь с 1924 года женой Маршала Советского Союза Буденного, своими связями с иностранцами и поведением дискредитировала последнего, а именно:

1. Являясь женой Буденного, одновременно имела интимную связь с артистом ГАБТ Алексеевым, разрабатывавшимся по подозрению в шпионской деятельности (умер). (А.И.Алексеев умер в 1939 году от рака горла. Памятник на его могиле — один из лучших на Новодевичьем кладбище. — Л.В.)

2. Находясь на лечении в Чехословакии, вращалась среди врагов народа, разоблаченных шпионов и заговорщиков Егорова и его жены, Александрова и Туманова (так ведь и Сталин среди этих же заговорщиков вращался! — Л.В.).

Кроме того установлено, что Михайлова наряду с официальными посещениями иностранных посольств имела неофициальные по личному приглашению послов, снабжала итальянского посла билетами на свои концерты и неоднократно получала от него подарки.

Арестованная за шпионаж жена бывшего зам.наркома обороны Егорова и жена бывшего наркома просвещения Бубнова в своих показаниях характеризуют Михайлову как женщину их круга, которая делала то же самое, что и они. О принадлежности Михайловой к шпионской деятельности Егорова и Бубнова специально не допрашивались. Михайлова о наличии у нее подозрительных связей в неофициальном посещении посольств виновной себя признала. Шпионскую деятельность отрицает. На основании изложенного выше "Дело" по обвинению Михайловой направить Особому совещанию на рассмотрение Особого совещания. Младший следователь сержант госбезопасности Куркова. Ноября 1939 года".

Сдалась храбрая Куркова. Сдалась, да и как тут не сдаться,

если такой могучий маховик — механизм мужской силы — приведен в движение.

18 ноября 1939 года Особое совещание приговорило тяжело душевнобольную Ольгу Стефановну к восьми годам исправительно-трудового лагеря.

15 августа 1945 года срок наказания Михайловой истек, но она продолжала находиться под стражей. Как видно из агентурных материалов, подшитых к “Делу” Михайловой и поступивших из МВД Владимирской области: “Михайлова, находясь во владимирской тюрьме, заявляла сокамерницам о своем враждебном отношении к советской власти, распространяла клеветнические измышления против руководителя советского правительства и существующего в стране политического строя, а также высказывала, что после отбытия наказания будет продолжать активную борьбу против советской власти. Принимая во внимание, что Михайлова О.С. является социально опасным элементом, она освобождена из-под стражи быть не может... заключить Михайлову в тюрьму сроком на три года”.

В апреле 1948 года Ольгу Стефановну этапировали в ссылку.

Есть в “Деле” Михайловой страница в виде письма неизвестного: “Будучи сам арестован в 1938 году, я по окончании заключения в ИТЛ был направлен в 1953 году в Енисейский район Красноярского края. Здесь на строительстве Енисейского дома инвалидов в июле 1953 года я услышал об О. С. Михайловой. Знал ее как жену Буденного, сталкивался с ней на празднествах и банкетах. Она работает уборщицей в средней школе № 45. В попытках заговорить с ней я обнаружил ее болезненную отчужденность, запуганность, боязнь знакомства с кем бы то ни было и явную путаность в воспоминаниях, даже в логике речи. Она ограничивалась короткими замечаниями, что она не виновата, осуждена, как жена маршала, над головой ее ломали шпагу, сама она вела следствие в НКВД, Семен Михайлович сильно болен, никого не принимает, так как ему девяносто четыре года. Михайлова вряд ли одна могла выехать из Енисейска, если бы ее освободили”.

И после этого сообщения я, перевернув страницу, нахожу первый экземпляр уже известного мне письма Буденного от 1955 года, просящего пересмотреть дело бывшей жены. На

восемнадцать лет опоздало оно, однако дело свое сделало — именно в связи с ним закрутился обратно маховик судьбы Ольги Стефановны. Она вышла на свет Божий и приехала в Москву: одинокая, тяжело больная. Вернулась в ту жизнь, где ей уже не было места.

* * *

Такая судьба. А ведь был выход. Нормальный, человеческий. Не вмешайся чертова машина в жизнь семьи, разобранись бы Буденные: ушла Ольга к своему артисту, а Семен Михайлович, недолго горя, женился бы на Марии.

Безумие...

Вечерело. Я остановила магнитофон и посмотрела в окно. Пустой постамент из-под Дзержинского всей своей пустотой подтверждал: то время кончено, и в этом веке ничто не вернется.

И он же, пустой постамент, говорил мне о чудесах нового времени.

Кресло, где я расселась, исторически опустело сегодня, но через дорогу стояло новое здание серого цвета, в нем новый кабинет и новое кресло. Вроде бы другое, и мужчины в нем другие, но все же кресло...

Чертово место, как и Свято место, пусто не бывает.

ВСЕСОЮЗНАЯ СТАРОСТИХА

Анкета арестованной: Калинина Екатерина Ивановна, урожденная Лорберг, эстонка, 1882 года рождения.

Отец — поденщик, мать — прачка.

До ареста — член ВКП(б).

По профессии служащая, в прошлом ткачиха.

Образование низшее.

Последнее место работы до ареста — Наркомюст, член Верховного суда РСФСР.

Место жительства до ареста: Москва, Кремль.

В сей фантастического смысла анкете почему-то нет места семейному положению, но, зная его, дополняю анкету: до ареста — жена Председателя Президиума Верховного Совета Михаила Ивановича Калинина. Мать пятерых детей — двое приемных, троих родила.

Жена Всесоюзного старосты.

* * *

Никогда не угадаешь, где найдешь, где потеряешь. Деревенские девушки села Верхняя Троица Кашинского уезда Тверской губернии отказывали своему односельчанину Михаилу Калинину, когда он к ним сватался.

И верно — кто такой Михаил Калинин? Землю не пахал. Родительский дом не обихаживал. Вроде, говорили люди, был он в городе рабочим. Вроде, говорили, стал он то ли ссыльным, то ли беглым — революцией занялся.

В 1906 году привез Калинин в Верхнюю Троицу жену-эстонку. Высокая, статная, курносая, щеки пухлые, румянец. Крепкая. Не зря говорят, эстонцы народ аккуратный и работающий, — вымыла, вычистила избу эстонка — блеск. Все по-своему переделала. С зари в огороде — и тут у нее порядок.

Косить возьмется — не хуже мужика. Первенца Валерьяном назвали — господское имя.

Мало кто в Верхней Троице точно знал подробности про эстонку. Была она из большой многодетной семьи, работала на ткацких фабриках с одиннадцати лет, в 1905 году оказалась замешанной в революции, скрывалась от закона. Ее приютила в Петербурге большевичка Татьяна Словатинская, устроила на текстильную фабрику. Но и на фабрике эстонка занялась революцией — ее уволили. Стала она жить у Словатинской в прислугах.

Здесь встретил ее революционер из рабочих, Михаил Калинин. И оказалась она хорошей женой и матерью, а также — революционной подругой Калинину. Ткачиха и рабочий — друг другу подходили по всем статьям.

Пожил Михаил с эстонкой в селе — уехали в Петербург. Наездами бывали, а в 1910 году она вернулась с целым выводком детей — надолго. Вела эстонка хозяйство, растила детвору, ждала мужа. Говорили, он арестован за революционную деятельность: эстонка помалкивала, делала заготовки для нового дома, собиралась строиться — это было хорошим знаком: видно, прочно семья хотела осесть в Верхней Троице.

Настал 1914 год, пришла война, смешала планы.

Она зачастила в Петербург, оставляя детей на мать Михаила, Марию Васильевну. Уже не просто шептались в селе — сама она не скрывала, что сидит Михаил в тюрьме за революционные дела. Весь 1916 год просидел. В конце года она подала в Петербурге прошение, чтобы мужу разрешили ехать в ссылку в Восточную Сибирь не этапом, а самостоятельно — она собиралась, взяв детей, ехать за ним: везде живут люди, а семья должна быть вместе, дом без мужа — сирота.

Да-а-а, собирались в Сибирь, а очутились где!

С первых дней Октябрьской революции Михаил Калинин — рабочая косточка крестьянского происхождения, саморучка, самородок — оказался у самой вершины власти.

А в 1919 году, после смерти Якова Свердлова, лучшей кандидатуры на роль главы советского государства, чем Михаил Калинин, не нашлось: плоть от плоти народа, происхождения самого что ни на есть русского.

И руки царской кровью не замараны, хотя для больше-

виков это не достоинство, но если на миг поверить легенде, что “Свердлова народ порешил за убийство царя”, — факт “чистых рук” имел значение.

Оказалась семья вместо дома в Верхней Троице, вместо сибирской ссыльной избы — за кремлевской стеной, в одной коммунальной квартире с Троцкими. Детей и у Калининых и у Троцких было много. И пошла кремлевская жизнь по нарастающей, по разрастающейся, по привлекающей к себе внимание всей страны. Закрытая таинственная вершина, красная стена — что за ней?

Укусили себе локотки бывшие девушки, односельчанки Михаила, как узнали, кем он стал, — эстонка-то, видно, далеко глядела.

* * *

С самых первых дней своего появления в Кремле в качестве жены главы государства Екатерина Ивановна (Иоганновна по-эстонски) оказывается в центре всех событий. Знакомится с Крупской.

Все женские взоры внутри Кремля на какое-то время фокусируются на Калининой, но природный ум, такт и национальные черты отводят критические взгляды: Екатерина Ивановна, никак, ничем не стремясь выделиться, с первых же дней жизни в Кремле выделяется простотой обращения с людьми, горячей, страстной тягой быть полезной, аккуратностью и работоспособностью в делах, за которые берется. Учится на курсах медсестер, участвует в организации школ, детских садов, быстро ликвидирует собственную безграмотность и стремительно вырывается из круга домашних женских дел на простор внутри-кремлевского существования. Входит во вкус новой жизни: не тяжкий бабий труд и возня с детьми, а культурное времяпрепровождение в чистом обществе с рассуждениями о равенстве женщин с мужчинами, о свободе чувств.

Летом 1919 года Екатерина Ивановна вместе с Михаилом Ивановичем, только что возглавившим новую страну, начинает работу в агитационном поезде “Октябрьской революции”, отдавая детей то своей матери, Екатерине Адамовне, в Москве,

то на лето отправляя их к матери Калинина в Верхнюю Троицу.

Что такое поезд “Октябрьской революции”? Своего рода движущееся средство массовой информации тех лет. Своего рода радио, пресса, телевидение того времени. Народ должен быть ознакомлен с новой властью, с главой этой власти, с целями и задачами нового правительства. Народу нужно разъяснить принципы будущей жизни, объяснить ему, кто друзья, а с кем нужно вести непримиримую борьбу; народу, наконец, нужно показать путь к грамотности. Поезд двигался по многим районам, сбегавшимся к центру страны.

Агитаторы и пропагандисты раздавали литературу, читали лекции, показывали кино, делали инспекции на местах. Во время голода выколачивали хлеб из закромов крестьянских хозяйств. В составе поезда “Октябрьской революции”, сменяя друг друга, перебивали политики и журналисты, рабочие и интеллигенты: Луначарский, Ольминский, Владимирский, Петровский, Каменев, Артем Веселый... Бывали иностранцы — коммунисты, коминтерновцы.

Появление в поезде Михаила Ивановича Калинина всегда оказывалось необходимым. Это сегодня народ может каждый вечер видеть у себя дома, не отходя от ужина, главу государства, а в то время не было таких средств информации, и поезд работал на рекламу.

Мне кажется, слово “реклама” включает в себя и понятие агитации, и понятие пропаганды одновременно. И еще кое-что непроницаемое.

Коротко стриженная после тифа, ловкая и умелая, отлично понимающая свое место и не злоупотребляющая им, Екатерина Калинина оказывается хорошим администратором на путях поезда “Октябрьской революции”. Она распространяет литературу, помогает организовывать на местах детские сады, в госпиталях учит ухаживать за ранеными. Многие решения приходится принимать, как говорится, по ходу поезда, и она ощущает в себе недюжинные организаторские, хозяйственные способности. Все вокруг это замечают и радуются появлению такой хорошей хозяйки страны.

Летом 1921 года жена главы советского государства уезжает с детьми в Верхнюю Троицу, где ее тут же избирают членом

волостного исполкома. Она с удовольствием работает, имея уже опыт поезда “Октябрьской революции”, и так идет работа, что она проводит в деревне вместо лета — целый год. Голодное время — помогает матери Калинина поднять огород. В Кремле, как и во всей стране, голодно. На кремлевскую жизнь еще нельзя рассчитывать: семья большая. Но постепенно река входит в берега.

В 1922 году Екатерина Ивановна возвращается в Москву, заканчивает медицинские курсы, увлекается гомеопатией, становится заместителем директора ткацкой фабрики “Освобожденный труд”. Кремль укрепляет свои позиции, как внешние, так и внутренние. Спецпитание и спецбыт становятся крепкой нормой. Дети требуют внимания. Общественная деятельность, необходимость быть на виду, прыжок ткачихи в руководство фабрикой — требуют времени и сил. Екатерина Калинина сквозь “осуждающие взоры”, чаще невидимые, но несомненные, идет своим путем: единожды вкусившую общественных забот — на кухню не загонишь.

В семье появляется экономка Александра Васильевна Горчакова, красивая, умная, образованная. Дворянка. Она берет в руки и дом и детей — отныне Екатерина Ивановна вольна отдавать себя освобожденному от женских хлопот труду в прямом и переносном смысле. Чего еще надо ей, вчерашней неграмотной чухонке, ставшей лишь формально первой — Крупскую не переплюнешь, да и другие кремлевские дамы многим посильнее Екатерины Калининой, — но и не последней новой дамой Кремля?

Чего нужно?

* * *

В 1924 году она вместе с подругой Валентиной Остроумовой, отличной стенографисткой, работающей в аппарате Калинина, внезапно срывается с места и уезжает на Алтай, оставив своего главу государства и детей попечению Александры Горчаковой.

На Алтае, словно изголодавшаяся, она буквально набрасывается на... профсоюзную работу, организует кружки “Долой неграмотность!”

Сохранилось письмо Валентины Остроумовой в Москву с Алтая Калинину:

“Катя постановлением бюро обкома повышена “в должности”, председатель здешнего Всеработземлеса ее двухмесячную работу предместкома характеризует образцовой. Так что она в чинах скоро тебя догонит. Отношение к нам хорошее, про нее (в массе, по крайней мере) никто не знает ничего о связи с тобой, и нет того ненормального отношения, как на фабрике”.

Так! — поднимаются ушки на моей авторской макушке, — тут видны следы, быть может, острого конфликта! С чего это Екатерине Ивановне было срывать, бросать мужа, детей, хоть и в надежные руки, и мчаться невесть куда за тридевять земель? Может, правы сплетники, шептавшиеся, что все дело в красивой экономке Александре Васильевне Горчаковой, в увлечении ею самого Калинина — пришла в дом настоящая дама света, навела порядок и показала, как что должно быть, а то полуграмотная эстонка совсем зарвалась — в начальницы полезла, фабрикой руководит, скоро захочет страну к рукам прибрать, словно старуха из “Сказки о рыбаке и рыбке”. Показала дама, как надо, посмотрел Калинин — и не нужна ему стала “старая жена” (между ними семь лет разницы. Он с 1875 года, она — с 1882-го. — Л.В.), а такому вождю нельзя в открытую жить с экономкой, вот он и выдумал послать жену на общественную жизнь. От себя подальше.

* * *

Есть и другое предположение. К 1924 году, постепенно нарастая, назрел “женский вопрос”, прошла дискуссия, было подготовлено постановление. Догоняя собственную, уходящую без возврата молодость, некоторые кремлевские избранницы прельстились коллонтаевской идеей любви “стакана воды”. Эти некоторые, конечно же, не посмели вести себя по схеме Коллонтай, но они осмеливались спорить с мужьями, отстаивая свое право на равенство в поступках: тебе можно, а мне почему нельзя? К этому времени в некоторых кремлевских семьях уже обозначились трещины. У иных вождей появились новые семьи с нежными чувствами и детьми. По ту сторону Кремлевской стены — в городе.

Возможно...

Объясняет всю ситуацию письмо Екатерины Ивановны Михаилу Ивановичу с Алтая, где есть строки: “Я там была не человек. Я была фальшивая фигура в том обществе, к которому я принадлежала из-за твоего положения. Все это создавало вообще фальшивую обстановку. Вокруг меня было два-три человека, которые относились ко мне искренно, остальные все были — ложь и притворство, все это мне опротивело. Я не имела права так говорить и так мыслить, как мне хотелось, на что имели право остальные рядовые работники, — потому что я принадлежала к высшему обществу, — это мне говорили в глаза товарищи коммунисты — тоже из высшего и среднего общества, но где же тут идеал, тот, к чему мы стремились, когда мы партию делим на общества, чуть ли не на классы? Пусть они там сортируют кого хотят, но я не хочу, чтоб меня сортировали, из ржи пшеничного хлеба не испечь — не надо мне ни удобств, ни автомобилей и не надо мне ваших фальшивых почетов, все это мне заменяет то, что на меня смотрят как на рядовую работницу — бывшую ткачиху, каковой я являюсь действительно, и только”.

В 1924 году Екатерине Ивановне сорок два года. И то сказать, не девочка взбунтовалась. Зрелая, естественная, нормальная женщина, верившая в идеалы, начинает восставать против крушения своих идеалов. Вокруг нее — и внутри Кремлевской стены, и за ее пределами — стремительно складывается стереотип новой власти, в основе которой — обложенная лозунгами и призывами новой и новейшей лексики — лежит древнейшая как мир коллизия: кто палку взял, тот и капрал.

И вспомнились мне тут слова Маркса, которого спросили, что было бы, если бы Спартак победил Красса.

Маркс ответил: “Поменялись бы местами”.

Екатерине Калининой захотелось самоутвердиться как личности. Не имея возможности быть женщиной на общественном уровне, имея лишь возможность быть в создающемся мире товарищем по работе, она искала в этом побеге на Алтай саму себя.

Но невидимые цепи властных структур, древних и новых, волокли ее назад.

Летом к ней на Алтай приезжает экономка Александра

Горчакова с калининскими детьми, самым этим приездом сразу заткнув рот всем кремлевским сплетникам.

Вместе проводят лето, наслаждаясь щедрой природой Алтая, собирая грибы, ягоды, купаясь в звонкой алтайской воде.

И Калинина возвращается, не утвердившись, как ей того хотелось, возвращается в Москву на постылую службу полупервой дамы государства.

Едет в Париж на лечение. В Институт Пастера. (Жены Кремля в эти годы позволяли себе парижское, капиталистическое лечение. — Л.В.) Выздоровев, поступает на службу по организации крупных зерносовхозов.

Дети уже взрослые, у каждого своя жизнь. Разбуженный в ней смолоду революционно-общественный темперамент по-прежнему тяготится кремлевской жизнью и ее несоответствиями, все более нарастающими. Рядом мучительно живет Надежда Аллилуева, более молодая, чем Екатерина, но так похоже совестливая, искренняя, сложно-простая. У них много общего, но они не приближаются друг к другу — тут и разница в возрасте, и полная невозможность в похожей ситуации быть взаимополезными.

* * *

Побеги Екатерины Калининой из-за кремлевской стены на просторы жизни сначала в 1921 году в Верхнюю Троицу, потом в 1924 году на Алтай вроде бы имеют разные причины и поводы. Но оба они отчетливо несут на себе печать ее недовольства своим двусмысленным общественным положением.

Вполне возможно, что глубоко в природе этих побегов заложены и личные мотивы. Мне кажется (это только кажется мне, и я ничего не хочу утверждать. — Л.В.), что ее отношения с Михаилом Ивановичем очень давно, возможно, с самого начала их совместной жизни не несут характера сердечной привязанности. В силу обстоятельств оба издавна привыкли к жизни в разлуке. В силу обстоятельств лишь дети связывают их. Они устают друг от друга, обоим нравится разлучаться, но, оказавшись в разлуке, оба начинают стремиться друг к другу и относиться друг к другу много лучше на расстоянии, чем вблизи.

Это, кстати, вообще типично для многих семейных пар,

ником не изучено и существует вроде бы в воображении, а на самом деле — в грубой реальности жизни.

1931 год — снова она “бежит”. И опять на Алтай. Такое место — раз побывав, стремишься туда. Магнит. В 1931 году ей сорок девять лет. Столько же было Крупской, когда она в 1918 году вошла в Кремль новой царицей, только что пережив начало своего звездного революционного часа, своего пика судьбы.

У Калининой тоже “пик” начинается в сорок девять, на Алтае. Она работает на строительстве Чемальской ГЭС, участвует в строительстве дома отдыха ВЦИКа, выращивает поросят, овощи. Она снова чувствует свою необходимость и полностью разворачивается как хозяйка. Ее письма Михаилу Ивановичу полны молодости, жизни, любви ко всему, что ее там окружает. Создается впечатление, что на Алтае у нее есть все, чем может быть счастлива женщина.

* * *

Это годы коллективизации, и всесоюзная старостиха как может помогает миру, которого добивалась в молодости, помогает выжить, выдюжить, выстоять. Верит или старается верить всему, что провозглашает партия.

Открывается дом отдыха. Начинает приезжать начальство из Москвы. Сам Калинин навещает эти края в 1934 году.

Перед поездкой к ней он в Москве только отпраздновал, — что характерно, без нее, хотя при их возможностях приехать нетрудно, — пятидесятилетие своего пребывания на посту главы государства. Калинин пробыл у Екатерины Ивановны несколько дней, она все ему увлеченно показала, уехал, и вслед ему пошло письмо: она забыла поздравить его с юбилеем — так мало значил для нее этот юбилей.

Увлеченная своей новой жизнью и работой, Екатерина Ивановна не стыдится использовать имя Калинина и свои связи для развития Алтайского края: пишет письма, просит помочь делу.

Типично для кремлевской жены.

К концу 1934 года она ощущает — выдохлась, и в 1935 году возвращается в Москву.

Екатерина Ивановна провела на Алтае весьма серьезные для внутрикремлевской жизни годы. Смерть Надежды Аллилуевой. Эхо убийства Кирова. Нагнетание вражды Сталина со многими вождями. Все это случилось в Кремле не при ней. Однако она не может не знать множества подробностей, способных высветить многие тайны этого высокопоставленного “застенка”.

У нее есть на все свой взгляд.

Екатерина Калинина начинает работать в Верховном суде РСФСР. Идут аресты, расстрелы “врагов народа”, их жен.

Подходит 1938 год. Март. Троцкистско-бухаринский процесс. Правотроцкистский блок. Август. Берия становится заместителем Ежова. Сентябрь. Калинины отдыхают. Она — в Кисловодске, он — в Сочи, пишет брошюру “Славный путь комсомола”. Из Кисловодска, возвращаясь в Москву, она заворачивает к нему.

“Приехала мать и внесла динамику в нашу застойную жизнь”, — пишет Калинин дочерям, сообщая, что 4 или 5 октября она выезжает в Москву.

Приезжает. В один из дней после приезда встречается у себя на квартире с Валентиной Остроумовой. О чем могут говорить такие деловые подруги между собой? Разумеется, о политике. По душам.

17 октября берут Остроумову.

В книге жены Бухарина А.М.Лариной, “Незабываемое” есть строки: “Оказавшись в одной камере с Остроумовой, я была свидетелем драматического развития следствия по ее делу. Валентина Петровна из ненависти к Сталину готова была подтвердить все, что говорила с Калининой о нем: “тиран, садист, уничтоживший ленинскую гвардию и миллионы невинных людей”, но была озабочена положением жены Калинина... Только из этих соображений Остроумова некоторое время отрицала происшедший разговор. Впоследствии выяснилось, что и следователь, и Берия были осведомлены до малейших подробностей о содержании беседы, причем Берия заявил Остроумовой, что ему все известно из признаний жены Калинина. Остроумова, поверившая Берии, наконец подтвердила сос-

тоявшийся между ними разговор, после чего следователь устроил очную ставку Калининой и Остроумовой. На очной ставке Валентина Петровна убедилась, что была обманута Берией. Екатерина Ивановна все отрицала. Так, по крайней мере, выглядит эта история в изложении Остроумовой... Ее увели из камеры в неизвестность”.

При аресте Екатерины Ивановны за картиной нашли ее переписку с мужем.

Кто-то знал, где лежит переписка?

Кто-то слушал разговор с Остроумовой? Подслушивающий аппарат? Или свой стукач в квартире Калинина? Или обеих женщин вынуждали к признаниям путем чистейших провокаций?

Кто скажет?

* * *

Из протокола допроса Калининой Е.И. От 9.12.1938 года:

“ВОПРОС: Дадите показания о вашей правотроцкистской контрреволюционной деятельности?”

КАЛИНИНА: Контрреволюционной, правотроцкистской работы я не вела, мне может быть поставлено в вину лишь общение с людьми, обвиняемыми как правотроцкисты...

ВОПРОС: Дадите показания об антисоветской деятельности Остроумовой?

КАЛИНИНА: Остроумову я знаю как члена партии, никогда никаких антисоветских высказываний я от нее не слыхала.

ВОПРОС: Она утверждает, что была связана с вами по своей контрреволюционной работе, это правда?

КАЛИНИНА: Она лжет. Никогда никакой связи контрреволюционного характера у меня с ней не было, я ничего не знаю о ее контрреволюционной деятельности.

(Калининой объявляется, что ей будет дана очная ставка с Остроумовой. Вводится Остроумова.)

ВОПРОС К ОСТРОУМОВОЙ: Что вам известно о контрреволюционной деятельности Калининой Екатерины Ивановны?

ОСТРОУМОВА: Как я уже показывала на предыдущих допросах, я в течение ряда лет вела подрывную шпионскую

работу против Советского Союза. Помимо сведений чисто разведывательного характера, я собирала различные слухи и сплетни о руководителях партии и советского правительства. Одним из источников получения слухов и сплетен была для меня Калинина Екатерина Ивановна, а также ее окружение...

Квартира Калининой была своего рода салоном, где собирались враждебные линии партии люди, где открыто критиковалась политика партии, проводимая партией коллективизация. Раз или два на этих сборищах бывал Енукидзе... Калинина не может не помнить наших ярких нападков на партию, злобную ненависть к Сталину, которого мы рассматривали, как главного виновника взятого партией курса...

ВОПРОС К КАЛИНИНОЙ: Вы подтверждаете эти показания Остроумовой?

КАЛИНИНА: Это ложь — все ложь.

ОСТРОУМОВА: Калинина была очень дружна с троцкисткой Д., другом семьи Троцкого, находившейся с Троцким, до его высылки из СССР, в интимной связи.

ВОПРОС К КАЛИНИНОЙ: Вы подтверждаете свою связь с троцкистами?

КАЛИНИНА: Я подтверждаю лишь то, что у меня с Д. была личная дружба. То, что эта связь имела антисоветский характер, — отрицаю".

Протокол этого допроса напечатан на машинке, подписан Калининой и Остроумовой. Это главный допрос в крохотном — одна тонкая папка, — бездоказательном "Деле" Калининой, и к нему мне еще придется вернуться по крайней необходимости.

* * *

К жиденькому "Делу" всесоюзной старости подшит (глагол! — Л.В.) и протокол допроса Д., которая признает себя виновной в том, что "в 1927 году два раза отдала свою квартиру для проведения нелегальных контрреволюционных собраний, на которых выступал Троцкий (событие десятилетней давности, но по тому времени сулящее зловещую расправу. — Л.В.). Д. вынуждена признать, что она даже присутствовала на одном из двух собраний, не выступала, но была.

Может быть, чай разливала?

“Я стала часто посещать их квартиру в Кремле как друг дома. В 1922—1923 годах, когда жена Троцкого Наталья Ивановна Седова уезжала лечиться за границу, я находилась в интимных отношениях с Троцким”.

Боже, зачем Д. говорит такое? Ведь они ее об этом не спрашивают! Зачем? Может быть, в состоянии растерянности, заботности, разрушенности? Может быть...

И при чем тут Калинина?

Дело Екатерины Ивановны явно раздували (глагол! —Л.В.).

* * *

Можно только предполагать, что происходит с Калининой между двумя допросами. После очной ставки с Остроумовой она вдруг начинает оговаривать себя: “Признаюсь, что я являюсь участницей контрреволюционной организации правых. В 1928 году меня привело к ним враждебное отношение к политике партии в сельском хозяйстве. В 1928—30 годах я считала, что крестьянин крайний индивидуалист и с его психологией в колхозника превратиться нельзя...”

После очной ставки с Остроумовой я сделала заявление, что признаю себя виновной в том, что являюсь участницей контрреволюционной организации. Обвинение же в шпионаже я не признаю”.

Следователь прерывает ее: “Обвинение в шпионаже с вас не снимается. Вы являетесь шпионом”.

И Калинину начинают уличать в том, что, находясь в Париже на лечении, она общалась с белоэмигранткой Левинсон, которая расспрашивала Калинину о жизни в Советском Союзе.

Сам факт встречи с Левинсон — уже улика против Калининой.

И весь криминал.

А дальше — ПРИГОВОР:

“Калинину Екатерину Ивановну... к лишению свободы в исправительно-трудовых лагерях сроком на пятнадцать лет с поражением в политических правах на пять лет. Срок исчислять с 29 октября 1938 года”.

Идут годы. Идет война. В 1944 году Калинин — глава советского государства заболевает. Близится победа — ходят разговоры об амнистии заключенных. Михаил Иванович — горячий, среди руководства страны, сторонник амнистии. Это вызывает улыбку Сталина: понятно, по жене соскучился.

Среди моих подозрений-предположений есть одно: одинокий Сталин с особым пристрастием относится к свободолюбивым, слишком эмансипированным женам — Надежду напоминают. Ворошилову, Каганович, молодую Буденную, Хрущеву — преданных мужьям, семейных женщин — он не трогал, а вертихвосток, возомнивших о своем равенстве, не жалел. Калинина, хоть и немолода, но вполне вертихвостка: то и дело сбегала от мужа, якобы на работу. Знаем мы эту работу.

И сам Калинин под ногтем. Сразу два зайца убиты.

И третий заяц лежит: вот они сталинские прозорливость и великодушие — весь Кремль очистил от внутреннего врага, но невиновных не коснулся: Калинина в тюрьме, а Калинин, можно сказать, на троне.

Что касается “трона”, то есть у Лариной-Бухариной свидетельство: “В томском лагере, где содержались в заключении только жены так называемых изменников родины, в большинстве своем расстрелянных, была одна белая ворона — жена неарестованного московского профессора, по-видимому, попавшая к нам по ошибке. Профессор... добился приема у Калинина. Когда он изложил свою просьбу, Калинин ответил: “Голубчик, я нахожусь точно в таком же положении. Я, как ни старался (выделено мной. — Л.В.), не смог помочь своей собственной жене. Не имею возможности помочь и вашей”.

Вот вам и мощь сидящего на троне.

У Михаила Ивановича было одно преимущество перед всей страной: он первым узнавал о тех или иных своих указах и постановлениях. Первым после Сталина и еще кого-нибудь — не знаю, кого, может быть, каждый раз разных: Берии, Поскребышева?

Узнав об амнистии победного года, которую он должен будет санкционировать, Калинин собрал своих детей и продиктовал им текст письма Сталину с просьбой о помиловании их матери. В День Победы сестра Екатерины Ивановны поехала туда, где находилась Калинина, получила свидание с ней и дала на подпись прошение о помиловании.

Екатерина Ивановна отказалась подписывать прошение: “Я ни в чем не виновата — не о чем просить”.

Сестра накричала на нее и заставила подписать.

И вот результат: выписка из протокола заседания Президиума Верховного Совета СССР, возглавляемого мужем Екатерины Ивановны. Датировано 14 декабря 1946 года (значит, если верить семейным воспоминаниям, то понадобилось полтора года, чтобы прошение гордой эстонки попало из лагеря на стол к Сталину и от Сталина — на стол Президиума. Или постановление о помиловании датировано задним числом? — Л.В.).

“Калинину Е.И. помиловать, досрочно освободить от отбывания наказания и снять поражение в правах и судимость.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР

А.Горкин”.

На всех бумагах Президиума всегда было две подписи: Калинин и Горкин. Это, возможно, единственная бумага без подписи Калинина. Он в это время тяжело болен, да и подписывать помилование собственной жены более чем странно.

Чего же я хотела от Буденного, если сам глава государства не мог заступиться за свою женщину? За мать своих детей.

* * *

Возвращаюсь к “Делу” Калининой. В нем, как и в других делах, нет показаний мужа — типично для сталинского политического правосудия, которое как бы защищает этого великого мужа от жены-террористки и шпионки.

Есть в “Деле” написанное рукой Екатерины Ивановны письмо на имя главного прокурора СССР Руденко от 24 августа 1954 года (прошли годы, но она хочет заменить помилование полной реабилитацией):

“22 апреля 1939 года я была осуждена военной коллегией...

якобы я состояла в троцкистской организации, имела связь с троцкистами и неоднократно обсуждала вопросы террора...

Следствие мое первоначально велось такими методами, что я вынуждена была дать на себя ложные показания.

Мои первые следователи Иванов и Хорошкевич, которых я считаю прямыми агентами фашизма, полностью нарушали все советские законы в отношении ведения следствия.

Во-первых, мне не было в течение всего следствия предъявлено никакого конкретного обвинительного материала, лишь голословно бросали мне в лицо, что я провокатор, террорист, шпион, участник контрреволюционной организации, поэтому я должна обвинить себя сама, что они имеют материалы. На мое предложение, чтобы, если у следствия есть на меня клеветнический материал, проверить его вместе со мной, следователи заявили (это предложение в "Деле" не зафиксировано. — Л.В.), что им проверять нечего, все известно, весь материал проверен еще до моего ареста, а теперь требуется, чтобы я призналась сама.

Когда меня перевели в Лефортовскую тюрьму, что было пятьдесят дней спустя после моего ареста, там меня морозили раздетую, зимой, в подвалах, применили ко мне побои, я дошла до точки и дала ложные показания, якобы я вела антисоветские разговоры о колхозах.

Протокол формулировал следователь, я только подписывала...

В ночь с 9 на 10 декабря 1938 года у меня была очная ставка с гр.Остроумовой, но протокола очной ставки не составили, и мы обе его не подписывали, а через три месяца нас заставили подписать протокол, неизвестно где и когда составленный, якобы проведенной очной ставки, но протокол этот ничего общего не имеет с фактическими показаниями Остроумовой в моем присутствии, хотя и подписан ею. (Выделено мной. — Л.В.)

...Я просила следствие дать мне возможность иметь защитника, ввиду того что я малограмотна, нерусская и плохо умею формулировать свои мысли.

...Ввиду вышеизложенного прошу вас, гражданин верховный прокурор, опротестовать неправильный приговор, осво-

бодить меня от несуществующего, выдуманного в угоду врагам, преступления...”

Сравним язык протокола и очной ставки и язык собственноручного письма Калининой. Очень разные. Из этого следует (принимая во внимание признание Калининой в письме), что протокол есть не что иное, как “авторское сочинение” следователя, постфактум, для фабрикации “Дела”.

И возможно, в действительности показания Валентины Остроумовой не были таким нелепым оговором подруги и самооговором?

В заключении по “Делу” Калининой есть строки: “Из материалов “Дела” видно, что в момент ареста Калининой каких-либо данных об её антисоветской деятельности не было, за исключением неконкретных показаний Остроумовой. Калинина была арестована 25 октября 1938 года, но до 13 февраля 1939 года она содержалась под стражей без санкции прокурора, которая была оформлена лишь после дачи ею признательных показаний...”

Установлено, что арест Калининой является актом расправы со стороны ныне изобличенных врагов народа Берии и Кобулова, принимавших участие в расследовании по её “Делу”.

Заключение по “Делу” датировано тем же днем, что и вышеприведенное письмо Калининой, это наводит на мысль: новое хрущевское время спешило смыть старые грехи. И начало “уборку”, как водится, сверху.

* * *

Сидим с внучкой Екатерины Ивановны, Екатериной (в честь бабушки) Валерьяновной, в ее квартире, рассматриваем фотографии, книги, документы. Екатерина Валерьяновна внимательно собирает все, касающееся ее предков. Музей Калинина, в котором, по признанию Екатерины Валерьяновны, “мало что можно найти”, в 1991 году демонтируется, и внучка Калининых хочет сберечь, что можно.

Она любит своих предков и не отдаст их никому. Никакой досужей молве.

В собрании Екатерины Валерьяновны, находившей материалы в архивах по крупичам, много ценного, никому не известного. Взять хотя бы цитату из письма Калинина: “По замечанию многих друзей, я — один из тех, которых власть мало

меняет, а сам я в глубине души думаю: оно, конечно, хорошо: торжественные встречи, речи, излияния, автомобиль, общее внимание и даже большее внимание женщин (выделено мной. — Л.В.), но все-таки потерять все это, мне кажется, не столь безнадежно жалко”.

Не берусь подробно комментировать, но то, о чем пишет Калинин, по-моему, к власти не имеет никакого отношения. Это похоже на привилегии тенора.

— Что вы скажете об Остроумовой? — задаю вопрос Екатерине Валерьяновне. Она еще не знает, что я читала “Дело” ее бабушки. Она его не читала. Ей не пришла еще в голову мысль об архиве КГБ.

— Валя была блестящая стенографистка. Отличный работник. Женщина по-своему очень сильная. Замечательная. У нее не складывалась личная жизнь, и она сложила ее сама: родила двоих детей, воспитывала их.

— Какие у нее были отношения с Екатериной Ивановной?

— Самые близкие, дружеские, а что?

— Когда выпустили Остроумову?

— Ее расстреляли.

— Бабушка что-нибудь рассказывала вам об Остроумовой в последние годы жизни, они встречались в тюрьме?

— Бабушка вообще о тюрьме не говорила. Она почему-то не захотела поехать к ее детям. Многих детей заключенных посетила, а к ним не поехала.

И тут я рассказываю о своих посещениях КГБ, о “Деле” Калининой, рассказываю о допросе, об очной ставке, о письме.

— Бедная Валя, мне говорили, ее страшно пытали в тюрьме. На допросы носили, она не могла сама идти, — говорит Екатерина Валерьяновна.

Она чутка и благородна, понимает, что нельзя, невозможно осуждать кого бы то ни было, попавшего в ад пыток.

Тем труднее мне сегодня причинить боль Екатерине Валерьяновне. Но молчать не позволяет правда жизни, а также, надеюсь я, что вместе с нею мы сумеем разобраться даже в самом необъяснимом.

— Что случилось с братом Екатерины Ивановны, Владимиром? — спрашиваю, зная, что случилось.

— Расстреляли. За что — не могу сказать.

Из протокола допроса Калининой Е.И.:

“СЛЕДОВАТЕЛЬ: Вы обвиняетесь в том, что вели контрреволюционную пропаганду против СССР. Признаете ли себя виновной?

КАЛИНИНА: Нет, не признаю. Контрреволюционную работу я не вела. Более того, я всегда боролась с врагами партии и Советского Союза и разоблачала их.

ВОПРОС: Кого же вы разоблачили?

КАЛИНИНА: Я разоблачила своего родного брата, Лорберга Владимира Ивановича. В 1924 году я узнала, что он был провокатором. Я потребовала от него, чтоб он явился в ОГПУ и заявил о своей прошлой работе агентом царской охранки. Он явился, был арестован и расстрелян.

ВОПРОС: Как вы узнали, что ваш брат был провокатором?

КАЛИНИНА: О том, что мой брат Владимир был провокатором, мне рассказал мой брат, Константин Иванович Лорберг.

ВОПРОС: Что именно он вам рассказал?

КАЛИНИНА: Константин Иванович рассказал мне, что Лорберг Владимир в городе Калинин (!!! — Л.В.) был разоблачен Нарвской социал-демократической организацией как провокатор, выдавший царской охранке ряд товарищей.

ВОПРОС: Как же вы поступили, получив это сообщение?

КАЛИНИНА: Получив это сообщение, я вызвала к себе Владимира Лорберга и спросила, правда ли это? Он сознался мне, что действительно был связан с царской охранкой и выдавал ей участников эстонской социал-демократической организации. Тогда я потребовала от Лорберга, чтобы он немедленно явился в ОГПУ и признался.

ВОПРОС: Почему вы сами не сообщили об этом партии?

КАЛИНИНА: Я хотела, чтобы брат сам, лично заявил о своем проступке, но я сказала ему, что если он не заявит, то заявлю сама. Кроме того, я помогла брату связаться с ОГПУ, звонила Бокию и попросила его принять брата”.

Повторяю, Екатерина Валерьяновна не из тех, кто отдаст предка кому бы то ни было. И я такая — не отдам предка. Понимая ее, слушаю, как она пробует объяснить мне всю эту ситуацию иначе: мол, бабушка наговорила на себя, спасаясь.

Может быть, и так — спорить не берусь, не имея материалов, да и не моя это тема — Владимир Лорберг.

Пытаюсь представить себе Екатерину Калинину в 1924 году (критический год ее жизни. — Л.В.). Пламенная большевичка — она узнала о провокаторстве брата. Ее честная, твердолобая, прямолинейная натура возмущена до глубины души: брат должен искупить вину любой ценой. Даже ценой жизни.

Можем ли мы, сегодняшние, судить своим, сегодняшним, судом тех людей? То, что тогда было подвигом, сегодня может быть расценено как злодейство. То, что тогда было злодеянием, сегодня смотрится как подвиг или вполне оправдываемый поступок.

Хотя, кажется, провокаторство никогда подвигом не считалось.

Но родной брат...

Возможно, побег на Алтай как-то связан с делом Лорберга. Убежать, не мозолить глаза, не объяснять никому... Возможно, и год 1924-й критический из-за брата. Классовая борьба с врагом не со Сталина же началась.

Если Аллилуеву чуть не выгнали из партии за опоздание на работу, а Крупской Сталин грозил Контрольной комиссией за непослушание, то тень провинившегося брата была опасна для Калининой. В противном случае ей в 1924 году не поздоровилось бы?

Но родной брат...

Не судите, не судимы будете. Старо?

Нет, вечно. Так же, как "есть Божий Суд". И лишь ему подсудна Екатерина Ивановна. Никак не Сталину. Тем более — нам, внукам и правнукам.

— Скажите, — спрашиваю я Екатерину Валерьяновну, — вы ведь хорошо помните бабушку, какая она была?

— Она была центром семьи. Всегда. Главой. А мы вращались вокруг нее. Это, наверное, главное.

И тут я вспоминаю рассказ писателя Разгона о Екатерине Калининой, которая работала в лагерной бане и очищала от вшей и гнид одежду моющихся арестантов.

— Бабушка была большая аккуратистка. До педантичности. Наверно, это эстонская черта. Она могла и не вытряхивать вшей. Наверно, бабушка думала не о том, как противно ей бороться со вшами, а о том, как приятно будет людям после бани облачиться в незавшивленную одежду. Хоть ненадолго.

И я подумала: правильно, Екатерина Валерьяновна, никому не отдавайте свою замечательную бабушку, которая, будучи первой дамой государства, сумела никогда не быть ею, а осталась плотью от плоти народа — эстонского ли, русского ли, — простого и сложного, прямолинейного и противоречивого, как сама жизнь.

ЛИЧНОЕ НЕ ИМЕЕТ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗНАЧЕНИЯ

Причудливо изменяясь, властные и оппозиционные структуры долгих времен и разных народов ведут борьбу в двух основных направлениях: сохранить существующее положение вещей и изменить существующее положение вещей, двигаясь при этом навстречу друг другу. Этим целям посвящены все нарождающиеся и умирающие идеи. В месте их встречи возникают взрывы, пожары и революции. Так было всегда, так будет до тех пор, пока некая изначальная идея не повернет человечество на круги своя, на путь единственно перспективных гармонических отношений с Природой и Космосом.

Россия и ее наследник Советский Союз, на глазах снова превратившийся в Россию, в течение многих веков представляли собой поле битвы за земли, воды, сферы влияния — за души. Нигде в мире борьба не достигала таких размеров, прямо пропорциональных размерам территории, недоступной тотальному захвату извне. Кажется, вот-вот — и навеки распадется этот карточный домик на песке, а глядишь — сами собой начинают составляться его части.

И каждое время обладает своими неповторимыми особенностями, зарождаясь друг в друге и на своем психо-общественном уровне подавляя то, что еще недавно господствовало.

И каждое время ни формой, ни содержанием совершенно не похоже на предшествующее, принципиально неадекватно только что прошедшему — посему идет взаимоотторжение.

Неперспективно рассматривать “вчера” с позиций “сегодня”. То, что в недавнем прошлом кажется сегодняшним людям сущей дурью, чепухой и даже преступлением, тогда многим из них казалось верхом ума, прозорливости и подвига. Хотя, конечно же, зерна будущего уже зрели в недрах того времени и набухали негодованием.

Обернемся на век.

В его начале люди были народными массами. Во второй четверти века люди стали винтиками и шестеренками ста-

линской машины. В третьей части столетия распались на группы и сошлись в объединения. Сегодня торжествует сам человек, как таковой.

В начале века народные массы шли за несколькими голосами. Ко второй части века выделился один голос, за которым кинулись в состоянии массового психоза. В третьей части возникла разноголосица мнений. Сегодня каждый слышит лишь самого себя, не приемля других голосов.

В начале века массы наполнялись идейностью. В сталинские времена винтики закалялись партийностью, в хрущевско-брежневские возникло понимание гражданственности. Сегодня появилось понятие духовности, в сущности не слишком ясное самим ее носителям — что это такое?

К чему этот разговор? Да к тому, что, глядя в прошлые времена, невозможно понять их, применяя к ним жизненные принципы сегодняшнего дня. Давая те или иные оценки, безусловно, следует все время держать в уме особенности эпохи.

Сегодня очень трудно осудить человека (хотя и сегодня наши законы весьма условны) на основании одного лишь оговора или самоговора. Сегодня самоговор даже не слишком возможен.

В сталинское время формула страха была выведена почти в каждой душе, это хорошо иллюстрируют поведение и психика людей того времени, доживших до нынешнего дня. Иные смеются над этими людьми, иные жалеют их, однако не следует забывать — послезавтра другие времена посмеются над нами или пожалеют нас, ибо они будут видеть “вчера” и “сегодня” из своего времени.

Кремлевские люди сталинской эпохи были всемогущи перед низами и бессильны перед одним-единственным верхом, сконцентрированным в одной фигуре. Поэтому если тогда в народе страхи расплылись на мелкие части: перед соседом, способным настучать (глагол! — Л.В.), перед милицией, способной взять (глагол! — Л.В.), то в мире Кремля страхи сходились к фигуре Иосифа Виссарионовича. Хорошо все понимая, он и держал свое окружение в страхе.

Боялись вожди, боялись их жены, боялись дети, побаивались внуки.

Самооговоры Галины Егоровой, Ольги Буденной, Екатерины Калининой — результат страха. Не беспричинного. С точки зрения своего времени они напозволяли себе: были свободны в самовыражении и “высунулись” (глагол! — Л.В.) выше уровня дозволенного сталинскими неписаными нормами поведения. Гигантская машина управления пожирала, стригла, резала, рубила, крошила, спрессовывала, утюжила, разравнивала (глагол, глагол, глагол!.. — Л.В.) человеческий материал, а те, ее обслуживающие винтики, работали, не чуя чужой боли, опоминаясь, лишь когда попадали в жерло сами, — да поздно.

Когда-нибудь найдутся люди, захотят изучить характер двадцатого века, а в нем — столько разных характеров.

Самооговор Галины Егоровой, стоивший ей жизни, по нормам 1937—1938 годов достоин расстрела.

По нормам послесталинского времени ее высосанное из пальца “Дело” есть “нарушение принципов социалистической законности”.

По народившимся недавно и формирующимся нормам сегодняшнего дня — подумаешь, преступление: придерживаться белой идеи, буржуазных взглядов и ориентироваться на Запад! Самое то!

В начале века личное сливалось с общественным, взаимопонимая и взаимодополняя друг друга. Увидим это на примере рассматриваемого нами в книге мужского и женского миров. Женщина шла за идеей, сочетая ее с чувствами. Мужчина, в меньшей степени предаваясь чувствам, тоже искал счастливых сочетаний. Если пара была в единомыслии, она была счастлива. Если начиналось разномыслие — пара распадалась без особых последствий общественного характера.

Во второй четверти века личное подчинилось общественному. Единомыслие уступило место одномыслию. Пара должна была думать и поступать одинаково, иначе разрыв был чреват тяжелыми последствиями для того из двоих, независимо от пола, кто придерживался не торжествовавшей в обществе позиции.

В третьей части столетия единомыслие жило в соответствиях личного и общественного.

Сегодня разномыслие в общественном и личном плане все меньше и меньше мешает соединению пар: думай как хочешь, это не мешает любви.

Ленин и Крупская были единомышленниками. Не уверена, что они думали одинаково — никто одинаково не думает, — полагаю также, Надежда Константиновна часто бывала несогласна с ним, но замечательно умела уравнивать взаимонепонимание.

Сталин и Аллилуева — типичный пример разномыслия. Пример невозможности и нежелания понять друг друга, приблизиться ко взаимопониманию.

Думаю, среди большинства других кремлевских семей характерен некий смешанный тип разномыслия, стремящегося к одномыслию.

Думаю также, что примером устойчивого гармонического одномыслия может служить семья Кагановичей — Лазарь и Мария.

* * *

Летом 1991 года Лазарь Моисеевич был еще жив. Журналисты и историки безуспешно охотились за ним. Оттого что Каганович им в руки не шел, сплетни расцветали махровым цветом. Особое место занимали слухи о неких женщинах из семьи Кагановича, бывших в близости со Сталиным. Мелькали два имени: Майя, дочь Кагановича, и Роза, сестра его. Обоих называли “многолетними сталинскими возлюбленными”.

Но не они интересовали меня, а Мария Марковна, жена Лазаря Моисеевича. О ней никто не сплетничал, она никого не интересовала. Она умерла в шестидесятых, но ее муж и дочь были живы.

Едва всерьез подумала я о Марии Каганович, буквально через десять минут пришла ко мне жена моего покойного близкого друга, поэта Сергея Поликарпова, Елена Михайловна.

— О ком сейчас пишешь?

— Собираюсь о Марии Каганович.

— Наш Сережа был приятелем Симы, жены сына Кагановича. Он умер, но некую ниточку Сима тебе даст.

Звоню Серафиме Михайловне.

— Про жен вождей хотите рассказать? Чего там рассказывать: с утра до вечера — работа. Быт скромный. Одежда вся штопалась. За все платили. Своих вещей никаких. В квартире на всей мебели бирки — казенная. Когда Кагановича отовсюду погнали, нужно было все покупать с нуля — вилок своих не было.

Где жили? Сначала в Кремле — как войдешь, от Спасской башни направо. Потом Хрущев распорядился переехать всем в особняки на Ленинских горах. Внутри особняки были ничего, но холодные. Зимой стены промерзали. Подвал помню в особняке, как бомбоубежище.

Продукты тогда выписывались на 1000 рублей в месяц (цены до денежной реформы 1948 г. — Л.В.).

Муж мой, Юрий Каганович, окончил Академию Жуковского, работал на Чкаловской, потом, когда Лазаря Моисеевича поперли (глагол! — Л.В.), Юру перевели в город Энгельс, подальше от Москвы. Гризодубова помогла мне его вытащить оттуда.

Мы с Юрой до свадьбы пять лет встречались. Хороший был. Пил, вот плохо. Это система виновата: оперативники окружают его, потакают во всем, сами пьют. Если что он натворит, то они все покроют (глагол! — Л.В.). Он приемный у Кагановичей. Но относились как к родному. И Майя, их родная дочь, тоже любила его. Майя — архитектор. Двое детей.

Что? Невенчаная жена Сталина? А, это старая сплетня. Вранье. Спросите у нее сами. Вот телефон.

Жена Кагановича? Мария Марковна? Хорошая женщина. Семью любила. И он любил. Каждую субботу — воскресенье все должны были быть вместе. На госдаче. Иногда так не хотелось ехать, сидеть за столом, слушать одно и то же, но надо, семья.

А невенчаная жена у Сталина Валя была. Официантка Валечка. Все знали. Она его, говорят, любила.

Я всех их, кроме Сталина, близко за столом видела.

Какие были? Грубые. Они все были грубые. И Сталин такой же. Аллилуева нежная женщина, вот и не выдержала.

Сколько лет Лазарю Моисеевичу? Девяносто восемь. Может, он захочет сказать про жену. Они были дружная пара. Очень любили друг друга. Очень.

* * *

— О маме? Это хорошо. Она достойна того, чтобы о ней вспомнили. — Голос мягкий, приятный.

Майя Лазаревна Каганович. Невысокая, аккуратная, с красивыми чертами лица, интеллигентная, пугливая.

Будешь пугливая: с середины двадцатых до середины пятидесятых — кремлевская дочка, остальные тридцать лет — заклеянная жестокой опалой отца.

Молодые ее фотографии, которые она показала мне, смягчают сегодняшнюю остроту черт: молодость есть молодость — отсутствие морщин, нежная припухлость щек.

Есть в нежности юного Майино лица на фотографии налет абсолютного советского благополучия. Лицо умное. И тогда и сейчас. Ум ведь с возрастом не появляется и не проходит — данная величина.

— Мама была очень хорошая, — говорит Майя Лазаревна. — В ней не было занудства. Очень любила детей. Мне было шестнадцать лет, когда мать с отцом решили взять мальчика из детдома. Я помогала им искать, ездила по детским домам. Взяли чудесного черненького мальчика — всем нам в масть. Никогда не было в семье разговоров, что Юра не родной.

Мама умела дружить. Ее всегда окружали подруги и сослуживицы. Много лет в день ее смерти собирались сотрудницы и шли на ее могилу. Поминали, вспоминали. Меня это очень трогало, ведь мама последние годы жизни была женой не просто опального человека, а гонимого, ненавидимого и презираемого.

Сейчас эти женщины не приходят — все умерли.

Она была добрая, но строгая. Когда я стала превращаться в девушку, мама запрещала мне носить украшения. Однажды я еле упросила ее разрешить мне сфотографироваться с брошкой...

Кремлевский синдром показной скромности при больших возможностях коснулся и Марии Марковны. Разумеется, она, внутри Кремля, должна жить по законам этого “застенка”.

Синдром скромности восходит к ленинскому и крупсковскому образам. Эмигрантская пара на положении семьи среднего достатка, не привыкла к роскоши, не любила ее, считая любое проявление благополучия чуть ли не изменой делу рабочего класса. Ленин и Крупская, посадив Кремль на нескончаемую систему распределения, надеялись, что жизнь войдет в колею и у всего народа всего будет помногу и поровну, но пока этого нет, нужно жить скромно, хотя и при распределителе.

Сталин летел на вороных, то ослабляя вожжи, то натягивая их. Он позволял кремлевским семьям излишества, но когда в этих семьях заводились его враги, все их излишества становились уликами против них.

Лазарь и Мария Кагановичи, еврейская семья, посчитавшая за счастье оказаться на таком невероятном верху, старалась вести себя так, чтобы у великого вождя не было повода в чем-либо упрекнуть обоих. Хотя и у них не обошлось, расстреляли “врага народа”, — брата Лазаря, Михаила. Не обошлось.

— Мама умела дружить, — продолжает Майя Лазаревна, — была очень добрым человеком. Шефствовала над детским домом. В ВЦСПС, где она работала, в день зарплаты ее окружали работницы с детьми. Она раздавала им свою зарплату...

Могу представить людей, способных резко осудить такое поведение Марии Марковны: оскорбительно. Затем ли большевики возглашали себя как народную власть, чтобы одна из жен вождей, подобно буржуазной барыне, раздавала милостыню тому народу, которому большевики должны быть слуги?

Воистину: не делай добра, не будет зла. А поступок добрый. Реальная помощь. По нормам нашего сегодняшнего дня не слишком и осуждаемый.

Не каждая кремлевская жена так поступала. Я вообще не слышала о подобных поступках кремлевских жен.

Вспоминаю строки из книги певицы Галины Вишневской о дне рождения Николая Булганина, на который она была приглашена в круг кремлевских вождей и их жен уже после смерти Сталина, в середине пятидесятих:

“В этом гаме постоянно слышен резкий хриплый голос Кагановича, с сильным еврейским акцентом. Даже здесь, среди своих, вместо тостов — лозунги и цитаты из газет:

— Слава коммунистической партии! Да здравствует Советский Союз!

Женщины — низкорослые, полные, больше молчат. Внутренне скованные, напряженные... Видно, каждой хочется поскорее уйти и быть всевластной у себя дома. Конечно, ни о каких туалетах, об элегантности не может быть и речи — ни одной в длинном платье, ни одной с красивой прической. Они настолько обезличены, что случись мне на следующий день встретиться с кем-нибудь из них на улице, я бы не узнала. Их мужья не появляются с ними вместе в обществе, и ни на каких официальных приемах я этих дам никогда не видела.

Самая бойкая из жен — некрасивая, мужеподобная — кричит через весь стол:

— А помнишь, Коля, как ты появился у нас в Туркестане совсем молоденьким офицериком? Я Лазарю говорю: смотри, какой красивый...

— Ага, это жена Кагановича...”

— Что-то не похожи фотографии Марии Марковны на описание Вишневской, — говорю я дочери Кагановича, которая тоже читала эту книгу.

— Она ошиблась. Мама была женственная.

— Расскажите мне подробности ее биографии — когда родилась, где училась, где работала, — прошу я дочь Кагановича.

Майя Лазаревна вместо ответа протягивает мне листок, второй или третий экземпляр странички:

“Краткая биография МАРИИ МАРКОВНЫ КАГАНОВИЧ

Мария Марковна Каганович, член КПСС с 1909 года, очень рано начала свою трудовую жизнь в качестве работницы на

трикотажных предприятиях и с юных лет принимала участие в рабочем революционном движении в подпольных большевистских организациях Киева, была членом Днепропетровского и Юзовского комитетов партии и в других городах вела подпольную партийную и профсоюзную работу.

В период Октябрьской революции и в годы гражданской войны Мария Марковна выполняла ответственные партийные задания, работая заместителем председателя и председателем городских комитетов партии в Нижнем Новгороде и Воронеже, заместителем Народного Комиссара Социального Обеспечения в тогдашнем Туркестане, в городе Ташкенте и членом областного комитета большевистской партии. В последующие годы она работала на партийной работе в крупных промышленных центрах — в Гомеле, в Ленинграде, в Москве и в Харькове.

С 1931 года и до ухода на пенсию, т. е. в течение 27 лет, Мария Марковна работала на выборной руководящей работе в профсоюзах, была активным деятелем профсоюзного движения.

Мария Марковна Каганович избиралась: секретарем Центрального Комитета профсоюза работников госучреждений, председателем Центрального Комитета профсоюза рабочих трикотажной промышленности, после объединения — председателем ЦК профсоюза швейной и трикотажной промышленности, заместителем председателя ЦК профсоюза рабочих текстильной и легкой промышленности.

Избиралась членом Ревизионной Комиссии ВЦСПС.

Мария Марковна была активным организатором социалистического соревнования рабочих и внедрения новаторских методов работы.

Она имеет заслуги в деле развития трикотажной промышленности в СССР. Была одним из организаторов шефства и совместительства в госаппарате. Вела большую работу по шефству над детскими домами. В течение многих лет была членом редакционной коллегии журнала "Работница".

Мария Марковна непрерывно, в течение многих созывов, избиралась депутатом Московского городского Совета депутатов трудящихся, неоднократно избиралась членом районных Комитетов КПСС города Москвы.

За заслуги в революционной деятельности, за самоотвер-

женную активную работу и выполнение директив партии в профсоюзах по строительству социализма Мария Марковна была отмечена правительственными наградами: орденом Ленина, орденом "Знак Почета", медалями.

С 1958 года Мария Марковна Каганович являлась персональным пенсионером союзного значения".

* * *

Почему Майя Лазаревна заслоняется этой унылой биографией своей горячо любимой матери? Ведь такая биография может служить лишь иллюстрацией к бюрократическому портрету сталинского поколения. Именно по этой причине я и привожу здесь полностью биографию Марии Каганович.

Майя Каганович устала от сплетен и наговоров. Статьи и даже книги, которые сегодня выходят в свет — к примеру, книга американца Стивена Кагана "Кремлевский волк", недавно опубликованная у нас, — по утверждению Майи Лазаревны, не имеют ничего общего с Лазарем Кагановичем: все в них — ложь.

Никогда Майя не была "невенчаной женой Сталина". Вообще к нему не приближалась.

Не было в семье Лазаря Кагановича никакой сестры-врача Розы, которая якобы много лет жила со Сталиным.

Просто не было Розы. Не было!

Предлагаю Майе Лазаревне написать опровержение, выступить в печати, рассказать всю правду, какую она знает о своих родителях, и тем снять напряжение вокруг имени Кагановича.

"Хвалу и клевету приемли равнодушно и не оспаривай глупца!" — говорит она мне.

Пытаюсь расспросить ее, как восприняла Мария Марковна политическую трагедию мужа, — мягко уходит от ответа. И правильно. Глупый вопрос — как она могла воспринять? Вчера на вершине всех возможностей — сегодня никто.

И все же я не отстаю от Майи Каганович: как это было?

— Сначала отняли все, дали 115 рублей 20 копеек пенсии. Потом добавили 20 рублей. Кремлевскую поликлинику отняли. Отец заболел и попал в обыкновенную больницу. Там был

такой ужас! И я решилась (это было уже после смерти мамы), написала сразу троим: Хрущеву, Брежневу, Косыгину. Отца опять прикрепили (глагол! — Л.В.) к поликлинике и больнице.

* * *

Вот тут-то и пришла мне в голову простейшая в своей гениальности мысль: а если бы вообще не было спецраспределения и жены Кремля, как простые смертные, стояли в очередях за мясом, сидели в нескончаемых очередях к врачу в районных поликлиниках, ездили на службу, пусть даже из Кремля, в район, скажем, Медведкова или Варшавского шоссе на метро с двумя пересадками, потом на автобусе, которого приходится ждать и в нем тесниться, как “сельдам в бочке”...

Если бы! Может, тогда бы и не было изначально в нашей прекрасной стране очередей к врачу и за продуктами и дешевый транспорт работал бы исправно.

Тогда наверняка жены Кремля, не заслоненные охраной КГБ, спецпайками, спецлечением, спецотдыхом, спецтранспортом, “пропилили” (глагол! — Л.В.) бы головы своим мужьям и не дали совершить многих политических и экономических “геройств”. Впрочем, могло ли такое быть? Нет, конечно.

Как бы то ни было, Мария Марковна хлебнула горького питья опалы на старости лет. Это тем горше, что мало остается радостей и виден конец пути.

* * *

Мы расстались с Майей Лазаревной, напоследок посмеялись над сплетней о том, что она в пионерском возрасте была возлюбленной Сталина.

Дочь Кагановича даже сказала, что посоветуется с отцом и, возможно, он захочет сказать мне несколько слов о своей покойной любимой жене.

Я позвонила через несколько дней.

— У меня хорошие новости для вас, — сказала Майя Лазаревна, — папа заинтересовался. Он сказал, что мама безусловно заслуживает, чтобы ее вспомнили. И даже, может быть, он встретится с вами. Но он не будет говорить ничего личного. Он

сказал: “Личное не имеет общественного значения” (выделено мной. — Л.В.).

* * *

Мне кажется, “собака зарыта” именно здесь. И уходящий с этого света Каганович, сам того не зная, оставил мне один из ключиков к разгадке тайны нашего времени: личное не имеет общественного значения.

Не потому ли не выстроили большевики своего справедливого мира, что в общественных битвах потеряли самое главное, ради чего стоит жить: личное?

Только оно ведь и имеет значение. Загнав его в угол, на уровень быта, они утратили личностный инстинкт на уровне общества и, мягко говоря, озверели.

Боюсь, и сегодняшние — переодевшиеся в беспартийные, дутые импортные куртки, — партаппаратчики всех видов и мастей не слышат в самих себе этого зова.

Личное имеет главное значение. Все общественное существует для личного, и не наоборот.

* * *

Я потеряла интерес к встрече с Кагановичем. Вышеприведенная биография Марии Марковны была для меня исчерпывающим материалом ее общественного значения.

Большого не полагалось знать. А если так считал он, то, безусловно, будь жива, так же считала бы и она. Их дочь на страже родительских интересов.

Могу ее понять.

ЖЕМЧУЖИНА В ЖЕЛЕЗНОЙ ОПРАВЕ

Полина, Перл. На многих языках, включая идиш, “перл” означает “жемчужина”. Красиво, правда? Излишне красиво для снивелированного, полуголодного, полураздетого советского общества. Но не для кремлевской жены.

Полина Жемчужина приехала в Москву из Запорожья девятнадцатилетней девушкой в 1921 году участвовать в международном женском совещании. Она уже три года была членом партии большевиков, и ее красная косынка естественно слилась на съезде с косынками многих делегатов. Однако Вячеслав Молотов, представитель Кремля, ответственный за проведение этого съезда, отметил и запомнил косынку Полины.

Жемчужина в Запорожье не вернулась, переехала прямо в Кремль, где стала одной из самых заметных его хозяек. Умная и прозорливая, видящая жизнь Кремля свежим глазом, Полина Семеновна быстро разобралась что к чему и кто к кому.

Оказавшись примерно в одних летах с женой Сталина, Надеждой Аллилуевой, Жемчужина естественно и просто стала главной ее кремлевской подругой. Молотовы некоторое время жили в одной квартире со Сталиными, и Полина знала о Надежде Сергеевне много больше, чем кто бы то ни было в Кремле.

Это она, Жемчужина, в последний вечер жизни Надежды Аллилуевой, после публичной ссоры Надежды со Сталиным, вышла со взволнованной Надеждой на улицу, и они долго гуляли вместе по Кремлю. Аллилуева жаловалась. Жемчужина слушала. Успокаивала. Пыталась понять и ее, и Сталина.

После того как Надежду Аллилуеву прислуга нашла мертвой, первыми были вызваны Енукидзе и Жемчужина.

Многие историки, в том числе и Рой Медведев, считают, что Сталин в 1937 году не тронул Жемчужину, но затаил злобу против нее и, умея ждать, дождался своего часа в сорок девятом.

Решительно не согласна. Думаю, дело тут сложнее, глуб-

же, деликатнее. Захоти Сталин избавиться от Жемчужиной в тридцатых, он сделал бы это без труда: НКВД работало более чем отлично, запуская взгляды во все тайники жизни и быта человека, в особенности кремлевского. Жемчужина оставляла следы весьма заметные: старший брат ее являлся (глагол! — Л.В.) американским капиталистом, уехав из России в начале века. Она иногда переписывалась с ним. Чем не криминал?

Сталин сам, лично подписывал все назначения Полины Семеновны: она работала зам. наркома пищевой промышленности, наркомом рыбной промышленности, начальником управления Главпарфюмера — известной в стране фирмы “ТЭЖЭ”. У нее частенько случались неприятности по работе — с кем не бывает. В 1939 году, по свидетельству Молотова, в “ТЭЖЭ” “пробрались шпионы”.

Немецкие!

Видимо, наши духи были так хороши, что немцы предпочли их знаменитым французским фирмам и пожелали выкрасть их тайну. Тогда Жемчужиной объявили выговор, даже на какое-то время исключили ее из партии, но восстановили, и она продолжала возглавлять свой галантерейно-трикотажный главк.

Текстиль, духи, рыба...

Рыба и парфюмерия связаны между собой лишь отчасти, в том случае, когда из внутренностей кита берут амбру для нужд парфюмерии. Но для большевистского правления изначально никогда не важна степень подготовленности того или иного руководителя к той или иной профессии — важно быть преданным членом партии и неуклонно выполнять все партийные предписания.

* * *

“Я уехал, — вспоминает о временах своей давней ссылки Молотов, — а Сталин приехал на мое место в ссылку, и мы разминулись. Но начали переписываться. А когда познакомились, жили в одной квартире. Потом он отбил у меня девушку. Вот Маруся к нему убежала...”

Вообще Сталин красивый был. Женщины должны были

увлекаться им. Он имел успех. Мы жили со Сталиным в одной квартире в Кремле, в здании, где сейчас Дворец съездов построен новый. Редко, но бывало, по вечерам друг к другу заходили. Были годы, когда довольно часто это было”.

Попробуем прочесть эти воспоминания сквозь строки. Тесная связь была между двумя большевиками — Сталиным и Молотовым. Чего-чего только не случалось между ними.

Отбил девушку... Такое помнится всю жизнь и вспоминается. Признавая за Сталиным первенство во всем и в личных отношениях, Молотов становится его тенью. Жена Молотова идет в лучшие подруги к жене Сталина.

Все современники рассказывали: Полина Жемчужина очень осуждала Надю за ее страшный поступок. Не жалела, не печалилась об утере подруги, а резко возмущалась: “Она оставила ЕГО в такое трудное время. Бросила детей, прекрасно зная, что у НЕГО нет возможностей заниматься ими. Сделала сиротами и ЕГО и детей. Это просто эгоизм!”

Возникает предположение. Всего лишь предположение. Без каких-либо фактов, хотя и факты налицо. Впрочем, кому не известно, что любой факт можно интерпретировать всячески.

Так вот, возникает предположение: Полина Семеновна — не лучшая подруга Аллилуевой, а союзница Сталина. Она, возможно, любит не Надежду, а Иосифа. Разве такое трудно предположить? Сам Молотов подтверждает, что женщины влюблялись в Сталина. В семье Молотовых наверняка известно: Сталин когда-то отбил у Вячеслава Михайловича некую Марусю. Полину не нужно отбивать. Зачем уводить, можно иначе. Они — свободные марксисты и ближайшие соседи. В двадцатых идея любви, как стакана воды, — выпил и забыл — если не торжествовала на общественном уровне, то вполне нравилась некоторым людям кремлевского круга. Особенно мужчинам.

Но именно кремлевские жены были тихими, исподвольными инициаторами похорон идеи свободной любви. Почему? Кремлевский вождь на дороге не валяется. Выпустить его из рук на простор жизни в лапы любой, готовой занять ее место внутри исторического Кремля, — просто глупо. Идея свободной любви с первых же дней жизни кремлевских семей в Мос-

кве споткнулась о семейные узы, захлебнулась в чашке какао или кофе, подавилась икрой и семгой.

Однако, кто помешал бы Сталину когда-то выпить свой любовный стакан воды с лучшей подругой его жены и женой его лучшего друга и соратника? Кто помешал бы Полине...

Вот тут и появляется мысль: Полина Жемчужина-Молотова всю свою жизнь любила кроме своего мужа — семейная любовь, дело привычное — еще и Сталина не только как член партии, но и как женщина. Не примитивно, а весьма сложно, даже противоречиво, быть может, любила, ибо сама была — сложная натура.

* * *

Представьте себе квартиру Сталина и Аллилуевой, когда они уже разъехались с Молотовыми, но жили рядом, дверь в дверь. Напряженную жизнь, которую, как правило, отлично умеет разрядить остроумная и находчивая Полина Жемчужина. Уют и комфорт Полина тоже умеет создавать. Это нравится Сталину. У соседа всегда все кажется лучше. Полина выгодно отличается от своенравной и неуправляемой Надежды.

Представьте себе совместные домашние разговоры, по душам, интересные, вчетвером. В застолье. Рассудительная Полина Жемчужина всегда настойчиво, безапелляционно держит сторону Сталина. Какой контраст с Надеждой! Хотя Полина как женщина вряд ли сильно нравится ему: слишком активна, чересчур партийна. Политизируя женщину, мужчина утрачивает к ней интерес как к женщине. Надо бы помнить об этом.

Представьте себе первый год и последующие годы жизни Сталина без Аллилуевой. Все тридцатые. Соседка Полина у Сталина на подхвате. Имея, в свою очередь, на подхвате целый штат obsługi и охраны, Полина берет на себя многие домашние проблемы Сталина. Все складывается удачно: их дочери почти ровесницы. Обе Светланы растут вместе. Сталину это удобно: Полина, как никто, может дать самый умный житейский совет, как никто, понимает в проблемах воспитания лучших кремлевских девочек. Он доверяет ей свою Светлану. Деталь: дочь

Молотовых младше сталинской — названа Светланой, как и та. Полине Семеновне явно хотелось, чтобы ее девочка звалась так же, как и ЕГО девочка.

У Полины всегда все самое лучшее. У Молотовых самая лучшая квартира в Кремле. Позднее Молотову, под внимательным присмотром Полины Семеновны, строят самую лучшую дачу: исключительность объясняется необходимостью проводить на этой даче правительственные и международные приемы. Вспомним слова ворошиловской снохи: “Полина Семеновна Жемчужина-Молотова считала, что ей все было можно”.

Полина ставит образование двух девочек Светлан на серьезные рельсы: иностранные языки — английский, немецкий, французский, музыка: “Девушку в будущем очень украсит, когда она в разгар вечеринки вдруг сядет за пианино и заиграет полонез Огинского”.

Гимнастика.

Если Светлана Сталина не хочет целиком исполнять программу Полины Семеновны, Жемчужина не настаивает, но свою дочку она выучит всему.

Обе Светланы вместе посещают саму Дорис Харт-Максину и берут у нее уроки английского. Последняя заслуживает отдельного разговора.

Молодая коренная англичанка из семьи со средним достатком, увлекшаяся коммунистическими идеями, была в начале тридцатых откомандирована английской коммунистической партией в советское посольство, под эгиду посла И.Майского. В помощь ему. Она работала в канцелярии посольства, была незаменима на приемах как переводчица и информатор о разговорах между собой всех говорящих по-английски гостей. В то время это не считалось зазорным. Честная английская девушка Дорис не была доносчицей, она была просто преданным членом партии.

Там, в посольстве, встретила Дорис с простым русским парнем, Алексеем Максимым, шофером посла. Он не блистал красотой, но, надевая целлулоидные очки, кожаную куртку, шоферские перчатки с крагами — этакий герой своего времени, как позднее космонавт — водил красивые машины “роллс-ройс” и “паккард”; демократически настроенный по-

сол Майский иногда разрешал ему прокатить Дорис на этих машинах. Влюбившийся по уши в обаятельную Дорис, Алексей купил мотоцикл и катал ее, когда под рукой не было шикарных машин. Все посольство с интересом и жарким сочувствием наблюдало развивающиеся отношения, подогревало их.

Кончилось тем, что Дорис уехала с Алексеем в Москву. Она стала диктором, лучшим диктором Всесоюзного радио на английском языке. Долгие годы наша страна вещала на западные страны голосом Дорис.

Уроки английского у Дорис Максиной стали высшей точкой кремлевского аристократизма: она никому не давала уроков, но для двух Светлан сделала исключение. Дорис рассказывала мне:

“Девочки приходили вдвоем и занимались вместе. Они обе были очень милые. Скромные. Пальтишки на них выглядели бедно. Однажды Светлана Молотова, заметив, что я смотрю на потертый мех шубы, сказала: “Мама не разрешает вырядаться, когда я иду в город. Мы должны быть скромными, на нас все смотрят, вся страна”.

Мой муж, Олег Васильев, учившийся в институте Международных отношений со Светланой Молотовой, однако, свидетельствует иное:

“Она каждый день меняла туалеты. Ее в институт привозили на машине. Когда я, поднимаясь по институтской лестнице, ощущал от начала лестницы до конца сильный запах французских духов, можно было не сомневаться: здесь только что прошла Светлана Молотова”.

Разноголосица объяснима временем: Дорис учила девочек Светлан в конце тридцатых, мой муж поднимался по институтской лестнице в конце сороковых.

* * *

Итак, есть предположение, что политическая верность Сталину, провозглашаемая Полиной Жемчужиной, бывшая в значительной степени верностью любящей женщины, оказалась той самой веревкой, которая связала ему руки в тридцать седьмом и далее — в тридцать девятом. Он не хотел лишаться Полины Семеновны.

* * *

После смерти Аллилуевой место “самой-самой” дамы Кремля пустовало. Осторожно и негромко к нему вскоре примерилась Полина Семеновна и как-то своеобразно села. Разумеется, негласно. Вроде бы неохотно. Просто потому, что больше нет никого. На время. На десять дней. На десять месяцев. На десять лет. И далее — как получится. Она освобождала его мгновенно, чувствуя то или иное настроение Сталина. И опять, как бы с краешку, садилась. Думаю, это стало раздражать Берию с первых же дней появления в Москве на его главной роли. Думаю он сразу собрал на нее материал — неприятности Жемчужиной в конце тридцатых — тому подтверждение. Но Сталин не согласился. А может, и Молотов не позволил. Однако пятно тогда появилось на ее платье и лишь поблекло.

Неприятности тридцать девятого года, похоже, ничему не научили Полину Семеновну — она не относилась к категории пугливых или осторожных женщин.

Какой это был характер!

Соня — дочь шофера Молотова — вспоминает: “22 июня 1941 года нас застало в Крыму. Рано утром Вячеслав Михайлович позвонил из Москвы Полине Семеновне, чтоб мы срочно выезжали в Москву. Полина Семеновна спокойно собралась, собрала нас. Она вызвала парикмахершу, в 12 часов ей делали маникюр, и она слушала выступление Вячеслава Михайловича по радио. Эвакуировались в Вятку, к родственникам Вячеслава Михайловича. Потом Полине Семеновне посоветовали поехать в Куйбышев. В 1942 году вернулись в Москву”.

* * *

Рассказывает Екатерина Сергеевна Катукова:

— В 1945 году я жила в Саксонии, где служил мой муж, маршал Катуков. По пути в Карловы Вары к нам заезжали многие члены советского правительства. Принимала я у себя и Полину Семеновну с дочерью. Обе были роскошно одеты: все в мехах, на Светлане норковый палантин. Жемчужина была очень умная, очень властная женщина. В сопровождении у них было пятьдесят человек — я это помню, потому что встала

проблема всех разместить. Прилетели они самолетом, со своими врачами, но жили отдельно от obsługi — у нас на вилле.

После нас Жемчужина с дочерью поехала в Карловы Вары. Я тоже поехала туда. И хотя всего несколько дней назад Полина Семеновна жила на вилле у нас в гостях, в Карловых Варах она меня уже не замечала и не здоровалась.

* * *

Во время Отечественной войны возник Еврейский антифашистский комитет. В 1948 году на карте мира появился Израиль. Его создали по решению ООН, при активном содействии СССР. Мы первыми объявили об установлении дипломатических отношений с Израилем. Послом Израиля в Москве стала Голда Меир.

Еврейские жены вождей, естественно, ощутили себя дочерьми своего народа. Но если Екатерина Ворошилова, Мария Каганович и другие спрятали это ощущение подальше, то Полина Жемчужина вся раскрылась навстречу новому чувству.

Жемчужина устроила прием в честь Голды Меир и стала бывать у Голды. Говорили, что Полина и Голда Меир вообще школьные подруги. Говорили, что Полина Жемчужина вместе с Голдой Меир выработала план и подготовила бумагу в ЦК с просьбой объявить Крым Еврейской автономной областью.

Началась кампания против безродных космополитов. Масовые репрессии. А у Жемчужиной идет такая игра!

Верная “сталинка”, Полина Семеновна, кажется, немножко забылась?

Все бумаги на Жемчужину, как старые, так и новые, были у Берии в порядке. Оставалось пустить их в ход. Берия ждал своего часа. В атмосфере всеобщей охоты на еврейских ведьм, ощущая к 1949 году уже определенную отдаленность Сталина от Жемчужиной и ее домашнего уюта, Берия представил вождю документы на Жемчужину.

“Когда на заседании Политбюро он (Сталин. — Л.В.) прочитал материал, который чекисты принесли ему на Полину Семеновну, у меня коленки задрожали. Но дело было сделано — не подкопаешься, — говорил Молотов Феликсу Чуеву, — чекисты постарались. В чем ее обвиняли? В связях с сионист-

ской организацией, с послом Израиля Голдой Меир. Хотела сделать Крым Еврейской автономной областью... Были у нее слишком хорошие отношения с Михоэлсом...

— И ты поверил! — закричала она, когда я сказал, в чем ее обвиняют. Конечно, ей надо было быть более разборчивой в знакомствах. Ее сняли с работы, какое-то время не арестовывали. Арестовали, вызвав в ЦК. Между мной и Сталиным, как говорится, пробежала черная кошка.

Она сидела больше года в тюрьме и была больше трех лет в ссылке. Берия на заседаниях Политбюро, проходя мимо меня, говорил, верней, шептал мне на ухо: "Полина жива!"

* * *

Красивая картинка. Сидят на Политбюро мужчины, как пауки в банке. У каждого своя слабина, за каждым крылатый страх. И двое вершителей, Сталин и Берия способны в секунду исправить положение, но ни один политмуж не решается поднять вопрос о собственной жене. Все вместе взятые ломают какую-то невообразимую комедию, пахнущую бедой.

— А она мне сказала: "Если это нужно для партии, значит, мы разойдемся". В конце 1948-го мы разошлись. А в 1949-м, в феврале, ее арестовали, — свидетельствует Молотов.

* * *

Татьяна Кирилловна Окуневская, попавшая на Лубянку в одно время с Полиной Семеновной, вспоминает:

"Однажды в открытую дверь камеры я услышала громкий капризный и знакомый мне скрипучий женский голос, требовавший:

— Позвоните мужу! Пусть он пришлет мне диабетические таблетки! Я тяжело больной человек! Вы не имеете права кормить меня всякой баландой!

— Это Жемчужина, жена Молотова, — объяснила мне сокамерница, — никак не может привыкнуть к новым условиям. Не понимает, что ее мужу сейчас не до нее — может быть, сам уже "сидит". (Глагол! — Л.В.)

Молотов сидел... на заседаниях Политбюро и, быть может,

слова Берии — “Полина жива” — были для него тогда единственным эликсиром жизни.

Много лет спустя, после похорон Жемчужиной, Молотов сказал:

— Мне выпало большое счастье, что она была моей женой. И красивая и умная, а главное — настоящий большевик, настоящий советский человек. Для нее жизнь сложилась нескладно из-за того, что она была моей женой. Она пострадала в трудные времена, но все понимала и не только не ругала Сталина, а слушать не хотела, когда его ругают, ибо тот, кто очерняет Сталина, будет со временем отброшен.

* * *

Разойдясь с Молотовым в сорок восьмом и уйдя жить к сестре и брату, Полина Жемчужина некоторое время была на свободе и сильно тосковала по дому. Но, опасаясь подвести (глагол! — Л. В.) семью, она никак не давала о себе знать. Лишь изредка вечером, после своей работы, к ней засезжал на красном “Москвиче” зять, муж Светланы. Он рассказывал семейные новости и вез опальную тещу за город, прямо к забору молотовской правительственной дачи.

Они гуляли вдвоем и ей казалось, что она почти побывала дома.

Можно ли вообразить: вчера еще гордая, независимая, бесстрашная, властная (да чертову дюжину эпитетов можно найти для Жемчужиной) Полина Семеновна сегодня — раздавленная паровым катком партийной машины несчастная женщина, со дня на день ожидающая тюрьмы.

И терпит все безропотно, все принимает как должное.

А ее любящий муж сидит за забором, отдыхает от тяжких партийных трудов и в ус не дует? Вряд ли. Он тоже мучается, переживает, испытывает массу неудобств в связи с отсутствием своей властной хозяйки дома.

Но он не пойдет к Сталину с требованием оставить жену в покое. Он не бросится вызывать на дуэль Берию — какая дуэль в двадцатом веке, в СССР, между двумя партийными вождями?

Он будет молчать и терпеть во имя... коммунизма, светлого

будущего, в которое верит, как верит он и в вину Полины Семеновны.

Да, да, верит — таково правило игры у руля машины.

* * *

В день похорон Сталина, 9 марта 1953 года, отнюдь не убитые горем соратники мертвого грозного вождя Хрущев и Маленков, спускаясь с трибуны Мавзолея, подошли к Молотову и поздравили его с днем рождения.

— Какой тебе сделать подарок? — спросили они, переглянувшись между собой.

— Верните Полину! — резко сказал Молотов и, наклонив голову, быстро пошел от них.

Хрущев и Маленков передали просьбу Берии. К этому дню Полина Семеновна уже сидела в Москве, на Лубянке: в связи с “делом врачей” ее вернули из кустанайской ссылки в тюрьму, заново обвинив в сионистском заговоре.

В тюрьму проник слух о болезни Сталина. У Жемчужиной начались серьезные переживания — О НЕМ. Возможно, была она единственной узницей ГУЛАГа, кто страстно желал здоровья Сталину.

Десятого марта Жемчужину вызвали к Берии. Он встретил ее возгласом:

— Героиня!

Она отвела от себя его руки. Спросила:

— Как Сталин?

В голосе были неподдельные волнение, тревога, надежда. Узнав, что его больше нет, она без чувств упала на пол. В кабинете Берия был тогда и муж Полины Семеновны, Вячеслав Михайлович Молотов.

* * *

Когда ее арестовали, все думали: в тюрьме она не выживет. Дочь ничего не знала о матери.

После тюрьмы Жемчужина, по мнению некоторых, выглядела лучше, чем когда бы то ни было. Непонятные болезни, точившие ее прежде, исчезли.

Такое нередко случается с людьми — попав в сложные условия, они собирают все силы и в сопротивлении, выживая, начинают функционировать нормально.

Позднее, она перенесла три инфаркта и операцию на сердце: ничто даром не проходит.

* * *

Кто помнит сегодня Полину Жемчужину? Молотов умер, дочь их, Светлана, умерла. Внуки?

Зная, что поэт Феликс Чуев в последние годы посещал Молотова и выпустил книгу бесед с ним, я спросила его:

— Кто мог бы рассказать мне о Полине Жемчужиной?

— Никого не осталось.

— А внуки?

— Там трое внуков. Но им это (выделено мной. — Л.В.) уже не нужно.

И я, недоверчивая, поверила. Не стала искать типичных кремлевских внуков, которым сегодня хотелось бы забыть, кем были бабушка и дедушка.

Но что-то точило меня: “Пойди, найди, убедись сама” — шептал внутренний голос.

И вот сижу на кухоньке в квартире Ларисы Алексеевны, переводчика художественной литературы с английского и на английский, специалиста по творчеству прерафаэлитов, старшей внучки Полины Семеновны.

— Меня в семье называли “бабушкин хвостик”. Вернувшись из ссылки, бабушка сразу взяла меня к себе, и я воспитывалась у Молотовых. Моя мама по характеру была большой ребенок. Она в детстве была сильно защищена, и это, видимо, сделало ее вечной девочкой. Бабушка не хотела повторять со мной этой ошибки.

“Жизнь очень сложна”, — говорила она.

Бабушка была сильная птица, закрывающая гнездо своими крыльями. Они с дедушкой активно занимались моим воспитанием и образованием. Все, что я знаю и умею, все во мне хорошее — это бабушкина заслуга. Все плохое — собственное приобретение.

Она учила всему, считая, что “жизнь может измениться в любую минуту. Нужно быть готовой”.

Бабушка и дедушка развивали мою память и восприятие. С малых лет по вечерам я должна была рассказывать им, что видела за день, как качались деревья, какие были запахи. Потом все это я пересказывала им по-немецки.

Какая она была? Необыкновенная. Внешне — настоящая леди. Очень добрая и заботливая. К ней шли толпы, даже когда дед был уже в опале, при Хрущеве. Она всем помогала.

У них была история с детским домом. С сорок третьего года он и она посылали свои орденские купоны в один московский детский дом. (Это купоны за ордена. Они превращались в деньги по правилам того времени. — Л.В.) Орден у обоих хватало. Поступка своего они не афишировали. В пятьдесят седьмом году деда отправили в опалу — послом в Монголию, а спустя некоторое время в МИД пришла телеграмма из детского дома с вопросом: где средства и почему они перестали поступать? Тут и выяснилось, что средства были не мидовские, а лично молотовско-жемчужинские.

Несколько лет назад я была на кладбище и увидела у могилы моих деда и бабушки старую женщину. Она кланялась могиле в пояс и говорила: “Здравствуйте, Полина Семеновна! Здравствуйте, Вячеслав Михайлович! Святые вы были люди. Пока вы были живы, сироты были сыты”.

Я, конечно, подошла. Это была нянечка из того детского дома.

— Вспоминала ли ваша бабушка, — пытаю я Ларису Алексеевну, — время тюрьмы, ссылки? Весь свой страшный период жизни?

— Она ушла “туда” в беличьей шубке и вернулась в ней, потертой и залатанной. Она говорила о том времени: “Мне “там” было нужно только три вещи: мыло, чтобы быть чистой, хлеб, чтобы быть сытой, и лук, чтобы не заболеть”.

Когда она пришла “оттуда”, то сразу свалилась. Наверно, полгода лежала на диване, в столовой и с этого дивана руководила всем домом.

У нее после ссылки дрожали руки, но она старалась преодолеть это, вышивала. Могла перетерпеть любую боль. И часто

говорила, что жизнь очень сложна. Повторяла: “Я всегда верила, что дед меня спасет, и мы опять будем вместе”.

— Скажите, — спрашиваю я Ларису Алексеевну, а сердце мое готово выскочить из груди в предчувствии любого ответа, способного подтвердить, а скорее, опровергнуть мое предположение о любви Жемчужиной к Сталину, — как вы думаете, Полина Семеновна любила Вячеслава Михайловича?

— Они очень любили друг друга. Такая любовь — одна на миллион. Скрывали друг от друга свои боли. Она ему создала режим и прекрасную домашнюю атмосферу: никто ни на кого не кричал — голоса не повышали. Он лишь иногда говорил: “Поленька, мы с тобой спорили — я был неправ”. Их поступки никогда не расходились со словами. Она умирала и звала его. Спустя много лет умирал он, я сидела у его кровати, он принимал меня за нее и звал: “Поля, Поля”.

— Почему вас называли “бабушкин хвостик”?

— Мне было шесть лет, когда она вернулась и взяла меня к себе. И мы были очень привязаны друг к другу. Я ходила с нею даже на ее партсобрания.

Она воспитала маму в изнеженности, но, пройдя жизнь, считала такое воспитание ошибкой. Меня воспитывала крепкой и сильной. Внушала мне это. И внушила. Я свою маму-девочку всегда ощущала своей дочкой, — говорит хрупкая Лариса Алексеевна. — Мама моя очень переживала то, что свалилось на нашу семью в пятидесятых и после. Она читала всю ложь и пасквили на деда и страдала. Думаю, это ускорило ее смерть. Умерла мама внезапно, встала и упала — разрыв сердца.

* * *

Что знаем мы о наших близких? Какие тайны их молодости известны нам? Нужно ли знать эти тайны?

Не существует на сей счет нравственных кодексов. У каждого свое понимание.

Я узнала некоторые секреты своих родителей много позднее их ухода из жизни. И что? Они стали мне еще ближе, понятнее.

Жемчужина была слишком полнокровной натурой, чтобы смотреться однозначно, однобоко.

Молодая жена кремлевского вождя, с неограниченными возможностями внутри узкого властного мира.

Зрелый советский нарком в юбке, обладающий большой властью.

Хозяйка большого гнезда.

Все это разные люди в одном человеке.

Я наводила Ларису Алексеевну на разговор о Сталине и Жемчужиной, но она уходила от этого разговора, возможно, потому, что не видела в моих вопросах подвоха. Ей, вероятно, в голову не приходила мысль о любви бабушки к Сталину.

А может быть, я ошибаюсь?

* * *

Вторая, младшая внучка Полины Семеновны, Любовь Алексеевна, рассказывает:

— Бабушка была женщиной высокого класса. Сильная, властная, целеустремленная, справедливая. Мне исполнилось 15 лет, когда она умерла 1 мая 1970 года. Она много занималась внуками, вообще была стержнем семьи, душой дома. О тюрьме и ссылке никогда не говорила — я узнала об этой странице жизни после ее смерти. Безгранично была предана партии, и в старости из последних сил ходила на партийные собрания. Искренно верила в коммунистическую идею. Без фальши.

Внуков учила всему: готовить, шить, вязать; если сами делать не будем, сможем домработницу научить. Свою домработницу, деревенскую, ничего не умеющую девчонку, превратила в первоклассную повариху. В доме вела борьбу за чистоту и порядок. Дед жил по установленному ею режиму. Вся еда по часам. В определенные дни было определенное меню. Если она что решила, изменить ничего нельзя. В среду всегда готовилась молочная лапша. И хоть тресни, лапша была. В этом смысле дед дома жил в тяжелом режиме. Но может, потому он так долго прожил, что она создала ему все условия.

Любовь Алексеевна ведет меня по квартире, подводит к большим фотопортретам бабушки и деда. Глядя на них, вспоминаю, что точно такой же официально-партийный портрет

Молотова висел над моей кроватькой в эвакуации. Почему? Расскажу дальше. Фотография Полины Семеновны обнаруживает породистое библейское лицо с выющимися волосами, изящные кисти рук, надменный взгляд.

— Она была, конечно, несравненно сильнее деда характером. Тонкая фигура, высокая грудь, ногти вот такие! Перед смертью ей делали маникюр.

— Они разошлись, перед тем как ее посадили?

— Да. Она была инициатором развода. Ушла к сестре и брату. Там их всех взяли. Сестра погибла в тюрьме.

— Скажите, у вас есть связь с американским братом бабушки?

— К сожалению, никакой. Они прислали соболезнования, когда бабушка умерла, — в американской прессе было сообщение о ее смерти, — и все. Сейчас хотелось бы найти их, но не знаю как... ("Сейчас", то есть в те времена, когда безумия дедушкиного времени канули в Лету. — *Л.В.*)

— Они любили друг друга? — предчувствуя положительный ответ, спрашиваю я.

— Более любящих друг друга людей я не видела, — отвечает она мне. — Не просто сюсюкающие старички, а двое влюбленных. У нее на первом месте был дед, потом уже все мы.

Вот и снова накрылось мое романтическое предположение о тайной любви Полины к Иосифу. Она, оказывается, любила только своего высокопоставленного мужа и ушла жить к сестре и брату, чем погубила их, — лишь бы спасти его.

Знай Любовь Алексеевна о моем "смелом" предположении, она презрительно отвергла бы его. Не удивляюсь. Легко представлять себе предков идеально ходульными героями, которым чуждо все человеческое, будучи при том вполне современно-раскованными, прочно стоящими на зыбком фундаменте посткремлевского благополучия, созданного этими предками.

Я все же стою на своем: Полина Жемчужина любовь к Сталину переплавил (глагол! — *Л.В.*) в преданность вождю и партии.

— Вы спрашивали деда, почему он не заступился за нее?

— Он считал, что если бы поднял голос, ее уничтожили бы. Эти правительственные мужики все были заложники.

* * *

Они менялись. Сильно менялись кремлевские женщины. В 20-х это были раскованные хозяйки жизни, не чуждые безумств; в 30-х становились “парттетями” с большей или меньшей долей партийности; в 40-х они несколько расслабились. И расслабившаяся чуть сильнее других была крепко одернута.

* * *

В конце пятидесятых, когда Сталина развенчали, она говорила ЕГО дочери: “Твой отец был гений. Он уничтожил в нашей стране пятую колонну, и когда началась война, партия и народ были едины”.

Переживая за своего исключенного отовсюду при Хрущеве мужа, Жемчужина не желала дать его в обиду. И себя также. Она презирала послесталинское правительство, писала письма, в категорических формах требуя целого ряда привилегий: повышения пенсии, предоставления загородной дачи.

“Если вы его не уважаете, то я все-таки была наркомом и членом ЦК”. Предоставили им совминовскую дачу в Жуковке, а в 1967 году повысили пенсию до 250 рублей.

Вся молотовская семья, все знакомые Жемчужиной и сам Молотов вспоминают, что Полина Семеновна никогда не меняла своего отношения к Сталину, до последнего дня была страстно предана его памяти и ненавидела Хрущева прежде всего за измену Сталину, не могла слышать ни слова против своего вождя:

— Вы ничего не понимаете в Сталине и его времени! Если бы вы знали, как ему трудно было сидеть в его кресле!

У Светланы Аллилуевой, которая удивляется верности Полины памяти Светланиного отца, есть строки: “Полина Молотова мелко накрошила чеснок в борщ, уверяя, что “так всегда ел Сталин”.

* * *

Внучка Полины Семеновны рассказала мне “семейное предание”:

— У бабушки за обедом еду быстро подавали и быстро

уносили. И Сталин, когда обедал у них, всегда говорил: “Я у вас не наедаюсь, пойдем ко мне, посидим за обедом”.

Полина любила Сталина в жизни и смерти?

Она не могла простить или не простить ему свою ссылку и Лубянку — она не считала его виноватым перед нею?

Как сказала Ахматова:

*От других мне хвала — что зола,
От тебя и хула — похвала.*

Она “понимала” его репрессии против еврейского народа?

Ей легче было признать виновной себя, чем ЕГО? Всю свою жизнь она думала и поступала в унисон с НИМ?

Сталин не внял ее желанию дать евреям счастье в СССР и наказал ее тюрьмой за это желание. Для нее признать ЕГО неправоту означало перечеркнуть свои идеалы.

Она была не библейской, а советской Эсфирью.

Две большие разницы, как говорят в Одессе.

P.S. А может быть... Все она знала, все понимала, все ненавидела и выживала?

Но может ли быть?

* * *

“Дело” Жемчужиной П. С. (фрагменты)

Четыре бледно-голубые папки. Три первых — допросы обвиняемой и свидетелей. Очные ставки. Четвертая папка содержит документы, приобщенные к делу, — это личная переписка обвиняемой с разными людьми. Поздравления, присланные ей к праздникам. Просьбы. Обращения писательницы Серебряковой, попавшей в тюрьму, В.Белинкова — просит о своем сыне Аркадии, арестованном за “написание антисоветского романа”, — жалобы работниц разных фабрик, тоже попавших в тюрьму.

Все письма небезответны — Жемчужина обращается к прокурорам, судьям, просит разобраться, устроить дополнительное расследование. Ей отвечают, разбираются.

Она переписывается с сосланной писательницей Галиной Серебряковой, интересуется ее новым романом, берется перепечатать его на машинке. Пытается облегчить участь тяжело больного Аркадия Белинкова. Есть среди писем, приобщенных к делу, записка академика Лины Штерн к Жемчужиной с просьбой передать письмо Молотову, есть и копия письма Штерн, она просит Молотова как министра иностранных дел помочь ей быстро оформить документы для поездки делегации ученых-физиологов в Австралию.

Есть в четвертом томе копия письма Жемчужиной ее брату, американскому капиталисту.

Нехорошо, конечно, читать чужие письма, но эти письма прочитало большое количество недоброжелателей моей героини, они превратили их в обвинительные документы.

У меня даже нет ощущения, что передо мной письма. Но это письма. Вот криминал — брату, в Америку:

“Здравствуйте, мои дорогие.

Пользуясь случаем, что кое-кто едет в ваши края, решила вам написать несколько строк. Живем мы очень хорошо. В стране широко развернулись восстановительные работы, идет усиленная работа по заживлению ран, причиненных нам фашистскими захватчиками. Народ самоотверженно трудится и успешно выполняет новый пятилетний план. Светланочка закончила школу-десятилетку на аттестат зрелости с золотой медалью, а сейчас учится в институте международных отношений. Светлана прекрасно знает английский язык, если твои дочери приедут, то она сумеет с ними свободно говорить. Я работаю там же по текстилю, к сожалению, часто хвораю... Привет Соне и всем детям, целую всех вас.

Ваша (без подписи).

5.10.46”.

Среди материалов, компрометирующих Жемчужину, находится в “Деле” письмо артиста Михоэлса от 18 апреля 1945 года.

“Глубокоуважаемая, дорогая Полина Семеновна.

Прошу Вас заранее простить меня, что решаюсь беспокоить Вас. Дело общественного порядка (вообще-то, по-моему, сугубо личного порядка, но в те годы, как мы уже видели, личное

не имело общественного значения, поэтому сказать “дело личного порядка” означало обречь его на провал. — Л.В.), это единственное, что придает мне смелости. Речь идет об известном нашем советском критике Гурвиче Абраме Соломоновиче, который в сравнительно молодом возрасте заболел частичным параличом. По свидетельству врачей, болезнь поддается лечению. Зная вашу отзывчивость, прошу вашего любезного содействия по устройству его в кремлевскую больницу. Повторяю, что мне чрезвычайно трудно досталась решимость беспокоить Вас, и я надеюсь, что Вы меня простите.

С чувством глубокого уважения к Вам и признательности,
Михоэлс”.

Обыкновенная просьба. Похожа на письмо Клarry Цеткин к Енукидзе по поводу Фортунато. Не правда ли?

* * *

Понять происхождение “Дела” Жемчужиной можно, зная международную обстановку конца сороковых годов и внезапно испортившиеся взаимоотношения между СССР и только что возникшим Израилем: Жемчужина попала на Лубянку с обвинением в том, что “она на протяжении ряда лет находилась в преступной связи с еврейскими националистами и совместно с ними проводила вражескую работу против советского государства” (выписка из обвинительного заключения).

Привожу лишь часть материалов, наиболее типичных для понимания ситуации, характеров, законности и нравственности того времени.

Из протокола очной ставки между Жемчужиной и Фефером (поэт, член Еврейского антифашистского комитета. — Л.В.). От 6.12.1948 г. :

“ФЕФЕР: Михоэлс, заходя в Еврейский антифашистский комитет, часто говорил мне о посещении Жемчужиной спектаклей Еврейского театра. С его слов, он имел беседу с Жемчужиной во время ее посещения спектакля “Фрейлехс” в комнате художественного руководителя. Он говорил о том, что Жемчужина восхищается спектаклем и что она вообще очень интересуется нашими делами, о жизни евреев в Советском Союзе и о делах Еврейского антифашистского комитета. Спра-

шивала, не обижают ли нас. Характеризуя отношение Жемчужиной к евреям, а также высказывая свое мнение о ней, Михоэлс сказал: "Она хорошая еврейская дочь". Как мне рассказывал Михоэлс, он жаловался Жемчужиной, что дела плохие, чувствуется неприязнь к евреям. На это Жемчужина ему ответила: "Ну, знаете, наверху не очень..."

ВОПРОС СЛЕДОВАТЕЛЯ К ФЕФЕРУ: Это что значит?

ФЕФЕР: Я так посмотрел на него и спросил, как это понимать? Эти слова надо понимать так: это не местное явление. Среди руководителей есть такая тенденция, линия ущемления, ограничения, притеснения евреев. Так понял ее трактовку Михоэлс.

ВОПРОС К ЖЕМЧУЖИНОЙ: Что вы можете сказать?

ЖЕМЧУЖИНА: Это все выдумки или Михоэлса, или Фефера.

ВОПРОС К ЖЕМЧУЖИНОЙ: Вы были на спектакле, имели беседу с Михоэлсом?

ЖЕМЧУЖИНА: На спектакле была, но я отрицаю содержание разговора между мной и Михоэлсом в изложении Фефера. (Во время этого допроса Михоэлс уже нет в живых. — Л.В.)

ВОПРОС К ФЕФЕРУ: Вы в синагоге были 14 марта 1945 года?

ФЕФЕР: Я мало туда хожу, но в этот день был. 14 марта 1945 года в синагоге было богослужение по погибшим евреям во второй мировой войне. Там было много народу, в том числе артисты Рейзен, Хромченко, Утесов, были академики, профессора и даже генералы, там же я видел и Жемчужину с братом. Я был, я сидел в пятом или шестом ряду, я смотрел на амвон. Женщинам, по религиозным обычаям, полагается сидеть наверху, но в исключительных случаях, когда речь идет о больших, весьма почетных людях, допускаются отступления. Оно было допущено в отношении Жемчужиной.

ВОПРОС К ФЕФЕРУ: Жемчужину видели все присутствующие?

ФЕФЕР: Народ ее знает, ее узнала вся еврейская верхушка, которая была там.

ВОПРОС К ЖЕМЧУЖИНОЙ: Были вы в синагоге?

ЖЕМЧУЖИНА: Нет, я не была, сестра была.

ВОПРОС К ФЕФЕРУ: Вы подтверждаете, что именно Жемчужину видели в синагоге?

ФЕФЕР: Жемчужина была в синагоге, и об этом все евреи в городе говорили.

ВОПРОС К ЖЕМЧУЖИНОЙ: Вы по-прежнему отказываетесь?

ЖЕМЧУЖИНА: В синагоге я не была”.

* * *

Из протокола очной ставки между Жемчужиной и Зускиным (администратор Еврейского театра, член Еврейского антифашистского комитета. — Л.В.). От 6.12.1948 г.:

“ВОПРОС СЛЕДОВАТЕЛЯ К ЗУСКИНУ: На похоронах Михоэlsa присутствовала Жемчужина?

ЗУСКИН: Да, присутствовала. Дело было так. Вечером 15 января 1948 года я стоял у гроба и принимал венки у всех организаций, в это время увидел Полину Семеновну, я поздоровался с ней и выразил ей печаль по поводу смерти Михоэlsa. Во время беседы Полина Семеновна спрашивает, как вы думаете, что здесь было — несчастный случай или убийство? Я говорил на основании сообщения, которое мы получили: Михоэлс погиб в результате автомобильной катастрофы, его нашли в 7 часов утра на улице недалеко от гостиницы, а Полина Семеновна возразила мне и сказала, что дело обстоит не так гладко, как это пытаются представить, — это убийство.

ВОПРОС К ЖЕМЧУЖИНОЙ: Вы это говорили?

ЖЕМЧУЖИНА: Нет.

ВОПРОС К ЗУСКИНУ: Вы в синагоге были 14 марта 1945 года?

ЗУСКИН: Да, был. Там я видел Полину Семеновну, она сидела сбоку.

ВОПРОС К ЗУСКИНУ: Вы уверены, что это была Жемчужина?

ЗУСКИН: Я утверждаю это и ничего не выдумываю. Я поздоровался с ней.

ВОПРОС К ЖЕМЧУЖИНОЙ: Подтверждают это Фсфер и Зускин, который вас хорошо знает и даже здоровался с вами в синагоге, что вы на это скажете?

ЖЕМЧУЖИНА: Не была я в синагоге”.

* * *

Из протокола очной ставки между Жемчужиной и Слуцким. От 26 декабря 1948 г.:

“ВОПРОС К СЛУЦКОМУ: Расскажите, какое отношение имеете вы к московской синагоге?

СЛУЦКИЙ: Я, Слуцкий, с 1941 года являюсь членом двадцатки московской синагоги, отвечающей за ее деятельность.

ВОПРОС К СЛУЦКОМУ: Вами сделано заявление о том, что 14 марта 1948 года, когда было моление в синагоге, там присутствовала Жемчужина?

СЛУЦКИЙ: Да, такое заявление я сделал и его подтверждаю. В этот день я, как член двадцатки, был одним из распорядителей. Я принял меры, чтобы пропустить (глагол! — Л.В.) Жемчужину в синагогу. У нас в синагоге такой порядок, что мужчины находятся внизу, в зале, а женщины — на втором этаже. Для Жемчужиной мы решили сделать исключение и посадить ее на особо почетное место в зале. Когда я увидел Жемчужину с двумя родственниками, женщиной и мужчиной, я растолкал (глагол! — Л.В.) толпу и пропустил ее вместе с родственниками в зал.

ВОПРОС К ЖЕМЧУЖИНОЙ: Вот еще один гражданин говорит о вашем участии в богослужении в синагоге 14 марта 1945 года. Что вы на это скажете?

ЖЕМЧУЖИНА: Я уже сказала, что в синагоге я не была. Все это неправда”.

* * *

Почему она отказывается?

Посетить любой храм для члена партии, ответственного работника — почти преступление. Это значило тогда расписаться (глагол! — Л.В.) в своем тайном пристрастии к религии, что, в свою очередь, означало несовместимость с партийностью.

* * *

Из протокола допроса арестованной Жемчужиной П.С., 1897 года рождения, уроженки станции Пологи Гуляйпольского района Днепропетровской области, из рабочих, еврейки, со

средним образованием, бывшего члена ВКП(б) с 1918 года, до ареста нигде не работала. От 4.2.1949 г. (Как известно, ее сняли со всех должностей. — Л.В.):

“ВОПРОС: Жемчужина — это ваша настоящая фамилия?

ЖЕМЧУЖИНА: Нет, моя урожденная фамилия Карповская Перл Семеновна, а Жемчужина — это моя партийная кличка.

ВОПРОС: Вы что, работали в подполье?

ЖЕМЧУЖИНА: Да.

ВОПРОС: Где?

ЖЕМЧУЖИНА: На Украине, в период пребывания там армии Деникина.

ВОПРОС: Кто вас оставлял на подпольной работе в белогвардейском тылу?

ЖЕМЧУЖИНА: Я сама там осталась в силу сложившихся обстоятельств. В 1918 году Запорожской городской партийной организацией я была принята в члены РКП(б) и, спустя некоторое время, стала заведовать отделом Запорожского губкома партии. Осенью 1919 года в Запорожье было предпринято Деникиным наступление в связи с чем весь аппарат губкома партии начал эвакуироваться в Киев. Вместе с группой работников губкома эвакуировалась в Киев и я. Здесь мы явились в ЦК КП(б)У и нас группами разослали в действующие части Красной Армии. Я, например, была направлена политработником в Девятую армию, дислоцирующуюся в районе станции Дарница. По прибытии на станцию Дарница меня зачислили в один из полков Красной Армии, в составе которого я находилась около двух месяцев, после чего вынуждена была бежать обратно в Киев, так как наш полк подвергся нападению со стороны белогвардейских войск и был полностью рассеян.

ВОПРОС: Как следует из ваших показаний, на фронт вас послали для налаживания политработы в войсках, а вы вместо этого бежали в Киев. Как вы это расцениваете?

ЖЕМЧУЖИНА: Теперь я рассматриваю это как бегство с поля боя, но тогда я была молодая и не понимала, что от меня требовалось. К тому же комиссар нашего полка Семенов заявил нам тогда, что положение создалось безвыходное, и пред-

ложил уничтожить личные документы и пробраться в Киев. Я так и поступила.

ВОПРОС: Что вы делали по прибытии в Киев?

ЖЕМЧУЖИНА: К моменту моего возвращения в Киев город полностью находился в руках белогвардейского генерала Бредова. В этой связи я в течение трех дней отсиживалась в Михайловском монастыре, так как никого из своих товарищей не нашла и не знала, что мне делать, а затем пробралась в г.Запорожье, который был тогда оккупирован Деникиным. В Запорожье я установила связь с партийной организацией и была направлена в Харьков на подпольную партийную работу.

ВОПРОС: А почему вы не остались в Запорожье?

ЖЕМЧУЖИНА: Объясняется это тем, что в Запорожье меня многие знали как работницу губкома партии, я могла быстро провалиться. Достаточно сказать, что по возвращении в Запорожье я пробыла там всего лишь одни сутки, а меня уже начали разыскивать.

ВОПРОС: Кто?

ЖЕМЧУЖИНА: Деникинская контрразведка. Ко мне домой нагрянули белые, произвели обыск, однако меня там уже не было.

ВОПРОС: Но были ваши родные? Как они с ними поступили?

ЖЕМЧУЖИНА: Белые их не тронули.

ВОПРОС: Чем это объяснить? Ведь белые, как известно, даже беспричинно расправлялись с людьми еврейской национальности?

ЖЕМЧУЖИНА: Я не могу этого объяснить.

ВОПРОС: Не можете, потому что ничего подобного в жизни не было?

ЖЕМЧУЖИНА: Я утверждаю, что обыск у нас действительно был, белые меня разыскивали, но почему они благосклонно отнеслись к моим родным, сказать затрудняюсь. В Харьков я прибыла приблизительно в октябре или ноябре 1919 года, связалась с Дашевским, который оказался заведующим паспортным отделом харьковской городской подпольной партийной организации. Дашевский выдал мне новый пас-

порт на имя Жемчужиной П.С. И с тех пор, то есть с конца 1919 года, я ношу эту фамилию...

ВОПРОС: Сколько времени вы работали в ЦК КПБУ?

ЖЕМЧУЖИНА: Очень немного. В 1921 году украинской партийной организацией я была делегирована на международный женский конгресс, состоявшийся в Москве, по окончании которого осталась работать в бывшем Рогожско-Симоновском районе города Москвы участковым партийным организатором.

ВОПРОС: И больше из Москвы не уезжали?

ЖЕМЧУЖИНА: Да. Принимая участие в работе международного женского конгресса, я познакомилась с Молотовым, который являлся тогда секретарем ЦК ВКП(б), и с конца 1921 года стала его женой”.

* * *

Из протокола допроса Жемчужиной. От 10.2.1949 г.:

“ВОПРОС: Намерены ли вы правдиво рассказать о совершенных вами преступлениях?

ЖЕМЧУЖИНА: Никаких преступлений против советского государства я не совершала. Предъявленное мне в процессе следствия обвинение в установлении преступных связей с еврейскими националистами я отрицаю.

ВОПРОС: Отрицаете, потому что хотите скрыть вражеский характер своей связи с Михоэлсом и другими националистами? Скажите, как часто вы встречались с Михоэлсом?

ЖЕМЧУЖИНА: Считанные разы. Первая наша встреча состоялась в 1938 или 1939 году в Московском еврейском театре, где я присутствовала на спектакле “Тевье-молочник”. В антракте Михоэлс пришел ко мне в ложу и представился как руководитель театра. После этого долгое время никакого общения с Михоэлсом у меня не было, и лишь в начале 1944 года я по просьбе сотрудников главного управления текстильно-галантерейной промышленности пригласила Михоэлса сделать в управлении доклад о его поездке в Америку. Михоэлс принял мое приглашение, и через несколько дней его доклад состоялся... В 1948 году Михоэлс вторично посетил главк, на этот раз с целью пригласить меня на спектакль “Фрейлехс”. Тогда же он обратился ко мне с просьбой устроить на лечение в крем-

левскую больницу какого-то артиста Еврейского театра, однако в этом я ему отказала.

ВОПРОС: А приглашение Михоэлса посетить театр приняли?

ЖЕМЧУЖИНА: Да.

ВОПРОС: Показывайте (глагол! — Л.В.), какие поручения Михоэлса вы выполняли?

ЖЕМЧУЖИНА: В 1948 или 1947 году, точно не помню, Михоэлс просил меня отправить письмо Молотову, находившемуся в командировке за границей, это письмо я передала в секретариат Совета Министров для отправки Молотову с очередной почтой.

ВОПРОС: Вам было известно содержание письма?

ЖЕМЧУЖИНА: Нет, письма я не читала, Михоэлс не посвящал меня в его содержание.

ВОПРОС: Снова лжете! Известно, что вы не только взялись переправить письмо, но и обещали Михоэлсу подвинуть вопросы, которые он ставил в этом письме.

ЖЕМЧУЖИНА: Я это отрицаю. Взяв письмо у Михоэлса, я не находила в этом ничего предосудительного, что же касается содержания письма, то еще раз заявляю, что оно мне неизвестно.

СЛЕДОВАТЕЛЬ: Поскольку вы нагло отрицаете установленные факты, следствие вынуждено вас изобличить. (*Вводится арестованный Лозовский, бывший начальник Совинформбюро, член Еврейского антифашистского комитета*).

ВОПРОС К ЛОЗОВСКОМУ: Еврейские националисты направляли клеветнические письма в адрес советского правительства?

ЛОЗОВСКИЙ: Да. В 1944 году Михоэлс и бывший ответственный секретарь Еврейского антифашистского комитета Эпштейн, получив с Украины несколько писем от евреев, сообщавших, что якобы местные власти их притесняют, пришли ко мне протестовать перед советским правительством против подобных действий. Должен сказать, что к тому времени нами была уже достаточно развернута националистическая работа, и мы решили действовать. Обсудив между собой этот вопрос, мы решили написать на имя Молотова письмо с изложением

фактов, приведенных в письмах с Украины, имея в виду вырвать у советского правительства некоторые преимущества для евреев. Оно было направлено адресату. Не получив ответа, я, Михоэлс и Эпштейн договорились написать по тому же вопросу второе письмо Молотову, но, опасаясь, что оно останется без ответа, решили добиваться положительного реагирования на него через свои связи.

ВОПРОС: Через Жемчужину?

ЛОЗОВСКИЙ: Через нее”.

* * *

Из протокола допроса Юзефовича (бывший заместитель Лозовского, член Еврейского антифашистского комитета. — Л.В.). От 26.1.1949 г.:

“ЮЗЕФОВИЧ: Первыми о создании в Крыму еврейской республики начали говорить Михоэлс и Фефер. Все мы приходили к единому мнению, что с точки зрения климата Крым является самым подходящим местом для создания еврейской республики.

ВОПРОС: Дело не в климатических условиях, а в том, что создать еврейскую республику в Крыму требовали ваши американские хозяева. Почему вы это скрывали?

ЮЗЕФОВИЧ: Это правильно, но узнал я об этом, лишь когда в СССР прибыл американский представитель Гольдберг... Он — крупный делец, связанный с Белым домом, редактирует издающуюся в Нью-Йорке реакционную газету и занимает руководящее положение в ряде еврейских националистических организаций США. Прибыв в Москву, Гольдберг при первой же встрече с нами с большим удовлетворением отметил наши старания по созданию в Крыму еврейской республики. Из его слов было видно, что этот вопрос был для него не нов. Подбадривая нас, националистов, Гольдберг говорил, что Крым должен стать еврейской славой, еврейской Калифорнией, тут же недвусмысленно отмечал близость Крыма к Палестине и заявлял о необходимости установления более тесной связи между советскими и палестинскими евреями, подчеркивая свою готовность посредничать в этом деле... Гольдбергу была очевидна неприкрытая заинтересованность американцев с помощью еврейских организаций создать на территории Крыма сперва республику,

потом еврейское государство, которое можно использовать как плацдарм против Советского Союза...

ВОПРОС: Какое отношение имела к вашим преступным целям Жемчужина?

ЮЗЕФОВИЧ: Вдохновленные поддержкой Гольдберга, Михоэлс и Фефер решили использовать Жемчужину, через которую имелось в виду поставить вопрос перед советским правительством о предоставлении евреям Крыма. Михоэлс с ранних пор был тесно связан с Жемчужиной и говорил, что по нашим еврейским делам он советуется с ней и получает поддержку. Зная об этом, мы, еврейские националисты, смотрели на Жемчужину как на нашу покровительницу, внимательно относящуюся ко всем нашим просьбам и еврейским делам вообще.

ВОПРОС: И что, помогла вам Жемчужина?

ЮЗЕФОВИЧ: Как рассказывал Михоэлс он повстречался с Жемчужиной, посвятил ее в наши планы по поводу Крыма, и она обещала поддержать нас. Вскоре после встречи Михоэлса с Жемчужиной, состоявшейся в начале 1944 года, Михоэлс и Фефер составили проект письма о передаче евреям Крыма".

* * *

Представляю себе, как иные взовьются: "Ах, евреи, такие-сякие! Крыма захотели!"

Посмотрите на себя. Заметьте, что сами творите сегодня, поливая кровью, кромсая землю, которая нас кормит, поит, одевает, обувает. Заметьте собственные рты, разинутые на земельные куски: — Мое! Мое! Мое!

Кому из вас, властвующее над миром мужское племя, приходило в голову, что земля не может принадлежать народу, по причине неадекватности этих двух величин: земля — ипостась космическая, а человек на ней — временный гость и не она ему, а он ей принадлежать должен.

В те годы Крым опять стал гуляй-полем: татар выселили, а тут все так "благополучно" складывалось для еврейского народа. Но была ли Жемчужина связана с идеей еврейского Крыма и была ли такая идея? Это не мой вопрос. Считаю лишь, что ее единородные мужчины невысоко летали, оговаривая женщину. Впрочем, легко судить из другого времени, если тебя не били, не пытали, не держали в одиночке.

* * *

Все упоминающиеся в деле члены Еврейского антифашистского комитета, кроме академика Лины Соломоновны Штерн, свидетельствовали одно и то же. Лину Штерн следователь изводил вопросами о письме, которое она передала Жемчужиной для передачи Молотову о поездке делегации ее сотрудников в Австралию, но она лишь определенно сказала: “Наши встречи с Полиной Семеновной носили теплый, дружеский характер”.

И ничего более.

* * *

Полина Семеновна отрицала свою причастность к “Делу” еврейских националистов. Советская Эсфирь признавала себя виновной лишь в том, что “брала под свою опеку арестованных врагов народа Серебрякову, Белинкова, работниц — Докучаеву, Губанову, Федосову, некоего Грахова (в большинстве своем не евреев. — Л.В.). Перечень фактов моего заступничества за врагов советского государства не ограничивается случаями, которые я привела в данном протоколе, их значительно больше, однако за давностью времени мне трудно все вспомнить”.

“ВОПРОС: Многие факты из вашей преступной деятельности мы вам еще напомним, сейчас расскажите, как вы брали под свою опеку родственников арестованных врагов народа?”

ЖЕМЧУЖИНА: В этих преступлениях я также признаю себя виновной. До последнего времени я оказывала материальную помощь дочери моей ближайшей подруги Слезберг. Я дала ей шестьсот рублей, купила башмаки. Зоря, дочь Серебряковой, также получала от меня поддержку”.

* * *

В ходе следствия пришлось Полине Семеновне убедиться в искренности своих сослуживцев, которые при ее власти льстили и угождали, а на следствии на очных ставках говорили:

“Вы были чрезвычайно деспотичны. Всякий раз, когда кто-нибудь пытался выступить против вас, вы немедленно зажимали рот. Вас боялись, потому что вы были люты, как боярыня

Морозова. Я не намерена защищать вас, тем более что благодаря вам нахожусь в тюрьме. Вы привели за собой в тюрьму и других лиц — они не будут выгораживать вас”.

“Жемчужина обманывала правительство и добивалась показателей в работе путем злоупотреблений своим положением жены Молотова. Всему руководящему составу главка, которым руководила Жемчужина, известно, каким антигосударственным путем она получала фонды... она не раз хвасталась, что наш главк обеспечен материалами гораздо лучше, чем министерство в целом”.

“Почти каждую субботу Жемчужина собирала теплую компанию, увозила нас к себе на дачу, и неплохо мы все проводили время за выпивкой и разговорами. Основной коллектив знал о нашем веселом времяпрепровождении и, будучи представлен сам себе, не переутомлял себя работой”.

“Жемчужина добивалась незаслуженного премирования сотрудников и даже награждения их орденами и медалями”.

* * *

Не пожалели Полину Семеновну и ее ближайшие родственники, насмерть испуганные лубянской действительностью, деморализованные следствием и, очевидно, искренне желавшие помочь ей чистосердечным признанием:

“Поля, ты же говоришь неправду. Вспомни, когда весной тридцать шестого года ты возвратилась из Америки, то передавала мне от Карпа (американского брата. — Л.В.) письмо и двести долларов.

ЖЕМЧУЖИНА: Я ничего тебе не передавала.

— Поля, мне пришлось (пришлось! — Л.В.) подробно рассказать следствию о твоих связях с Михоэлсом, о встречах, которые ты имела с ним, и обо всех наших с тобой разговорах по поводу так называемых еврейских дел. Советую тебе честно рассказать о совершенных тобой преступлениях.

ЖЕМЧУЖИНА: Мне не в чем признаваться, я ни в чем не виновата.

— Вспомни, Поля, как ты рассказывала, что Михоэлс поведал тебе о жизни за границей, говорил, что там существует настоящая свобода, а у нас, мол, в Советском Союзе, этого нет.

Михоэлс жаловался тебе, что советское правительство даже закрыло еврейские школы. Ты сама говорила, что Михоэлс просил тебя заступиться за евреев.

ЖЕМЧУЖИНА: Не было у меня такого разговора с Михоэлсом.

— Ты говорила, что Михоэлс ходит к тебе, как к раввину.

ЖЕМЧУЖИНА: — Я ничего этого не говорила.

— Поля, ты говорила, что евреев били при царе, притесняют их и сейчас: правительство, когда узнает о фактах антисемитизма, закрывает на это глаза.

ЖЕМЧУЖИНА: — Я это отрицаю”.

* * *

Идет очная ставка Жемчужиной с ее помощником по службе Иваном Алексеевичем Х.:

“ВОПРОС К Х.: Вы показали на прошлом допросе, что в 1939 году на вас в ЦК ВКП(б) поступило компрометирующее заявление. Кто вас об этом информировал?

Х.: Жемчужина. Она вызвала меня к себе в кабинет и сказала о заявлении, в котором сообщается о моих антисоветских высказываниях.

ВОПРОС: Какие меры были приняты по заявлению?

Х.: Никаких. Жемчужина только предупредила меня, чтобы я следил за собой и в дальнейшем высказывания антисоветского характера не допускал (глагол! — Л.В.).

ВОПРОС: Выходит, Жемчужина взяла вас под защиту?

Х.: За это я всегда чувствовал себя ей обязанным.

ВОПРОС К ЖЕМЧУЖИНОЙ: Когда вам стало известно о заявлении об антисоветских взглядах Х.?

ЖЕМЧУЖИНА: Мне неизвестно ни о каких заявлениях относительно Х., и разговоров с ним по этому поводу у меня не было.

Х.: Полина Семеновна, вы же вызывали меня к себе в кабинет, мне это врезалось в память на всю жизнь, такие факты не забываются!

ЖЕМЧУЖИНА: Повторяю, никаких заявлений относительно Х. мне не поступало.

ВОПРОС к Х.: Во что вылились ваши отношения с Жемчужиной?

Х.: Жемчужина склонила меня к сожительству.

РЕПЛИКА ЖЕМЧУЖИНОЙ: Иван Алексеевич!

Х.: Полина Семеновна! Не одергивайте меня. Вы же не можете отрицать... (И далее идет монолог, недостойный звания мужчины, именно поэтому я не называю фамилию этого человека, хотя и предшествовавшие были не лучше, но там дела "политические", имена известные, уже не раз в печати об их наговорах на себя писалось, а здесь... просто стыдно фамилию назвать, ведь родственники остались. Хотя и его трудно судить — ЧК есть ЧК. — Л.В.)

ВОПРОС К ЖЕМЧУЖИНОЙ: Кому вы рассказывали о своей связи с Х.?

ЖЕМЧУЖИНА: Я не могла никому об этом рассказывать, так как связи с Х. у меня не было. Я всегда считала Ивана Алексеевича легкомысленным человеком, о чем ему неоднократно говорила в глаза, но я никогда не думала, что он окажется подлецом.

Х.: Полина Семеновна, почему вы называете меня подлецом и не думаете о моей семье и детях, если бы вы хоть раз задумались об этом, вы не стали бы оскорблять меня.

ЖЕМЧУЖИНА: Иван Алексеевич, вы хотите сказать, что рассказываете обо мне следствию небылицы в надежде заслужить себе прощение и вернуться к семье? Я так поняла вашу просьбу подумать о детях?

Х.: Полина Семеновна, вы напрасно меня провоцируете. Я напоминаю вам о моих детях и моей разбитой семейной жизни для того, чтобы вы осознали свою вину передо мной и перед ними. Не считаясь с тем, что я имею жену и детей, вы навязывали мне интимную близость...

ЖЕМЧУЖИНА: Повторяю, что в интимных отношениях с Х. я никогда не состояла. Я часто его ругала, так как до меня доходили о нем сплетни, что он по простоте своей, по доброте ошибается при решении служебных вопросов. Я была знакома с женой Х., она бывала у меня, хотя бы по одному этому я не могла с ним сожительствовать".

* * *

Вот такой букет. И это лишь несколько цветочков. В результате Полина Семеновна получила пять лет ссылки — что еще по-божески в те времена — в Урицкий район Кустанайской области.

В “Деле” Жемчужиной есть несколько документов — донесений окружающих ее в ссылке сексотов-женщин. Вот они:

“Сведения по Объекту № 12. Говорила, что раньше жила очень хорошо, было много богатых платьев. Одно ей очень нравилось, гарусное, вязаное, бутылочного цвета.

С ней делали пельмени. Говорила, что мужа звать Владислав. Есть дочь, Светлана, каждый год 8 мая отмечает день рождения дочери”.

“В первый год с жадностью пила водку, вино”.

“Она говорила, не помню на каком съезде, видела В.И.Ленина”.

* * *

В январе 1953 года оперативная группа МГБ выехала в Урицкий район со срочным заданием перевезти Объект № 12 в Москву, не говоря ей за чем, ибо “Объект страдал сердечными припадками тахикардии, которые возникали от переживаний на почве радости или неприятности”.

Объект № 12 — Полина Семеновна, по обыкновению, мужественно встретила новость: “Я взрослый человек, мне ничего объяснять не надо. Как правительство решило, так и будет”.

При обыске у нее ничего не нашли. Она так и сказала перед обыском: “Клянусь своей дочерью, что в доме вы ничего предосудительного не найдете, хоть и перевернете все вверх дном. Для меня интересы государства превыше всего”.

Эти заявления Жемчужиной подшиты к “Делу”.

* * *

На Лубянке начался новый круг ада. В “Деле” фигурируют выписки из допросов врачей: Виноградова, Когана, Вовси с показаниями против Жемчужиной — еврейской националист-ки.

Выгодно выделяются показания писателя Льва Шейнина. Как и Лина Штерн, он не оговаривает Жемчужину.

Один штрих из допроса Шейнина: "Жемчужина с дочерью были на моем спектакле "Поединок" в Театре имени Ленинского комсомола. Она похвалила спектакль и выразила сожаление, что ее муж, Молотов, не может посмотреть этот спектакль ввиду отсутствия в театре правительственной ложи".

* * *

Характерная деталь. В "Деле" Жемчужиной нигде нет показаний свидетеля Молотова, с которым она прожила вместе 27 лет. А ведь "криминальные" письма Жемчужина передавала именно Молотову. Ему они и были адресованы. Интересно, почему их нет в "Деле"?

Где Молотов? Государственный муж. Может быть, его допрашивали, но допросы таких людей в "Дела" преступников не подшивались? Вряд ли. Вспомним, Жемчужина и Молотов развелись до ее ареста. Она пошла на это, чтобы оградить его.

А он? На что пошел он?

В ее тюремной анкете в графе "семейное положение" написано: О Д И Н О К А Я.

* * *

Весь февраль пятьдесят третьего года Жемчужину допрашивали на Лубянке. И вдруг второго марта все прекратилось. Судя по разным рассказам, Жемчужину освободили пятого или десятого марта, по бумагам "Дела" — двадцать третьего марта. Подпись Берии на ее освобождении, возможно, сделана задним числом. А в освобождающем Жемчужину документе фраза — свидетельство века: "В настоящее время установлено, что находящиеся в деле Жемчужиной показания Когана и Вовси сфальсифицированы и получены в результате вымогательства, грубого принуждения и избияния арестованных".

Как просто сказано. Ни одно из прочитанных мною "Дел" не содержит признаков побоев, пятен крови, но не значит ли это, что в каждом "Деле" все это есть?

В каждом?!

И, читая “Дело”, нужно исходить прежде всего из этого обстоятельства, непременно попытавшись примерить его на себя: а в чем призналась бы ты, если бы тебе устроили подноготную или морили голодом? Холодом?

Чем морили Жемчужину? Она ни в чем не призналась?

В ее “Деле”, среди всех справок, доносов, допросов — страничка. Ее рукой: “Четыре года разлуки, четыре вечности пролетели над моей бедной, жуткой, страшной жизнью. Только мысль о тебе, о том, что тебе еще, может быть, нужны остатки моего истерзанного сердца и вся моя огромная любовь, заставляют меня жить”.

К кому обращены эти слова?

К дочери? Возможно. Однако нечто между строк и в строках намекает на мужчину.

К Молотову? Мужу, не сумевшему защитить? Возможно...

Или мое предположение о любви Жемчужиной к Сталину неожиданно встретило тут подтверждение? “Огромная любовь”, “только мысль о тебе” предполагают достойного — пусть и во зле — героя: полюбить — так Дьявола...

Кстати, при обыске в Кустанае перед отправкой в Москву у Жемчужиной были изъяты (зачем изымали такое? — Л.В.) тетради с конспектами произведений классиков марксизма-ленинизма и материалы девятнадцатого съезда КПСС.

* * *

Кто была Жемчужина? Женщина из партийной машины? Советская Эсфирь, на мгновение позволившая себе стать библейской Эсфирью и наказанная за это самой машиной?

Похоже, что так. Фигура ее — сильная, противоречивая, чрезвычайно характерная для сталинского времени: переплетенье веры с ложью — ушла в историю почти незамеченной. Но треугольник: Сталин — Жемчужина — Молотов, даже если отбросить мое предположение о любви Жемчужиной к Сталину, таит в себе взрыв шекспировских отношений.

Те, кто встречался с Молотовым в последние вдовы годы его долгой жизни, рассказывают одно и то же: “Вячеслав Михайлович в день праздника седьмого ноября достал коньяк, налил:

— Первую — за Ленина!
Вторую — за Сталина!
Третью — за Полину Семеновну!
И убрал бутылку”.

P.S. Внучка Жемчужиной свидетельствует, что после смерти Молотова люди секретных служб неоднократно посещали семьи молотовских внуков (даже в период перестройки. — Л.В.) и унесли много бумаг.

Где эти бумаги?..

“ПОДРУГИ” СИНЕЙ БОРОДЫ, или ЖЕНЩИНА ИЗ АБРИКОСОВОГО ОБЛАКА

Идет допрос Преступника. Вопросы задает Обвинитель.

ВОПРОС: Признаете ли вы свое преступно-моральное разложение?

ОТВЕТ: Есть немного. В этом я виноват.

ВОПРОС: Вы признаете, что в своем преступном моральном разложении дошли до связей с женщинами, связанными с иностранными разведками?

ОТВЕТ: Может быть, я не знаю.

ВОПРОС: По вашему указанию Саркисов и Надария вели списки ваших любовниц. Вам предъявляется девять списков, в которых значатся шестьдесят две женщины. Это списки ваших сожительниц?

ОТВЕТ: Большинство женщин, которые значатся в этих списках, — это мои сожительницы.

ВОПРОС: Кроме того, у Надарии хранились тридцать две записки с адресами женщин. Вам они предъявляются. Это тоже ваши сожительницы?

ОТВЕТ: Здесь есть также мои сожительницы.

ВОПРОС: Вы сифилисом болели?

ОТВЕТ: Я болел сифилисом в период войны, кажется в 1943 году, и прошел курс лечения.

Далее Обвинитель предъявляет иск подсудимому в изнасиловании ученицы седьмого класса, которая потом родила от него ребенка. Подсудимый заявляет, что все было по добром согласию.

Кого судят? Сексуального маньяка? Средневекового монстра? Или современного морального уродца-бродягу, эдакого женоглода, людоеда, главаря преступной шайки охотников за женщинами?

Судят члена Политбюро ЦК ВКП(б), министра внутрен-

них дел СССР, заместителя Председателя Совета Министров СССР, Маршала Советского Союза, Героя Социалистического Труда Лаврентия Берия. У него много еще других званий и наград — устанешь перечислять.

На суде вскрываются ужасающие факты беззаконий, предательств, подлости. Выворачиваются наизнанку всевозможные гнусности, совершенные Берией: массовые убийства на протяжении десятилетий. И между прочим, уже в конце, как обычно эта тема и возникает в конце любого события: незначительная, второстепенная, словно бы дополняющая аморальный облик... Маленькая деталь. Характерный штрих: женщины.

* * *

Для девушек моего возраста этот штрих был вполне возможной реальностью, если какой из нас случилось попасться ему на глаза.

— Ты уже большая. Выглядишь старше своих лет. Будь осторожнее на улице. Никому не доверяйся. Мало ли какие бандиты бродят, — учит меня мама.

— Говорят, чекисты Берии хватают девчонок прямо на улице. Там, где его особняк... — говорю я, подросток.

Мама делает большие глаза. Она всего боится.

1950 год. Мы живем в Москве всего несколько лет. После эвакуации — уральского заводского поселка — столица никак не приучит к себе. Знакомых у нас немного. Отец засекречен, никогда ничего о своей работе дома не говорит. Вообще, домой приходит поздно. Я знаю — он один из конструкторов замечательного танка Т-34.

А что мне этот танк? Какая-то военная машина.

Я люблю отца и жалею его: он работает днем и ночью. Мама говорит, что в Москве у него совсем другая работа, чем на Урале, — меньше творчества, больше административных дел.

В нашей семье, как и почти в каждой, было свое “темное пятно”. Где-то сидел в тюрьме двоюродный брат отца, талантливый инженер Андрей Федорец.

Я приставала к матери:

— За что посадили дядю Андрея?

— Ни за что. За анекдот. Донес на него какой-то мерзавец.

— Ни за что не сажают.

— Молчи. Ты ничего не понимаешь. В тридцать седьмом всех ни за что сажали.

— Не может быть!

— Все может быть. Лес рубят — щепки летят. Люди не щепки. Ты поменьше болтай.

— Но ведь папу не посадили, значит...

— Это ничего не значит. Папино КБ выжило благодаря Петру Ворошилову. Был такой момент, в конце тридцать седьмого, когда отец и Морозов висели на волоске (Морозов — главный конструктор завода, отец — начальник конструкторского бюро. — Л.В.). Я тогда не спала ночами. Ждала каждую ночь: придут.

А Петр как раз проходил практику у отца в конструкторском бюро. И он сказал своему отцу, Клименту, что нельзя оголять участок такой важной работы — некому будет делать танк.

— Так уж и некому.

— Я говорю, что знаю.

Моя мать всего боялась до самого последнего дня своей жизни. Очень боялась милиции. Честнейшее, добрейшее, умнейшее существо, она переходила на другую сторону улицы, если видела идущего ей навстречу милиционера. На всякий случай.

— Ты эту чушь про Берию никому не повторяй. Но в центр без меня не езд.

— Ага, значит, правда?

Мы живем на Первой Мещанской. Не самый прекрасный район. Говорят, подручные Берии охотятся в центре.

Но вот прошел слух: какую-то хорошенькую девчонку умыкнули из района Театра Красной Армии. Это же совсем близко от нас! Но какое Берия имеет ко мне отношение: я толстая и в очках. Меня не умыкнут.

Среди привилегий моего отца есть возможность брать билеты в театры по специальной книжке. Так я попадаю на "Ивана Сусанина", "Лебединое озеро", "Евгения Онегина".

Я вижу Уланову в "Жизели". Я пишу стихи и мечтаю быть актрисой. Очень нескромное, но типичное мечтание. Воображаю себя всеми героинями на свете. И внимательно смотрю на старших девушек и женщин, как они ходят, говорят, улыбаются. Как одеты.

В послевоенной Москве много крепдешиновой пестроты и штапельного разнообразия. Женщины в массе — все в цветочках, розочках.

Тревога разлита в воздухе, я чувствую ее, но не знаю причины: книги и собственные стихи заслоняют от меня реалии мира.

В антракте гуляю с подружкой в фойе Большого театра, разглядываю публику и вдруг вижу: наискосок через фойе в кольцо военных быстро идет воздушно-абрикосовая, неземной красоты женщина, улыбаясь то ли стеснительно, то ли растерянно. Золотые волосы. Черты лица мягкие, милые, добрые. А платье, платье невозможно описать, оно льется, струится и обтекает.

Нина Берия...

Тут вырывается из глубины подсознания страшная сказка о Синей Бороде, пожирателе женщин...

Не может быть!

Чего только не наплетут люди. Ну как, имея такую жену-красавицу, можно смотреть на каких-то девчонок? И кого-то умыкать? Чушь!

Наступает 1953 год. Тайное становится явным.

Потом двадцатый съезд.

Потом идут десятилетия, споткнувшиеся о перестройку.

Прошлое становится загадочным и желанным.

Женщина из абрикосового облака?

Кто ты была — сообщница или жертва?

В Лондоне, где я жила с мужем, корреспондентом “Известий”, еще в 1972 году вышла в свет книга “Комиссар”, целиком посвященная Лаврентию Бери. Большой том в блестящей суперобложке, на которой фотография героя в пенсне, выполненная как бы в негативе. Многозначительно: фотонегатив и жизненегатив.

В Англии эта книга продается свободно: плати и бери.

Бери, бери, бери Берию... Сколько хочешь.

И все же, беря Берию, я инстинктивно оглядываюсь. Стоит сзади паренек, смотрит, как я кладу книгу в большую сумку. Может ли быть, чтоб он следил за мной? Не может быть. Но как же это чувство страха — а я такая бесстрашная — вьелось в плоть и кровь!

Дома начинаю листать. Сейчас все узнаю. Да нет, не о нем — о ней, женщине, промелькнувшей перед моими глазами в Большом театре. Здесь, на Западе, они могут писать всю правду о нас. Им за это ничего не будет, кроме гонорара.

По всем правилам документального искусства сделана книга: большая библиография в конце, а также именной указатель. Автор — Тадеус Уиттлин.

Пролистываю в этой книге всем сегодня известные преступления Бери, стараюсь найти нужные мне страницы.

Ищу в двух направлениях: что сказано о жене, что написано о его любовных похождениях.

“Находясь в конце 20-х годов в Абхазии, — рассказывает Тадеус Уиттлин, — Берия жил в роскошном специальном поезде, в котором он приехал в Сухуми. Поезд стоял на запасных путях, на некотором расстоянии от здания станции, и состоял из трех пульмановских вагонов: спальни, салон-вагона с баром и вагона-ресторана.

В тот вечер, когда Берия собирался отправиться в Тбилиси, около станции к нему подошла девушка лет шестнадцати, среднего роста, с черными глазами и сдобной комплекции.

Девушка приехала из родной мингрельской деревни, соседствовавшей с деревней Мерхеули, откуда родом был сам Берия. Она попросила его заступиться за ее арестованного брата.

Берия заметил красоту девушки. Якобы желая получить

дополнительные детали о брате, он пригласил ее в поезд, но не в салон-вагон и не в ресторан.

В спальном купе Лаврентий приказал девушке раздеться. Когда она, испуганная, хотела убежать, Берия запер дверь. Затем он ударил ее по лицу, скрутил руки за спиной, толкнул на кровать, навалился на нее всем телом.

Девушка была изнасилована.

Берия продержал девушку всю ночь. На следующее утро он приказал своему ординарцу принести завтрак на двоих. Перед тем как уехать по делам, Лаврентий снова запер свою жертву. Берия был покорен свежестью и очарованием этой девушки, он также понял, что она именно тот тип, который полностью соответствует его чувственности. Она была молода и невинна, но выглядела созревшей. Она была скромна, изящна, но ни в коем случае не худа. У нее были маленькие груди, большие глаза, излучавшие добрый свет, и пухлый чувственный рот.

Было бы глупо с его стороны отказаться от такого создания природы. Берия провел еще несколько дней в Сухуми, проверяя выполнение пятилетнего плана 1928—1933 годов в деле строительства местных дорог и шоссе, нового жилья, больниц и школ. Все это время он держал свою маленькую пленницу запертой в поезде.

Так маленькая Нина стала его женой”.

Помню первое впечатление от прочитанного: я не поверила. Нет, не потому, что хранила какие-то иллюзии в связи с Берией. Он меня вообще не интересовал. Раз и навсегда решив, что он старый, страшный, злой садист, никоим образом напрямую не пострадав от него, я выкинула его, расстрелянного почти двадцать лет назад, из головы.

Но та красавица!

Нет, категорически не могло быть, чтобы гордая и прекрасная женщина прошла через такое унижение, дабы получить жизненные привилегии.

Конечно, Уиттлин не то что бы врет, он сочиняет, пишет так, словно при сем присутствовал. И вообще, он взял этот эпизод из книги Светланы Аллилуевой “Только один год” и расписал, раздул его.

Аллилуева со своими воспоминаниями, конечно, весомый

источник, но лишь в тех случаях, когда описывает свой собственный опыт. Когда же я читаю кремлевские легенды в ее пересказе, мне кажется, что все, рассказанное ей другими, удачная попытка дезинформации.

* * *

— Нина Теймуразовна... У нее были золотые волосы с медным отливом. Огромные карие глаза, пушистые ресницы, завивающиеся кверху, как у куклы. Прекрасная кожа и мягкий цвет лица. Хорошая фигура. Кривизну ног она искусно прятала. Невысокая. Отлично играла в теннис, — вспоминает былые дни вдова маршала Катукова, Екатерина Сергеевна.

После войны маршал Катуков в течение нескольких лет командовал советскими оккупационными войсками в Германии. Дрезден, где жили Катуковы, я уже писала об этом, стал местом паломничества советской знати: манили к себе красоты Германии, северский и мейсенский фарфор, меха и ткани еще догитлеровского производства, мелкие драгоценности, чудом уцелевшие в катастрофе немецкого поражения.

В то же время для кремлевских жен и детей открылась социалистическая Чехословакия, а в ней — курорт Карловы Вары. Испорченные нервными сталинскими стрессами и избыточным холестерином спецпитания желудка, печени, желчные пузыри и кишки стареющих властителей Кремля, их чад и домочадцев буквально возрождались, прополосканные чудодейственной карловарской водой.

По дороге на курорт или с курорта вожди, а чаще их жены с детьми заворачивали в Дрезден, к Катуковым.

Жена маршала Катукова — умная, зоркая, все понимающая женщина — смотрела и видела все. Она в тридцатых была женой кремлевского работника Алексея Захаровича Лебедева, который был посажен и расстрелян, сама два года сидела в Бутырках, сама прошла со своим вторым мужем-маршалом от Москвы до Берлина, сама была частью этого общества с той разницей, что они приезжали ненадолго, а она оставалась. Они нуждались в некоторой ее помощи, она нуждалась лишь в том, чтобы, уехав, не навредили. Поэтому была приветлива, ненавязчива, осторожна.

— Нина Теймуразовна и я играли в теннис. Иногда она играла со своими охранниками. Он не разрешал ей играть с чужими мужчинами.

После тенниса, если это было не в Дрездене, а в Карловых Варах, я бежала пить воду, а Нина Теймуразовна ехала к водопою на машине — Берия не разрешал ей ходить среди людей.

Следила за своей красотой. У меня был крем, мне дала его рецепт мадам Бенеш, я поделилась и кремом и рецептом с Ниной Теймуразовной. Забыла об этом. Там, в Дрездене, часто приходилось помогать приезжим женам членов правительства покупать сервизы, меха, шляпки. Иногда они не успевали завершить покупки, оставляли мне деньги, полагаясь на мой вкус. Я покупала, пересылала, отчитывалась в деньгах. И ни разу ни слова благодарности не получила ни от Жемчужиной, ни от Хрулевой, ни от Хрущевой. А Нина Теймуразовна, когда я вернулась в Москву, позвонила, поблагодарила за крем, сказала, что должна отдать долг. Пригласила к себе на дачу. Я поехала. Дача была в Барвихе. Когда приехала, Нина Теймуразовна как раз каталась на велосипеде, в своем, как говорится, квадрате: впереди военный, сзади военный. Как в клетке.

Очень красиво одевалась Нина Теймуразовна. Одно платье у нее было невероятной красоты, сшитое из двадцати пяти метров шифона. (Уж не то ли, абрикосовое? — Л.В.) Бриллиантами себя не увешивала, тогда вообще никто не вешал на себя бриллианты.

Однажды в Дрездене Нина Теймуразовна сказала мне:

— Я все смотрю и люблюсь, как вас любит Михаил Ефимович.

— А вы? — спросила. — Разве вас не любит муж?

— Я глубоко несчастна. Лаврентий никогда не бывает дома. Я всегда одна.

В Карловых Варах ее “люкс” был окружен стражей. Со всех сторон. Ей ничего было нельзя.

Она очень дружила со своим сыном...

С кем ни поговоришь, все знавшие те годы жену Берии сходятся во мнении: она очень хороший, добрый и, по всей вероятности, несчастный человек.

Сослуживцы Нины Теймуразовны по Тимирязевской академии, где она работала, вспоминают Нину Берия добрым словом: по ее просьбе Берия принял ее учителя, академика Прянишникова, и каким-то образом были смягчены некоторые удары партии и правительства по сельскохозяйственной науке. Многого, видимо, она все же не могла сделать, следуя кремлевскому правилу для жен: не лезь куда не просят. Не высываться!

Я расспрашивала людей, и кто-то сказал: кажется, Нина Берия жива.

Может ли это быть? Почему же, все бывает на этом свете.

Значит, она сама способна рассказать о себе всю правду? Зачем теперь ей лгать и таиться?

Я вспомнила, какими страшными эпитетами награждали ее мужа в дни его падения. Да и по сей день.

Что тогда творилось с нею, сыном? У нее есть внуки. Это заклеянное имя — пятно. А чем виновато дитя, в котором течет частица крови этого человека? Ребенок в школе может получить такой стресс от преследований, что страшно подумать. Дети жестоки.

Она жива. Значит, можно поехать к ней, расспросить ее, если она захочет говорить.

Но почему же я не еду? Почему?

Боюсь?..

Смешно сказать — боюсь. Да нет, не мистически зловещей тени ее казненного мужа. Боюсь полюбить свое старое воспоминание в лице живого человека и, таким образом, потерять чувство объективности, остроту восприятия личности через воображение. Боюсь, полюбив, размякнуть, почувствовать себя обязанной чего-то не договорить. В сущности, в каждом случае, при каждой встрече с героями этой книги я и без того попадаю в нелегкое положение: нужно сказать правду и нельзя оскорбить ни живых людей, ни память о мертвых.

И тут происходит очередное “чудо”, к которому я, работая

над этой книгой, уже начинаю привыкать: в газете “Совершенно секретно” появляется огромное интервью грузинского журналиста Теймураза Коридзе с Ниной Теймуразовной Берия.

Впиваюсь в текст, ища свое в строках и сквозь строки.

“Я родилась в семье бедняка”, — рассказывает Нина Теймуразовна, опровергая все сплетни, слухи, легенды. Интервью взято в 1990 году. Нине Берия 86 лет. Она прекрасно говорит и по-русски и по-грузински. Живет в Киеве, в малогабаритной трехкомнатной квартире. Из дому почти не выходит. Интервью дает на грузинском языке. Это перевод:

“Особенно трудно стало матери после смерти отца. В то время в Грузии богатые семьи можно было пересчитать по пальцам. Время тоже было беспокойное — революции, политические партии, беспорядки. Росла я в семье моего родственника — Александра Гегечкори, который взял меня в себе, чтобы помочь моей маме. Жили мы тогда в Кутаиси, где я училась в начальной женской школе. За участие в революционной деятельности Саша часто сидел в тюрьме, и его жена Вера ходила встречаться с ним. Я была еще маленькая, мне все было интересно, и я всегда бегала с Верой в тюрьму на эти свидания. Между прочим, тогда с заключенными обращались хорошо. Мой будущий муж сидел в одной камере с Сашей. Я не обратила на него внимания, а он меня, оказывается, запомнил.

После установления советской власти в Грузии Сашу, активного участника революции, перевели в Тбилиси, избрали председателем Тбилисского ревкома. Я переехала вместе с ними. К тому времени я была уже взрослой девицей, отношения с матерью у меня не складывались.

Помню, у меня была единственная пара хороших туфель, но Вера не разрешала мне их надевать каждый день, чтобы они подольше носились. Так что в школу я ходила в старых обносках и старалась не ходить по людным улицам — так было стыдно своей бедной одежды.

Помню, как в первые дни установления советской власти в Грузии студенты организовали демонстрацию протеста против новой власти. Участвовала в этой демонстрации и я. Студентов разогнали водой из пожарного брандспойта, попало и мне — вымокла с головы до ног. Мокрая, я прибежала домой, а жена Саши Вера спрашивает: “Что случилось?” Я рассказала, как

дело было. Вера схватила ремень и хорошенько меня отлупила, приговаривая: “Ты живешь в семье Саши Гегечкори, а участвуешь в демонстрациях против него?!”

Однажды по дороге в школу меня встретил Лаврентий. После установления советской власти в Грузии он часто ходил к Саше, и я его уже неплохо знала. Он начал приставать ко мне с разговором и сказал:

— Хочешь не хочешь, но мы обязательно должны встретиться и поговорить.

Я согласилась, и позже мы встретились в тбилисском парке Надзаладеви. В том районе жили моя сестра и зять, и я хорошо знала парк.

Сели мы на скамейку. На Лаврентии было черное пальто и студенческая фуражка. Он сказал, что уже давно наблюдает за мной и что я ему очень нравлюсь. А потом сказал, что любит меня и хочет, чтобы я вышла за него замуж.

(Характерен глагол “наблюдает” в устах объясняющегося в любви. — Л.В.)

Тогда мне было шестнадцать с половиной лет, Лаврентию же исполнилось 22 года.

(Опять, как и в случае с Надеждой Аллилуевой, невеста несовершеннолетняя. Но не забудем — это Кавказ, женщины созревают рано. — Л.В.)

Он объяснил, что новая власть посылает его в Бельгию изучать опыт переработки нефти. Однако было выдвинуто единственное требование — Лаврентий должен жениться.

Я подумала и согласилась — чем жить в чужом доме, пусть даже с родственниками, лучше выйти замуж, создать собственную семью.

Так, никому не сказав ни слова, я вышла замуж за Лаврентия. И сразу же поползли слухи, будто Лаврентий похитил меня.

Нет, ничего подобного не было. Я вышла за него по собственному желанию”.

Вот так. Приходится признать, что не всегда книги, вышедшие на Западе, содержат точную информацию. Приходится признать, что приснились Тадеусу Уиттлину Сухуми, три вагона для Берии и акт изнасилования.

Или кому-то другому приснилось. Уиттлин лишь пересказал чужой сон.

А если Нина Берия говорит неправду, выгораживая мужа, не желая сообщать всему миру, как на самом деле было?

Маловероятно. Семья Гегечкори. Берия — друг семьи. Вокруг люди. Некоторые живы по сей день. Да и зачем ей лгать о своей молодости? Чтобы хоть чем-то смягчить его посмертную участь? Но ведь она сама готовится к смерти, перед которой не лгут.

Она достаточно правдива в описании своего равнодушия к будущему мужу: вышла замуж, чтобы уйти из чужого дома.

“В 1926 году я закончила агрономический факультет Тбилисского университета и начала работать в Тбилисском сельскохозяйственном институте научным сотрудником. А за границу нам поехать так и не удалось. Сначала командировку Лаврентия отложили, потом появились какие-то проблемы, да и Лаврентий с головой ушел в свои государственные дела. А потом уже никто нас за границу не посылал, — рассказывает Нина Теймуразовна. — Жили мы бедно — время тогда было такое. Зажиточно, по-человечески жить тогда считалось неприличным. Ведь революцию делали против богатых и против богатства боролись”.

О, женщина! Опять проговаривается. Бедно жили не потому, что не могли богато: неприлично было показывать свои возможности. Поэтому партийный кремлевский стиль на всех уровнях диктовал показную скромность: наряды не выпячивать, это буржуазно, спецедай не хвастать — это не по-большевистски.

* * *

Мое повествование именно на этом этапе вдруг затребовало некоторого вывода.

Большевики, проводя среди женщин политику равноправия с мужчинами, а в сущности — равенства выполнять тяжелые работы, положительно относились к проникновению женщин в низшие, районные эшелоны власти. Так, уже знакомый нам с разных сторон тов. Абель Енукидзе в “Правде” от 7 ноября 1932 года пишет: “Особенно следует отметить увеличение

числа женщин в составе сельсоветов и горсоветов. Число их в сельсоветах с 151 298 (11 процентов) в 1927 году увеличилось до 316 697 (21 процент) в 1931 году”.

Принимая во внимание то обстоятельство, что в дальнейшем большинство мужчин в стране были выбиты из жизни войной, коллективизацией, репрессиями, появление женщин на разных участках социалистического строительства должно было поднять и те отрасли, где они стали работать, и самих женщин на гигантскую высоту всевозможных достижений: ведь женщины по природе своей более ответственные, чем мужчины, более старательны, менее амбициозны и, как правило, непьющи.

Почему же этого не случилось?

Да потому, что, дав женщине возможность работать во всех отраслях, всесоюзный большевистский мужчина повсюду спустил ей свои циркуляры, по которым она должна была трудиться на равных. В образовании, в медицине, в службе быта, наконец в искусстве. Она, всесоюзная женщина, не имела права употребить свои, веками выработанные принципы и привычки. Над нею нависли идиотские планы, безжизненные схемы, убогие формулировки. Если она не желала и не могла соответствовать им — машина выталкивала ее, в лучшем случае, на нижние уровни. Женское естество, женские природные таланты: этический, этнический, экологический, экономический — на общественном уровне не нужны были большевикам, как, впрочем, всем другим мужским партиям Европы и мира.

Рабыня осталась рабыней и, получив черствый кусок равноправия, грызла его в своем углу.

Кремлевские избранницы при всей исключительности их положения были теми же рабынями, но с возможностями. В семье почти каждый кремлевский вождь так или иначе ощущал женский каблук: Ворошилов ничего в доме не решал без Екатерины Давидовны, Каганович — без Марии Марковны, Молотов — без Полины Семеновны и так далее.

Но в государственном масштабе ни одна из них, включая и Аллилуеву, кроме, может быть, Крупской, и то лишь на первом этапе, ни на что повлиять не могла.

— Как реагировала Екатерина Давидовна, еврейка, на

арест Полины Семеновны, на смерть Михоэлса, на “дело врачей”? — спрашиваю я у Надежды Ивановны Ворошиловой.

— Что вы! Она была такая ортодоксальная. Все, что происходило, было правильно.

Но ведь это жизнь, в которой все они оставались один на один со своими мыслями, сомнениями, несогласиями. Были ночи наедине с собой, пока вожди работали или развлекались.

Нам не понять их, строительниц коммунизма?

Почему же?

“В 1931 году Лаврентия назначили первым секретарем ЦК компартии Грузии.

Лаврентий день и ночь проводил на работе. Времени для семьи у него практически не оставалось. Он очень много работал. Сейчас легко критиковать, но тогда шла жестокая борьба. Советская власть должна была победить. Вы помните, что писал Сталин о врагах социализма? Так ведь те враги действительно существовали...

Сталин был очень суровый человек с жестким характером. Но кто может доказать, что в то время надо было иметь другой характер, что можно было обойтись без жестокости. (Все это говорит в 1990 году вдова Берии, Нина Теймуразовна.) Сталин хотел создать большое и мощное государство. И он сделал это. Конечно, не обошлось без жертв. Но почему же другие политики в то время не увидели другой дороги, которая без потерь привела бы к заветной цели?”

Ох уж эта цель! Сталин вел, выжимая соки, не помечая сроки, Хрущев вел, обещая коммунизм внукам, остальные вели, о сроках помалкивая, вчера 500 дней, завтра еще что-то придумают вчерашние похмельные обкомовцы...

Да, на общественном уровне мужчина свяжет себя с любым “измом”: капитализмом, социализмом, коммунизмом, но никогда не согласится позвать на общественные уровни женщину и дать ей в руки хозяйство, чтобы она вывела его из тупика, как выводит дома.

Кремлевские дамы были рабынями, заранее знавшими, что никакой заветной цели нет, ибо ближе других рабынь стояли у этой коммунистической цели, удобно замененной им “кремлевкой”. Это были рабыни, талантливо, как умеют только женщины, преображавшие свой страх перед

партийной машиной в партийную преданность делу рабочего класса.

Их мужья, такие же, в сущности, рабы, ухватившиеся за кормило власти, делали это же самое топорно и грубо. Но зримо.

Они верили и не сомневались, потому что иначе было нельзя.

А кто сомневался — извините...

* * *

Жену арестованного маршала Блюхера Глафиру вызвал Берия. Он не угрожал ей, не расспрашивал о муже. Разглядывал. Было Глафире тогда 23 года.

Она потом вспоминала: “Берия сам вел допрос, очевидно просто из садистского любопытства. Он держался высокомерно. Не смотрел, а словно бы рассматривал человека, как рассматривают в лупу мелкую букашку. Его внешность вызывала отвращение. От него веяло холодом, безразличием ко всему человеческому в его жертве...”

Отсидела пять месяцев в одиночке, потом Бутырки, этап — Караганда...

Берия лично арестовывал комсомольского вождя Александра Косарева. Его жена Мария Викторовна кинулась, закричала: “Саша, вернись! Простимся!”

Заодно Берия арестовал и ее. Она провела в лагере семнадцать лет.

Анна Михайловна Ларина впервые увидела Берию в Грузии, куда приехала вместе с отцом и матерью. Он был тогда начальником ГПУ Грузии.

“Сидя за столом, Берия сказал отцу:

— Я и не знал, что у вас такая прелестная дочь!

Мне шел в ту пору пятнадцатый год. Я смутилась, покраснела, а отец ответил:

— Я никакой прелести в ней не замечаю.

— Выпьем, Миха, — обратился Берия к Цхакая, — за здоровье этой девочки! Пусть живет она долго и счастливо”.

Вторая встреча с Берией произошла у Анны Михайловны через четыре года в Батуми: “Ой, кого я вижу! Взрослая девушка стала!”

Третья встреча была в НКВД, в 1938 году, в кабинете наркома, куда только что назначенный наркомом Берия вызвал Анну Михайловну — арестованную жену Бухарина:

— Должен вам сказать, вы удивительно похорошели с тех пор, как я видел вас в последний раз.

— Парадоксально, Лаврентий Павлович, — даже похорошела! В таком случае еще десять лет тюрьмы — и вы будете иметь возможность послать меня в Париж на конкурс красоты...

После небольшой паузы, неожиданно, без всякой связи он спросил:

— Скажите, за что вы любили Николая Ивановича?..

От ответа я уклонилась, заявив, что любовь — дело сугубо личное, не обязательно в этом ни перед кем отчитываться".

Это лишь несколько эпизодов, довольно мягких, с женами Кремля, попавшими в мясорубку "врагов народа". Их иногда щадили. А каково было тем, безымянным?

Разные тогда ходили слухи. И о том, что Берия насиловал молодых красивых арестанток прямо тут же, в кабинете, пристреливая их, чтобы не болтали лишнего. Но и эти слухи требуют доказательств, как ни относиться к Берии. Он шел путями незаконий, но почему другие поколения должны следовать дурному примеру?

* * *

То, о чем я расскажу, поведало мне письмо моей читательницы. Я уже однажды "подарила" эту историю одной из своих литературных героинь, несколько изменив ее. Теперь привожу полностью большой отрывок из ее письма ко мне. Я назвала его:

Сталинград или Сталингад?

"...Ну да, пропустила букву. С кем не бывает. Печатала на машинке письмо с документацией в Сталинград от нашего секретного предприятия. И конверт на машинке напечатала — еще долго возилась с конвертом, не влезал он в машинку. Машинистка наша больна была, я и села печатать.

Пропустила букву "р". Нечаянно, конечно. Не заметила, что пропустила. Меня потом спрашивал следователь: "почему

вы букву “г”, например, не пропустили, было бы: Сталин рад. И все в порядке”.

Ну как ему объяснишь, что не хотела я ни в тюрьму идти, ни Сталина гадом на конверте обзывать.

А я, скажу без скромности, — красавица была. Даже в старости еще хороша. Но красота моя слишком идеальная, скульптурная. Наверно, Венера Милосская, ожившая, — это я. Взяли меня в тридцать восьмом году и долго допросами мучили за этот конверт. Требовали выдать организацию, в которой я якобы состояла. Шпионскую.

В тюрьме поняла я, что мое дело серьезное. Но сообщников своих, за полным их отсутствием, не выдала. Сидела я полгода, и вдруг меня каким-то странным образом одну-единственную отвезли на вокзал, впахнули в купе, заперли, а рядом в купе конвоир ехал. И весь вагон пустой был. Везли ночь. Вагон отцепили, отвели на запасные пути. Чекисты пришли за мной, посадили в легковую машину. Глаза завязали. Везли недолго. Ухитрилась щелку для глаз проделать, видела — проехали какой-то вокзал. Поняла — Москва. Потом лес пошел.

Развязали глаза — стою на краю лесной поляны. Елки усыпаны снегом. И вытянуты елки строго в линейку перед поляной. А на другом ее краю дуб-великан и большая береза с раздвоенным стволом. Так и запомнила я это. Перед поляной избушка, вернее — дача, вернее — дом. Ввели туда меня два солдата. Развязали руки. Села в большой комнате, оглянулась. Вся мебель в белых парусиновых чехлах: диван, стулья.

На стене картина висит. Копия — “Охотники на привале” Перова. Нервы успокаивает. Дверь в другую комнату. Я дернула ее — заперта. Из этой двери вышла обезьянка в коротком темном халате. Кривые в коленях, все в черных волосах ноги. Пенсне на носу. Прямо как на портрете. Обезьянка улыбнулась и сказала высоким хрипловатым голосом:

— Я решил лично побеседовать с вами. Буквы в ответственных письмах пропускаете. Случайно, говорите? О красоте вашей слух до Москвы дошел. Но в жизни вы еще лучше, чем по слухам.

Обезьянка села на диван и стала разглядывать меня. А я сижу, и мне даже не страшно. Ну, что делать? Понятно, зачем привезли. Но я себя знаю, вернее, не знаю, что могу выкинуть.

И вижу, — меня не обманешь, — я ему не нравлюсь. Понимает, что красивая, но не его тип: холодная, как статуя. И худая. Сейчас такие в моде, а раньше, в моей молодости, пухленьких любили. У меня при всей моей красоте успеха у мужчин не было. Муж мой один раз в сердцах сказал: “На тебе на парад только можно выезжать, чтобы все смотрели и любовались”.

— Платье снимать? Или так будете? Я немыта уже неделю.

Обезьянка засверкала золотыми зубами, нахмурилась. Немыта, не понравилось. И тут я быстро скинула свое тряпье и стою перед ним. В комнате было тепло, даже жарко, но кожа к теплу тряпья привыкла, а может, и от внутреннего волнения вся покрылась пупырышками. Стою и как будто вижу себя со стороны: тогда Освенцима еще не было, так с чем сравнить? Ключицы торчат, живот впалый, грудь висит — две тряпочки. Обезьянка отступила. Может, ему даже противно стало. А он сам-то какой голый? Могу представить. Но им, мужчинам, все можно, а мы возбуждать должны. Я вижу, он хочет уйти, и, сама не знаю зачем, говорю:

— Садитесь.

Проговорили мы долго. Я поговорить умею, расположить к себе. И в нем как будто человек проснулся, сказал, что устает, что в семье нет понимания, ну это они все говорят, когда души раскрывают или хотят соблазнить. Еще, когда соблазняют, плетут, что их жены “тяжело гинекологически больны”.

— Ваше преступление — пустяк. — Он говорил с восточным акцентом, но не сильным. — Хотя как посмотреть. Я хотел сам убедиться. Оставим тайне нашу встречу. В память о ней вас сегодня же отпустят. Будьте умницей, держите язык за зубами.

Он ушел. Я натянула свое тряпье и прилегла на диван, не подумала, что испачкаю тюремной грязью правительственную парусину. Провалилась в сон. Солдат разбудил, вывел. В соседней комнате дали поесть чего-то горячего, простого, вкусного. Какое-то пальто принесли, старое, но приличное. Дали билет на поезд и отвезли в центр Москвы, где и оставили. Вместе с билетом была записка. Обезьянка желала мне успехов в деле строительства коммунизма. Без подписи. Потом долгие годы я следила по газетам за продвижением этого чучела по крутой лестнице успеха. Или позора”.

— Скажите, почему он так отпустил вас? — спросила я ее, когда мы встретились.

— Ну, во-первых, я ему не понравилась. Не его тип. А во-вторых, думаю, он был тогда, в тридцать девятом, еще в самом начале карьеры. И многого еще боялся. Говорят, потом в Москве у него были десятки женщин, которых ловили прямо на улицах, он их насиловал. Тогда он уже осмелел. А может, еще знаете что я думаю, — мне тогда было уже двадцать шесть, старовата, и потом, поведение не невинное, а он, видимо, невинность любил, чтобы плакали, боялись, — если он был садист.

— И вас никто больше в связи с ним не беспокоил?

— Никто. На работе сначала косо посматривали — мало кто возвращался из тюрьмы. Но я никого не выдала, никого не засадила. И потом, все знали, за что меня взяли: букву пропустила в слове “Сталинград”.

— И вы уверены, что это был Берия?

— А кто же еще. Разве такого можно не узнать или, раз увидев, забыть?

— Какого, ну какого, скажите?

— Опасного. Он ведь ничего не сделал со мной. Просто посидел и хорошо поговорил. Но я все время чувствовала: от него исходит опасность.

— Опасность зверя?

— Опасность всесильного человека. Что захочет — сделает.

* * *

Бумеранг возвращается — по коридорам, где работал Берия, повели его вдову.

Нина Теймуразовна попала в мясорубку, устроенную мужем для других. Но его уже не было, и новые люди, вернее, старые, все те же — Никита Сергеевич Хрущев, Георгий Максимилианович Маленков, Вячеслав Михайлович Молотов, Николай Александрович Булганин, Лазарь Моисеевич Каганович — верные друзья и соратники Лаврентия Павловича победили его в борьбе за власть.

*Распроклятый Берия
вышел из доверия,
а товарищ Маленков
надавал ему пинков, —*

пели счастливые советские люди периода первых дней оттепели. Из тюрем возвращались одни — в тюрьмы шли другие.

“В июне 1953 года меня и моего сына Серго внезапно арестовали и посадили в разные тюрьмы. И только семью Серго не тронули: жена с тремя детьми осталась дома, — рассказывает Нина Теймуразовна. — Жену Серго звали Марфа, а ее девичья фамилия была Пешкова, она приходилась внучкой Максиму Горькому.

Сначала мы думали, что произошел государственный переворот или что-то наподобие контрреволюции и к власти пришла антикоммунистическая клика.

Меня посадили в Бутырку. Каждый день меня вызывали на допрос, и следователь требовал, чтобы я давала показания против мужа. Он говорил, что народ возмущен действиями Лаврентия.

Я категорически заявила, что никаких показаний, ни хороших, ни плохих, давать не буду.

После этого заявления меня больше не трогали.

В Бутырке я просидела больше года. Какие мне предъявляли обвинения?

Абсолютно серьезно меня обвинили в том, что из нечерноземной зоны России я привезла одно ведро краснозема. Дело в том, что я работала в сельскохозяйственной академии и занималась исследованием почв.

Действительно, когда-то по моей просьбе на самолете привезли ведро красного грунта. Но так как самолет был государственным, то получалось, что я использовала государственный транспорт в личных целях.

Второе обвинение — в использовании мной наемного труда. В Тбилиси жил известный портной, Саша. Он приехал в Москву и сшил мне платье, за которое я заплатила. (Уж не то ли, абрикосовое? — Л.В.) Наверно, именно это и называлось “наемным трудом”.

Среди прочих обвинений я услышала, что из Кутаиси в

Тбилиси ездила на лошадях с золотыми колокольчиками. На лошадях когда-то ездила, но золотые колокольчики — такого не было.

Люди любят фантазировать...

Я жила в камере в очень тяжелых условиях. Слышали, наверно, про карцер-одиночку, где нельзя было ни лежать, ни сидеть. Вот так я и провела больше года”.

Одиночка эта — изобретение человечества, усовершенствованное ее мужем, Лаврентием Павловичем.

Гримаса судьбы?

Насмешка?

Да, Нину Теймуразовну не называли “врагом народа”, ее даже обвинить ни в чем как следует не сумели. Но, посадив, ее уравнивали со всеми женщинами, пострадавшими из-за дерущихся за власть мужей.

И — парадокс — став в этот ряд вместе с женами Блюхера, Косарева, Бухарина, Якира, Радека и других, попав в одни и те же одиночки, лишь в другое время, Нина Теймуразовна самым фактом своего “сидения” дала возможность в будущем времени поставить мужа в определенной близости от мужей тех женщин, с тою лишь разницей, что те вышли из ленинской жилетки, а этот — из сталинской шинели.

Но разве сам Сталин не вышел из жилетки Ленина?

* * *

Перед казнью преступник признался в своем “преступном моральном разложении”.

Его жена этого не признает.

“Однажды следователь заявил, — говорит Нина Теймуразовна, — что у них есть данные якобы о том, что 760 женщин называли себя любовницами Берии. Вот так. И ничего больше”.

Читая эти строки, я почему-то вспомнила то бревно на субботнике, которое несли с Лениным еще двое, но с годами их количество все возрастало. Странная ассоциация, не правда ли?

“Лаврентий день и ночь проводил на работе. Когда же он целый легион женщин успел превратить в своих любовниц? — продолжает жена Берии. — На мой взгляд, все было по-друго-

му. Во время войны и после Лаврентий руководил разведкой и контрразведкой.

Так вот, все эти женщины были работниками разведки, ее агентами и информаторами. И связь с ними поддерживал только Лаврентий.

У него была феноменальная память.

Все свои служебные связи, в том числе и с этими женщинами, он хранил в своей голове. Но когда этих сотрудниц начали спрашивать о связях со своим шефом, они, естественно, заявили, что были его любовницами. Не могли же они назвать себя стукачками и агентами спецслужб...

Оставим до времени эту точку зрения Нины Теймуразовны, она нам еще пригодится.

Рассказывает Надежда Ивановна Ворошилова:

«О Берии и его темных делах с женщинами ходили самые разные слухи. В таких случаях думаешь: может, врут? Но со мной однажды произошло. В сорок втором году. Шла я по улице с Валея, племянницей Климента Ефремовича. Она к себе на работу в ТАСС, я — домой, в Кремль. Пристала к нам черная машина. Медленно едет следом, у обочины тротуара. Остатавливается. Выходит из нее гэнэушник — и к нам. Вернее, прямо ко мне:

— Девушка, я вас знаю.

— Откуда?

— Мы вместе с вами отдыхали.

— Не помню.

Он что-то начинает лепетать. Валя тут сворачивает к себе в ТАСС, а я иду. Молчу. Он не отстаёт.

Тогда уже ходили разговоры о разврате Берии и о том, что его полковники умыкают красивых женщин прямо с улиц. Я так и подумала, что этот из бериевских. А кто еще может быть?

Я убыстряю шаг.

Он за мной.

Машина едет рядом.

Я почти бегу, и он почти бежит, и машина убыстряет ход.

Люди оборачиваются.

Мне, главное, добежать до Кремля. Там он наверняка отстанет.

Добегаю. И верно, как только вошла в кремлевские ворота, никого за мной нет.

Я пришла домой, перевожу дух. Рассказываю Екатерине Давидовне. Думаю, она будет смеяться. А она понимающе смотрит на меня, и в глазах у нее ужас:

— Берия... Молчи! Молчи! Никому ни слова!"

— Разве не странно? — спрашиваю я Надежду Ивановну. — Неужели жена всемогущего или почти всемогущего Ворошилова могла в сорок втором году бояться какого-то, всего четыре года назад приехавшего работать в Москву Берии?

— Все тогда его боялись. У всех что-то было неладно в семье. Сталин и НКВД сделали так, что каждый человек себя чувствовал виноватым. В чем — неизвестно. Независимо от положения в обществе. У всех кто-то сидел в тюрьме. У Ворошиловых мои родители были изъязном, у Кагановича — его брат, у Буденного — жена, певица Михайлова. Каждый должен быть запятнан — вот в чем состояла политика.

— А если бы вы вошли в контакт с тем гзпэушником?

— Зачем? Он, узнав, что я сноха Ворошилова, сам отлетел бы пулей.

— Но почему же тогда испугалась Екатерина Давидовна?

— Безотчетный страх.

* * *

Уже известный нам Тадеус Уиттлин не жалел красок в описании бериевских походов, зная, что западному читателю только подавай "клубничку". Он сделал попытку дать некий собирательный образ злодея, которому все позволено, и некую собирательную ситуацию злодейства:

"Обычно машина Берии останавливалась у Театра Красной Армии. Там недалеко была женская школа. Ученицы расходились с уроков. Берия, как черная пантера за оленятами, наблюдал за ними. Когда замечал пухленькую девочку 14—15 лет, розовощекую, с влажными губами и ослепительно белыми зубами, он указывал на нее кивком головы. Полковник Саркисов, высокий, худощавый человек, подходил к девочке, отдавал честь, просил следовать за ним. Берия из машины наблю-

дал в бинокль, как ужас в глазах жертвы нарастал, и это доставляло ему огромное удовольствие. Девчушка понимала, что спасения нет. Она отделялась от группы ошарашенных сверстниц и, поникшая, как рабыня, шла за истязателем. Когда она садилась рядом в машину, Берия даже не глядел на нее, он знал все, что будет: рыдания, целования его рук, ботинок, просьбы отпустить.

Держа девочку за руку, Саркисов вталкивал ее на Лубянке в кабинет Берии, который садился за стол и тихо требовал, чтобы девочка разделась. Если она прирастала к полу, дрожала и редела, Берия вытаскивал кнут из ящика и ударял девочку по икрам ног. Она могла кричать сколько угодно: в его кабинете все кричали и плакали — никто не смеялся. Он повторял приказ раздеться. Сдавшись, она раздевалась. Он бросал ее, голую, на диван, сминая своим весом. Если инстинктивно она сжимала ноги, он левой рукой брал ее за волосы и бил головой о деревянный подлокотник дивана. Девочка сдавалась. Наступал радостный миг для Берии, когда он входил в молодое невинное тело, словно разрывал его. Девочка кричала — он целовал ее слезы, катившиеся из молодых невинных глаз. Дефлорировать, то есть лишить невинности молодое женское тело, было для Берия высшим наслаждением. Девочку тошнило от запаха водки, чеснока, гнилых зубов...

Иногда Лаврентий был более благоволив к жертве, улыбался, уговаривал, что нет смысла пугаться. Спрашивал о родителях, братьях, сестрах. Обещал послать их всех в лагерь, если она не согласится.

Иногда вместо Лубянки Берия приводил девочек в свой дом, там предлагал гостье стакан вина. После вина девочка засыпала, и он овладевал ею. Присутствие в доме жены не останавливало Берию, жене было раз и навсегда сказано, чтобы она не входила к нему в кабинет.

Бывало, девочки, использованные, выброшенные из его дома, тут же бросались в Москва-реку или вниз с крыши высокого дома”.

— Позвольте, — скажет разумный, внимательный читатель, — несколькими страницами назад вы сами сделали все, чтобы устами жены Берии опровергнуть сплетню из книги Уиттлина. Зачем же вы снова обращаетесь к дезинформатору, лжецу, тем более, что манера Уиттлина описывать все так, словно он при сем непременно присутствовал, не способствует доверию?

— Да просто у меня есть возможность сравнить его сочинение с реальностью.

Девушка в коралловом платье

Это случилось с моей подругой. Моей собственной. Она старше меня на пять лет, и подружались мы с ней уже в шестидесятых.

В каком-то разговоре, не помню как, возникло имя Берии. И она, простая московская, далеко не кремлевская женщина, сказала: “А ведь я побывала в его лапах, когда была девчонкой”.

Рассказала все, как было. В подробностях.

Прошли годы. Естественно, все мы давно забыли о том разговоре, и вот сегодня, сидя над этой книгой, дойдя до главы о женщинах Берии, я вдруг вспоминаю, что моя, моя, моя подруга, близкая моя была в его вертепе. Упущу ли возможность? Нужно только повторить рассказ под магнитофон.

Звоню. Беру с места в карьер:

— Слушай, мне нужно одно твое воспоминание.

— Господи, откуда они у меня?

— Есть, есть. Одно страшное воспоминание из молодости.

— Ах, это! Зачем?

— Пишу книгу о женщинах Кремля.

— А я при чем?

— Мне нужно повстречаться с женщинами, которые попадали в лапы к Берии. Ты помнишь подробности?

— Разумеется. Только...

— Да, да, понимаю. Имя заменю. Фамилию не скажу. Некая Верочка.

— Андрей не знает. (Это муж, с которым прожито тридцать лет.)

— Правильно. Зачем ему знать? Его тогда не было в твоей жизни. Когда можно приехать?

— Хоть сейчас.

И вот мы сидим в Москве девяносто первого года со всеми ее сегодняшними особенностями, и подруга моя вспоминает:

— Был конец июня или самое начало июля пятьдесят второго года. Мне исполнился двадцать один год. Я только что получила диплом об окончании института иностранных языков. Выдавали нам дипломы в школьном здании, на улице Щусева. Три подружки, веселые и счастливые, мы вышли на улицу, завернули за угол, перешли дорогу, пошли по улице Качалова к Садовой.

Я была в коралловом платье в мелкий белый цветочек, нитка жемчуга на шее. Не знаю, какая я была красавица, зубы у меня были белоснежные. Особенности. Все их замечали. Ну и улыбку, конечно.

Возле особняка, ну, того самого, бериевского, стояла группа мужчин, мы их, конечно, заметили, и Берию тоже, но всеми своими мыслями были так далеко от него, что, можно сказать, увидели и не увидели.

На углу Садовой и улицы Качалова мы распростились и пошли — каждая в свою сторону. Мне нужно было перейти Садовое кольцо, сесть на десятый троллейбус и доехать до Зубовской площади, где жила я с мамой в большой, замызганной коммуналке.

Перехожу. На миг у перехода останавливаюсь, чтобы пропустить идущую машину. Подходит полковник. (Это Саркисов — главный исполнитель женских поимок для Берии. — Л.В.)

— Я хочу с вами поговорить.

— О чем?

— Очень серьезный разговор. Вас приглашают в гости.

— В какие гости?

— Но вы же видели, с кем я гулял. Вы видели?

— Да, — вспоминаю я, что минуту назад я вроде бы видела Берию в группе военных.

— Этот человек хочет видеть вас. Он приглашает вас в гости.

Я, идиотка, говорю:

— Да, но товарищ Сталин учит нас быть бдительными.

— Но вы же видели, с кем я гулял, — повторяет полковник, у него, наверно, от моего высказывания все внутри расхохоталось. — Сомнений быть не может. Это надежный человек. Вы откуда идете?

— Диплом получала. Институт иностранных языков окончила.

— Он вас видел несколько раз. И очень хочет помочь вам в жизни.

Я как-то не поймалась на эту удочку. Мне казалось, что я не нуждаюсь ни в какой помощи: получила диплом, получила распределение в школу — все как и хотела. Но мне стало страшно. Очень страшно. Мы стояли с этим полковником у перекрестка и очень долго говорили. Потом перешли улицу и долго говорили на другой стороне Садового кольца. Он все талдычил, что меня приглашают в гости, что я же видела, кто приглашает, что тот человек — он ни разу не назвал имени — хочет мне помочь.

А я свое:

— Как я могу вам поверить? Кто вы? Товарищ Сталин учит нас быть бдительными.

Минут пятнадцать ходили мы по тротуару. Он не отступал:

— Вам не помешает, если вы придете в гости. Хуже вам от этого не будет. С кем вы живете?

— С мамой.

— Так вот. Мы знаем, где вы живете.

— Откуда?! — бабахнуло в моей голове. И стало еще страшнее.

— Мы все знаем о вас. Мы подъедем за вами на машине в девять вечера. Не доезжая до вашего подъезда, будем ждать. Ничего не бойтесь. Вам ничего плохого не угрожает.

Он ушел. Я села в троллейбус, и за мной сразу прыгнул парень. Этот сексот доехал до моей остановки и, можно сказать, “проводил” до квартиры. В открытую. Посмотрел на но-

мер и побежал вниз. Я, войдя в комнату, бросилась к окну и увидела, как он сел в черную машину, она развернулась и ушла.

До вечера я была в комнате одна, мама на работе, мысли вертелись и крутились, сжигали, очень интересно: почему пригласили меня? Почему на меня обратили внимание? Три девушки шли, а увидели и выбрали меня. Зачем? Мысль самая простая и примитивная, самая верная почему-то не приходила в голову. Я привыкла думать, что все люди хорошие, подлецы в книжках.

Время шло к назначенному часу. Я отгладила свой новый синий шелковый костюмчик — гордость гардероба. Подспудно была у меня мысль: наверно, будет разговор о работе, может, предложат очень хорошую работу, — поэтому приколола на отворот комсомольский значок.

В окно увидела черную машину. Вышла. Тот же полковник ждет у тротуара. Мне показалось, он боится, что я не сяду в машину, почему — не знаю, но показалось — так он смотрел на меня.

Как только я села, полковник успокоился. Он сказал: "Мы с вами сейчас поедem к новому зданию Университета. Его должны вот-вот открыть". Он сказал, что принимал участие в строительстве этого здания и тот человек сделал много, чтобы здание Университета возникло в Москве. В присутствии шофера он ни разу не произнес имени Берии. Остановилась машина у парапета, между Москва-рекой и Университетом. Полковник предложил выйти.

— Вы видели, с кем я гулял, — опять начал он, — тот человек хочет видеть вас. Очень хочет видеть вас.

— Что дальше? — спрашиваю я.

С помощью своего сексота полковник получил информацию, где я живу, и начал петь песню:

— У вас все будет, вы будете жить в прекрасной квартире. У вас есть телефон?

— Нет.

— Будет. Где работает мама?

— В проектно-институте. Послушайте, нам ничего не нужно. У нас все есть. Меня интересует, зачем я вам понадобилась?

И опять в который раз повторяю ему бессмысленную фразу о том, что товарищ Сталин учил нас быть бдительными. Вижу, я страшно надоела ему, но терпит.

— Мы за вами давно наблюдаем. Вы тот самый скромный, нуждающийся человек, которому он решил помочь. У вас будет хорошая работа.

— Что я должна делать?

Этот вопрос вдохновил его. Кажется, он подумал, что я его поняла. А я-то как раз и ничего еще не поняла.

— Мы садимся в машину и едем туда, где мы с вами познакомились. Вы же видели, с кем я гулял? Уже поздний час. Это займет у вас немного времени.

Последние слова меня как бы отрезвили: правда, мама уже пришла домой и, наверное, волнуется, где я. Быстрее понять, что от меня нужно.

Как только я села в машину, она понеслась пулей.

Полковник втолкнул меня в маленькую дверцу и быстро закрыл ее за мной.

Я осталась одна в огромной комнате с длинным столом и высокими кожаными стульями.

На кошачьих лапах появился Берия. Я поздоровалась. Он протянул мне руку. Предложил сесть и сам сел рядом на кожаный стул. Старый. В пенсне. Старше, чем на портретах. Стал расспрашивать, кто я. Я говорю, а в голове мелькает: как же так, полковник сказал, что обо мне все известно, а он расспрашивает, как будто ничего не знает.

— Есть в семье арестованные?

— Есть.

— Кто?

— Муж тети, маминой сестры. Мы с тетей живем в одной квартире.

— Как фамилия?

Сказала. Он нахмурился, вспоминая.

— Не помню такой фамилии. Где работает мама?

Сказала.

— Кто еще есть в семье?

Сказала. После этого вопроса он долго молча рассматривал меня.

— Почему вы переоделись? То платье вам так шло. Нет, костюм тоже хороший, но очень официальный.

— Мы ведь будем говорить об официальном? — пролепетала я.

— Да, конечно. Но прежде нужно поужинать.

Он нажал кнопку — весь этот длинный стол был усеян кнопками. Неслышно вошла женщина. Вся огромная комната устелена коврами. Шторы на окнах задернуты, темные бордовые шторы.

— Накройте стол.

Мы с ним прошли эту громадную комнату насквозь, повернули налево в дверь и попали в меньшую, но тоже большую комнату, всю уставленную скульптурными вещами.

— Сюда мы придем попозже, — сказал он, и мы попали в небольшую комнату, где был на двоих накрыт стол. Вино, фрукты, лаваш — наверно, его любимый хлеб.

И он смачно начал есть. Налил мне вина. Я говорю:

— Я пить не буду. Товарищ Сталин учит нас быть бдительными.

Он посмотрел на меня, как будто не понял.

— Ну хоть пригуби.

Я пригубила и подумала, что в вине может быть что-то снотворное. Мысль о том, зачем меня сюда привезли, начинала формироваться в голове, и, видимо, срабатывали защитные реакции. Я стала есть. Он долго расспрашивал меня о семье, об институте, опять твердил, зачем переоделась, говорил, что давно обратил на меня внимание (когда и где он меня мог видеть, кроме сегодняшнего дня?). Опыанел.

— Куда тебя распределили?

— В школу.

— В школе тебе нечего делать, нужна работа получше. Живешь в коммунальной квартире?

— Да.

— Это не подходит для такой красивой девочки.

Вдруг он говорит:

— Кто сейчас у тебя дома?

— Мама.

— Она, наверно, волнуется?

— Да. Очень.

— Ты должна сейчас же написать маме, что задерживаешься и вернешься утром.

Тут меня взяла кондрашка. Входит молодой человек, несет лист бумаги. И моментально исчезает.

— Пиши, — говорит: — “Дорогая мама, не волнуйся, я нахожусь среди друзей. Буду утром”.

— Нет, я хочу домой, — пытаюсь я вырваться.

— Это сейчас очень сложно. Как ты поедешь? Ночь.

Женщина внесла чай. Пью. Зубы стучат о чашку. Ничего не вижу, не понимаю, одна мысль — как вырваться?

— А теперь быстро спать.

Он ведет меня в ванную, сам уходит. И тут же в ванной появляется огромный мужик и говорит:

— Ванна за ширмой. Помойтесь.

— Не надо. Я не грязная. Я ванну принимать не буду.

Меня бьет кондрашка. Мужик уходит. Я выхожу из ванной и попадаю в спальню. Большая двуспальная кровать. Появляется женщина, та же или не та же, не помню, не понимаю, она говорит:

— Здесь разденетесь, здесь ляжете.

В каком-то сумбуре чувств и мыслей замечаю большие шкафы для белья. Кровать застелена чистым, батистовым, тонким бельем.

Женщина подает мне большую батистовую ночную рубашку, но я не беру. Она уходит. Я остаюсь в своей комбинашке, ложусь на край кровати и, съжившись, лежу. Наверно, через полчаса из какой-то невидимой двери появляется он, в длинной ночной рубахе. Садится рядом. Видит, как меня колотит колотун.

— Ну что ты боишься? Ты такая красивая.

Начинает целовать плечи. Я трясусь еще больше. Отпихиваю его.

— Не бойся, не бойся. Зачем дрожишь? Ты что, девушка? У тебя что, никого еще не было?

— Не было! — шепчу или кричу я.

— Сколько же тебе лет? Семнадцать, восемнадцать?

— Двадцать один...

— И никого не было?

— Не было!

Он опять начинает бормотать что-то о работе. Опять целует плечи. Спрашивает:

— Правда? Девушка?

— Правда.

Я трясусь. Он встает и неслышно уходит.

Время шло. Начинало светать. Я лежала. Сна, конечно, не было ни в одном глазу. Появился полковник. Он сказал:

— В шесть часов придет машина. Отвезет домой.

В половине шестого вошла женщина. Она смотрела на меня с нескрываемым презрением, как на грязную тряпку, как на мерзкую тварь:

— Одевайтесь.

Я моментально оделась. Меня отвезли домой. Мать не спала, волновалась, хотя записку ей привезли — она не знала, что думать. Я, конечно, ей все рассказала.

Она почему-то не испугалась, поняв, что я осталась девушкой. Но я не успокаивалась. Утром пошла к подруге — ее отец был профессор, доктор наук, умница. Я все ему рассказала. В отличие от моей мамы, он тут же опустил шторы на своих окнах и сказал:

— Уходи. Пройди другой дорогой, чтоб не показывать этой банде пути к другим людям. Тебе лучше вообще уехать на все лето, как можно скорее.

И тут он сказал мне, что Берия известный развратник, что он перепортил уже много женщин и девочек, что я просто счастливая, так легко вырвалась. Он предположил, что Берия или устал, или уже слаб как мужчина, поэтому выпустил меня. Он также предположил, что на этом дело не кончится. И настоятельно советовал мне уехать как можно скорее и дальше от дома, чтобы никто не знал, где я. Еще говорил про Калинина и артисток оперетты.

Этот разговор и вся история как громом меня поразили. А я-то думала, что там, наверху, сидят кристально чистые люди и учат нас быть бдительными.

Я уехала на лето к старшей сестре, далеко, в Сибирь, в Красноярск. Вернулась к середине августа, вместе с сестрой и

ее маленькой дочкой. Сестре рассказала. Она отнеслась со всей серьезностью. Мама тоже была летом в длительной командировке.

Соседи, когда я вернулась, сказали, что несколько раз приходил какой-то мужчина, искал меня, спрашивал, куда уехала. Они ответили, под Калязин. Я нарочно дала им неправильный ориентир.

Через два дня после нашего приезда появляется парень:

— А вы приехали из-под Калязина? Вас хочет видеть полковник.

И вскоре полковник появляется. Я, во всеоружии неизвестно чего, браво спрашиваю:

— Что вам нужно?

— Как что? Товарищ хочет вас видеть.

— Какой товарищ? Почему вы не называете имени?

И тут выходит моя сестра с ребенком на руках. Она говорит:

— Если вы еще раз здесь появитесь, то вам будет плохо.

Смешные мы были. Кому угрожали? Кто мы и кто они? И все же полковник почему-то испугался. Он мог подумать, у нас есть какие-то связи или защита? Наша решительность и бестрашие его испугали? Не знаю.

— А что случилось?

— А вы разве не знаете, что могло случиться? — кричит моя сестра. Ребенок на ее руках начинает реветь. И тут полковник теряется:

— Вы поймите меня. Я на работе. Я исполняю свой долг. Я не могу послушаться приказа начальства.

— Ах, это называется долг! — кричит сестра. — Убирайтесь отсюда! Вы врете, что все о нас знаете. Мы и не под Калязиным вовсе были! Понятно? Вы нас на пушку берете!

Выгнали мы полковника. Но, уходя, он сказал:

— Мы еще встретимся. Мы вас не забудем. Он все равно хочет видеть вас.

Сестра уехала к себе в Красноярск. Я начала работать в школе. И чувствовала, за мной следят. Ходит человек. Однажды я даже обернулась, подошла, сказала:

— Забудьте дорогу ко мне!

Он ничего не ответил. Серый такой, как все они.

Потом другой ходил.

Сестра писала мне: "Будь очень осторожна. Не ходи по тротуару близко к домам, могут сбросить кирпич на голову".

Я старалась выполнять ее совет.

За мной ходили до ноября. В ноябре я вдруг почувствовала — нет никого. И стало легко. Но боялась, что опять начнут ходить.

Потом умер Сталин. Началась весна. Закончился мой первый учительский год в школе. В июне пятьдесят третьего я уехала работать пионервожатой в лагерь и там узнала, что начался суд над Берией.

Я облегченно вздохнула.

* * *

Теперь вернемся к высказыванию Нины Теймуразовны, отрицающему любовниц мужа.

Неужели она ничего не знала?

Вполне возможно: наивная женщина, окруженная чекистами, не дающими ей шагу шагнуть.

Но вот свидетельство Алексея Аджубея, зятя Хрущева, который знал кремлевскую жизнь поболее, нежели мы с вами:

"Бериевский особняк находился на углу Садово-Триумфальной и улицы Качалова, неподалеку от высотного здания на площади Восстания. Собственно, на Садовое кольцо и на улицу Качалова выходит высокий каменный забор, из-за которого не видно приземистого дома. Проходя мимо забора, москвичи прибавляли шаг и помалкивали. В те времена каждого провожал тяжелый взгляд наружных охранников. Однажды в 1947 году я был там на помолвке сына Берии — Серго. Он женился на красавице Марфе Пешковой, внучке Алексея Максимовича Горького. И Марфа и жених держали себя за столом сдержанно, да и гости не слишком веселились. Пожалуй, только Дарья Пешкова, младшая сестра Марфы, студентка Театрального училища имени Щукина, чувствовала себя раскованно.

Чуть позже в этом же доме поселилась любовница Берии — семнадцатилетняя Л., родившая ему дочь.

Нина Теймуразовна терпела ее присутствие — видимо,

иного выхода не было. Рассказывали, что мать Л. устроила Берии скандал, отхлестала его по щекам, а он стерпел. Не знаю, было ли так на самом деле, однако девица чувствовала себя в особняке прекрасно, и мама, видимо, тоже смирилась.

Я часто встречаю ее, теперь уже немолодую, но до сих пор обворожительную блондинку, и всякий раз думаю: вполне соеденимы любовь и злодейство”.

Многие люди рассказывали мне об этой Л., какая она была хорошенькая, как ее ребенок мирно играл с детьми сына Берия. Одно время мне хотелось встретиться с нею и расспросить, но, честное слово, я знаю, о чем она могла сказать, если бы вообще захотела говорить.

Я услышала бы, какой Берия был хороший, добрый и широкий человек, любил ее ребенка, Нина Теймуразовна была великодушна и добра, они жили в быту очень скромно, это на кремлевском языке значит — старались не бросаться в глаза своими возможностями.

Если бы она захотела быть совсем откровенной, то рассказала бы, какие вкусные обеды готовили повара, какие роскошные продукты можно было выписывать из “кремлевки” — словом, все, что нам с вами известно из других рассказов.

Сейчас много печатается воспоминаний разных любовниц Берии с одинаковым однообразием рассказывающих о благах, полученных за усердие в постели, — не буду приводить их.

Во все века у рычагов власти попадались такие развратники.

Кто-то в статье о Берии написал: “Где женщина, там и трата денег”. Хочу добавить — государственных. И раздача благ, тоже государственных. Оплата удовольствия за счет налогоплательщика.

* * *

Возвращаюсь к своей героине, Нине Теймуразовне, и ее интервью, данному грузинскому журналисту Теймуразу Коридзе. Ей, большую часть жизни проведенной в клетках — сначала роскошной, потом тюремной, — от природы умной и муд-

рой женщине, было о чем вспомнить и о чем задуматься за всю свою долгую жизнь.

Жертва она или соучастница?

Какой был выход?

Два.

Бросить все и уйти. Но это выход в тюрьму или, быть может, к расстрелу.

Другой выход — жить с закрытыми глазами, заслонившись сказкой о заветной цели, в которую так приятно и так легко поверить в первой половине двадцатого века на нашей земле.

Был третий путь: повторить бессмысленный подвиг Надежды Аллилуевой.

Нет, тут другой характер. Нина Гегечкори — грузинская девушка. Всей своей покорной жизнью она, должно быть, показывала Иосифу Виссарионовичу безусловную правоту его матери, убеждавшей когда-то сына взять и во второй брак девушку из грузинской деревни.

Берия невольно выполнил этот совет чужой матери. И не ошибся.

На границе света и тени, и в старости все еще красивая, Нина Теймуразовна хранит преданность памяти мужа. Именно преданность памяти его, какой бы он ни был. Память умерших умеют хранить одетые в черное чудесные женщины Грузии.

И Нина Берия говорит главное, что выстрадала она всей своей жизнью:

“ЧЕЛОВЕК ДОЛЖЕН ДУМАТЬ ТОЛЬКО О СВОЕЙ РОДИНЕ.

Никакой другой народ не оценит его труд. Передо мной пример Сталина, Орджоникидзе, Чхеидзе, Церетели, Гегечкори, Берии и многих других.

Они свято верили в то, что боролись за счастливое будущее всех народов земли, ради какой-то общей благородной цели. Ну и что вышло из этого? Они ни в чем не пригодились ни своей Родине, ни своему народу. А другие народы отвергли их труды. Вышло, что все эти грузины умерли без Родины”.

Какая простая, убогая, глубокая, чистая мысль!

Но кто поймет ее?

Правота этих выстраданных слов особенно характерна для интимных отношений ее мужа, которые она со своей позиции совершенно правильно отрицает, как настоящая жена: в Грузии, на родине, никто не позволил бы ему портить девочек.

За первую, ну, может, за вторую жертву он непременно получил бы пулю в лоб или нож в спину от отца или брата пострадавшей.

Что ж мы-то терпели, русские?

Московские, что же терпели?

Или это терпение есть наша отрицательная национальная черта и она привилась даже в Грузии, где страшной ночью погибло шестнадцать женщин и ни одного мужчины не нашлось рядом — защитить их и умереть? Неужели прав Лермонтов, сказавший “бежали робкие грузины”? Или вы умеете только убивать друг друга за пристрастие к политической фигуре?

Вижу, как при этих строках вспыхивают ваши мужественные лики, как вы ненавидите меня за эти слова.

Только Богу дано рассудить женщину и мужчину.

ХОЛОДНАЯ ПОСТЕЛЬ

Уход Надежды Аллилуевой из жизни был предопределен. Она мешала бы Сталину совершать историческое жестокое предназначение. А он не потерпел бы никаких препятствий на своем пути. Тем более женских. Тюрьма — самое мягкое и гуманное, на что могла она рассчитывать. Но и тюрьма для здравствующей Надежды Аллилуевой, с точки зрения хозяина, не выход: живет — значит говорит против, агитирует, вредит, действует.

Мне порой кажется, что наш СОЗДАТЕЛЬ, видящий СВЕРХУ на земле малую малость, доподлинно знает, что, когда и зачем должно случиться, и убирает каждого из нас разными путями, но в то самое время, когда каждый из нас и должен покинуть этот свет, выполнив свою миссию. Или за невыполнение. Что? У Сталина была миссия?

Сталин опять один. Он — в расцвете бушующих в нем политических чувств и мыслей. Истории известно происшедшее в стране на протяжении с 1932 (год смерти Аллилуевой) до 1953 года — срок в двадцать один год.

Но попробуем взглянуть на это же время со стороны многомиллионной женщины, вынужденно живущей так, как предписывает ей мужской мир. Давно забыты марксистские споры-бредни о равноправии женщины в обществе. Давно равноправие понято как равенство в одном только смысле: в возможности и необходимости для женщины выполнять любую тяжелую работу наравне с мужчиной, а также помогать ему в его категорической политике. Речи не может быть о том, чтобы дать ей выразить свое непредвзятое женское естественное мнение, желание, требование на уровне общественных отношений.

Планомерно приступая к репрессиям тридцать седьмого года, вдовий Сталин, наблюдая кремлевские, пусть далеко не совершенные, но достаточно домашние семьи, недоволен

вдвойне, втройне, вчетверне: у всех — семейные очаги. У него — холодная постель.

Кратковременные связи такому человеку удовлетворения принести не могут — он знает им цену.

Попытки серьезных намерений, прокручиваясь в изощренном мозгу, не дают желаемого результата: как все будет, знает наперед. И он, не отдавая себе отчета, а может быть, вполне отдавая себе отчет, ведет партийные репрессии, с особым удовольствием расправляясь с женами своих врагов. Разумеется, не столь сурово, как с самими врагами. Хотя в отдельных случаях жена заслуживает того же. Например, вредоносная Ольга Каменева, единоутробная сестрица Троцкого. Она и получает по заслугам: пулю в лоб во дворе Орловского централа. Вместе с Марией Спиридоновой.

А в основном — не так жестоко — женам врагов народа хватит тюрем: это хорошее наказание. Гуманное.

Хотя, как посмотреть. Выстрел в лоб — и отмучился, а тюрьма — долгие мучения. Зато есть надежда: исправится, поумнеет.

* * *

Жены Кремля и его подкрылков на всех уровнях в Москве и разных городах страны — пошли в тридцатых по этапам. Детей разметали по детприемникам.

Моя мать, Екатерина Васильевна, рассказывала мне:

— Родив тебя, я долго болела. Врачи прописали Мацесту. Струдом достали путевку. Я оказалась в Сочи. 1936 год. Вышла на пляж, остолбенела: весь пляж полон умопомрачительных пышных дам в роскошных халатах и купальниках. Это были жены наркомов, секретарей обкомов, крайкомов, маршалов.

Они общались между собой группами, по принадлежности их мужей к тому или иному клану. Пахло французскими духами. Они говорили о нарядах, о работе мужей: когда куда назначили или должны назначить.

Со мной не общались, спросили, кто я — а я была никто. Чувствовала себя очень неловко, никому не была интересна и скучала, пока не нашла мне такая же случайная в этом

обществе молодая женщина, жена конструктора из Ленинграда.

Мацеста помогла. К осени тридцать седьмого года болезнь опять обострилась, и опять, уже почему-то с легкостью, достали мне путевку. Я не хотела ехать: на заводе было напряженно, шли аресты, отца могли взять, но моя мама, твоя бабушка, Устинья Лаврентьевна, раскинула картишки — она была замечательная гадалка, я ее картам верила безгранично:

— Поезжай. Ничего не случится.

Сентябрь. Я поехала. И не узнала прошлогоднего пляжа — он был пуст. Куда девались дамы? Я потом поняла, что пошли по тюрьмам.

* * *

Сейчас, на исходе века, появляются воспоминания женщин, выживших в тюрьмах. Не буду повторять их. Мой рассказ — об оставшихся на воле, об атмосфере, которую тюрьма невольно накладывала на относительно свободную жизнь кремлевских и околокремлевских женщин.

Все оставшиеся, еще не зная, останутся или нет, сжались, съежились, зажалась, кто как смог. Такие, как Екатерина Давидовна Ворошилова, Мария Марковна Каганович, Полина Семеновна Жемчужина-Молотова, спрятались в идеологическую скорлупу преданности партии и Сталину, заковались в железные латы синих партийных костюмов и славословных речей — каждая на своем профсоюзно-партийном рабочем месте.

Каждый приближенный к Сталину человек должен был нести на себе клеймо тюремной тени. Тогда он слабел духом, был легко управляем и абсолютно подчинен. Мысль простая до слез и легкоисполнимая. Даже личный секретарь Сталина, Поскребышев, преданный ему как пес, принес на алтарь спокойствия вождя свою жену-еврейку и не рыпался.

Наверно, было особое удовольствие для Сталина понимать, что в каждой семье окружающих его своя трещина, свое горе, свой страх. Это примиряло вождя с действительностью, жестоко обидевшей его самого. Умея просчитывать ближайшее будущее и формировать его, он был близорук, почти слеп перед

дальним будущим, не предвидел своих мстителей ни в тех женщинах, которые уцелеют и вернутся из тюрем, когда его уже не будет в живых, ни в тех будущих детях, которые назовут его красную славу кровавой.

Все великие тираны обладают этой слепотой — иначе они не были бы тиранами.

Вернувшиеся из сталинских лагерей большевики рассказывали друг другу легенду, что в разгар тридцать седьмого года Надежда Константиновна с Марией Ильиничной, сестрой Ленина, посетили вождя, просили за старых большевиков. Сталин кричал на них:

— Кого вы защищаете — убийц защищаете!

Якобы Крупскую и сестру Ленина вывели под руки, бледных и дрожащих.

Жену Гамарника заставили держать ответ за мужа, “врага народа”. Строго спросили с нее на партсобрании Института красной профессуры. Она улыбнулась и сказала:

— О какой бдительности вы меня спрашиваете? Были еще люди, которые не заметили рядом с собой врага народа. Например, товарищ Сталин. Он на последнем приеме поднимал бокал за Гамарника — лучшего члена партии. Я считаю, Сталина тоже нужно привлечь!

Это высказывание стоило ей двадцати лет тюрьмы.

Вбезумии времени большевик Юрий Пятаков устно и письменно на воле и из тюрьмы каялся в не совершенных им преступлений и рвался сам расстрелять своих сообщников. Особенно хотелось ему застрелить собственную жену. Думаю, это чувство знакомо многим — мужчинам.

Несчетное множество фактов, картин и картинок той незабываемой эпохи...

Власть звезд

К началу Великой Отечественной войны кремлевские семейные авгиевы конюшни были хорошо прочищены Ежовым, Ягодой, Берией — Сталиным. С июня 1941 года страх, который все испытывали перед Сталиным, заслонился страхом перед Гитлером. А тут еще некоторое удаление от Сталина: крем-

левские семьи эвакуировались в Куйбышев — Сталин с командой оставался в Москве один. Один в холодной постели.

Вспоминает бывшая балерина Большого театра В.Б.:

— Москва сорок первого была пуста. Давали карточки. Но и по карточкам купить было нечего. Очереди перед магазинами выстраивались с ночи. Наступили ранние морозы. Оставшиеся в городе люди кутались во что могли. Много квартир стояли открытые — входи, бери, что хочешь. Никто не брал. А если брали, то мебель на дрова.

Помню, на Серпуховке упала первая торпедная бомба, и содержимое домов вылетело на улицу: скатерти, щетки, самовары. В воздухе кружились облигации. На трамвайных проводах висели простыни. У одного дома снесло, как срезало, половину, и обнажились комнаты — в одной, на высоком этаже, у стенки — кровать, а под кроватью живой ревуший ребенок. Жуть.

Почему бомбили Серпуховку? Кремль близко, к нему подбирались. На Серпуховке также два хлебных завода, а на Житной, рядом, — склады зерна. Немцы хотели полным голодом взять. Эвакуировали всех евреев и звезд первой величины. Часть трупы оставалась. Уезжая, Суламифь Мессерер говорила:

— Остаются те, кто хочет встретить немцев.

Мне, тогда совсем еще девчонке, это высказывание показалось обидным и несправедливым: многие остались по решению дирекции театра. Москва была пуста, но в Москве Сталин, дипломатические миссии, армейские подразделения и просто люди, которые по тем или иным причинам не могли уехать.

Москва была пуста, но Большой театр открылся в декабре 1941 года в своем филиале.

Сталин бывал часто. Вначале это лихорадило труппу — привыкли. Вообще создавалась какая-то нервно-веселая, возбужденная атмосфера. В зале на спектаклях бывало много иностранцев — дипломатов, много летчиков, танкистов. Главная сцена Большого открылась к лету сорок третьего года, часть труппы вернулась из Куйбышева.

Я в сорок первом как раз закончила балетную школу и начала танцевать на сцене. Вокруг вспыхивали романы.

Моя подруга Валя М. была в жгучем романе со знаменитым авиаконструктором. Она звонила ему, он присылал машину, и все мы, ее подружки, ехали в Серебряный бор купаться — летом сорок второго.

Другая моя подружка однажды говорит мне:

— Хочешь, поедem кататься? Сегодня. Пригласил один человек. На вид очень приличный. В шесть подойдет машина.

Я побоялась, а она поехала. И завезли ее к Берии. У нее в тюрьме сидели родители, и она через Берию добилась их реабилитации. Квартиру через Берию получила.

Многие артистки балета, миманса заводили романы с иностранцами. Как придет какая в лаковых туфлях или заграничном платье, всем ясно: дипломата подцепила.

Спектакли? “Коппелия”, “Дон Кихот”, “Лебединое озеро”.

Сталин любил оперу. Ходили слухи о его увлечениях в разные годы знаменитыми певицами Большого театра Натальей Шпиллер и Верой Давыдовой.

Обе певицы-долгожительницы. Вера Давыдова выступала в наше время по телевизору и рассказывала об ухаживаниях Сталина, о его предложении руки и сердца. Предложение испугало ее — она была счастлива замужем и отказала вождю народов, сославшись на крепкий брак и свою к вождю верно-подданническую любовь, несовместимую с бытовой любовью.

Сталин любил не только оперу. Его любимым балетом было “Пламя Парижа”, — продолжает В.Б. — В этом балете блистала Ольга Лепешинская. Вообще, тогда было ее время — она танцевала всюду, на всех самых важных концертах.

Никогда не забуду — Новый 1944 год в ЦДРИ. Мы с подругой попали туда и сидели за столиком рядом со знаменитостями. Боялись идти танцевать, прятали ноги под столом — у нас не было хороших туфель. И в центре внимания Ольга Лепешинская — яркая, в ослепительном платье, а рядом с нею генерал НКВД с красными лампасами на брюках — Райхман.

Поняв пристрастие Сталина к Большому театру, группа артистов написала ему о плачевном состоянии: нечего надеть,

нет костюмов, инструментов. По его распоряжению нам прибавили зарплату: я стала получать не 500 рублей, а 1400.

Вообще, еще в тридцатых, учась в балетной школе, я знала, что Большой театр находится на попечении высших мира сего — кремлевских вождей. Тогда бывал в кулисах Карахан. У него был роман с прямой-балериной. Она нам говорила:

— Я буду ездить в ЗИСах, а вы — смотреть.

Через год его репрессировали.

Над балетной школой шефствовал Енукидзе, он присылал в школу конфеты, печенье, устраивал в школе роскошные елки с подарками. Когда это все появлялось — то означало: скоро прибудет и он. Я была еще маленькая, но сплетни о Енукидзе и старших девочках — помню.

В войну много работали. Когда открыли и Большой, и филиал, то мне часто приходилось прямо в гриме перебегать по улице из одного театра в другой, из одного спектакля в другой. Благо — близко. Столько всякого говна перетанцевала!

* * *

Военные годы высветили женские фигуры, так или иначе приближенные к Кремлю. Певица Лидия Русланова — крупная, высокая, выразительная женщина. Знаменитая исполнительница народных песен. После войны ее посадили в тюрьму вместе с мужем, генералом Крюковым. Ходили слухи, что оба попали за решетку не зря и не случайно: много награбили в Германии — навезли уйму драгоценностей и вещей из немецких дворцов.

Лишь спустя двадцать лет я случайно получила некоторое разъяснение своим вопросам.

Екатерина Сергеевна, вдова маршала Катукова, рассказывает:

— Лидия Андреевна и ее муж были большими друзьями маршала Жукова, дружили домами. В День Победы мы с мужем были приглашены маршалом Жуковым на обед перед вечерним торжественным приемом в Кремле, у Жуковых мы увидели Русланову и Крюкова. Они запоздали из-за концерта. Их встретили весело, шумно, усадили на почетные места — рядом с хозяином.

Лидия Андреевна попросила слово для тоста. Она поздравила Георгия Константиновича с Днем Победы (гостями на этом обеде были все командующие армиями I Белорусского фронта), говорила и о жене Георгия Константиновича — Александре Диевне, верной спутнице, вместе с ним перенесшей все тяготы военной службы, подарила Александре Диевне красивую брошь, отколов ее от своего платья. Это было так естественно, и так похоже на Лидию Андреевну — широкую, открытую натуру.

В те же дни у Лидии Андреевны вдруг отобрали орден Отечественной войны — якобы он был вручен ей незаконно. Почему-то быстро забыли о концертной деятельности Лидии Андреевны во время войны: она шла со своими песнями вместе с войсками по фронтовым дорогам, вдохновляя бойцов и командиров. Почему-то забыли, что Лидия Андреевна в те трудные дни отдала свои личные сбережения на строительство танков и самолетов. Забыли о замечательном концерте Лидии Руслановой у стен рейхстага. У артистов тоже был свой боевой путь, который они закончили в поверженном Берлине. Рядом с автографами солдат на стенах и колоннах рейхстага были имена многих артистов. Лидии Андреевны тоже. В те дни народ называл Русланову: “гвардии народная артистка”.

Отобрали орден...

Немного позже Жуков отмечал свой день рождения. Наша служба проходила за границей, и мы с Михаилом Ефимовичем не были в числе приглашенных. У Георгия Константиновича к этому времени уже назревали неприятности, он все же разослал приглашения своим многочисленным друзьям. Но крысы бегут с тонущего корабля: никто из приглашенных не явился. За праздничным столом сидели двое — Георгий Константинович и Александра Диевна. Когда приехали Лидия Андреевна с мужем (единственные гости маршала Жукова), Георгий Константинович сказал Лидии Андреевне, что он было подумал, и она не захотела поздравить его с днем рождения. Русланова ответила: — Я простая русская женщина и за таким прославленным полководцем босая пешком до Сибири дойду.

Лидию Андреевну арестовали на гастролях в Саратове. В Москву ее везли самолетом уже как преступницу.

Вернувшись из заключения, Лидия Андреевна рассказывала: во время следствия от нее добивались, чтобы она как-то оклеветала Георгия Константиновича. Но она этого не сделала, ибо понятия не имела ни о какой-либо деятельности Георгия Константиновича против советской власти.

В следствии по "Делу" Лидии Руслановой все обстояло так, как рассказывала Катукова. Я читала "Дело", и мне показалось интереснее передать здесь рассказ современницы, чем снова мучить читателей идиотски-преступными допросами.

Зоя Федорова. И о ней вспоминает Екатерина Сергеевна Катукова:

— Зоя жаловалась, что о ней ходят слухи, как об американской шпионке. Я тоже слышала это.

Однажды Зою пригласили в гости к Берии. Прислали машину, и она вместе с офицером поехала на вечер, где, как объяснил ей офицер, будут и другие приглашенные. Ее привезли на дачу. Провели в столовую. Стол накрыт на двоих.

— Где гости?

— Не волнуйтесь, будут, — сказал офицер и исчез.

У Зои была грудная дочка, которую она родила от американца. Подходило время кормить, молоко распирало грудь, начинала болеть голова, нервы были на пределе. Вошел Берия. Все поняв, Зоя сказала:

— Если других гостей не будет, отправьте меня домой.

— А вдвоем мы не договоримся?

— У меня молоко в груди перегорает. Ребенка надо кормить, а не глупостями заниматься.

Берия рассердился, вызвал офицера и приказал отвезти Зою. У выхода другой офицер вручил ей цветы, явно не поняв, что она не выполнила предназначения. Разгневанный Берия, увидев, как ей вручают цветы, крикнул вслед:

— Это будет тебе на гроб!

— Вскоре ее арестовали, — заканчивает Катукова.

Общеизвестна судьба Зои Федоровой после тюрьмы, судьба ее дочери, уехавшей к отцу в Америку и вышедшей там замуж. Общеизвестно, хотя и не раскрыто преступление — убийство Зои Федоровой в Москве, на семьдесят шестом году жизни.

Тень Берии возникала тогда повсюду, где появлялись молодые яркие женщины. И, полагаю, много еще тайн, связанных с его зловещим именем, откроется, и много будет похоронено в памяти уходящих поколений.

В конце сороковых в КГБ были организованы курсы стенографисток. Набирали юных, красивых женщин. Светлана Р. окончила их, училась в институте. Она была странной девушкой: смесь развязности и скромности. Моему знакомому, влюбленному в нее, рассказала: курсы были скрытой формой гарема Берии. Что там творилось! Печать на всю жизнь.

Берии, кажется, пора попасть в Книгу рекордов Гиннесса.

Вот выдержки из описи вещей, найденных при обыске в его рабочем кабинете: “дамские спортивные костюмы, дамские кофточки, чулки дамские иностранных фирм — 11 пар, женские комбинации шелковые — 11 пар, дамские шелковые трико — 7 пар, отрезы на дамские платья — 5 отрезков, шелковые дамские косынки, носовые платки иностранных фирм... многочисленные письма от женщин интимно-пошлого содержания. Нами обнаружено также большое количество предметов мужчины-развратника”.

Что означает последняя фраза — можно только предполагать. Ломать голову. Лексика партаппаратчиков и чекистов, всегда заслонявшая истинный смысл слов словоблудием, явно не сработала — не нашла слов.

Черные розы от маршала Тито

*Черная роза — эмблема печали,
Красная роза — эмблема любви.*

Редкая девочка не мечтает стать кинозвездой. Этот новый вид искусства пожрал все остальные, вобрал их в себя и грозит уничтожить.

Какая девочка не мечтает?

Татьяна Окуневская не мечтала. Она думала о серьезном. Ей нравились не Дуглас Фербенкс, не Рудольфо Валентино, а английский премьер Антони Иден. Поступила в архитектурный институт. Но...

Ей было семнадцать, на улице подошел человек: предлага-

ет сниматься в кино. Ее папе, когда она с ним посоветовалась, неожиданно понравилось предложение незнакомого человека — почему бы и нет, девчонка ведь у него замечательная!

И началось! Побег из дому навстречу неведомым съемкам, поездки в экзотические республики, где она сводит с ума пылких восточных киномужчин, первое замужество по любви и страсти, рождение желанной дочери, бесчисленные приставания кинорежиссеров и организаторов съемок. И, наконец, первая серьезная роль юной жены старого фабриканта Карре-Ламадона в фильме “Пышка” по Мопассану.

И пошло! После успеха в “Пышке” Татьяна Окуневская играет в театре в классических спектаклях “Отелло”, “Трактирщица”, революционных “Мать”, “Железный поток”. Снимается в фильме “Горячие денечки”. Живет “звездной” жизнью в лучших гостиницах городов, где идут съемки:

“У меня своя ванна, я по несколько раз плаваю в ней! С ногами устраиваюсь на диване и читаю-читаю-читаю... Брожу по каналам! По набережным! А интересно, от счастья умирают?

Еще у меня роман. Я никогда не видела, чтобы человек был так влюблен. Он не ест, и смотрит, как я ем. Он стирает мои носочки, в которых я снимаюсь, и оставляет записку в моем номере: “Ваши носочки сохнут на батарее центрального отопления, а я сохну у себя в номере”, — так описывает сама Татьяна Окуневская начало своей головокружительной карьеры. Она бросает архитектурный институт и получает цукаты из пирога славы: по всей стране идет фильм “Горячие денечки”, на улицу нельзя выйти — люди узнают ее, кидаются, поздравляют, просят автографа. А она молода и столько еще счастья впереди!

Первый брак не получился, от него осталась дочь. Ничего. Все впереди — все в нее влюблены.

Как-то незаметно, умело, заинтересовав “звезду” возможностью написать вместе с нею сценарий фильма с главной для нее ролью, близко-близко оказывается тоже становящийся “звездой”, но в своих кругах, солидный претендент на внимание Татьяны Окуневской, писатель Борис Горбатов.

Он не нравится ей:

“Кроме любви к ракам, я не обнаружила ничего с ним общего.

С Борисом работать трудно... его приоткрывшийся мир какой-то пустой и неинтеллигентный, но искра в нем есть.

Жаль, Борис влюбился в меня, это может помешать работе”.

Горбатов настойчив и терпелив, готов на все — накрывает столы с шампанским и раками, не сводит глаз, не жалеет слов. Она сдается. “Звезда” становится еще и женой писателя Горбатова, корреспондента “Правды”, растущего, все более процветающего представителя стиля социалистического реализма. Орденоснца.

Поколение моей мамы, расцветавшее в тридцатых и отцветавшее в пятидесятых, отлично помнит эту прехорошенькую, крутолобую, темпераментную, оживленную красавицу с ослепительной улыбкой. Может быть, по законам красоты и правилам красоты ей чего-то и не хватало для правильности черт, но живость и непосредственность характера искупали все. Она царила в мечтах, она смотрела с гигантских щитов кинотеатров: улыбающаяся, плачущая, целующаяся, бегущая, ликующая, цветущая — “звезда”!

* * *

Война. Татьяна в эвакуации. Играет в театре, снимается в кино. Борис Горбатов на фронте. К концу войны они воссоединяются в Москве. Она снимается в фильме “Ночь над Белградом” о борьбе югославских партизан. Фильм идет по экранам страны. Окуневская выступает на фронтах с концертами, где на “ура” идет песня-гимн из фильма с такими словами:

*Пламя гнева горит в груди.
Пламя гнева, в поход нас веди,
Час расплаты готовь,
Смерть за смерть,
Кровь за кровь,
В бой, славяне, заря впереди!*

Этот вдохновенный, воинственно-победный набор слов, окрашенный красотой и темпераментом актрисы, повсюду встречается громом аплодисментов.

Сижу напротив Татьяны Кирилловны в ее крохотной квартирке в Петровско-Разумовском проезде. Пришла к ней по наитию, туманно помня какую-то историю сороковых, связанную с ее именем и по своей привычке не могу спросить прямо: что за история у вас была, расскажите?

Словно догадавшись о моих мучениях, предлагает мне Окуневская почитать рукопись ее книги о себе, которую заканчивает, облегчая таким образом мне рассказ о ней. Но и усложняя — ибо каждый пишущий о себе, раскрываясь, всегда что-то важное утаивает...

Я взяла из ее рукописи лишь немного, касающееся темы этой книги. Хотя, какая связь актрисы Окуневской с кремлевскими женами? Вроде бы не была она кремлевской женой.

Не была.

Вроде бы вообще исчезло ее имя на долгие годы с афиш и экранов.

Исчезло.

В том-то и дело.

“1945 год. Открываются двери в “рай”, мы с Горбатовым наконец-то удостоились приглашения в Кремль по случаю годовщины Великой Октябрьской социалистической революции... Бедный царский дворец, вззирающий на это пиршество первобытных людей, переодетых во фраки и мундиры. Столы ломятся от яств. Бесклассовое общество тут же превратилось в классовое: несчастное русское крестьянство, теперь именуемое колхозниками; хорошие рабочие, именуемые стахановцами, увидя это столпотворение, плюя на свою партийность, запрещающую им пить... выпивают первый стакан водки без закуски, второй... а дальше все продумано и поставлено блестяще: тут из-за штор, из-за дверей, из-за углов, из-за колонн возникает рядом с пьяным недремлющее око в военном, и пока лучший представитель своей прослойки не заснул на столе, или пока его не вырвало, элегантно выволакивают его под белы ручки из зала. Сословие пожилой интеллигенции: писатели, артисты, художники сдержанны, нувориши шумны, крикливы, уродливы, подхалимны; а далее уже совсем новая волна, как Борис Горбатов и Костя Симонов. Они стали лауреатами

Сталинской премии и горды этим ужасно и не понимают, что получили ее за что-то, не имеющее отношения к творчеству”, — пишет Окуневская.

Словно по мановению волшебной палочки Окуневскую и Горбатова начинают приглашать на иностранные приемы в посольства. Похожие приемы уже плохо кончались для кремлевских жен конца тридцатых годов, вспомним жену Буденного — певицу Ольгу Михайлову и ее приятельниц Бубнову и Егорову, ушедших далеко. Но ведь это было давно, теперь другое время, в посольствах не враги, а союзники. Окуневская — “звезда”. Она под защитой такого прекрасного мужа, как писатель Борис Горбатов.

Кому не кажется, что все плохое непременно должно произойти с кем-то другим?

Чета Горбатовых посещает югославское посольство. Татьяна Окуневская приглашена не как жена Горбатова, он приглашен как ее муж. Посол — красивый, вежливый, молодой, холерный:

— Мы купили ваш фильм “Ночь над Белградом”. Приглашаем вас посетить нашу страну в дни премьеры. Вышлем вам приглашение через Общество культурных связей с заграницей.

“Неужели я когда-нибудь смогу выйти за околицу своего села... за границу знаю только по заграничным фильмам, которые, кстати, на экранах не идут, а изредка чудом показываются у нас в Доме кино...”

* * *

Югославия. На подъездах к Белграду к обочине дороги подбегают люди и забрасывают машину цветами. Цветы предназначаются ей, героине “Ночи над Белградом”. Только что здесь была премьера фильма — вся Югославия распевает спетый ею в кино партизанский гимн. Она едет по Югославии с концертами. В пути к ней присоединяется приехавший из Германии муж, Борис Горбатов, — он известный советский журналист, его корреспонденции печатаются и в Югославии. Какая яркая, замечательная пара!

Словения, Хорватия, Черногория, Македония и снова Белград.

Главный вечер, ради которого все путешествие: будет маршал Тито со всем генералитетом. Зал торжественный и пышный. Выделяется убранством главный царский ряд.

Татьяна Окуневская волнуется.

Она шепчет про себя слова, которые учила произносить перед выходом на сцену режиссер Серафима Бирман: "Я лучше всех на свете, лучше всех королей, царей, вождей, я сейчас осчастливорю их всех своим появлением".

Зал слушал, затаясь. Партизанский гимн из фильма "Ночь над Белградом" — последняя песня, ее коронный номер.

На словах "В бой, славяне, заря впереди!" — она выпускает из сжатого кулака спрятанный в нем большой алый газовый шарф, и он взлетает над ее головой и трепещет, словно под ветром в дрожащей от творческого счастья руке.

Что творится в зале! Никогда не было столько цветов, упавших к ее ногам. Лавина обрушилась — галерка, балконы ринулись вниз, и стоял весь зал, стоял, и она пела и повторяла на бис, на бис, на бис...

До гостиницы ее провожала полиция. Наутро Татьяна Окуневская проводила мужа, вернувшегося обратно в Германию, и узнала, что через сутки ей предстоит одной прибыть на прием к маршалу Тито.

Она пишет в своей книге:

"Машина привезла меня ко дворцу короля, уехавшего от коммунизма. Обыкновенная калитка, и к ней по дорожке идет ко мне навстречу маршал в штатском. На концерте он был в мундире. В одной руке его садовые ножницы, в другой — огромный букет... ЧЕРНЫХ РОЗ".

Она в жизни не видела ничего более торжественного и прекрасно-ужасающего. Их страшно было взять в руки. Преодолела себя и взяла.

"У ног маршала красавица овчарка, впившаяся в меня глазами.

— А вот мы сейчас проверим, как вы ко мне относитесь. Если плохо, Рекс сейчас же разорвет вас на части. У меня на глазах!"

Странная, однако, зловещая шуточка. Медвежье властно-грубое поведение. Маршал встречает прелестную женщину,

артистку, ярко прославившую дружбу между своим и его народом, зачем, пусть и шутливые, но припугивания? Такой стиль? Почерпнутый у нас или собственный?

Ослепленная всем происходящим с нею, Окуневская воспринимает все восторженно:

“Маршал очень интересный, веселый, приветливый и даже ласковый... Рекс ласково урчит, и мы оба смеемся.

— А Рекс не может продемонстрировать, как вы относитесь ко мне?

— Может! Видите, он с вас не сводит глаз...

Мы сидим в его небольшом, неофициальном, очаровательном кабинете и болтаем, болтаем... На его пальце кольцо с черным бриллиантом. Оно приносит ему счастье, когда на руке”.

Господи помилуй, бриллиант! Черный... И розы черные. Многовато черного цвета рядом с маршалом Тито в первые дни его победы.

Бриллиант мне явно что-то напомнил...

Маршал Тито и Лариса Рейснер — какая связь? Никакой. Связывают их в моей памяти лишь бриллианты на пальцах в первые дни победы, разной победы, в разные дни, но предметы победы странно похожи. Там у Ларисы был, поди, голубой воды бриллиант. Или белой. Или желтой. Откуда же взял партизанский вождь Тито свой черный бриллиант? И зачем он ему, вождю народному? Как говорится в древней пословице: “пришей кобыле хвост”. И какое счастье принес ему сей бриллиант? С каких пор? Неужели в дымах сражений маршал не расставался с бриллиантом? Трудно представить. Вещи — коварные существа: выдают с головой своих владельцев.

“Рекс, оказывается, “немец” — продолжает воспоминания Окуневская, — еще плохо понимает по-сербски. Принадлежал немецкому офицеру...”

Вот это уже ближе к истине. Розы бывшего короля. Сторожевой пес — немецкого происхождения. И бриллиант тоже чей-то? Не все ли нам равно, чей. Знакомая картинка — грабь награбленное. А тогда-то в дни победы над фашистами, и сам Бог велел!

Но велел ли Бог?

Тито ведет Окуневскую к обеду.

“Огромный прямоугольный стол, и навстречу нам поднимается человек двадцать из маршалского генералитета, — вспоминает она, — один к одному, молодые, высокие, красивые, в великолепно сшитых мундирах. Меня сажают в центр, на старинный стул с высокой спинкой, видимо царский”.

Чей же еще, Татьяна Кирилловна? Выпуск старинных стульев в только что освобожденной Югославии коммунистами еще не налажен.

Потом была Москва. Пышный прием, устроенный в честь приехавшего в Советский Союз маршала Тито, на котором через весь зал прошел навстречу Татьяне Окуневской югославский вождь и пригласил ее на танец. Никто не танцевал, лишь они двое. Весь зал смотрел на них, но никто не слышал, о чем говорил Тито прелестной артистке.

Он говорил, что в себе не волен, не может пока жениться на иностранке, даже на советской женщине, его народ не поймет такого поступка, но он просит ее приехать в Белград, для нее построят студию, она будет жить и работать, как ей хочется.

Они кружились в танце, и все смотрели на них, и каждый думал о чем-то своем. Женщины завидовали Татьяне Окуневской, полагая: не настолько хороша она, чтобы быть достойной внимания такого человека. Мужчины завидовали маршалу Тито, полагая, что, если бы не мундир и случайная удачливость, ничего особенного в этом полнеющем, низкорослом и похожем на фашиста Муссолини коммунисте не было бы, а рядом с такой хорошенькой женщиной он и вообще не смотрится.

Тем танцем окончился роман Окуневской с Тито, так и не начавшись. Впрочем, почему же не начавшись? Возможно, весь он и состоял в спектаклеобразном взаимном восхищении, у него — красотой и искусством, у нее — властью.

А потом был короткий и бурный роман Окуневской с югославским послом. От него узнала она, что тот первый прием у югославского посла, когда она пришла отобедать с Горбатовым,

был задуман самим Тито, увидевшим Татьяну Окуневскую на экране и возмечтавшим увидеть воочию.

Опали, облетели черные лепестки букета от маршала Тито. Черные лепестки королевских роз Югославии.

Наступали другие дни кинозвезды и несли ей другие новости и неожиданности.

* * *

Всегда рядом с успехом, блистанием, известностью Татьяны Окуневской, актрисы, не слишком проявившей свои таланты, шла ее другая жизнь. Тайная. Сокрытая ото всех, чтобы рано или поздно стать на некоторое время ее главной жизнью.

Она как бы всю молодость ходила по канату, балансируя между небом и землей. А земля, если бы она оступилась, грозила ей подземельем.

Отец Татьяны Окуневской до революции был офицером, за это его в тридцатых сажали, выводили на расстрел, объявляли "лишенцем". В тюрьме погибла бабушка Татьяны Кирилловны Окуневской. Не избежал решетки и брат "звезды" Лев, названный так в честь Толстого. Всю жизнь за Окуневской шел темный шлейф "преступной" родни, которую она любила, обожала и никогда не предала.

Она носила передачи и в тридцать седьмом, и раньше.

Замужество, жизнь с Горбатовым были попыткой не спрятаться за спину преуспевающего писателя, а опереться на него. Горбатов, как умел, помогал ей преодолевать препятствия жизни.

В жизни Окуневской успех и трагедия шли рядом: она несет передачу в тюрьму, отбиваясь от толпы поклонников, только что посмотревших фильм с ее участием.

Она не слишком отвергает влиятельного поклонника, надеясь с его помощью выволить из тюрьмы родных, любимых.

Она с удивлением смотрит, как перебегают на другую сторону улицы люди, с которыми только что дружила, боясь запятнать себя дружбой с дочерью и сестрой арестованных.

Для дамы подобного рода Окуневская многое себе напозволяла. Будучи родственницей "врагов народа", прокатилась

по послевоенной Европе, “сорвала” аплодисменты, “заморочила голову” самому маршалу Тито, который, как оказалось, сам хороший “враг народа”.

И распрямилась пружина звездного витка Татьяны Окуневской, и свилась в кольцо, замкнувшись, спираль ее бед и несчастий. Все началось с приятного приглашения.

* * *

“Я приглашена на кремлевский концерт, в который приглашаются только народные артисты Союза и то избранные, любимые ”ими“, одни и те же.

Бывают эти концерты, как мне рассказывали, по ночам, после “их” совещаний, заседаний. В виде развлечений.

Заехать за мной должен член правительства Берия.

Бориса дома нет, теперь все журналисты на Нюрнбергском процессе.

Какое-то незнакомое чувство... боязнь провала... нет... что-то совсем другое...

Какая-то тревога.

Из машины вышел полковник и усадил меня на заднее сиденье рядом с Берией. Я его сразу узнала — видела на приеме в Кремле. Он весел, игрив, достаточно некрасив, дрябло ожиревший, противный, серо-белый цвет кожи.

Оказалось, мы сразу не едем в Кремль, а должны подождать в особняке, когда кончится заседание.

Входим. Полковник исчез. Накрытый стол, на котором есть все, что только может прийти в голову. Я сжалась, сказала, что перед концертом не ем, а тем более не пью, и он не стал настаивать, как обычно грузины, чуть не вливающие вино за пазуху. Он начал есть некрасиво, жадно, руками, пить, болтать, меня попросил только пригубить доставленное из Грузии “наилучшее из вин”.

Через некоторое время он встал и вышел в одну из дверей, не извинившись, ничего не сказав. Могильная тишина. Даже с Садового кольца не слышно ни звука.

Я вспомнила этот особняк, он рядом с Домом звукозаписи,

на углу Садового кольца, и я совсем недавно здесь проходила: Костя Симонов написал статью о том, как принимают мой гимн из "Ночи над Белградом" на фронте, и меня пригласили прочесть эту статью, заново спеть на радио...

Огляделась. Вроде бы, дом семейный. Немного успокоилась.

Три часа ночи. Уже более двух часов длится застолье. Я в концертном платье, боюсь его измять, сижу на кончике стула. Он пьет вино, пьянеет, говорит пошлые комплименты, какой-то Коба меня еще не видел живьем. Спрашиваю, кто такой Коба...

Опять, в который раз, он выходит из комнаты. Я знаю, что все "они" работают по ночам. Бориса всегда вызывают в ЦК только ночью. Но я устала, сникаю.

На сей раз явившись, он объявляет, что заседание у "них" кончилось, но Коба (Иосиф Виссарионович) так устал, что концерт отложил. Я встаю, хочу ехать домой. Он говорит, что теперь можно выпить. Если я не выпью этот бокал, он меня никуда непустит. Я, стоя, выпила. Он обнял меня за талию и подталкивает к двери, но не к той, в которую он входил, и не к той, в которую мы вошли. Противно сопя в ухо, тихо говорит: поздно, надо немного отдохнуть, потом он меня отвезет домой. И все — и провал.

Очнулась. Тишина. Никого вокруг. Тихо открылась дверь.

Появилась женщина, молча открыла дверь в ванную, молча проводила в комнату, в которой я была ночью. Издали всплыл в сознание стол, накрытый для завтрака. Часы. На них десять часов утра. Я должна уже сидеть на репетиции. Пошла, вышла. Села в стоящую у подъезда машину, приехала домой, попросила не подзывать к телефону, кто бы ни звонил, не тревожить.

Изнасилована. Случилось непоправимое. Чувств нет.

Оказывается, у меня сегодня спектакль. Только мужу, только Борису могу все рассказать. Только Борис может спасти меня...

Когда наконец рассказала — он сразу же забегал своими мелкими шажками, затылок налился кровью, что-то залепетал... Он такой жалкий, что его самого надо утешать".

В результате этого приключения, все о котором знает только Окуневская, актрису посадили. О своем аресте она рассказывает так: “Я лежала с высокой температурой. У Бориса был “мерседес”, привезенный из Германии, его водил шофер из Союза писателей, а мне он купил новый “Москвич” и нанял юношу-шофера, Юру.

Борис в тот день очень суетился, куда-то собирался, откладывал... И все же ушел. Пришел шофер Юра и говорит,

— Полный двор военных. Что-то случилось.

Вошли двое:

— Вы подлежите аресту.

А я встать не могу.

Теперь понимаю: Борис знал, что меня ждет. Сбежал”.

(Они жили тогда на Беговой улице. Теперь на доме памятная доска в честь Бориса Горбатова. — Л.В.)

И началась другая, тоже главная жизнь Окуневской. Допросы. Тринадцать месяцев одиночки. Лагерь в Джезказгане.

Из фильмов вымарали титры с ее именем. Вообще сняли фильмы с проката.

Ее сокамерницы, жены мелких вождей, считали, что они сидят по ошибке, а такие, как Окуневская, — за дело.

Но ее любили, узнавая, простые люди на стройках и лесоповалах, где она была плечом к плечу с ними.

“В лагере меня спасал народ. Здесь, где все рассчитано на то, чтобы превратить человека в животное, чтобы мать могла вырвать хлеб у дочери, чтобы дочь могла толкнуть мать в беду, в тяжкий для меня день ко мне подходит женщина с глазами русской иконы и тихо говорит: “Вот бабы прислали тебе платок. Закрой лицо, отморозишь”.

Сами голодные, с отмороженными лицами, они спасали лицо своей любимой артистки.

Что перед этим бабьим платком черные розы от маршала Тито?!

Татьяна Окуневская вышла из тюрьмы после падения Берии далеко не сразу. Она валила деревья в морозном лесу, а потом, освободясь, мыкалась без квартиры, пыталась осознать себя “на свободе”. Борис Горбатов не дождался ее — женился, а к ее выходу из тюрьмы был уже мертв.

В те дни, когда она брела по лесу или брела по Москве, не верящей слезам, другая артистка, певица Большого театра Галина Вишневская оказалась в месте, где когда-то была и Татьяна Кирилловна — в Югославии, на правительственном приеме. Вишневская вспоминает:

“Напротив сел Тито с женой, молодой красивой женщиной, и я во все глаза уставилась на знаменитого “продажного изменника и предателя”, которого вот уже несколько лет все советские газеты взхлеб и с упоением обливали грязью. Тито показался мне совсем не таким, как на портретах, где он то в маршальском мундире, то в спортивном костюме на яхте, то верхом на лошади — вся Югославия была завешана его портретами. Куда ни посмотришь — в окнах и витринах магазинов, на базарах, в любых помещениях, куда только не зайдешь. Такой рекламы, пожалуй, не имел в Советском Союзе сам Сталин. Со всех стен глядел голливудский супермен — молодой, мужественный, широкоплечий мужчина, — а здесь, за столом, создавалось впечатление, будто видишь его через уменьшительное стекло: среднего роста, мелкие черты, лет шестидесяти... Манерами напоминает Сталина, — подумала я, — те же медленные, “значительные движения” и жесты. Мало говорит...

В те годы, когда наши правительственные делегации ездили по западным странам “налаживать отношения”, они часто брали с собой “тяжелую артиллерию” — артистов. Певцы, скрипачи, пианисты, красивые балерины помогали членам нашего правительства, не привыкшим к светскому общению, создавать непринужденную обстановку на банкетах и приемах.

На этот раз поездка была особенно щекотливой: первый

визит советской правительственной делегации в Югославию, после разрыва Сталина с Тито...

Генерал Серов, после Берии глава КГБ, подошел ко мне сзади и шепчет на ухо:

— Скажите тост за жену Тито.

Что за черт! Мужиков за столом полно, им бы в самый раз и провозгласить тост за даму — при чем тут я! Вроде даже и неловко — женщина за женщину...

Встаю и провозглашаю:

— Предлагаю выпить этот бокал за мадам Тито.

И здешний диктатор изволил засмеяться! Впервые за весь вечер.

— Мадам! Какая она мадам, она всю жизнь партизанкой была, стреляла и убивала!

— Правда? Вот никогда бы не подумала — такая красивая женщина...

Он хохочет:

— Теперь будете знать, что бывают красивые красные партизанки, — и с гордостью смотрит на жену".

* * *

Сегодня Татьяна Окуневская — изящная, легкая, женщина без возраста, живет по системе Брега, занимается гимнастикой. Через всю жизнь Татьяны Окуневской проходит вереница мужчин, жаждущих обладания ею, ползающих перед нею на коленях ради минутной сладости. Она не пуританка, не слишком нравственница, она может отдаться, но любя, не ради того, чтобы помогли родным в тюрьме, или, что попроще — типично для мира искусств — не ради роли — режиссеру. Окуневская откровенна в своих признаниях не потому, что она мазохистски хочет предстать перед миром в прямом и переносном смысле нагишом. Она проходит сквозь грязь неблагородных отношений, насилие Берии, истязательства следователей, наглость надсмотрщиков, стукачество сокамерниц, предательство мужа... И стоит сегодня перед миром с молодым, резким, страстным желанием не мстить за все, что

сделали с ее жизнью — люди, страна, Великая Эпоха Созидания.

Но “АЗЪ ВОЗДАМЪ” — сказала сила, которая Бог. Лишь ОН может сделать это и всем сестрам раздать по серьгам. Раздал уже: лежат в земле забытые людьми обидчики Окуневской, все эти жалкие мужчины, проутюжившие ее прекрасное тело, которое и сейчас прекрасно.

Жив в памяти людской, но как жив? — Берия.

Великий маршал Тито, по-своему ничтожный, с этими черными розами, черным бриллиантом и чужим псом, не сумевший пойти навстречу внезапно вспыхнувшему чувству в угоду партийно-правительственным предрассудкам, и ее муж, с его произведениями — Горбатов, — где они?

А она, посверкивая голубыми глазами, статная и стройная, делает генеральную уборку на седьмом этаже в своей крохотной однокомнатной квартире, украшенной лишь иконами и ее портретом поры той самой молодости, когда за ее внимание великие мужчины отдавали небольшую часть государственных средств и черные розы, возвращенные в чужом саду.

Не знал маршал Тито, да и не мог знать, советской песни:

Черная роза — эмблема печали,

Красная роза — эмблема любви.

* * *

“Дело” Окуневской Т.К. (фрагмент)

Два увесистых тома, полных оскорбительными для достоинства женщины вопросами и показаниями окружавших актрису людей: шофера, лучшей подруги...

Следователи смакуют интимную жизнь Татьяны Кирилловны, вопреки не только законам этики и нравственности, о которых в России целый век трещат и властители, и рвущиеся к власти, и правые, и левые, и начальники, и подчиненные —

все, кому не лень, поступая наперерез всякой нравственности, вопреки человеческой природе.

В Постановлении Особого совещания по ее "Делу" сказано: "Будучи антисоветски настроена, в среде своего окружения ведет озлобленные антисоветские разговоры, критикует политику партии и советского правительства с враждебных позиций, восхваляет буржуазный строй, преклоняется перед условиями жизни в капиталистических странах... систематически встречается с иностранцами".

Один из свидетелей показывает (опять этот лубянский глагол! — Л.В.): "Поднялась Окуневская и сказала, что ей хочется выпить за людей, которые сейчас в Сибири. Причем у меня сложилось впечатление, что кто-то из присутствующих, чтобы это не было двусмысленно понято, уточнил, мол, Татьяна Кирилловна хочет выпить за строителей Сибири, тогда Окуневская опять поднялась и сказала: "Нет, я не за тех людей!", дав понять, что она поднимает тост за заключенных, находящихся в Сибири".

* * *

В деле Окуневской есть страницы, открывающие галерею ужасов Лубянки: письмо на имя Генерального прокурора, где доведенная до отчаяния артистка пишет: "То, что посыпалось на меня из уст министра (Абакумова. — Л.В.), было невероятно... Все сплетни, от которых мы так страдали с Борисом, грязь, клевета, все это говорилось с непонятной мне злобой, с прибавлением каких-то странных фраз, вроде: "Подумаешь, какая госпожа де Сталь, какая недоступность, какая красавица, умница, талант, все поклонялись, а я вот вас арестовал".

Бесконечно почему-то повторялось о моей дерзости при аресте в тоне: "Закон ей, видите ли, нужен..."

Кричал, что я развратная женщина, устраивала афинские ночи, танцевала голая на столе, у меня на голом животе играли в карты — было впечатление, что я нахожусь не в советской разведке, а Бог знает где.

Мне министр ничего не дал сказать, только все время спрашивал о Тито, о его собаке и верю ли я в Бога..."

Я ни одного грубого слова в ответ министру не сказала, чтобы заставить себя уважать его как человека, поставленного на такой пост. Только один раз, доведенная до крайности, я сказала, что верю в то, что мы поменяемся с ним местами". (Как в воду глядела Татьяна Кирилловна. — Л.В.)

А дальше она пишет Генеральному прокурору: "Только я легла, вернувшись с допроса у министра, — опять на допрос, и почему-то в верхней одежде. Выводят во двор. Когда я увидела "черный ворон", сердце мое сжалось. Что? Куда? Зачем? Привозят в какую-то тюрьму. Как я потом узнала — Лефортовскую. Проводят в подвал и вводят в карцер. Темно. На стенах иней.

— Раздевайтесь!

Я думала — ослышалась. Нет. Раздеваюсь догола, стою босыми ногами на ледяном полу. Беру чулки, чтобы их надеть. Отнимают. Отдают только платье и обувь. Все остальное уносят. Я еще думаю, наверно, в пропарку. Жду. Жду. Замерзаю. Потеряла счет часам, суткам, единственной приметой остался хлеб, который приносили, очевидно, раз в сутки, и часа на четыре откидывали от стены доску для лежания, к железным скобам которой ноги примерзали. Это было настоящее испытание.

Наконец после третьей выдачи хлеба вывели так, как есть, на улицу, на мороз. Мне было совсем плохо... Проводят через двор, приводят к следователю Соколову.

Умываться не давали, грязь размазывалась по лицу. К тому же у меня была менструация, я обливалась кровью, у меня отняли не только вату, но даже носовой платок — я была вся в крови.

Соколов посмотрел на меня и спросил, как я себя чувствую.

Тут уж я все поняла и ответила:

— Прекрасно!"

* * *

И снова вопрос, где же муж? Писатель. Орденоносец. Его показаний, также как и показаний Буденного, Молотова, Калинина, нет в "Деле" жены. Горбатов не столь важная персона, как те. Могли бы и вызвать, допросить. Могли бы присово-

купить к “Делу” его показания. Возможно, он и облегчил бы участь Окуневской?

В одном и том же городе, на расстоянии пяти—десяти минут езды на автомобиле, в разных кроватях лежали муж и жена. В разных креслах сидели.

Что-то есть в этой тенденции отстранения мужчин от “провинившихся” жен не только безнравственное и постыдное.

Подозрительное...

P.S. Не мне первой, не мне последней пришел в голову “гениальный” вопрос: почему не допрашивали близких, родных, самых родных и близких? В те страшные времена бывали люди “попроще” Калинина или Буденного, их легко можно было бы допросить. И вот этим “попроще” людям самим приходил в голову тот же вопрос: почему не допрашивают их, они знают о “преступниках” или “преступницах” больше всех.

Вот строки из письма Надежды Мандельштам:

“Москва,
19/1-39 г.

Уважаемый товарищ Берия! В мае 38 года был арестован поэт О.Э.Мандельштам. Из его письма мне известно, что он осужден ОСО на 5 лет СВИТЛ за КРД... Мне неясно, каким образом велось следствие о контрреволюционной деятельности Мандельштама, если я — вследствие его болезни в течение ряда лет не отходившая от него ни на шаг, — не была привлечена к этому следствию в качестве соучастницы или хотя бы свидетельницы”.

Кто такая для Берии эта Надежда Мандельштам, чтобы обращать внимание на ее просьбу попасть в соучастницы? А Калинин, Буденный, Молотов с ним за одним столом сидят и вроде бы могут договориться. Значит, не могут? Или не хотят? Или боятся? Если боятся, то за кого?

III

ЖРИЦЫ ТРЕХ “К”:
кюхе, киндер,
КПСС





КУХНЯ НИНЫ КУХАРЧУК

Характерной чертой хрущевской оттепели была... Нина Петровна. Советские люди, конечно же, не заметили этого, занятые оттаиванием собственных душ, проблемой хлеба настоящего и обсуждением книги Дудинцева о том, что не хлебом единым сыт человек. Да и было ли возможно заметить такое, как характерную черту, когда появлялась Нина Петровна из дубовых дверей тихо, скромно, в основном на международную арену, и то изредка.

Западный мир, однако, увидел и сразу воспринял ее с восторгом. Привыкнув к своим системам, в которых первая леди, всегда улыбаясь, стоит на полсантиметра позади своего мужа, привыкнув к нашей системе, в которой рядом со Сталиным было выжженное пространство, Запад возликовал навстречу жене Хрущева:

— Мама Нина!

— Русская матушка!

— Бабушка!

— Такая милая и добрая женщина!

— Сама доброта!

— Она говорит по-английски?

— Она говорит по-английски, просто замечательно говорит!

— Она, конечно, еле-еле говорит по-английски, но не в этом дело, говорит!

В свете международных юпитеров мило и симпатично улыбалась эта типичная советская женщина, в черной юбке, белой кофте, без прически, без макияжа, с типичной бесформенной фигурой советской домохозяйки, которая ест много мучного, или сладкого, или картофеля, или всего вместе.

Ликованию не было конца.

Ее появление в Америке после долгих лет отсутствия женщины рядом с советским вождем, ее умение поддержать с по-

мощью нескольких фраз разговор по-английски, ее добродушный вид произвели огромное впечатление в сочетании с эксцентричностью Хрущева, размахивающего ботинком и готового в полпрыжка догнать и перегнать Америку, смешного и тоже добродушно-толстого Хрущева. Все это наполнило надеждой запуганную Советским Союзом Америку: оказывается, у руля необъятной державы стоит симпатичный толстяк со смешной толстячкой, провинциально прижимающей к большому животу черный ридикуль. Они — живые люди, и с ними можно иметь дело.

— Мама Нина!

— Дорогая Нина!

— Добрейшая Нина Петровна Хрущева!

Нина Хрущева была для Запада чрезвычайно важным знаком перемен в обществе. Не потому, разумеется, что на Западе женщина занимает свое собственное место в обществе — там до этого так же далеко, как и здесь, а потому, что общий уровень западной цивилизации диктует человеку определенное понимание: если женщина рядом со властвующим мужчиной, она должна смягчать его нрав. Не всегда так бывает, но в идеале вроде бы должно быть так.

И мало кто заметил поджатые губки, вдавненный рот — свидетельство серьезного, неуживчивого и, быть может, злого характера. Во всяком случае, своенравного. Америка видела то, что хотела видеть. Мы у себя дома — тоже. А то, что было на самом деле, никак нарочно не скрываясь, было сокрыто. Может быть, ничего особенного не было? И нечего было скрывать?

Попробуем понять.

Появившись на Западе, мелькнув несколько раз в наших газетах за спиной Хрущева, Нина Петровна дала повод для сплетен. Они не были злостны.

— Хрущев развел кумовство — жена влияет.

— Нина Петровна Хрущева и Мария Петровна Шолохова — родные сестры, вот почему Шолохов набрал такой “вес” при Никите.

— Хрущев определил своего сына в ядерный институт к Чаломею — этому институту создан климат наибольшего бла-

гоприятствования, сынок уже лауреат Ленинской премии — это Нина Петровна влияет: Хрущев у нее под каблуком.

Нина Петровна вошла в выжженный квадрат, образовавшийся за два десятилетия при фигуре первого человека в стране, не случайно и не с улицы. Она была испытанная кремлевская жена, чуть меньше двух десятилетий жившая по неписаным законам Кремля. И если муж Нины Петровны был реформатором, то естественно предположить, что и она настроена на реформы.

Что досталось в наследство этой женщине?

Представьте — Кремль, с 1918 года заселенный семьями вождей. Здесь жили, плодились, возвышались и падали с высот, стрелялись, уходили в тюрьму целыми семьями — и заселялись по новой на жилплощадах посаженных и расстрелянных самые что ни на есть главные персоны государства. Здесь была квартира Сталина, “положенная” Никите Хрущеву как первому лицу в государстве. Наследная.

Евгения Михайловна Золотухина, старейший работник библиотеки Института марксизма-ленинизма, рассказала мне, как через десять лет после смерти Сталина, она вместе с другими своими сотрудниками вошла в его кремлевскую квартиру с целью осмотреть библиотеку, которую партия решила передать институту после XX съезда:

“Квартира с 1953 года стояла пустая, опечатанная. Вначале была мысль устроить в ней музей, но потом, когда Хрущев повернул все дело по-своему, видимо, не знали, что с ней делать. В квартире почти никто, кроме служителей, уборщиц и мастеров, не бывал, а если и бывали, если приходилось ее распечатывать, то в специальной книге делались пометки — кто был. Расписываясь в книге, я увидела автографы: Веденеев и Фурцева.

Вошли. Помню, ощущение холода, так, бывает, охватывает в домах, где давно не живут люди. Анфилада комнат. На окнах темным-темно: бордовые задернутые шторы. Диваны, столы, стулья в чехлах придвинуты к столам. Повсюду торчат вверх оборванные провода — вырванная сигнализация.

Свихнуться можно. При Сталине в квартире была огромная система сигнализации. Охрана слышала каждый его шорох. Она знала, когда он переходил из комнаты в комнату.

Квартира делилась на две части: половина Сталина и половина Светланы. У Светланы было три комнаты, и еще ничего: какие-то салфеточки, игрушки. Вышитая подушечка.

А у него — склеп: громадная столовая, библиотека, кабинет и спальня. На всем печать казенщины. Кстати, на его ближней даче такая же атмосфера: при подходе к дому низкие фонари освещали только дорогу.

Мы подошли к книжным шкафам — цели нашего прихода в сталинскую кремлевскую квартиру. Шкафы шведской работы, по специальному для него заказу. Всего семьдесят штук шкафов. Вот они — эти шкафы. Все они теперь здесь”.

* * *

Молния воспоминания ударяет мне в голову. Лариса Рейснер описывает свое посещение Зимнего дворца в первые часы после того, как оттуда вытряхнули Романовых: “Там, где жили цари последние пятьдесят лет, очень тяжело и неприятно оставаться. Какие-то безвкусные акварели, бог знает кем и как написанные (не о работах ли Серова? — Л.В.), мебель модного стиля “модерн” — всему этому трудно поверить в жилище, построенном для полубогов. (Чем плох “модерн”? — Л.В.)

Какие буфеты, письменные столы, гардеробы! Боже мой! Вкус биржевого маклера “из пяти приличных комнат” с мягкой мебелью и альбомом родительских карточек (как мы сейчас впиваемся глазами в остатки этих карточек! — Л.В.).

Очень хочется собрать весь этот пошлый человеческий хлам, засунуть его в царственный камин и пожечь все вместе во славу красоты и искусства добрым старым флорентийским канделябром”.

Если бы я хорошо поискала, то нашла бы где-нибудь в прошлых веках ругань и в адрес флорентийских канделябров. Время все ставит на места. Убранство царских покоев так нравится нам сегодня, как нравились Ларисе Рейснер канделябры Флоренции. Не значит ли это, что убранство сталинских комнат, возможно, покажется чрезвычайно интересным упрощенному взгляду человека лет через пятьдесят?

Но послушаем дальше Евгению Михайловну Золотухину: “Я стала смотреть книги. На многих страницах были его

пометки. Там, где встречались грамматические ошибки, он подчеркивал несколько раз, видимо, ошибки его раздражали...

Везде на стенах фотографии правительственных пикников: жарят шашлыки, валяются на траве, смеются. Одни мужчины. Всем известные. И среди них ребенок. Взрослеющий от фотографии к фотографии. Ребенок. Девочка. Дочка Сталина.

Наверное, это произвело на меня самое сильное и гнетущее впечатление: как же тяжело рос ребенок в таком окружении. С такими пикниками. Я думаю, выпив, они при ней не стеснялись в выражениях. А дети все видят, все слышат и все хотят понять.

После этого посещения я всегда думаю о Светлане Аллилуевой с сочувствием”.

Вот такое кремлевское наследство получила новая “царица” Нина Петровна: домашнее запустение, могильный холод и кровавое прошлое.

Она решительно отказалась от этого наследства.

Разумеется, народные массы не знали об ее отказе. Газеты такого не сообщали, потому что все личное, по мнению кремлевских вождей, не имело значения. Да и сам ее отказ выглядел как решение Политбюро — открыть Кремль для народных посещений.

Все складывалось удачно: Нина Петровна никогда не жила в кремлевских квартирах, не имела к ним привычки, сильная женская интуиция вовремя шепнула ей что-то о сталинской квартире — вот где смысл ее отказа, который выглядел скорее как молчаливое согласие ехать жить куда скажут.

На Ленинских, бывших Воробьевых, горах началось быстрое строительство особняков для людей Кремля. Они видны сегодня из-за каменных заборов — однотипные стандартные микродворцы в стиле так называемого “сталинского ампира”.

Вся власть с чадами и домочадцами перебралась на Ленинские горы.

Жены и дети кремлевских вождей вспоминают неудобства новой жизни: дома были выстроены наспех, коммуникации проведены наспех. Зимой в некоторых домах промерзали стены, лопалась канализация. Далеко от центра. Проблема транспорта, разумеется, ни для кого из этих людей не стояла в те

годы: к каждой высокопоставленной жене был “прикреплен” автомобиль, но психологическое неудобство отдаленности от московской цивилизации ощущалось. В кремлевской тесноте не так заметны были бирки на казенной мебели. А здесь, среди просторов новых стен, они поблескивали отовсюду, словно напоминая жильцам о бренности их положения. Но, видимо, такова психология человека: попав в наркотический круг власти, он перестает думать о всякого рода брeнностях.

Нет, я не думаю, что Нина Петровна имела решающий голос в вопросе о переезде из Кремля на Ленинские горы, но если и было так, ей первой пришла в голову эта мысль или же она закрепила своей поддержкой эту мысль в темпераментном мозгу Никиты Сергеевича, — если так, я не удивлюсь.

В сущности, человек изначально живет в доме, ради дома и для дома, для семьи, продолжения рода. А все, что наворачивает за стенами дома, в итоге для того же дома и делается, хотя в пылах сражений он напрочь забывает свою исходную точку.

Кремль, его палаты и музеи открылись для народа, а особняки на Ленинских горах зафункционировали для кремлевских вождей.

Кое-кто поумней и поосмотрительней осел с семьями в центре Москвы, на улице Грановского, понимая, что власть преходяща, могут выселить из казенного помещения в дом не лучшей категории. Надежней сразу занять хорошую позицию, как говорят, “упаковаться”. (Опять чудо-глагол советского периода. — Л.В.)

Удобства и простор квартир внутри стен Кремля и вне их четко соответствовали рангу жильца — эту науку за годы советской власти хорошо освоили все правительственные хозяйственные управления.

Нина Петровна с Никитой Сергеевичем и большой семьей поселилась в лучшем особняке Ленинских гор.

Времена менялись, но традиции оставались на своих местах: каждому “положено” свое.

* * *

“Родилась я 14 апреля 1900 года в селе Василев Потуржинской гмины (волости) Томашовского уезда Холмской гу-

бернии... У меня был брат на три года моложе меня. Население Холмской губернии было украинское, в селах говорили по-украински, администрация же в селе, в гмине и выше была русская. В школах обучали детей на русском языке, хотя в семьях по-русски не говорили. Вспоминаю, что в первом классе начальной сельской школы учитель бил линейкой по ладоням учеников за провинности, в том числе за плохое понимание объяснений учителя по-русски (дети не знали русского языка). Это называлось "получить лапу".

Воспоминания написаны самой Ниной Петровной в последние годы жизни по просьбе ее дочери Рады, она хотела, чтобы мать оставила собственные записи.

Нина Петровна на просьбу Рады ничего не ответила. И лишь разбирая после смерти матери ее бумаги, Рада Никитична увидела страницы, где было следующее:

"Мама — Екатерина Григорьевна Кухарчук (девичья фамилия Бондарчук) — вышла замуж в 16 лет и получила в приданое один морг земли (0,25 га), несколько дубов в лесу и сундук (скрыню) с одеждой и постелью. В селе такое приданое за невесткой считалось очень приличным. Вскоре после свадьбы отец ушел по призыву на военную службу. Отец — Петр Васильевич Кухарчук — происходил из более бедной, чем моя мать, семьи, у них был неделимый надел 2,5 морга земли, старая хата, маленький сад со сливовыми деревьями и одна черешня на огороде. Лошадей у них не было. Мой отец был старшим в семье. Когда умерла моя бабушка Домна, его мать, то мой отец получил в наследство землю и должен был выплатить сестрам и братьям по сто рублей (большая сумма тогда). Думаю, что война 1914 года помешала завершить эту выплату.

Село наше, Василев, было бедное, большинство жителей ходило на заработки к помещику, который платил за световой день по 10 копеек женщинам на свекле и мужчинам на косьбе по 20—30 копеек. Помню немного из той жизни: я должна была заготавливать крапиву и большим ножом нарезать ее для свиньи, которую выкармливали к пасхе или к рождеству. Нож часто попадал не на крапиву, а на палец, и до сих пор у меня остался шрам на указательном пальце левой руки.

Мы с мамой, Екатериной Григорьевной, жили в ее семье:

хата у бабушки Ксении была просторнее, да и отец отбывал в это время воинскую службу в Бессарабии, а потом, в 1904 году, воевал с Японией.

Обедали все из одной миски не за столом, а за широкой скамьей. Малых детей матери брали на руки, а мне и другим детям постарше места не хватало, еду надо было доставать из миски через плечи взрослых. Если проливали, получали ложкой по лбу. Почему-то дядька Антон постоянно высмеивал меня, обещал, что я выйду замуж в многодетную семью, дети будут сморкатые, и мне придется есть с ними из одной миски и добывать еду через головы.

В 1912 году отец положил на подводу мешок картошки, кусок кабана, посадил меня и отвез в город Люблин, где его брат Кондратий Васильевич работал кондуктором на товарных поездах. Дядя Кондратий устроил меня учиться в Люблинскую прогимназию (4-х классная школа), три года до того я уже проучилась в сельской школе. Учитель в селе внушил моему отцу, что я способная к наукам, надо отвезти меня учиться в город, и отец его послушался.

В Люблине я училась один год. На следующий год дядька поступил вахтером в Холмское казначейство и меня перевел в такую же школу в городе Холме.

Первая мировая война застала меня на каникулах в селе Василеве ученицей второго класса Холмской прогимназии.

Осень 1914 года. К нам в село проскочили австрийские войска, стали безобразничать: грабить, уводить девушек... Мама уложила меня за печкой, не велела выходить, а солдатам говорила, что у меня тиф. Те, конечно, сразу уходили. Скоро положение изменилось, австрийцев из села вытеснили русские войска, и нам приказали эвакуироваться, куда и как — неизвестно. Лошадей у нас не было, взяли с собой то, что могли унести, и пошли из дома с торбочками. Шли туда, куда все люди шли... Помню, мама долго несла примус, предмет ее хозяйской гордости, а керосина не было, пришлось бросить и примус. Долго и тяжело мы шли впереди наступавших австрийских войск и на какой-то станции набрали на отца, который служил в частях "ратников" — это были вспомогательные войска.

Отец доложил своему командиру о встрече с семьей, и тот

разрешил нам остаться при части. Мама стала работать кухаркой у командования части, а мы с братом передвигались на подводе отца и кое в чем помогали. Мне было 14 лет, брату Ване — 11.

Во время затишья на фронте командир позвал отца, дал ему письмо к холмскому епископу Евлогию (Епископ Евлогий (1866—1946) — глава православной церкви за рубежом, постриг в 1932 году в монашество Елизавету Кузьмину-Караваеву, эмигрантскую поэтессу, знаменитую мать Марию. Как все переплетено! — Л.В.) и велел отвезти меня в Киев. Там епископ Евлогий возглавлял какую-то организацию помощи беженцам. Он устроил меня учиться на казенный счет в холмское Мариинское женское училище, эвакуированное из Холма в Одессу. В этом училище в Одессе я жила в интернате и училась до 1919 года, закончила 8 классов.

Несколько слов о епископе Евлогии и об училище. Холмский епископ Евлогий был важным оплотом самодержавия в Польше и ярким проводником русификаторской политики. Он готовил русификаторские кадры из детей местного населения, из западноукраинских сел. Если бы не его вмешательство, никогда бы я не смогла попасть на учебу на казенный счет в это училище — туда не принимали детей крестьян. Учились там дочери попов и чиновников по особому подбору. Я попала туда в силу особых обстоятельств военного времени, описанных выше.

По окончании училища я работала некоторое время в канцелярии училища, выписывала аттестаты, разные бумаги переписывала — машинки пишущей не было.

В начале 1920 года в подполье я вступила в партию большевиков и стала работать по поручению партии в городе и селах Одесской области-губернии. В июне 1920 года шла мобилизация коммунистов, и я попала на польский фронт. Меня взяли сначала агитатором при военной части как знающую украинский язык и местные условия, и я ездила по селам, рассказывала о советской власти. Со мной ездил красноармеец, тоже агитатор. Когда сформировался ЦК компартии Западной Украины, меня взяли заведовать отделом по работе среди женщин; мы уже были в городе Тернополе. Как известно, осенью 1920 года нам пришлось уйти из Польши. Вместе с секретарем

ЦК т. Краснокутским и другими я приехала в Москву и получила командировку на учебу в Коммунистический университет им. Я.М.Свердлова, на шестимесячные курсы, созданные недавно Центральным Комитетом партии большевиков.

Летом 1921 года получила направление в Донбасс, в город Бахмут (теперь Артемовск), в губернскую партийную школу, преподавать историю революционного движения на Западе. До приезда будущих курсантов меня использовал губком партии на работе секретаря губернской комиссии по чистке рядов партии. Там же я прошла и свою вторую партийную чистку — первая у меня была на фронте, в Тернополе. Как известно, после X съезда партии была отменена продразверстка и открылись рынки, на которых появились разные товары — были бы деньги. Я с двумя преподавательницами тоже ходила на рынок за хлебом, и заразились мы втроем сыпным тифом. Одна из нас умерла, а мы выздоровели. В больницу не брали, лечили в школе. Подкармливала больных Серафима Ильинична Гопнер, работавшая тогда завагитпропом Донецкого губкома партии”.

* * *

Прервем на мгновение воспоминания Нины Петровны и оглянемся на них. Интересный человеческий тип перед нами. Сорванный с родимой ветки листок, беженка, случайно или по воле Божьей отмеченная высшим духовным саном, признаваясь, что без епископа Евлогия не выучилась бы, — она, однако, не находит для епископа ни одного благодарного слова, напротив, объективно и четко называет его “оплотом самодержавия”, “ярм проводником русификаторской политики”. Она чужая там, куда посылает ее Евлогий, случайная, но берет от обстоятельств все, что можно. Она начинает работать на новый мир, на новую жизнь. Идет, как говорится, не оглядываясь, и недаром ее замечает, отмечает и помогает ей уже знакомая нам Серафима Гопнер, многое сделавшая в несколько иное время и для Екатерины Ворошиловой.

Нина Кухарчук попадает в партийную обойму, и перед нею открываются прямые дороги.

“Осенью 1922 года получила направление в Юзовку (теперь Донецк) — преподавателем политической экономии в окружную партийную школу. Там я встретила с Никитой Сергеевичем Хрущевым, который учился на рабочем факультете в Юзовке. В 1924 году мы с ним поженились и дальше работали вместе на Петровском руднике Юзовского округа. Еще раньше, в конце 1923 года, меня послали пропагандистом райкома партии на рудник Рутченковка. Здесь жили родители и дети Н.С. (Хрущев был женат до Нины Петровны на Ефросинье Ивановне, умершей в 1918 году от тифа, оставившей двоих детей, Юлию и Леонида. — Л.В.), здесь он работал, отсюда пошел учиться в Юзовку на рабфак... Поселилась я в домедля приезжих напротив клуба — перейти дорогу. Но после дождя перейти эту дорогу было очень трудно, сапоги оставались в грязи, ноги “выходили” из сапог. Надо было подвязывать сапоги особым способом. Меня пугали перед поездкой на Рутченковку грязью, а сапог у меня не было; пришлось найти частника, который сшил сапоги. Когда я читала лекции в клубе, то приходило много женщин. Оказалось, что их интересовала я как жена их приятеля Никитки Хрущева: какую такую он нашел не на руднике, а на стороне...

Одно время я получала больше, чем Никита Сергеевич...

Тогда существовала еще безработица, среди коммунистов-шахтеров — тоже. После занятий в политшколе на шахте мои слушатели провожали меня домой и, случалось, упрекали, что я работаю и муж мой работает, а мой собеседник ходит без работы, а дома большая семья... Но постепенно жизнь налаживалась, безработные на шахтах исчезали...

В январе 1924 года умер Ленин. Никита Сергеевич ездил в Москву на похороны в составе донецкой делегации. В конце 1926 года Н. С. перешел на работу в окружной комитет партии, где стал заведовать организационным отделом, а я поехала в Москву повышать квалификацию — в Коммунистическую академию им. Крупской. Здесь я училась на отделении политической экономии до конца 1927 года. По окончании курсов меня направили в Киевскую межокружную партийную школу преподавателем политэкономии. Читать надо было на

украинском языке, так как слушателями были подпольщики из Западной Украины. За год моей учебы в Москве Н.С. успел поработать в Харькове в ЦК КП(б)У и к осени 1927 года уже работал в Киевском окружном заворготделом... В Киеве в 1929 году родилась Рада. В том же году Н.С. уехал в Москву в Промышленную академию, а летом 1930 года мы приехали к нему и поселились в общежитии академии на Покровке. У нас было две комнаты в разных концах коридора. В одной спали мы с маленькой Радой, в другой Юля, Леня и Матреша - няня, найденная Н.С. к нашему приезду".

* * *

Семья Хрущевых оседает в Москве до конца учебы Никиты Сергеевича. Нина Петровна не мыслит себе жизни без работы. Она рассказывает: "Меня направили работать на Электрозавод, в партийный комитет: сначала организовала и заведовала совпартшколой, через год выбрали меня в партком, и стала я руководить отделом агитации и пропаганды партийного комитета завода. Парторганизацию на заводе составляли около 3000 коммунистов, завод работал в три смены, у меня работы было очень много — уходила из дому в 8 часов, а возвращалась после 10 вечера. А тут еще несчастье: Радочка заболела скарлатиной, положили в больницу, рядом с заводом. По вечерам я бегала смотреть через окно, что делает дитя, и видела: дали ей миску с кашей, большую ложку, а няня ушла к подруге поболтать. Рада была маленькая, немного больше года; вижу, ребенок стал ногами в миску с кашей и плачет, а няня не идет, и ничем помочь нельзя... Забрали ребенка под расписку, досрочно, еле выходили...

На Электрозаводе работала я до середины 1935 года, то есть до рождения Сережи. Выполнила первую пятилетку в два с половиной года, получила почетную грамоту от заводских организаций. Проходила на заводе очередную, третью в моей партийной жизни, чистку партии. Познакомилась с большим кругом актива, с литераторами, старыми большевиками и политкаторжанами, приходившими на завод по поручению своих организаций, с подшефными колхозниками. Те годы считаю

наиболее активными годами своей политической и вообще общественной жизни.

Никите Сергеевичу не дали окончить Промышленную академию, взяли его на партийную работу — сначала секретарем Бауманского, потом Краснопресненского райкома партии. Тогда шла жестокая борьба с правыми в партии. Н.С. был делегатом XV съезда партии. К 1932 году Н.С. работал уже секретарем Московского горкома, а затем и обкома партии. В 1934 году он был делегатом XVII съезда ВКП(б) и был избран членом ЦК партии. В 1935 году Л. М. Каганович, бывший до того первым секретарем МГК, уходит на транспорт наркомом, а Н.С. Хрущева избирают первым секретарем Московской городской партийной организации. Тут он работает до отъезда на Украину в начале 1938 года, куда его направили на должность секретаря Центрального комитета Коммунистической партии большевиков Украины. В Киеве он встретил начало войны в июне 1941 года.

В Москве Н.С. много сил положил на строительство первой очереди метро, набережных Москва-реки, создание хлебопекарной промышленности. Надо было организовать городское хозяйство, бани, туалеты на улицах, электроэнергию для предприятий Москвы и особенно области... Надстраивали малоэтажные здания, чтобы увеличить жилплощадь, и многое другое...

В этот период, когда у нас уже была квартира в Доме правительства на Каменном мосту (4 комнаты), к нам переехали родители Н.С. Тогда продукты распределяли по карточкам, мой распределитель находился недалеко от завода, а распределитель Н.С. — в теперешнем Комсомольском переулке. Отец Н.С., Сергей Никанорович, ездил в эти распределители за картошкой и за другими продуктами и носил их “на горбу” (на спине), другой возможности не было. Однажды, с таким грузом он спрыгнул с трамвая на ходу, да еще в обратную сторону от хода, хорошо, что не убится насмерть. Он же носил Радочку в ясли на 11 этаж нашего дома, когда лифт не работал... Рада очень любила дедушку. Бабушка, Ксения Ивановна, больше сидела в своей комнате или брала табуретку и садилась на улице возле подъезда. Возле нее обязательно собирались люди,

которым она что-то рассказывала. Н.С. не одобрял ее “сиденья”, но мать его не слушала”.

* * *

Не однажды я замечала, что многие хорошо обеспеченные советские жены любят, можно сказать, просто обожают вспоминать тяжелое детство, или тяжелую юность, или тяжелое время, когда приходилось растить малышей, а нянь не было или было мало. Эта типичная черта свойственна и Нине Петровне, у которой к тому же трудностей хватало в детстве, и в юности, и в совмещении партийной работы с воспитанием большой семьи.

Любовь к такого рода воспоминаниям кажется мне чаще всего попыткой как бы оправдаться за условия жизни совсем не случайно, а по заслугам полученные от высших сил мира сего. И снова утыкаемся мы носом в спецжизнь и спецраспределения — великие стимулы для кремлевской и — далее вниз — всей советской элиты. Без смазки продовольственно-жилищного характера, без привилегий для управителей аппарата — машина не может работать. Этой особенности не предвидела Надежда Константиновна, созидая партийный механизм. Крупская долгие годы жила в странах, где вопросы привилегий быта решали деньги, ненавидела эти привилегии, хотела сокрушить их в России, но не могла даже представить себе, что ее машина не только повергнет общество в хронический голод десятилетий, но и создаст стройную систему новых привилегий. Ленин с его оторванностью от реалий тем более не мог предположить голодных способностей аппаратной системы — Крупская недаром посмеивалась над ним, говоря окружающим: “Он уверен, что булки растут на деревьях”.

Интересно также в воспоминаниях Нины Петровны ее невольное наблюдение за Никитой Сергеевичем, которому не нравились беседы его матери с посторонними людьми. Почему бы человеку из народа могло это не нравиться? Что должна была скрывать или не скрывать его простая деревенская мать? Что она могла знать в доме, где ни о чем секретном не говорилось, в страхе быть услышанными через Москва-реку у Сталина в кабинете по тайному кабелю?

Скорее всего, не нравилось Никите Сергеевичу, что мать способна разболтать всякую чепуху: какие продукты дают в спецраспределителе, сколько продуктов, какие еще привилегии имеют перед коренными москвичами приехавшие только что из провинции начальники с их большими и малыми семьями.

“Нечего пускать сюда людей с улицы” — эти слова принадлежат Никите Сергеевичу образца 1958 года, но о них дальше.

* * *

Воспоминания Нины Петровны — единственное письменное свидетельство кремлевской жены прошлых лет, увидевшее свет в наше время. Я привела его здесь почти полностью. Нет в этих воспоминаниях каких-либо осмыслений происшедшего в ее время, или хотя бы подробностей кремлевского быта, или на худой конец характеристик тех или иных современников — современниц, среди которых проходила жизнь. Почему? Да потому, что кремлевская жизнь — в самом ли Кремле, или в Доме правительства, или где еще, — жизнь, связанная с распределителями и разного рода спецформами, освященная изначально подпольностью, всегда должна была оставаться тайной. Вроде бы для дочери писала это Хрущева, а выглядит — как для партии. Все личное кремлевских людей сокрыто, ибо несущественно. Это как рефрен. Один лишь раз в воспоминаниях Хрущевой мелькнуло нечто из тех реалий:

“Не помню даты, к сожалению. Когда В. М. Молотов стал наркомом иностранных дел, то ему построили дачу по специальному проекту, с большими комнатами для приема иностранных гостей, и в какой-то день было объявлено, что правительство устраивает прием для наркомов и партийных руководителей Москвы на этой даче. Работники приглашались вместе с женами, так и я попала на этот прием. Пригласили женщин в гостиную, там я уселась у двери и слушала разговоры московских гостей. Все собравшиеся женщины работали, говорили о разных делах, о детях”.

Какой это год? Какой год? Лихорадочно начинаю я искать по книгам и энциклопедиям. Быстро нахожу: 1939 год — Молотова назначают министром иностранных дел.

Хрущева же — ниже об этом Нина Петровна будет говорить — назначили на Украину в марте 1938 года. Явное разночтение.

Думаю, Нина Петровна ошиблась с Молотовым: дачу ему построили прежде, чем он стал главой МИДа, а прием, о котором она рассказывает, несомненно относится к началу 1938 года.

Читаем дальше.

“Позвали в столовую, где были накрыты столы буквой “П”. Усадили по ранее намеченному порядку. Я оказалась рядом с Валерией Алексеевной Голубцовой-Маленковой, напротив — жена Станислава Косиора, которого только что перевели на работу в Совет Народных Комиссаров СССР. Уже было известно, что на его место секретарем ЦК Украины поедет Н.С.Хрущев. За ужином я стала спрашивать жену Косиора, что из кухонной посуды взять с собой. Она очень удивилась моим вопросам и ответила, что в доме, где мы будем жить, все есть, ничего не надо брать. И действительно, там оказалась в штате повариха и при ней в кухне столько и такой посуды, какой я никогда даже и не видела... Так же и в столовой...

Там (то есть на Украине. — *Л.В.*) мы начали жить на государственном снабжении: мебель, посуда, постели — казенные, продукты привозили с базы, расплачиваться надо было один раз в месяц по счетам.

Вернусь к приему, где для меня все было очень любопытно. Когда гости сели, из двери буфетной комнаты вышел И.В. Сталин и за ним члены Политбюро ЦК и сели за поперечный стол. Конечно, их долго приветствовали аплодисментами. Не помню точно, но кажется, сам Сталин сказал, что недавно образовано много новых наркоматов, назначены новые руководители, в Политбюро решили, что будет полезно собрать всех в такой дружеской обстановке, познакомиться ближе, поговорить... (Расчистив свои конюшни, вождь начал новую жизнь. — *Л.В.*)

Потом говорили многие, называли свои учреждения, рассказывали, как представляют себе свою работу. Дали слово женщинам. Валерия Алексеевна Голубцова-Маленкова говорила о своей научной работе, за что была осуждена женщинами. В противовес ей молодая жена наркома высшего образо-

вания Кафтанова сказала, что будет делать все, чтобы ее мужу лучше работалось на новом ответственном посту, чем вызвала всеобщее одобрение”.

За эту короткую деталь в воспоминаниях простим Нине Петровне все ее осторожности, умолчания, недоговоренности, невысказанности. Так просто и зримо показала она на простейшем примере суть перемен в кремлевской женской жизни: обратите внимание — все женщины работают, однако они вместе с мужчинами встречают рассказ работающей Маленковой о себе откровенно недоброжелательно. А Кафтанову одобряют. В чем дело?

Да в том, что наступает время посадить на место и без того не слишком развернувшихся на общественном уровне женщин. Сталин — победитель везде и во всем. В собственной жизни обжегся он о работающую самостоятельную, независимую и неуправляемую жену. Хватит. Поигрались кремлевские женщины в революцию и стройки социализма, теперь другие времена. Ближе к дому, ближе к детям, ближе к кухне. Спецблага дадены, жаловаться не на что.

1937 год ушел. “Враги народа” в основном убраны.

Кремлевская жена может позволить себе быть женой. И только. Конечно же, это не правило, однако отныне никто косо не посмотрит на женщину Кремля, занимающуюся домом, детьми и, главное, мужем. Видимо, тот описанный Ниной Петровной вечер был своего рода неофициальным разрешением, поворотным событием в определении места кремлевских жен второй половины тридцатых годов. Крупская в опале. Мария может отойти — место Марфе.

“Ранней весной 1938 года мы уехали в Киев, и все, что делала я с этого времени, была работа по поручениям райкома партии. В киевский период я преподавала историю партии в районной партийной школе, выступала с лекциями, учила на вечерних курсах английский язык. Дети маленькие (трое), часто болели, требовали внимания”.

Как бы оправдываясь, как бы чувствуя себя виноватой, Нина Петровна — сама партийность — становится просто женой вождя, утверждая новый тип первой женщины Кремля, в котором дети и кухня явно уравниваются с партийной принадлежностью, становятся выше интересов партийной работы.

В моей напроць засекреченной семье не было принято говорить ни о чем государственном. Я не могла ничего знать о работе отца — танкового конструктора. Но и дедушка, отец матери, Василий Саввич работал тоже на какой-то очень секретной работе. Он не жил с нами, а бабушка, его жена, — жила. Он все время куда-то ездил в вагоне, но железнодорожником был отнюдь не он, а совершенно не засекреченный дедушка Алексей Маркович, отец моего отца. Секреты Василия Саввича были не такие страшные, как отцовские, и бабушка, бывало, проговаривалась. От нее я узнала, что Саввич — профессиональный повар. Да такой, что лучше не бывает. В молодые, дореволюционные годы работал он у графа Хмельницкого на Западной Украине. Граф ценил его поварской талант.

Женившись на моей бабушке, девице из нищей польской дворянской семьи, мой дедушка ушел от графа, нанялся во Львове в большой ресторан. Революция застала обоих на Дальнем Востоке, дед стал работать в вагоне-ресторане строителей КВЖД. Он отправил жену с детьми на Украину, а сам поплыл по волнам жизни. Дважды в революционные годы его ставили к стенке — сначала белые, потом — красные...

Белые, захватив вагон с продовольствием и дедом, хотели пустить его в расход, но среди расстрельщиков оказался бывший камердинер графа Хмельницкого — расстрел был заменен сытным ужином, изготовленным дедушкиными руками.

Красные, собравшиеся его расстрелять, захватив все тот же вагон, вовремя выяснили, что он работает в красном поезде.

Однажды Саввич вез куда-то Ленина. Или откуда-то. Он рассказывал без деталей, так вообще, между прочим.

Он был глубоко беспартиен. Просто глубже не бывает. Но всю жизнь за его спиной стояли чекисты, наблюдая, как и куда снуют его руки, поэтому он был пуглив. В семье Саввич практически не жил, но заботился о ней постоянно. До сих пор у меня живо детское одеяльце, привезенное им из Китая. Долгие годы жило в семье мамино клетчатое пальто из верблюжьего одеяла — дед привез — за которое ее, как буржуазно настроенный элемент, чуть не выгнали из института. Мы жили в Харькове, Саввич работал в Киеве, и бабушка, живя с нами,

всего лишь раз в год ездила с ним вместе в его отпуск. Куда-то. Почему они жили врозь — я не знала. Моя мама объясняла это тем, что дед боялся за бабушку и всю нашу семью: если с ним что случится, мало ли что может случиться с поваром, когда случается в животе у начальства, семья, может быть, меньше пострадает, если живет врозь. Знаю только, он любил бабушку — высокую, статную, умную и насмешливую. Она умерла в войну, и он больше не женился.

В семье осталось много фотографий, которые Саввич исправно присылал бабушке: маленький, широкий, с большими белыми усами и чрезвычайно добродушной улыбкой, в белом халате и большом поварском колпаке, держит теленка за передние ноги или держит в руках огромную рыбину.

Итак, Саввич был правительственным поваром. Шефом. О его профессиональном умении было много разговоров, но сам, приезжая в семью, он никогда не готовил. Однажды попробовал сделать рыбное заливное и отказался — масштаб не тот. В тридцатых годах он обслуживал (глагол! — Л.В.) Косиора. Когда Косиора перевели в Москву, Саввич стал “кормить” (глагол! — Л.В.) Хрущева, с 1938 года по тот день, когда Хрущев был после войны снова вызван и назначен на работу в Москву. Всю войну с ним прошел.

Когда на приеме, о котором вспоминала Нина Петровна, жена Косиора сказала о поварихе, она не имела в виду Саввича. Повариха “полагалась” в квартире. Для семьи. Саввич и его помощники обслуживали правительственные приемы и правительственные поездки.

Нередко кремлевские вожди хвалились друг перед другом своими поварами.

Надежда Ивановна, сноха Ворошилова, недавно вскользь сказала мне:

— Хрущев обедал у нас и очень хвалил блины, говоря, что его повар такого не умеет.

Когда я услышала это, екнуло сердце: Саввич чего-то не умел?

У меня испортилось настроение и было плохим до той минуты, пока я не сообразила спросить Надежду Ивановну, в каких годах происходил разговор о блинах между Хрущевым и

Ворошиловым. Облегченно вздохнула — в пятидесятых. Тогда Саввич уже давно “не кормил” Хрущева.

Моя семейная гордость за деда не пострадала.

Неужели мне было неинтересно узнать подробнее о деде? Наверно было, но, раз споткнувшись на недомолвках, строгом взгляде и словах: “Это государственная тайна”, я более не любопытствовала. Да к тому же у меня был свой, все более углубляющийся мир литературных переживаний, в котором не могло быть места какому-то дедушкиному начальнику. Тем более его жене. Кусаю теперь локти, да что поделаешь.

Все же в памяти живы обрывки разговоров бабушки со своей дочерью, моей мамой. Всплывают слова мамы:

“Станислав Викентьевич Косиор был замечательный человек. Он такой же враг народа, как и я. Косиорша тоже. Нина Петровна? Гонору хоть отбавляй...”

Саввичу было трудно с Хрущевой. Когда она ехала с Никитой, во все влезала. Учила, как надо, как не надо, сама ведь готовить не умела...”

Мой дед, видимо, недолюбливал Нину Петровну.

Он прошел фронт с Хрущевым. Охранник Хрущева при мне рассказывал, что Саввич спас Никиту Сергеевича, когда у того начинался туберкулез, спас своей волшебной едой во время войны.

Дед очень любил Раду, и его фраза “Радочка — хорошая девочка” была хорошо мне знакома. Я была младше Рады, не могла ее знать и видеть, но сильно ревновала деда к этой “хорошей девочке”, которая, в отличие от меня, была очень послушная.

Когда Хрущевы переезжали в Москву, Никита Сергеевич хотел забрать и деда. Мы к тому времени жили уже в Москве, и радость от возможного скорого воссоединения семьи с “блудным” дедушкой была омрачена его внезапным решением:

— Не поеду. Старый. Не хочу менять место.

— Это из-за Нины Петровны, будь она неладна, — сказала моя мать. — Саввич не выносит ее характера.

* * *

Мы сидим с Радой Никитичной Хрущевой на ее даче, в подмосковном поселке. “Радочка — хорошая девочка”, кото-

рая видела моего деда вдесятеро чаще, чем я, рассказывает мне о своей матери, о семье, обо всем, что было “кухней” Нины Петровны Кухарчук-Хрущевой:

— Мама была очень суровым и строгим человеком. Очень скрытным. Никогда ничего о себе не рассказывала. Я удивилась, увидев ее воспоминания. Не думала, что она последует моему совету.

Я — второй ребенок у мамы. Первая дочка, Надя, умерла. До девяти лет мной дома почти не занимались. Нанимали няnek. Маме некогда было возиться с детьми. У нее были суровые партийные принципы. Это, наверное, отражалось на мне — маме всю жизнь было тяжело со мной, а мне с ней, хотя мы очень любили друг друга. У мамы с папой было трое общих детей — я, Сережа и Леночка. Двое от первой жены — Юлия и Леонид, они были намного старше. Дочь Леонида, тоже Юлия, была близка нам по возрасту, и мы ее воспринимали как сестру. Хрущевы удочерили Юлию после смерти ее отца.

Леонид жил в Киеве, работал в школе пилотов. Во время войны участвовал в массированных налетах на Германию. Налеты без сопровождения. Получил тяжелое ранение, лежал в госпитале, в Куйбышеве — мы тогда всей семьей были в Куйбышеве, в эвакуации, а отец — на фронте. Леонид долго лежал в госпитале, в одной палате с Рубеном Ибаррури. Они дружили. Брат долго выздоравливал. Пили в госпитале, и брат, пьяный, застрелил человека, попал под трибунал. Его послали на передовую.

Сестра Юлия, дочь отца от первой жены, к началу войны была замужем за театральным администратором капеллы “Думка”. Она работала, но, по существу, всегда была очень домашней женщиной: шила, вышивала, стряпала.

Наши младшие — Сережа и Леночка — в детстве много болели. У Леночки был туберкулез, она и умерла рано.

Как-то я спросила, почему мама назвала меня Радой? Она ответила:

— Я была рада, что ты родилась.

Строго контролировала уроки детей. В особенности строга была ко мне. С Сережей и Леночкой мягче, она их растила, уже не работая, меньше нервности в ней было. Она даже баловала их.

Отец? У него никогда не было времени на детей. Он считал, что мама наконец взяла дом в свои руки и он свободен для государственной работы. Он любил меня. С ним, если он дома, было весело: ехали на дачу, он пел песни, читал стихи, брал меня с собой на лыжах.

Маму очень трудно было о чем-либо попросить. Почти невозможно. Его — намного легче.

Сейчас наши дети расспрашивают, интересуются, неужели мы в доме ничего не знали? Неужели отец с матерью ни о чем при нас не разговаривали?

Да. В доме никаких разговоров о государственных делах не было.

(Охотно верю. Очень это похоже на мой дом, где обо всем, что не суп и каша, говорилось с оглядкой на дверь. — Л.В.)

В доме никогда не было внешне выраженного культа Сталина. Правда, помню, после войны, майские праздники, за столом при гостях отец произнес первый тост за Сталина. Мне тогда это показалось фальшивым.

Нельзя было слова сказать против Ленина или Сталина. Однажды я о чем-то спорила с бабушкой, и она сказала мне, что ее нужно слушаться, потому что она старая и умная.

— Умней Сталина?

— А что? Умней.

Воспитывали меня так, чтобы я лишних вопросов не задавала. Мы, дети, подспудно знали, о чем можно спросить, о чем нельзя.

Мама была очень способная, работоспособная, очень организованная и аккуратная. После войны она не работала, а в войну в Куйбышеве в сорок третьем году стала изучать английский язык и окончила курсы английского...

* * *

Вот моя разгадка! А я никак не могла понять, откуда взялось это поветрие в войну в заводском поселке Нижнего Тагила? Моя мать внезапно собрала целую группу, и у нас в квартире появилась учительница английского языка. Отец, редко бывавший дома, удивился, но мать пресекла все его вопросы:

— Сейчас такое время, когда будут развиваться отношения с союзниками, Саввич пишет с фронта, что нужно учить английский.

Странность сочетания Саввича и английского языка долго помнилась и была для меня необъяснимой.

Теперь понимаю — все пошло от Нины Петровны, где-то рядом с ней Саввич смотрел своими мудрыми, все понимающими глазами на жизнь хозяев и хотел, чтобы его собственные деточки тоже кое-что понимали, как дальше нужно будет жить.

Уроки английского в заводском поселке Нижнего Тагила быстро прекратились, из-за сложностей быта.

* * *

— У мамы был замечательный почерк. Она славилась им еще в гимназии. Мама была грамотным и образованным человеком, хотя родители ее деревенского происхождения, — говорит Рада.

* * *

В воспоминаниях Нины Петровны есть интересные строки об ее родителях:

“В 1939 году немцы заняли Польшу и приближались к моим родным местам — селу Василеву. Как известно, наши войска в это время двинулись на запад и заняли районы Западной Украины, город Львов и Западную Белоруссию.

Никита Сергеевич позвонил мне в Киев и сказал, что село Василев и окружающий район отойдут к немцам и если я хочу, то могу приехать с оказией во Львов, а оттуда меня отвезут в Василев, чтобы я смогла забрать своих родителей.

Еще Никита Сергеевич добавил, что организует мою поездку товарищ Бурмистенко, секретарь ЦК КП(б)У. Тов. Бурмистенко сообщил мне: по командировке ЦК едут две женщины для работы во Львове и я поеду с ними. Одна, молодая комсомолка, ехала для работы с молодежью, а вторая — партийный работник — должна была работать среди женщин Львова. Нам велели надеть военную форму и дали револьверы.

Было сказано, что мы переодеваемся для удобства, чтобы военные патрули меньше останавливали нас на дороге.

Ехали более-менее спокойно, но на дороге недалеко от Львова чуть было не попали под встречный грузовик: шофер грузовика не спал три ночи и заснул за рулем. Пострадала только комсомолка — ударилась переносицей...

Довез нас на своей машине проезжавший мимо командир (проверил документы): девушку отправили сразу в госпиталь на перевязку, а мы вдвоем остались на квартире командования. Командовал войсками Тимошенко Семен Константинович, тогдашний командующий Киевским военным округом.

Н. С. Хрущев находился в войсках как член Военного совета”.

Я внимательно вчитываюсь в рассказ Нины Петровны, почти физически ощущая: там же, там же был и мой Саввич. Варил, жарил, парил для Хрущева. Вот оно, наказание мне за нелюбопытство и равнодушие к жизни предков: собираю по жалким крохам судьбу своих родных!

“Когда Н.С. и Тимошенко вернулись домой и увидели нас в военном и с револьверами, они сперва расхохотались, потом Н.С. очень рассердился, велел немедленно переодеться в платья. И продолжал бурно возмущаться: “О чем вы думаете? Собираетесь агитировать местное население за советскую власть, а сами приходите с револьверами? Кто вам поверит? Им десятилетиями внушали, что мы насильники, а вы с вашими револьверами подтверждаете эту клевету”.

Переоделась и поехала в Василев за своими родителями. Сопровождал меня Божко, один из бойцов охраны Н.С.”:

Этот Божко, поди, каждый день имел возможность говорить с Саввичем. Этому Божко, поди, Саввич чай заваривал.

Саввичевы сослуживцы говорили мне, уже когда его не было на свете, что многих он на всех фронтах спас от смерти. Включая и самого Хрущева. Обстоятельств не знаю.

“Доехали спокойно, нашли хату моих родителей. Отец и мать были дома. Сбежалось много народа посмотреть на меня и узнать новости. Никто не хотел верить, что село отойдет немцам, не знали этого и младшие командиры в частях”.

Нина Петровна осторожно не пишет, как относились одно-

сельчане ее родителей к надвигающемуся факту. “Никто не хотел верить” — еще ни о чем не говорит.

Может быть, ждали и не чаяли дожждаться немцев?

Наверно, были такие.

Может быть, боялись немцев, думая: пусть хоть и кровавые большевики, все же свой народ, славянский?

Наверно, были и такие. Но таким видеть советскую барыню, имеющую возможность забрать из надвигающегося пекла своих родителей, было, вероятно, мало радости.

Или я ошибаюсь?

“Всю ночь в хате толпились военные, грелись, мама их кормила, с ними сидел и Божко В.М., — вспоминает дальше Нина Петровна. — Под утро приехали представители вновь организованной местной власти, чтобы меня арестовать как шпионку и провокатора. Еле их уговорили Божко и танкисты, что они ошибаются. Утром родители мои и брат с семьей погрузили в полуторку свое имущество и себя, и мы двинулись на Львов.

Привезла я своих родителей во Львов, во дворец воеводы, где квартировал Н. С. Стали они ходить по комнатам, удивлялись всему. Например, покрутил мой отец водопроводный кран и кричит матери: “Подойди, посмотри, вода льется из трубы!”

Когда вошли в комнату т.Тимошенко и Н.С., отец, указывая на Тимошенко, спросил: “Это наш зять?” Но я не заметила, чтобы он разочаровался, узнав, что зять его — Н.С.”.

Последней фразой своих воспоминаний Нина Петровна как бы смягчает оплошность отца, захотевшего выбрать в зятя из двух вошедших более статного и красивого “парубка” Тимошенко. Этой фразой хорошо закончить цитировать ее воспоминания, ибо в этой фразе Нина Петровна — более всего женщина, которая любит.

* * *

Покуда Саввич где-то далеко от своей семьи варил еду Никите Сергеевичу, я никогда не видела Хрущева и Нину Петровну. Но судьбе было угодно подвести меня вплотную к

этой семье. Не близко познакомиться, а взглянуть из некоего угла.

В 1956 году в Москву приехал на ответственную работу и постоянное жительство с женой и двумя детьми родной младший брат моего отца — Владимир. Он был строителем. Работал на Дальнем Востоке, где его и заприметил Хрущев, посетивший Дальстрой. Перевел в Москву. Владимир Алексеевич очень быстро пошел в гору. Спустя два года в Москве стал заместителем Председателя Совета Министров по строительству. На его плечи взвалилось бурное возведение не только множества новых промышленных комплексов, но и тех убогих “хрущев”, которые худо-бедно помогли множеству населения страны понять, что такое жизнь в отдельной квартире.

Дядя Володя поселился в доме на Советской площади, напротив Моссовета. Этажом выше жила Рада Хрущева с Алексеем Аджубеем. Дядя Володя получил (еще один активный советский глагол. — Л.В.) дачу на Николиной горе, как раз у поворота к Москва-реке. Естественно, правительственную дачу. В этом поселке и сегодня стоят рядом собственные и правительственные дачи, что является редкостью в Подмосковье: обычно дачи слуг народа строятся отдельно. Была на даче прекрасная, очень разнотильная мебель, явно завезенная из особняков еще царского времени. Буфет в столовой поражал пышностью отделки: амуры просто толпились на его поверхности. Главная спальня цвела вся в розовых тонах. И повсюду на мебели и предметах — металлические бирки с номерами — казенное добро.

При даче полагались горничная, кухарка, садовник и сторож.

Дядя Володя и вся его семья приняли свалившиеся на их голову блага с обычным для такой ситуации советским достоинством: раз положено, значит, так и надо.

В день пятидесятилетия дяди Володи, в 1958 году, на даче собралось огромное, малоинтересное тогда для меня общество. За столом слышала я тосты и “за наш советский трудовой народ”, и “за успехи юбиляра в деле строительства коммунизма в нашей стране”.

Гости были сплошь заместители председателей. Как сам юбиляр. Председателя — ни одного. Но были министры. Из

жен ни одной не запомнила. Вернее, все они слились для меня в один тип: высокая прическа, взбесившееся тесто бесформенной фигуры и сардельки пальцев, унизированные бриллиантовым сверканием.

Служебная субординация соблюдалась и в неслужебной обстановке — министры и зампреды сидели вблизи юбиляра, а подчиненные дяди Володи — подальше. Почти возле детей сидел и его старший брат, Николай, мой отец, за которого, однако, пили “как за создателя лучшего в мире танка Т-34”.

Нас с сестрой, дочерью Владимира Алексеевича, после ужина охотно окружили министры и зампреды, шумно обнимали, восхищались молодостью. Все вместе гуляли по дорожкам.

Идя рядом с дядей Володи и министром Дыгаем, я запомнила фразу Дыгая: “Это ты еще, Владимир, не достиг. Вот когда тебя на демонстрации на портретах понесут (глагол! — Л.В.), тогда, считай, ты у цели”.

Забутить такое высказывание, разумеется, невозможно. Я рассказала о нем матери, отцу. Похохотали. Вспомнилось оно мне и позднее, когда через два года дядю Володю “понижили” до президента Академии архитектуры и строительства. На дне рождения, на другой уже даче, более скромной, в Жуковке, было много народу. Совершенно другого: президенты разных академий — сельскохозяйственной, наук, просвещения... Сидели по субординации. Отец мой все на том же месте. Но тосты были, как и прежде, “за советский народ”, “за успехи именинника в деле строительства коммунизма”. И за брата, “создателя лучшего в мире танка Т-34”.

На портретах дядю Володю не понесли. Он “сгорел” на работе (опять глагол для глубоких раздумий. — Л.В.), и в 1963 году понесли его тело в Колонный зал. Три дня лилась там похоронная музыка. В народе его не знали. Я сама слышала, пробираясь к Колонному залу: “Кого хоронят? Кто такой?”

Прах его в Кремлевской стене, рядом с прахом министра Дыгая, которого тоже на портретах не понесли. Говорили, что Никита виноват перед дядей Володи, зря его понизил, сам переживал — оттого и похоронил по высшему классу. В порядке извинения.

Тетушку мою молва из-за стремительного возвышения ее

мужа записали в родные сестры к Нине Петровне Хрущевой. Если учесть, что тетушка от рождения звалась Анастасией Николаевной Головченко, то какая может быть родная сестра? Думаю, и то обстоятельство, что Саввич когда-то работал у Никиты Сергеевича, не могло иметь никакого значения для возвышения Владимира. Скорее всего, о Саввиче вообще речи у Хрущева со своим зампредом возникнуть не могло. Кто такой Саввич?

Как раз во время возвышения дяди Володи в дни моей университетской юности среди самых разных кавалеров завелась у меня компания кремлевских "сынков".

Встретившись в городе, эти ребята в машинах, прикрепленных к их матерям, ехали к кому-нибудь на дачу выпить и посмотреть американскую киношку.

Единственная моя поездка с ними за город, по случайности или закономерности моей жизни, привела всю компанию к хрущевской даче: юноши решили заехать к сыну Никиты Сергеевича, Сереже. Просто так. Позвать его к себе или остаться там, если кино хорошее. Сережи не было дома. Спецслужба пропустила машину на территорию дачи. Вышла Нина Петровна с добродушной манерой домашней хозяйки и пригласила всех в кино. Был летний вечер. Кино уже началось, и мы ошупью сели на свободные места. Посреди кинозала стоял бильярд. Видимо, эта комната совмещала два предназначения. Минут, наверно, пятнадцать на экране шли документальные кадры о квадратно-гнездовом посеве картофеля.

— Какой же дурак, — громко высказалась я, — в такую погоду вечером смотрит такой фильм?

Вся моя компания мигом снялась с мест. В машине они орали на меня, что в зале сидел Никита, сторонник квадратно-гнездового метода, что я дура, что могут быть неприятности. И у меня в первую очередь.

На всякий случай мы расстались навсегда. С одним из них, умным парнем, я несколько раз говорила по телефону. Посмеиваясь, он сказал мне, что Никита действительно возмущился моими словами и сказал:

— Чтобы я больше никогда не видел здесь эту девочку.

Он поинтересовался, кто я и откуда. Узнав, что никто, рассердился еще больше:

— Нельзя, чтобы ездили тут всякие, смотрели.

Саввич, Саввич, что бы сказал ты мне на все это?

Знаю, испугался бы сначала. Ты был такой пугливый, ибо знал и видел много больше моего. А потом, наверно, ухмылялся бы в свои белые усы.

Не по той ли причине: “нельзя допускать всяких” — сердился на свою мать Никита Сергеевич, когда она беседовала с простыми людьми на лавочке у подъезда?

* * *

Ее называли Екатериной Третьей.

Она, безусловно, не дотягивала до гигантских государственных масштабов Екатерины Второй, но, кажется, государственным трудолюбием превосходила Екатерину Первую.

Екатерина Фурцева — Секретарь ЦК КПСС, позднее министр культуры СССР, замечательная своей женской неповторимостью среди свиноподобных правителей хрущевского периода, как будто специально подобранных к добродушно-пародийной внешности Никиты Сергеевича, — была изящна и даже как будто загадочна, что, как правило, невозможно для женщины партийного типа, своей причастностью к мужским делам как бы отрезающей от себя природную женственность.

Фурцева была единственной женщиной в высшем эшелоне хрущевской власти.

Глядя на ее хрупкую фигурку, сразу бросающуюся в глаза в кругу пухлых пиджаков, я всегда думала: “Неужели ей не скучно там — среди них?”

Говорили, что она — любовница Хрущева.

Сами по себе эти сплетни были чем-то теплым. Обнадеживали: если старик Никита еще способен иметь любовницу, есть у него силы продвигать ее по служебной лестнице, значит, у него должны найтись силы пусть не перегнать, пусть даже не догнать Америку, а хотя бы догнать себя: прекратить убывание продуктов в полях, на фермах и на прилавках.

Говорили, Фурцева пьет.

Надежда Ивановна Ворошилова, ездившая со своим свекром Климентом Ефремовичем в Индию в составе большой пра-

вительственной делегации, рассказывала, какая Фурцева была боевая женщина. Умела работать.

— С вечера мы с ней сядем, она примет стакан водки, расслабится, а утром в шесть часов будит меня звонком, как ни в чем не бывало:

— Пора идти.

Я оденусь, умоюсь, выбегу к ней — она как стеклышко: хорошенькая, нарядная и вся в партийной броне. Могла говорить без бумажки, но не решалась, мужчины с бумажками — нельзя выделяться.

Рассказывали, она имеет свою баньку-парилку, где собираются подружки, пьют, парятся и нежно любят друг друга. Упоминали знаменитую артистку Людмилу Зыкину как участницу этих оргий. Зыкина говорит о Фурцевой:

— С ней многие певицы ходили в баню. Это был ритуал. Никогда в бане не пили. Однажды моя подруга принесла с собой пиво. И Екатерина Алексеевна говорит: “Пивом хорошо голову мыть”. Но чтобы она хоть грамм выпила — этого не было. Все это ложь. Возможно, с кем-то она и пила, на приемах, например, но со мной — никогда... Я вообще не пью, не лежит душа. Да если певица пьет, у нее голоса не хватит, чтобы прожить большую творческую жизнь, как у меня...

Я знала Екатерину Алексеевну в течение десяти лет, и с ней было очень легко работать. Ее секретарь рассказывала, что если она кого-то обидит, то потом очень переживает, и в результате этому человеку сделает что-то хорошее... Екатерина Алексеевна не боялась держать около себя сильных людей, и этому я от нее научилась...

Семья Хрущевых, и в частности Рада Никитична — в хрущевской семье самое близкое к матери дитя, отвергает версию о любовных отношениях Никиты Сергеевича и Екатерины Алексеевны. Опровергает. Равнодушно, как нечто неинтересное ей.

Фурцева предала Хрущева в дни переворота. В пользу какой версии это говорит? В пользу любой. Женщина, чудом попавшая в высший эшелон такой неинтеллигентной власти, какой были большевики той поры, не смела рассчитывать на понимание своей особенности — она должна была вести себя как все остальные партийные мужчины: предавать в ответственный момент.

* * *

Вспоминаю рассказ Марии Васильевны Буденной:

— В пятидесятых против Семена Михайловича было выдвинуто несправедливое обвинение. Я встретила Нину Петровну Хрущеву в поликлинике и высказала ей все, что думала об этом. Она позвала меня вечером в гости. Я повторила все при Никите Сергеевиче. В резкой форме. Через несколько дней на Политбюро обвинение с Семена Михайловича было снято.

* * *

Падение Хрущева в 1964 году. Как переживала это событие Нина Петровна?

— Много лет у мамы был остеохондроз, — рассказывает Рада Никитична, — она ездила лечиться сначала на Мацесту, потом, после войны, — в Карловы Вары.

В октябре шестьдесят четвертого они отдыхали врозь: отец в Пицунде, мама — в Карловых Варах. Она лечилась там вместе с Викторией Петровной, женой Брежнева. И сначала, когда пришло сообщение о переменах в правительстве, не совсем поняла, что произошло.

Говорила Виктории Петровне: “Теперь не я вас, а вы меня будете приглашать на приемы и в театр”.

Восприняла все как перемену декораций, вполне естественную.

— Так. А когда она вернулась из Карловых Вар и поняла, что случилось?

— Заболела. Долго не выезжала из особняка на Ленинских горах. Ее гнали оттуда. Требовали скорее, скорее выезжать. А она, как будто не слышала, жила еще месяц. Просто была в шоке.

— Куда съехали Хрущевы после падения Никиты Сергеевича? И вы сами куда переехали?

— У нас с Алексеем Ивановичем к тому времени была своя квартира, у Сережи своя. Леночка жила с родителями, даже прописаться было негде — ей дали жилье. Родителей поселили в Староконюшенном переулке. Но отец там не жил. Он даже, кажется, ни разу не ночевал в Москве. Предложили на выбор

две дачи: одну далеко — Семеновское, в ста километрах от Москвы, другую рядом, в Петрово-Дальнем. Выбрали ближнюю. Там он и поселился.

— А как относились ваши друзья и знакомые к вам, к вашим родителям после падения отца?

— Как обычно в таких случаях: все кремлевские знакомые разлетелись.

В тот день, в октябре, когда это случилось, я, уже все зная, встретила на улице Галину Сатюкову, жену главного редактора “Правды”, ближайшего помощника моего отца. Она была приветлива, еще ничего не знала и говорила, что мы редко встречаемся, что нужно пойти вместе туда-то, туда-то, она позвонит сегодня же, и мы договоримся. Больше я ее никогда не видела и не слышала. А интеллигенция — актеры, художники — поддерживали, звонили, встречались. Сразу определилось, кто друзья, кто никто. Галина Волчек, Олег Ефремов, Юрий Любимов, Таня Тэсс. Университетские друзья не бросили.

Вообще у отца с интеллигенцией произошло недоразумение. Он ее любил, но его настроили против.

— А у мамы как все определилось?

— Мама ни с кем из правительственных жен и не дружила. Кто вился около, конечно, исчезли. В последние годы маминой жизни к ней стали приезжать люди ее молодости. Из Донбасса. Римский с женой. Подруга мамы, Анна Осиповна.

Последние годы своей жизни, после смерти отца, мама жила на даче в Жуковке, в так называемом “вдовьем поселке”, куда ее переселили из Петрово-Дальнего. Одна жила. Дверь не запирала. На палку закрывала — толкни, откроется.

Ей дали пенсию 200 рублей — половину отцовских четырехсот. Ну и все остальное: столовую кремлевскую, поликлинику, возможность вызывать машину.

Она быстро привыкла к одиночеству. Телефоны “скорой помощи” на тумбочке, рядом с лекарствами. Когда она болела и лежала в больнице — кремлевские сестры хамили ей. Нарочно. Судно не подавали. А она им улыбалась. И ни слова не говорила. Просто улыбалась в ответ.

Еще в молодые годы, после того как мама ушла с работы,

она стала думать, что ее партийный долг — достойно держать семью. И навела в семье партийный порядок. Это нам, детям, было нелегко. Да и не только нам. Всей обслуге тоже. Отец получал зарплату 800 рублей. В будни была строгая жизнь. Если в доме, на даче был правительственный прием, она строго следила “за кодлой”, чтобы, накрывая, не поставили больше бутылок: во-первых, гости могли напиться, во-вторых, чтобы сама прислуга потом, после приема, не перепилась.

Когда был прием, то дети в нем не участвовали. Мы ели отдельно и совсем другие продукты, потому что на приеме продукты были казенные. Мама за этим строго следила...

Она не выбрасывала ничего старого. После ее смерти осталось много старых, ношенных-переношенных, платьев и кофт.

* * *

Свою краску в портрет Нины Хрущевой вписывает муж Рады Никитичны, Алексей Иванович Аджубей:

“Время делилось на эпоху до и после смерти Сталина. “После” — весь кремлевский двор как бы отпустило.

Я был связан с этим кругом до знакомства с Радой. Моя мама, Нина Матвеевна Гупало, была одной из лучших московских закройщиц-модельеров. Елена Сергеевна Булгакова, Марина Алексеевна Ладынина, Светлана, дочь Сталина, — они одевались у матери”.

Про мать Аджубея знал даже Сталин, которого вряд ли интересовали женские моды. Светлана Аллилуева вспоминала, отцу однажды не понравилось, как ее обтягивает новое платье:

“Сними, — сказал он, — носи то, что шьет Гупало”.

Мать Аджубея работала в спецателье, носила погоны подполковника, до революции работала в подполье, потом была в Красной Армии. Вполне проверенный человек.

Алексей Иванович считает, что обе Нины — Хрущева и Гупало были чем-то похожи в привычках и вкусах, а также “ни о чем никого не любили просить”.

Нина Гупало шила и Нине Берия. Нина Теймуразовна однажды послала к ней, как к своей портнихе (уж не она ли шила Нине Берия платье, похожее на абрикосовое облако и

увиденное мною на ней однажды в Большом? — Л.В.), полковника — передать какие-то пуговицы. Тот поразился: лучшая портниха страны живет в чудовищной коммуналке на Воронцовской улице. Он сказал об этом своей хозяйке. Нина Теймуразовна была в ужасе:

— Ты, Нина, живешь в таких условиях?!

И забыла. Только через два года после этого разговора Нина Гупало получила квартиру.

Еще при Сталине, когда Аджубей с Радой познакомились и поженились, Нина Берия, узнав об этом, сказала Нине Гупало.

— Зря Алеша вошел в семью Хрущева.

Нина Гупало расстроилась, она знала, что такое Берия, и подобная фраза из уст его жены ничего хорошего не предвещала. Так и было: как раз в те дни на Радугу и Алексея Аджубея была написана анонимка, что они ведут в семье Хрущева “красивую жизнь”.

Это было время, когда при Сталине началась кампания разоблачений кремлевских, а в основном — олококремлевских детей ответственных работников, позволявших себе урвать от благ.

“Моя теща, как и моя мать, были крепкие орешки, — говорит Алексей Иванович. — Мать обшивала и Светлану Сталину, и Светлану Молотову, но никогда среди ее заказчиц не было Нины Петровны Хрущевой. Лишь в пятьдесят девятом году — была поездка в Америку — мама с удовольствием нашла туалетов для Нины Петровны, чтобы она в них покрасовалась”.

Кто мог бы вспомнить на Нине Петровне Хрущевой хоть один туалет?

На ней, как говорится, ничто не смотрелось. Этот общематеринский тип женщины требовал скромных форм и линий, да так, чтобы их видно не было. Все вычурное и претенциозное выглядело бы смешно.

Думаю, она достаточно хорошо понимала это и не злоупотребляла возможностями.

“Характер у Нины Петровны более чем сдержанный, — вспоминает Аджубей. — Когда мы с Радой решили пожениться, она согласилась последней. И по отношению ко мне лишь через

несколько лет сменила сдержанность на симпатию. В конце своей жизни, уже пройдя через все трудности, она меня уважала.

Вообще жизнь в кремлевских семьях была весьма своеобразна. Жили как цари, а умерли как нищие. Потому что ничего своего не было. На казенном держались, заводить свое было нельзя, непартийно... У Хрущевых в столовой всегда висели четыре портрета: Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин”.

* * *

Представляете себе? Дома. В столовой. Никто не заставлял вешать. Сами вешали.

Удивительно? Нет.

Для Нины Петровны и Никиты Сергеевича это было естественно: творцы их идей, учителя их жизней.

Уже детям было как-то не по себе от этих портретов. Они дома их не заводили.

А внукам вообще смешно. Они сегодня спрашивают:

— Неужели деды и правда верили?

Правда...

В эвакуации, в Нижнем Тагиле, над топчаном, где я спала, висел портрет Вячеслава Михайловича Молотова, а пониже его — коврик текинского рисунка. Я любила смотреть на коврик, воображать в рисунках свои видения и просто не замечала Молотова. Когда заметила, не отреагировала.

Потом, спустя много лет, спросила у мамы:

— А куда делся Молотов? Зачем он висел?

— Когда нам, эвакуированным, раздавали в заводоуправлении мебель, многие получали портреты членов правительства “в качестве наглядной агитации”. Просто их, наверно, некуда было деть. Нам достался Молотов. Дома даже спор из-за него был, не знали, куда повесить: в комнате — некрасиво, в коридоре — неудобно.

Повесить над твоим топчанчиком придумала тетя Таня, бывшая барыня. Она сказала: “Если придут брать (глагол! — Л.В.) и увидят, что над ребенком висит Молотов, может, это их остановит”.

Твердый характер Нины Петровны неоспорим для всех членов семьи.

Сергей, младший сын Хрущевых, в 1974 году, спустя три года после смерти отца, получает приглашение в КГБ. Там ему предлагают объявить фальшивкой только что вышедшие на Западе мемуары Хрущева под названием: "Хрущев вспоминает. Последнее завещание".

Ему даже показывают заранее написанное в КГБ, как бы его собственное письмо-опровержение этих мемуаров, которое должно вызвать скандал на Западе и дискредитировать мемуары.

Сергей Хрущев пишет: "Предложение оказалось нестандартным. Я сказал, что мне нужно посоветоваться с мамой, поскольку такое дело я не могу решать в одиночку...

В тот же день я рассказал обо всем маме. Она поинтересовалась, читал ли я книгу.

— Нет, — ответил я, — даже не видел.

— Так как же можно писать, что это фальшивка, даже не ознакомившись с текстом? — логично возразила она. — Ты не должен делать такое заявление о книге, которую никто из нас в глаза не видел. Можно написать то, что написал отец: мы не знаем, как эти материалы попали на Запад.

(При жизни Хрущев именно так и объяснил партийной общественности факт появления в западной печати первой части своих мемуаров. — Л.В.)

С этим я и пошел на следующую встречу.

Я понимал, что разговор будет не из легких, и приготовил неотразимый аргумент: мама запретила. Это было правдой, а к Нине Петровне они не подступятся..."

Вот так.

Сам сын признает, что к ней даже КГБ подступиться не сможет. Твердость характера Нины Петровны, видимо, не менялась с годами.

Но менялась она сама.

Любопытно, что выход на Западе мемуаров такого человека, как Хрущев, с точки зрения правильной партийной функционерки Нины Петровны, должен быть просто возмутитель-

ным, безобразным фактом, требующим тщательного расследования. Партийка ленинско-сталинского призыва ни на секунду не усомнилась бы осудить мужа и принять меры, то есть публично осудить его.

Нина Петровна в старости — уже другой призыв. Чувство жены и матери перевешивает чувство партийного долга. Любовно вспоминающая о чистках в партии, она еще любит партию как свое прошлое, но уже не отдает в ее пожирающий зев своего спутника жизни. Даже мертвого. Или тем более мертвого.

Мемуары оказались настоящие, она, конечно же, понимала это, когда сын с нею советовался, и понимала также все уловки КГБ, прочитывала их — немудрено, столько лет прожить в окружении и внутри систем КГБ и не понимать их даже глупому человеку невозможно, а Нина Петровна умна и понятлива.

* * *

— Вот эти разговоры о кумовстве Хрущева — правда? — неделикатно спросила я Аджубея, можно сказать, главного “кума”: он — зять, был первым близким советником Никиты Сергеевича, многое созревало за семейным столом.

— И да и нет, — сказал Аджубей. — Просто во многих вопросах мы с ним были единомышленники. Что касается остальных... Любимая сестра Никиты Сергеевича, Ирина Сергеевна, могла приехать на дачу и жить там в любое время. Однажды она попросила построить себе дачку — Хрущев побагровел. Но потом все же дал ей денег, помог получить участок.

Вообще при Хрущеве, как и при Сталине, кумовства боялись. О нем вечно ставился (глагол! — Л.В.) вопрос. В 1964 году, когда Хрущева “сбрасывали” (глагол! — Л.В.), ему поставили в вину, что он “таскал” (опять глагол! — Л.В.) за собой в Америку всю семью. Он вначале не собирался этого делать, но настоял Микоян, тоже очень семейственный человек. Семья собралась в Америку буквально за несколько недель. Все были очень довольны: и семья и Америка.

Когда Берию расстреляли, его сын Серго и Нина Теймуразовна написали письмо Хрущеву. Оно тронуло Никиту Сергеевича. Он поверил Серго и Нине Теймуразовне. Они писали, что случившееся — закономерно. Они не знали, конечно, мно-

гого, но они видели, что этот человек катится в пропасть и что в ту же пропасть они вынуждены были катиться вместе с ним.

После казни Берии моя мать, Нина Матвеевна, очень жалела Нину Теймуразовну. Та когда-то, еще при власти Берии, спросила ее:

“У вас одевались жена Ягоды, жена Ежова, многие другие женщины, разделившие судьбу мужей. Теперь вы выбираете наряды для меня. Не страшно вам?”

Мать смолчала. Она не любила таких разговоров. Я знаю, она радовалась тому, что Нина Теймуразовна и ее сын Серго получили возможность спокойно жить и работать.

* * *

Зимой 1954 года переживала я первую любовь и не заметила факта передачи Крыма из России в Украину. Помню, однако, фразу тети Тани, бывшей барыни:

— Интересно. Что не удалось отвоевать Жемчужиной, легко получила в подарок Нина Петровна: Крым.

— Не болтай лишнего, Татьяна, — сказала моя мать, боявшаяся всего на свете.

— Подумаешь, правду нельзя сказать. Я ведь не против говорю. Я, украинка, должна радоваться, что Крым достался не евреям, а нам. А то, что Никита подарил Крым своей Нине Петровне, ясно как день.

— Глупости. Никита не один в правительстве. И вообще, в советской стране как может кто-то подарить кому-то Крым.

— Может, может. У нас все можно. Завуалированно.

Разумеется, мне тоже показалось сущей обывательской чепухой точка зрения тети Тани, женщины, чьи понятия удивительно переплетали дореволюционные нравы с нравственностью сталинского ампира.

И сегодня это мнение кажется мне чепухой, но факт остается фактом: веками жестокая мужская рука терзает кленовый лоскут Крыма, который и принадлежит-то солнцу, ветру, морскому прибою, лунной дорожке...

Даже если Нина Хрущева получила его в подарок, то... где она?

А где Крым?..

ВИКТОРИЯ — ЗНАЧИТ ПОБЕДА

Дыхание победы остро ощущалось в Москве августовскими днями 1991 года. Запах крови трех, погибших в дни так называемого “путча”, а по негласным сведениям — и более трех погибших, пьянил молодых и пугал старых.

Панкообразные юноши в вагонах метро смотрели вокруг некими наркотическими взорами, словно ища, куда бы еще пойти, что бы еще сделать такое разрушительно-объединяющее всех.

Растоптанная и скомпрометированная идея покоилась под неубранными баррикадами, на которых народ стоял против своего народа. Танки и бронетранспортеры — против людей.

Мой отец, танковый конструктор, сказал когда-то показавшуюся мне странной фразу:

— Танки нужно было убрать из Европы, как только освободили Германию.

— Почему? — удивилась я.

— Танк сделан не для нападения, а для защиты. Он — мистическая штука. Веками люди искали его решения — Леонардо нашел и спрятал, чтобы им не воспользовались во зло. Только двадцатый век открыл тайну танка.

— Ну и что?

— Если танк начинают использовать для нападения, это дает обратный результат. Вспомни Венгрию пятьдесят шестого: возникло противодействие.

— Чехословакия...

— Чехословакия тоже.

Он не дожил до Афганистана. И до путчей наших дней. Сегодня кое-где его танк сбрасывают с пьедестала. Зря. И опасно. Для тех, беспамятных, кто сбрасывает. Но кое-где его и ставят на пьедестал. Жизнь сложна и многозначна.

Танки вошли в Москву августовским днем 1991 года, вроде бы в помощь “путчу”, но смели его самым фактом прихода.

Отец считал танк связанным с человеком пуповиной. Самолет — птица. Прилетел — улетел, а это зеленое чудовище, надетое на человека, слито с ним насмерть.

Победа, победа, победа...

Виктория.

Чья победа? Над кем и над чем? Над собой? Я беспартийная, почему же мне в эти дни так небезразлична была победа и так неоднозначно отзывалась она во мне?

Всегда жила я с глубоким неприятием и нелюбовью к партийной машине. Она давила и мешала творчеству. Она выбрасывала на поверхность свои резолюции металлического оттенка, с годами превращаясь в истерический полукрик-полуслепот.

Чего же мне жалко теперь? Почему сжимается сердце?

Жаль миллионов людей, обслуживавших машину? Их семьи?

Грустно думать обо всех потерявших веру, ибо без веры нет жизни на земле?

Ностальгия по самой себе, прожившей детство в условиях отлично работавшей машины, молодость — в атмосфере все увеличивающейся ее расхлябанности, зрелость — в условиях ее медленного распада?

Шла я предосенним днем конца августа 1991 года из настоящего в прошлое, в мир, где был прописан, жил, отдыхал наш недавний глава государства Леонид Ильич Брежнев. От баррикад "Белого дома" до его дома не более километра.

Вдова Брежнева Виктория Петровна согласилась меня принять. Она никого не принимает. Давно не выходит из дому. Ей восемьдесят три года.

Кутузовский проспект Москвы. Многоэтажный дом. На его фасаде была доска памяти Брежнева — недолго была, сорвали. Вхожу в арку, поворачиваю направо.

Со мною идет сноха Брежневых, жена их сына Юрия Леонидовича — Людмила Владимировна.

Домофон в подъезде. Узкий, стандартный вход к лифту. Возле лифта чуть попросторнее — коврик на полу, креслица, цветы в кадке: остатки прежней роскоши. Обыкновенный лифт.

Брежнев получил (глагол! — Л.В.) эту квартиру много лет назад. У него было множество возможностей сменить ее. На улице Щусева, в самом respectable районе Москвы, в конце семидесятых годов вырос дом из отличного кирпича. Таких домов все больше и больше появлялось в центре Москвы для все прибывающей партийной элиты. Особенностью этого дома стало одно любопытное обстоятельство, незаметное с первого взгляда: окна четвертого этажа были безусловно больше остальных. И все пространство между третьим этажом и пятым больше, чем между другими этажами.

Четвертый этаж предназначался Леониду Ильичу Брежневу с Викторией Петровной.

Говорили, что он участвовал в обсуждении проекта, давал указания, высказывал пожелания и был первым, вошедшим в только что законченное здание, но селиться отказался.

По рассказам его родственников, ничего он не обсуждал, никаких указаний не давал. Прихлебатели и блюдолизы старались сами, не спрашивая его, а когда предложили переезд, оба старика, Леонид Ильич и Виктория Петровна, не захотели двигаться с насиженного места:

— Нам и тут хорошо. Вообще, надо поскромнее, поскромнее — нам нельзя выпячиваться.

Останавливаемся перед обыкновенной дверью. Звоним. Открывает высокая немолодая женщина. Аня. Она идет предупредить Викторию Петровну. Людмила Владимировна тоже идет к свекрови.

Я остаюсь одна. Оглядываюсь. Сажусь в кресле в просторной прихожей, отделенной от дальних комнат двумя тесно прижатыми к стенам колоннами коринфского стиля. Прямо передо мной дверь в большую комнату — окнами на шумный Кутузовский проспект. Заглядываю. Два портрета Леонида Ильича кисти художника придворного стиля. Типа Александра Герасимова, но много хуже. Один портрет явно с известной фотографии, другой — более домашний: сидит молоджаво-вальжанный Брежнев, наклонившись вперед, в распахнутой рубашке, положив перед собой руки. У одного из окон этой просторной комнаты, явно бывшей столовой, две металлические клетки на тонких высоких ножках. В клетках — волнистые попугайчики. Генсек любил живность.

Да, да, живность. Оглядываю холл. Повсюду на полу линолеум. Прямо передо мной, направо и налево на стенах висят огромные бюсты-чучела. Архар, дикий горный баран с роскошными ионическими рогами и два гигантских оленя, всеми ветвями рогов упирающиеся в потолок, явно низковатый для таких гигантов. Им бы в рыцарский средневековый замок. Это трофеи хозяина. Он, как известно всей стране, страстно любил охоту. Среди семейных фотографий, увиденных мною позже, много охотничьей тематики: Леонид Ильич с ружьем наперевес, с ружьем в руках, с мертвым кабаном у ног...

Вспоминаю сплетни середины семидесятых о том, как генсек ходил охотиться на диких зверей: егеря привязывали за ноги огромных оленей и архаров и с полчаса водили сиятельного охотника по лесу — приятная прогулка, — пока он не наткнулся на спокойно жующего траву зверя, вскидывал ружье и был счастлив.

Говорили, что первым обнаружил обман Юрий Гагарин, охотившийся вместе с Леонидом Ильичом, и возмутился. Но якобы обман продолжался: генсек старел, и стрелять громадного зверя становилось все труднее. Мало ли что говорят...

Возвращается Аня. Садится.

— Сейчас выйдет, выведу. Одевается. Плохо себя чувствует.

— Вы тут давно?... — неловко начинаю я разговор.

— Ой, сколько лет! Ушла на пенсию, побыла дома и вернулась — нужно подзаработать на внуков.

— С ней нетрудно?

— Нормально. Я привыкла. Понимаю ее. Она хорошая. А Леонид Ильич был! Таких людей не бывает. Я смотрю или слушаю, что про него говорят, так бы и... не знаю, что сделала! Врут! Сколько же на него врут!

И ушла — выводить Викторию Петровну.

Жена Брежнева шла медленно, держась за Аню. И вот она стала передо мной в темно-зеленом халатике, с гладким лицом, седыми волосами, забранными на затылке в пучок, со срезанным подбородком и голубыми, покрытыми пеленой слезы чуть слезящимися глазами. Она была вся светлая, умиротворенная, открытая навстречу невидимой гостье.

Села.

Приставать к восьмидесятитрехлетней женщине с пошлыми вопросами о разгульной жизни ее мужа, приспособленчестве родственников, о пьянстве детей, растратах зятя? Да я все эти сплетни и без нее знаю. Могу рассказать. Например, историю с украденными бриллиантами Ирины Бугримовой, звезды советского цирка.

* * *

Как таковая, семья Брежнева была невелика: Виктория Петровна, Леонид Ильич, двое детей — Галина и Юрий, трое внуков: дочь Галины, Виктория, и сыновья Юрия — Леонид и Андрей; несколько мужей Галины: Евгений Милаев, Игорь Кио, Юрий Чурбанов; у Юрия Брежнева на всю жизнь одна жена — Людмила. Очень приятная женщина. Умная.

Однако и у Леонида Ильича, и у Виктории Петровны много сестер и братьев, а у тех, в свою очередь, жены, мужья, дети, внуки, зятя, невестки. В результате сложился огромный семейный клан, всегда остро нуждающийся в помощи и поддержке. Как все уважающие себя кланы, он разделился изнутри, и отношения внутри клана были сложные. Деление происходило естественное: на родственников Леонида Ильича и родственников Виктории Петровны. Покорная мужу во многих отношениях, супруга крепко держала оборону своего семейного отделения внутри общепрежневского клана, четко следя, чтобы родственники с его стороны не обошли в привилегиях родственников с ее стороны.

* * *

Первую сплетню о Брежневых я услышала в 1949 году. В городе Днепропетровске шепотом рассказывали печальную историю: девочка лет четырех, каким-то образом оказавшаяся без присмотра, свободно прошла сквозь полузакрытые ворота особняка и, никем не замеченная, пошла по дорожке — куда приведет.

Спущенные с цепи собаки разорвали ребенка на части.

В особняке жила семья Леонида Ильича Брежнева. Первого секретаря Днепропетровского обкома партии.

Этот слух донесся до меня, когда я приехала с мамой на лето в Днепропетровск в гости к дяде Володе, строившему в этом городе промышленное предприятие.

Было такое с ребенком или не было — кто скажет? Даже если было, сам Брежнев ни при чем. Даже, наверно, охрана не виновата: кто же знал, куда забредет непредсказуемый ребенок?

Сплетен о семействе Брежневых всегда ходило множество. Из уст в уста. С приходом перестройки они вспыхнули на уровне прессы в связи с арестом генерала МВД Юрия Чурбанова, мужа Галины Брежневой. В этих уже узаконенных сплетнях, из которых можно составить большой пухлый том, при многочисленных фактических путаницах и вопиющих неточностях звучал один мотив: разгул и пьянство, кумовство и злоупотребления властью.

Вспоминаю, как я сидела в гостях в большой компании новоявленных москвичей, бывших жителей города Днепропетровска. Пышная, громкоговорливая блондинка щедро раскрыла громадный узел своих знаний, пониманий и выводов:

— Ой, ой, ой, спросите нас! Мы знаем о Брежневых такое, чего они сами о себе не знают!

Виктория? Про нее особенно нечего знать, она сидела тихо, хотя все ему с самого начала преподнесла на блюдечке. Он ведь был деревенский, а она — из интеллигентной еврейской семьи, дочь преподавателя экономического института. По отцу она Ольшевская. Они взяли его в семью, образовали, обтесали, устроили на учебу, все ему сделали, чтобы он продвигался. Он и пошел, пошел, как на дрожжах. Красивый был. Высокий, стройный, веселый. Бабы падали. Он изменял ей с первого дня женитьбы. Она, конечно, все знала-понимала, но выбрала самую правильную позицию: не мешать. Рожала ему детей, потихоньку привязывала к себе, как козла длинной веревкой — побегаает, побегаает, а домой вернется.

— У него был и серьезный роман. С Т.Р. Помнишь? — добавляет ее муж, долгие годы бывший ответственным работником в Днепропетровске. — Ох и хороша была Т.Р.!

— Да, все вы на нее облизывались, — усмехается его жена. — Правда красавица. Весь город знал про их отношения. Ну и любил же ее Леонид Ильич! Осыпал дарами. В конце сороко-

вых они вместе ездили в Германию и навезли оттуда хрустала — видимо-невидимо. Потом, когда он уехал в Молдавию работать, она вышла замуж за его друга Н. Говорили, что Леонид Ильич сильно переживал.

— А Виктория Петровна? — возвращаю я говорливую собеседницу к нужному мне персонажу. — Она как?

— Что как? Никак. Сидела и ждала, пока отгуляет. У нее, наверно, было воловье терпение. У евреек — мой муж еврей, я в их семье долго жила, знаю, — много терпения и хитрости, чтобы держать мужа. Поэтому еврейские семьи такие крепкие...

Не одна у Брежнева Т.Р. была. Потом, в Молдавии, он быстро с другой утешился, а в Москве актрису завел. Из Художественного театра. Помимо этого были у него пролетные девочки. Знаете, ездили обкомовские начальники в баньку, с выпивкой и закуской, на всю ночь — тут без девочек не обходилось...

* * *

Московские сплетни о Генеральном секретаре Брежневе быстро перерождались в анекдоты с политическим оттенком — смешные, как и сам он, на глазах дряхлеющий, вынуждаемый аппаратом своей дряхлеющей партийной машины торчать на виду, чтобы машина окончательно не развалилась.

Говорили, что среди его увлечений, помимо охоты, было коллекционирование автомобилей зарубежных марок. Где он их брал? Покупал на народные деньги? Дарили главы государств?

Не знаю — это прокурорские вопросы. Мне доподлинно известно, в связи с автомобилями, лишь то, чему я сама была невольная свидетельница: мелкий штрих.

Где-то в середине семидесятых, субботним вечером, в начале лета ехали мы с мужем на машине по Ленинградскому проспекту: от Химок к центру. Неподалеку от метро "Сокол" он говорит мне:

— Какой-то чудака на иномарке хочет обойти меня не по правилам.

Иномарок тогда в Москве было много меньше, чем сейчас.

— Не дадим! — браво сказала я. — Подумаешь, иностранец! В дикой стране не все позволено!

Муж не дал иномарке обойти его. Но шофер той машины был настойчив в своих попытках.

— Странная машина. Без номера, — сказал муж, дав наконец “иностранцу” возможность нарушить правила движения. Мы оба впились взглядами в пролетающий мимо нас “мерседес”.

За рулем, вцепившись в него и напряженно глядя перед собой на пустое шоссе, сидел наш дорогой Леонид Ильич Брежнев. Рядом с ним никого не было, но сзади, всем корпусом наклонясь в сторону Леонида Ильича и грозя нам кулаком сидел человек, чье лицо за долгие годы примелькалось по телевизору: Владимир Медведев — личный адъютант Брежнева, а потом и Горбачева. Глядя на него в телевизор уже во времена перестройки, я всегда думала: вот ведь какая странная штука эта государственная машина — Брежнев осужден новым временем, а его адъютант спокойно охраняет того, кто развенчал Брежнева. Что в душе этого адъютанта? Он ведь — живой человек. Кого из двух своих охраняемых он любит, ценит, одобряет? Или просто, как винтик государственной машины, выполняет свою миссию бездумно?

“Мерседес” промчался, а за ним черная “Волга”, полная возмущенных нашим поведением военных людей. Все они грозили нам кулаками.

— Ну, дорогой, — сказала я, слегка тревожась, — жди, завтра получишь наказание.

Мой хладнокровный на вид муж пожал плечами.

Тогда я радовалась, что никаких последствий это приключение не получило, а теперь жалею — были бы детали для этого повествования. Если бы нас обоих тогда не раздавила машина управления государством за вредительское поведение на шоссе. Хотя — не те уже были времена...

* * *

Вспоминает Эдвард Герек:

— Мне кажется, у Брежнева не было друзей... После переговоров состоялась дружеская встреча членов чехословацкой,

советской и польской делегаций. Обычно на таких встречах было очень много советского коньяка.

Брежнев был грубовато-веселым, но и явно раздраженным осложнениями в связи с "Пражской весной". Он начал рассказывать омерзительный анекдот:

"Медведь пригласил в гости зайца. Вкусно угощал гостя, развлекал, и тот почувствовал себя как дома. А когда выпил, почувствовал себя ровней медведю.

Дома зайчиха спросила его:

— Почему ты такой грязный и дурно пахнешь?

— Медведь после ужина облегчился, взял меня за уши и подтерся моим мехом".

Брежнев очень любовался своим рассказом. Советская делегация тоже. Все члены делегации гостей были возмущены бестактностью Брежнева и поторопились окончить ужин.

Дома я у Брежнева не был. Если говорить откровенно, у них не было дома в нашем понимании. Квартиры, дачи они получали "по заслугам". А в действительности эти и другие блага зависели от занимаемой должности. Каждый партийный и одновременно государственный функционер, он же слуга все той же партии, имел определенные привилегии. Попад в немилость партии, он лишался всего, а в сталинские годы нередко и жизни.

Во время преемников Сталина проштрафившийся деятель только выселялся из квартиры и, в зависимости от своего нового положения, попадал в те или иные условия.

Должен признаться, мы не раз сравнивали нашу жизнь с их, и среди нас не было желающих поменяться с ними. Если у нас были некоторые люди, зубами держащиеся за власть ради самой власти, то у них это стало жизненной необходимостью для всех власти предержащие...

Кабинет генсека в Кремле был совсем небольшой. 10 — 15 метров длиной, 4—5 шириной. С двух сторон двери. Перед ними — две приемные. Ничего особенного. Бюст и портрет Ленина.

Я думал: почему кабинет скромный? И решил, что тому есть две причины. Рядом тщательно сохраняемый кабинет Ленина, очень скромный и очень удобный. При таком кабинете

основателя государства некрасиво высовываться. И второе — хозяин кабинета управлял одной шестой земли — он мог себе позволить скромный кабинет”.

* * *

Самые знойные сплетни ходили о Галине Брежневой. Не буду их пересказывать — они типичны для того времени, названного застоєм: стареющая, сильно пьющая женщина с темпераментом и неограниченными возможностями для его удовлетворения. Ну да, да, молодой муж, еще более молодой любовник, страсть к драгоценностям. Однако интересно другое: где брались несметные суммы, выплачиваемые за бриллианты? Люди, находящиеся на государственном обеспечении, вряд ли могли ворочать миллионами, а если даже и могли с помощью мафии, вряд ли им нравилось “отваливать” суммы там, где можно платить мало. Говорили, что бриллианты были подарками зависимых людей. Но был еще канал бриллиантового ручейка.

Помнят ли советские люди недавнее время, шестидесятые, скажем, годы, когда они практически не могли продать имеющуюся у них в семейной реликвии золотую, скажем, брошь с прекрасным бриллиантом голубой воды? То есть в скупках, где принимали такого рода вещи, деньги давали только за вес золота, а камни практически ничего не стоили: вы могли выковырять бриллиант голубой воды и унести с собой, лишь за золото брошки получив некоторую сумму.

Начальник “Ювелирторга” тех лет, мой сосед по подъезду, однажды рассказал, что в магазинах его ведения изредка появляются очень красивые старинные и современные ювелирные изделия, конфискованные у разного рода преступников.

— И вы передаете эти вещи в магазины?

— Чаще всего они до магазинов не доходят. Их покупают дамы особого назначения.

— Кто?

— Ну кто, кто! — сказал он. — Догадайтесь. Причем цены — самые низкие. Государственные. Вчера продали брошь с бриллиантом голубой воды, старинной работы — умопомрачи-

тельную — за сто пятьдесят рублей. Даром! Просто душа рывается. И ничего сделать нельзя — приказ свыше.

Вот так.

В Зугдиди, в Грузии, есть музей с двумя реликвиями: посмертной маской Наполеона, завезенной кем-то в такую даль, и диадемой царицы Тамар. Диадема лежит в центре зала, на бархате, за плотным слоем стекла. Рядом охрана. Сама по себе диадема, на мой взгляд, красотой не блещет: погнутая, помятая, видно, что древняя, золотая пластина с не слишком выразительными камнями. Здесь же, в Зугдиди, возле диадемы рассказали мне местные жители, что недавно (1975 год. — Л.В.), буквально за месяц до меня, была в музее дочь Брежнева, Галина. И так полюбилась ей диадема, что она захотела ее себе в подарок от благодарных зугдидцев. Директор музея, обезумев от горя, осмелился сообщить об этом Первому секретарю ЦК КПСС Грузии Э. Шеварднадзе. Тот снял трубку правительственного телефона и сказал товарищу Брежневу, что Грузия очень уважает Галину Леонидовну, но не может — по ее желанию — подарить ей народное богатство — диадему царицы Тамар.

— Гоните Галю домой, — коротко сказал отец.

Среди “бриллиантовых легенд” о Галине Брежневой есть одна, ставшая достоянием прокуратуры. Есть много оснований думать, что эта “легенда” огорчила и повлияла на здоровье самого Леонида Ильича, который в последние годы очень переживал все, связанное с похождениями его родственников: “Весь мир признает, уважает, а в своей семье не уважают, не ценят. Срамят”, — жаловался он многим коллегам по партии.

Что же это за “легенда”?

На исходе 1981 года было торжество в Московском цирке. Галина Брежнева обожала цирк, брала оттуда мужей и возлюбленных. Она и ее приятельница, жена министра МВД Щелокова, присутствовали на торжестве, сверкая лучшими своими бриллиантами. Однако бриллианты укротительницы тигров Ирины Бугримовой пересверкали брежневские бриллианты: они были явно лучше. Через несколько дней коллекция бриллиантов Бугримовой была похищена. Следы расследования привели к Борису Буряце, молодому возлюбленному Галины Брежневой. Еще через несколько дней в аэропорту Ше-

реметьево задержали человека с частью бугримовских бриллиантов.

Все эти сплетни, неоднократно в годы перестройки рассказанные в печати, то есть перешедшие из разряда сплетен в круг почти что фактов, на мой взгляд, сильно грешат множеством неясностей, неточностей, неопределенностей.

Иногда кажется — многое было подстроено, подтасовано, чтобы новым фигурам было что крыть и поносить в самоутверждении.

Но и дыма без огня не было.

По Москве прокатились аресты друзей Галины Брежневой. Она сама перестала появляться на людях. Арестовали директора “Елисеевского” гастронома Ю. Соколова. У него изъяли миллион деньгами, золото, драгоценности.

В ноябре 1982 года внезапно умер сильно одряхлевший Брежнев. Когда хоронили Леонида Ильича, рядом с Галиной неотступно были два дюжих охранника — это производило странное впечатление: боялись, что ли, приходящие ко власти люди, чтобы она не выкинула коленца? Вся Москва в дни похорон Брежнева кишела слухами о Галине, бриллиантах, обысках в квартирах высокопоставленных лиц. У телевизоров люди впивались глазами в экраны, когда транслировали похороны:

— Видели, видели, как Андропов подошел к семье и обнял жену Брежневой?

— Видели, Андропов был подчеркнуто сух с Галиной!

На пятнадцать месяцев воцарился Андропов. Расследование шло. Галина Брежнева на людях не появлялась. Соколова приговорили к расстрелу. Возлюбленного Галины Бориса Буряце к пяти годам — он загадочно умер в тюрьме.

Министр МВД Щелоков был снят со своего поста. Внезапно покончила с собой жена Щелокова.

После смерти Андропова, в дни правления Черненко, рок событий вокруг Галины Брежневой несколько ослабел. Она стала появляться на людях. В Доме приемов на Ленинских горах, на приеме по случаю Восьмого марта, она была в строгом синем костюме с единственной драгоценностью на груди: орде-

ном Ленина. Галина Леонидовна получила его в 1978 году в связи со своим пятидесятилетием. Из рук Громыко.

Следствие, однако, шло. Органы КГБ раскрывали все новые и новые преступления. Против Щелокова, бывшего министра МВД, было возбуждено уголовное дело. Он надел парадный мундир генерала армии и выстрелил в рот из ружья.

Умер Черненко — пришел Горбачев. Арестовали Юрия Чурбанова, мужа Галины Брежневой. Ушел на пенсию сын Брежнева, Юрий, бывший заместитель министра внешней торговли и кандидат в члены ЦК КПСС.

Обыски в квартире и на даче Галины Брежневой результатов не дали — бриллиантов не нашли. Ходили слухи, что муж Галины Чурбанов спрятал их. Ходили слухи, что он раздарил бриллианты друзьям. А может быть, их не было, и женщину оболгали? У нас ведь не принято извиняться за ошибки?

Но была ли ошибка?

Рассказывали, что квартиру Галины обыскивали в ее присутствии. Она была привычно пьяна. С интересом и дружелюбием наблюдала за обыском, помогала ему. Не читая, подписала протокол обыска. И тут же предложила всем, кто обыскивал ее дом, выпить с нею.

— Вы все еще вспомните моего отца и его время. Как вам жилось при нем! — якобы сказала она на прощание.

Пора вернуться к моей героине.

* * *

Не странно ли: на протяжении долгих лет — горы сплетен, слухов, легенд о семье Брежнева, о его родственниках, о Галине, о злоупотреблениях — и никогда или почти никогда о ней.

Викторию Петровну сплетни обтекали.

Сидим с ней в нешироком холле, где живо только разрушенное прошлое, едва теплится настоящее и почти неощутимо будущее. Она начинает тихо, спокойно отвечать на мои немудреные вопросы. Я хочу узнать о ней самое простое: кто она, чья дочка, где родилась, как познакомилась с Леонидом Ильичом.

— Родилась я в Курске, в семье паровозного машиниста. Отец Петр Никанорович Денисов.

— А я слышала, что вы по отцу Ольшевская и он был преподавателем в институте.

— Нет, — спокойно опровергает Виктория Петровна, — это не так. В семье было пять человек детей, мама не работала. Я окончила школу, пошла учиться в медицинский техникум. Познакомились мы с Леонидом Ильичом на танцах. В Курске.

Он пригласил мою подружку. Отказалась. Он еще раз пригласил. Отказалась.

“А ты пойдешь, Витя?” — спросил он.

Я пошла. На другой день он опять подружку приглашает, и опять она не идет танцевать с ним. И опять идет Витя Денисова.

— Почему не пошла подружка?

— Он танцевать не умел. Я его научила. С танцев все и началось. Стал провожать. Я к нему присматривалась. Серьезный. Хорошо учился.

— Красивый был в молодости?

— Не сказать. Прическа у него была на косой пробор. Не шла ему. Я ему потом прическу придумала, он с ней всю жизнь проходил. Познакомились в двадцать пятом году, в двадцать восьмом поженились.

— А что он окончил?

— Курский землеустроительный техникум. Землемер. Потом он и металлургический институт окончил. Партийная работа, война, Малая земля. Леонид Ильич работал первым секретарем Днепропетровского обкома партии с сорок седьмого по пятидесятый. Потом в Молдавии, Первым секретарем ЦК КПСС. Потом в Казахстане. На целине. Потом — Москва. В мае шестидесятого его избрали Председателем Президиума Верховного Совета, ну, а с шестьдесят шестого — Генеральный секретарь.

— Вы работали?

— Недолго. Акушеркой. Потом Галя родилась. Юра. Леня детей почти не видел — всегда на работе. И по воскресеньям — сядем все за стол, он очень любил, чтобы вся семья сидела, и только начнем обед — звонок: вызывают. Срочное дело.

— Значит, вы стали домашней хозяйкой?

— Сначала я не умела готовить. Но как-то сразу захотела

научиться. И наверно, у меня к этому делу есть способности. Леонид Ильич, дети, да и все, кто бывал у нас, всегда хвалили мои приготовления.

— Какое коронное блюдо у вас?

— Много. Леонид Ильич любил мои борщи. Знаете, украинские борщи есть разных типов: холодный и горячий, постный и на мясном наваре. Котлеты. Секрет хороших котлет в том, чтобы хорошо выбить фарш перед тем, как жарить.

Я рынки люблю. Когда на Украине жили, в конце сороковых, — Леонид Ильич там, в Днепропетровске, был Первым обкома, — я всегда сама ездила на рынок и выбирала продукты. Битую птицу никогда не брала. А вдруг она сама умерла от болезни? Выбирала живую, да самую хорошую. В клетках куры на рынках сидели. По субботам и воскресеньям — красота. Я долго выбирала, потом говорила: “Вот эту мне!”

Или рыба. Днепропетровск ведь на Днестре. Какие судаки были! Сазаны! А теперь ем все диетическое: выпаренное, вываренное, невкусное. Только и осталось вспоминать.

— У Леонида Ильича был хороший аппетит?

— Отменный. И всегда хвалил. Ему моя кухня очень подходила. “Лучше Вити никто не готовит”.

— Вити?

— Меня Викторией называли потому, что в Курске, где я родилась, было много поляков, они жили по соседству, у них было много девочек Викторий. Ну и я стала Виктория. А сокращенно он звал меня Витя с первого дня знакомства.

— Виктория Петровна, почему вы никогда не показывались рядом с Леонидом Ильичом, никуда с ним не ездили?

— Как так не ездила? Я много с ним ездила. В Индии была. С Джавахарлалом Неру встречалась. На слонах каталась. В митинге участвовала. Огромное поле — масса народа. Выступают Неру и Брежнев.

И во Франции была с Леонидом Ильичом. Там у меня конфуз вышел. Прилетели мы, торжественная встреча, а вдалеке демонстрация стоит с плакатами. И среди плакатов такое содержание: “Виктория Петровна! Вы — еврейка! Помогите своему народу! Пусть евреев отпустят на родную землю”.

А мне неудобно. Я не еврейка, хотя говорили, что была

очень похожа. И сказать, что не еврейка, неловко, еще подумают, что я от нации своей отказываюсь, как это у нас бывало.

Вообще я вам скажу, действительно не любила я эти поездки и, если можно не ехать, не ездила. Ничего в них не видишь. Сидишь в машине, и слышишь экскурсовода: “Повернитесь направо — Эйфелева башня, налево — собор Парижской богородицы”.

А выйти и провести хоть полчаса в соборе — нет времени. Все по верхам. Я так не люблю.

— Виктория Петровна, как вы относились к Нине Петровне Хрущевой?

— Хорошо. Она была достойная женщина. Образованная. Умная. Мы одно время в Карловых Варах вместе в одной санатории лечились.

— А потом, после шестидесяти четвертого года?

— Потом? Встречались в кремлевской поликлинике. Разговаривали. О здоровье. Мы вообще домами не дружили, но хорошие отношения между нами всегда были одинаковые, несмотря ни на что.

— Но вы ей звонили в трудные дни? Поддерживали?

— Нет.

Людмила Владимировна, жена сына Брежневых, Юрия, присоединяется к нашему разговору.

— Ты, Люся, взяла последние продукты? — спрашивает сноху Виктория Петровна.

— Там еще восемь талонов осталось. Но продукты такие, что вам нельзя: кофе, сгущенка — все не диетическое.

— Ну ладно, — кротко соглашается Виктория Петровна.

Ее сноха объясняет, что скоро, вероятно, не будет спецпайков для вдов вождей и крупных работников. Закрывается старый ленинский спецраспределитель. Беспартийные партийцы нового типа, рассыпавшие ленинско-сталинскую машину управления, рассыпают и ее “сладкий отсек”, так разросшийся с ленинских времен.

Эта слепая женщина остается один на один перед надвигающейся зимой 1991 года. Ей, конечно, не много нужно. Она, конечно, продержится. Но ей, конечно, обидно, потому что у

нее своя правда — жены, хозяйки, матери, бабушки, тетушки: как же они без ее продуктов останутся?

Закрывается старый распределитель — открывается новый? — вопросительно думаю я.

Иначе как же?

Не пойдут же в очередь Раиса Максимовна Горбачева и Наина Иосифовна Ельцина.

Но этот вопрос не к Виктории Петровне. Я прощаюсь с нею. Она прощается со мной, и Аня уводит ее — медленно, медленно. Виктория Петровна улыбается.

Она так проста и обыкновенна, что я, кажется, ничего не поняла в ней...

* * *

Людмила Владимировна, сноха Брежневых, моложавая и приветливая. Ее тоже обходили стороной прилипчивые слухи, наверно, потому, что нечего сказать об умной, уравновешенной женщине, которая в силу обстоятельств понимает больше, чем нужно, и может сделать меньше, чем возможно. Вообще снохи — особая тема: Галина Сергеевна, сноха Каменева, Надежда Ивановна, сноха Ворошилова, Людмила Владимировна, сноха Брежнева. Они, разумеется, разные, но во всех троих есть одна черта: я бы назвала ее сосредоточенной наблюдательностью.

Они жили кремлевской жизнью, подчиняясь ее и сладким и суровым законам. Они в разной степени и в разное время, но все же узнали оборотную сторону золотой медали кремлевской жизни, когда жизнь Кремля отказала им в главных привилегиях, оставив много меньшие.

Они, все три, каждая по-своему, терпели от свекровей, облеченных громадными возможностями внутри дома: приказывать, повелевать, угнетать.

Они сегодня стараются быть объективными. Говорят, что непросто жилось им со свекровями, и все же ни одна плохо не отзывается о вельможной свекрови. А могли бы свести счеты.

Неужели все три женщины являют собой некое новое женское начало интеллигентности?

Может быть, оно — хорошо забытое старое?

— Когда мы с Юрием Леонидовичем поженились и стала я жить в семье Брежневых, они меня сразу радушно приняли. Леониду Ильичу с его широким характером я пришлось по душе. Требовал, чтобы я называла их обоих “мама” и “папа”. А я сначала не могла — свои родители живы. Леонид Ильич однажды при мне говорит Виктории Петровне: “Витя, а Витя, а ведь наша сноха нас не уважает”. — “Почему?” — “Не хочет “мамой” и “папой” называть”.

Стала называть.

* * *

— Людмила Владимировна, помогите мне нащупать характер Виктории Петровны!

— Как вам сказать? Я много о ней думала. Характер добрый, но нелегкий.

— А как они совмещались друг с другом?

— Прекрасно. Он был в молодости очень хорош собой. Яркий, широкий, подвижный. Любил поэзию. Знал наизусть Есенина, Мережковского. Мог девушкам головы морочить. Она рядом с ним была невыигрышна. Виктория Денисова, дочка машиниста паровоза. Стеснительная. Обыкновенная. Я, когда обвыклась в доме, иногда шутила: “А не догнал ли, Виктория Петровна, Анну Владимировну, вашу маму, какой-нибудь интеллигентный еврей, пока ваш отец Петр Никанорович управлял паровозом?”

Она смеялась. Оба они — Леонид Ильич и Виктория Петровна — были люди большой родни. Общность семьи была в их характерах, и может, она так сильно сроднила их. Витя без Лени обеда не начнет, если он обещал приехать на обед. Он без нее ничего в доме не решает. И вообще — все домашние дела держатся на его фразе: “А как Витя? А что Витя скажет? Спросите у Вити, она все знает”.

Виктория Петровна заботилась не только о своих детях, но и о племянниках и племянницах: как Лерочка? Поступит ли она в ординатуру? Лерочка больна, ей лекарство нужно.

Когда он ехал в отпуск, с ними отправлялся целый семейный клан: племянники, жены братьев. Он любил семейный круг.

— А какова Виктория Петровна обычно была на людях?

— Неразговорчива. Замкнута. С ней трудно начать разговор. Неконтактна. Приемы по любому поводу, в том числе и по случаю Восьмого марта, для нее бывали мучением. Она все ко мне:

“Пойди ты, Люся. Скажи ты, Люся”.

Я ей говорю: “Да ведь вас же хотят слушать, а не меня, вы жена Леонида Брежнева, а я всего лишь жена его сына. Разница”.

Она очень блюла место мужа в доме. Летом, на юге, после моря, после обеда хочется спать — нет, сиди за столом, жди, пока Леня придет. Он приезжает непременно с букетом: “Это тебе, Витя”.

Витя — Леня, Леня — Витя — только и слышишь. Голубки.

За столом обычно сидела не только семья, но и доктор, и медсестра, и горничная. В доме было два повара: Слава и Валера. По двадцать лет у Брежнева работают. Виктория Петровна всегда следит за их работой. И говорит:

“То, что вы на курсах прошли, хорошо, но это — ресторанная еда. А в пищу, чтобы она была отменной, всегда нужно добавлять чуточку души”.

У нее, наверно, природный кулинарный талант. С утра до вечера она, как пчелка, крутилась по хозяйству: соленья, варенья, моченья, сушка лечебных трав. Помидоры и огурцы солились бочками. А за столом — пельмени, пироги с вишнями!

Было у Виктории Петровны несколько коронных блюд, а среди них — варенье из крыжовника. Долго она с ним обычно возилась, но получалось оно у нее сказочно.

Поговорить о еде в семье очень любили. Даже за столом, когда ели. Вспоминали, как родители в печке готовили. Обсуждали борщи, каши.

Она в гости ходить не любила, а он всех к себе всегда звал.

“Андрюша Громыко зовет на обед”, — скажет она.

“Хорошо. Но зачем к нему идти? Пусть он к нам на обед идет”.

В прессе много вранья. В “Литературке” была статья “Скот для Брежнева” — это чушь. Никто ему скот не выращивал. Ни разу в доме я не видела ни Рашидова, ни Кунаева. Щелоков —

один раз был, а сплетничали, что Виктория Петровна и жена Щелокова чуть ли не сестры. Всегда в доме: Громыко, Устинов, Андропов.

Все было как-то нелогично: с одной стороны, дом — полная чаша, все посвящено плоти, с другой — подчеркнутая, я бы сказала, показная скромность: джинсы внукам нельзя носить, что люди скажут.

Мне хорошо одеться — нельзя, нужно поскромнее, чтобы не было разговоров. Сережки покупаю попроще. Брошку “нацеплять нельзя”. Хорошо одеваться — некрасиво. Обнаженная Венера на картинке — это голая женщина, стыд какой. И Тэтчер приводится в пример, мол, вот она скромно одета.

На продукты им выделялось четыреста рублей. Виктория Петровна никогда не давала кусочку пропасть. Батарейку не выбросит — а вдруг ее можно еще использовать.

— Какой же у Виктории Петровны все-таки характер? — ищу я себе точку опоры.

— Непростой. Между собой они с Леонидом Ильичом никогда не ссорились. Если что ей не нравилось, она умолкала и вся фигура выражала укор. Я никогда не видела ее плачущей. Подруг у нее не было. В доме тем не менее часто бывали жены Мазурова, Кулакова, Громыко, Устинова. Обедали вместе, играли в картишки.

Конечно, вся обслуга вокруг Брежневых особенно любила Леонида Ильича. И он любил свою обслугу. Сегодня две женщины, проработавшие в брежневской семье по двадцать — двадцать пять лет, Аня и Зина, ходят, помогают Виктории Петровне. Они к ней привязаны, знают ее привычки.

— Какие сплетни я бы хотела опровергнуть? — задумывается Людмила Владимировна. — Пожалуй, о Джуне и знахарях. Никогда не видела в доме никаких врачей, кроме кремлевских. Старшие Брежневы — очень консервативные люди. Большие консерваторы. Виктория Петровна сохраняла старые рубашки Леонида Ильича — они чинились, перешивались. Круглые сутки в доме работали две женщины и сама хозяйка. Не приседая. Когда он умер, она не плакала, а как-то окаменела. На лекарствах. Три дня сидели в Колонном зале.

Она всегда верила врачам и вообще, как цветок: польют — растет. Похвалят — старается.

Она очень заземленная. Ей приходилось переезжать с дачи на дачу, когда он был у власти, и в Днепропетровске, и в Молдавии, и в Москве. Знаете, какой у нее был первый вопрос? — А есть ли там погреб? Какой он?

Когда началось выселение с дачи, она была безропотна: “Понятно, сейчас же съеду, я тут не останусь”.

Всегда на кухне: перец с яблоками, перец в масле, домашние колбасы, сальтисоны, кровяная колбаса с гречкой. Вязала и внучке, и дочке Галине.

Внучку, Галину дочку, она воспитывала сама, с первых дней. Девочку и называли Викторией в ее честь. И племянников, и сестер-братьев своих любила. Отдавала им предпочтение перед родней Леонида Ильича.

— Как она переживала последние перемены в своей жизни?

— Виду не подавала. Но голос дрожал, когда говорила, что переезжает с дачи. И еще, когда в чем-то ее ущемили, она сказала тоже срывающимся голосом: “Ну да, правильно. Я ведь виновница афганской войны”.

— Она как-то вмешивалась в политику?

— Она ею вообще не интересовалась. Вот выбрать хорошую баранину или свиную рульку — это пожалуйста. Пирог с вишнями замесить — пожалуйста. Его маме, Наталье Денисовне, сливки налить и яблочко на вечер приготовить — с удовольствием.

— Сливки?

— Наталья Денисовна была своеобразная женщина. Ей было около девяноста. Я как-то зашла к ней в комнату — темно. “Не зажигай свет, — говорит, — я на лицо маску из сливок положила, Витя посоветовала”.

Наталья Денисовна тоже очень хорошо вязала, она на юге обычно вязала шерстяные тубетейки от солнца: Лене, детям, охранникам.

Леонид Ильич любил заплывать далеко в море. Виктория Петровна всегда говорила: “Ну, дед опять в Турцию поплыл”.

Когда бывали официальные гости, на следующий день Виктория Петровна распределяла оставшиеся казенные продукты всем поровну: и академику Чазову, и дворнику. Конфеты,

печенья. Любила делать подарки. Ехала в Карловы Вары — всегда подарки везла.

— И все-таки он был ярче ее? Увлекающаяся натура... большие возможности для мимолетных и даже серьезных увлечений. Как она относилась? — пытаюсь я сформулировать пошлый вопрос о романах генсека.

— Он в молодости подавил ее внешностью, компанейскостью, актерством, чтением стихов, умением обаять, — великодушно говорит мне свою точку зрения сноха Брежневых. — Она с самого начала осознала разницу: кто он и кто она. И взяла его тылом — он до какого-то момента был ей признателен за чувство дома, а потом она стала его вторым “я”. Во всем, что касается дома. Представьте — большой, длинный, уставленный яствами стол. Во главе стола — Витя, слева от нее — Ленья. По ее сторону сидят ее родственники, по его сторону — его родственники. Как по ранжиру.

Утром за завтраком он есть, она сидит рядом. Просто сидит, и ему спокойно.

Ему делают укол инсулина — она должна быть тут. Друг без друга не могут. Вечером ждет до глубокой ночи, дремлет.

— И ничего “крамольного” не подозревает?

— У нее не поймешь. У нее защитный момент — выживание. И огромное терпение.

* * *

Вот такой образ, такой характер. Не зря, видно, имена даются людям, они прилипают, сливаются с человеком, указывают характер.

Виктория... Победа... Но кого же и где победила эта в высшей степени домашняя хозяйка?

Мне кажется, саму Надежду Константиновну победила она. Великую Крупскую. Женщина семьи в Кремле победила к концу века женщину-созидательницу мужских миров.

Но, ведь ее семейный подвиг, увы, дал печальные результаты — сама Виктория Петровна сказала:

— Дети мне в молодости радость давали, а выросли — много горя принесли.

Не она первая, не она последняя. И все же...

Путь от кремлевской женщины общества к кремлевской женщине семьи стал дорогой, определяющей естественные ступени развития века: от могучего взрыва — к застою, от рождения эпохи через вырождение эпохи, через возрождение эпохи — к ее вырождению.

Во все века и времена крайности не приносили гармонии. И победы всех крайностей были пирровыми победами. Где же середина и есть ли она вообще, а если есть, то в чем ее суть?

Опыт Виктории Петровны Брежневой на такие вопросы не отвечает. Единственное, что может она предложить из своего жизненного опыта, — это несколько великолепных рецептов.

Рецепты Виктории Брежневой

Фаршированные помидоры. Выбрать большие или средние помидоры. Обмыть, дать высохнуть. Срезать верх, аккуратно отложить его в сторону. Вынуть внутренности помидоров чайной ложкой осторожно, чтобы не разорвать кожу овоща. Порубить эту массу ножом. Положить массу в дуршлаг. Туда же — полуотваренный рис, мелко рубленную зелень, соответственно вкусу — чеснок, соль и перец. Чеснок — на 1 кг помидоров 1 — 1,5 головки чеснока.

Всю массу сложить в фаянсовую посуду и перемешать с двумя столовыми ложками подсолнечного масла. Начинить ею помидоры. Уложить их в круг или ряды в соответствующую посуду на противень с крышкой и — в духовку на полчаса. По вкусу можно в начинку добавить грибы, сыр.

Варенье из крыжовника. Взять зеленый, неспелый крупный крыжовник. Отрезать попку. Шпилькой вытащить внутренности с крайней осторожностью. 2—3 грецких ореха, предварительно очищенных и обваренных кипятком, чтобы отстала шкурка от ядрышка, мелко нарезать. И мелко нарезать кусочки лимона с цедрой.

В пустые коробочки крыжовника заложить кусочки ореха и лимона.

В массу, вынутую из крыжовника, положить 2 стакана сахара на 1 кг крыжовника. Ягоды, начиненные орехом и лимоном, держать отдельно в плоской миске, не перемешивая, чтобы не помялись. Массу мякоти крыжовника, смешанную

с сахаром, довести до кипения, снять и протереть через сито. Залить крыжовник этой жидкостью и дать постоять 3—4 часа. Слить. Оставить ягоды в миске. А эту жидкость опять 5 раз прокипятить и залить ею крыжовник. Положить крыжовник в банку вместе с жидкостью. Туда же 2—3 листочка вишневого дерева и 1—2 листочка смородины. Цвет варенья должен быть зеленовато-розовый.

Колдуны. Мясной фарш смешать с мелко нарезанным луком и хорошо растолченной картошкой, сваренной в мундирах, 2—3 картофелины. Отдельно нажарить много лука кольцами и дать ему просохнуть без масла, чтобы он стал сухой, как соломка.

Колдуны скатать в шарики, запечь в духовке и посыпать хрустящим луком.

АННА НА ТРИСТА ДНЕЙ

Меня часто просят прийти в школу или институт почитать стихи, рассказать интересное. В молодости я даже любила такие встречи с читателями. С возрастом возненавидела: саму себя слушать надоело. Решительно отказываюсь от подобных предложений и просьб.

Однажды — было это в 1986 году, шумела перестройка и набирала силу — мне позвонил по телефону пожилой мужской голос, представился работником ЦК КПСС и попросил выступить со стихами в одном домоуправлении. Я удивилась: почему мне, беспартийной, звонят из ЦК по поводу домоуправления? Какая связь?

— Меня просила связаться с вами Анна Дмитриевна Черненко. Вы знаете, кто это?

— Вдова Черненко?

— Да, да. Вы уж ей не откажите...

Она позвонила через несколько минут. Мне выступать не хотелось. Да и уезжала я этим же вечером в Ленинград.

Отказать вдове бывшего Генерального секретаря куда проще, чем отказать жене действующего генсека. Я согласилась.

Анна Дмитриевна показалась мне высокой, статной, чуть прихрамывающей женщиной, строгого партийного вида. Когда она заговорила, я увидела, что роста она маленького, глаза ярко-голубые, улыбка стеснительная, а в глубине глаз — печаль.

Она тридцать лет руководит университетом культуры в домоуправлении того дома, где живут работники ЦК КПСС. Многие из этих работников даже не знают, что стараниями немолодой женщины, очень недолго бывшей Первой Леди государства, в их доме идет бурная культурная жизнь: приезжают артисты и писатели, театры со своими спектаклями, знаменитые ученые, космонавты... Жизнь идет, сменяются авторитеты, дом на Кутузовском проспекте, заселенный партийной

знатью, в результате самых разных событий пополняется, как говорится, людьми со стороны, уезжает на другую квартиру и семья Черненко, но Анна Дмитриевна тридцать лет остается бессменной руководительницей университета культуры при домоуправлении.

Конечно же, благодаря прочному имени ее мужа в кругах партийной номенклатуры Анне Дмитриевне всегда удастся “доставать” для своего университета культуры самое интересное.

Анна Дмитриевна делает все, чтобы в небольшой зал домоуправления люди шли, даже бежали на занятия.

Я выступила в этом зале. И ушла. Иногда мыслями возвращалась к Анне Дмитриевне.

Почему она тридцать лет заботится о культуре других людей?

Как сложилась ее жизнь?

Что было сокрыто от всей страны за промелькнувшей фигурой седого, казавшегося малоподвижным человека, Константина Черненко? Ведь он долгие годы был ближайшим помощником Брежнева, и не одним годом исчерпывается его внутрипартийная роль.

А ее роль возле него какова?

* * *

— Прокручиваю в памяти свою жизнь, как киноленту. Ничего интересного. Сначала работа. Потом семья. Потом семья и работа. Потом только семья, — говорит мне Анна Дмитриевна.

Мы сидим в просторной ее квартире.

Есть несколько хрустальных ваз, картин и самых разных предметов, вряд ли выражающих вкус хозяйки дома. Это подарки покойному хозяину от солидных организаций или даже государств — типичные атрибуты квартиры ответственного работника: девать их некуда, выбросить жалко, а продать — неприлично. Разве что в самый черный день.

Сидим, разговариваем, Анна Дмитриевна разматывает клубок воспоминаний, иногда волнуясь, иногда посмеиваясь.

Тридцатые годы. Шла коллективизация. Созданные не без участия Крупской местные отделения всеобщего просветительского механизма вовлекали в активную деятельность массы детей. Разрасталось пионерское и комсомольское движение. Вместе со взрослыми, а то и без них, дети растекались по деревням, селам, хуторам и станицам в поисках спрятанного хлеба для голодных городов. Пионер Павлик Морозов донес на своего отца, не желавшего отдавать хлеб, поплатился за это жизнью, и памятники ему возникали в разных концах страны.

В ростовской газете "Ленинские внучата" появилась маленькая заметка: "Пионерка Аня Любимова привела в город красный обоз, а в нем 1046 пудов хлеба!"

Аня с подружками читала газету, гордилась. Никаких столкновений и страшных историй, подобных истории Павлика Морозова, в ее походах по донским станицам не было. Люди делились с детьми.

Она помнит, как ее обоз проходил через одну из станиц и старый казак сказал вслед:

— Что творят! Детей посылают! Детям не откажешь.

Аня Любимова была живой иллюстрацией работы Надежды Крупской.

Кто из многодетной, малограмотной семьи?

Аня.

Кто лучшая ученица в классе по точным наукам?

Аня.

Кто лучшая пионерка в классе?

Аня.

Кто лучшая комсомолка в классе?

Аня.

Она, вообще-то, при всей своей склонности к общественной работе, была очень скромного характера. Стеснительная. Но любовь к обществу пересиливала стеснительность. Так и прожила всю жизнь, борясь со своей натурой ради увлечения.

Аня хотела учиться в Москве в Электромеханическом институте инженеров транспорта, мечтала быть конструктором электровозов, а получилось, что друзья увлекли в другую сторону. и стала она учиться в Саратове в Институте сельскохо-

зайиственного машиностроения. Сначала не нравилось: вместо электровозов — сеялки, веялки, косилки. Потом привыкла.

Общественный темперамент вносил в студенческую жизнь массу забот. Аня шла как по лестнице: комсорг, член факультетского бюро, секретарь комитета комсомола.

Подавала в партию большевиков. Собрала рекомендации, но...

* * *

В саратовском Институте сельскохозяйственного машиностроения был очень популярный лектор по марксизму — Иосиф Кассиль. Брат знаменитого в то время детского писателя Льва Кассиля. Последний даже сделал брата Оську героем детской книжки “Конduit и Швамбрания”.

На лекции Иосифа Кассиля обычно набивались полные залы. Он написал книгу “Крутая ступень”. В ней те, кому это было нужно, проследили симпатии к Троцкому. В 1936 году, когда Сталин разоблачал троцкистско-зиновьевский блок, Иосиф Кассиль пошел туда, откуда не все возвращаются.

Люди любили и втайне жалели Иосифа. Но никто вслух этой жалости не высказывал. Соседка Ани Любимовой по общежитию Леля читала книгу “Крутая ступень”. За одно это ее исключили из комсомола. Аня тоже оказалась виноватой — она видела книгу в руках Лели и не предупредила ее, что книга вредная, то есть “покрыла” свою подружку. И вообще проявила политическую недалекость, не разоблачила вовремя врага народа, Иосифа Кассиля, своего преподавателя.

То есть, нашим сегодняшним языком говоря, не донесла на него.

За притупление политической бдительности Ане Любимовой был объявлен по институту строгий выговор с предупреждением. Человек, написавший ей рекомендацию в партию, забрал рекомендацию. О каком вступлении могла идти речь! Будучи очень трепетной комсомолкой, она сильно переживала.

Выговор сняли с Анны Любимовой лишь три года спустя, когда избирали на очередную комсомольскую работу.

Поиск своего пути в жизни и работе привел Анну Любимову

в Москву. Опыт красного обоза пригодился ей в работе по перевозке сельскохозяйственной продукции. Природный дар организатора бросал Аню в самое пекло так называемых “грязных” проблем жизни села: эксплуатация автотранспорта, повышение коэффициента пробега и тоннажа сельскохозяйственных машин... Она даже написала брошюру на эти темы.

Работу свою делала она аккуратно, любила ее. Одно плохо — общество грубое, мужчины-шоферы. Матерятся. А она слышать не может...

Несколько раз поставила на место одного, другого. Умела поставить. Случалось, она идет и слышит: “Ребята, брось материться, Аня идет”.

Долго замуж не шла. Никто не нравился. Уж очень грубые были вокруг мужчины.

В войну работала без сна и отдыха. К концу войны, в 1944 году, послали ее в командировку на Волгу организовать хлебозаготовки. Трое мужчин и одна она. Был среди этих троих тихий такой, мягкий человек. Вечерами, после работы, гуляли вместе над Волгой, слушали гудки пароходов.

Аня уезжала. Трое ее спутников оставались. В тамбуре вагона он сунул ей в руку записку: “Прочтешь, когда поезд тронется”.

Прочла. Он писал, что рад встрече, надеется в Москве продолжить знакомство, просит написать ему письмо.

Написала. Через несколько месяцев они поженились. И прожили вместе в любви и согласии 42 года. Своих детей было трое: Елена, Вера, Владимир. И дочь его от первого брака, Лидия.

* * *

“Константин Устинович был такой чуткий, добрый, внимательный человек, — рассказывает Анна Дмитриевна. — Когда он окончил Высшую партийную школу, сразу же после войны, его послали секретарем обкома партии по пропаганде в Пензу. Там родились две наши дочки: Леночка и Верочка. Работал он много. Раньше двух-трех ночи не приходил. Я не сплю, жду. Придет, умоется, дам ему поесть. А потом — мы жили в маленьком флигельке — выйдем, сядем на крыльце

флигелька и сидим, разговариваем, встречаем зарю. Иногда молчу, а он говорит: “О чем ты думаешь? Думай вслух. Надо вместе думать”.

Он всегда замечал настроение человека. Не любил фальши и лукавства. Не выносил, когда люди привирали ему. Ругал за это. Но легко забывал, если люди не повторяли ошибок. Всегда — и в Пензе, и потом в Кишиневе, в его кабинете дольше всех по вечерам свет горел. Приходил домой весь напряженный.

Я приловчилась. Вижу — он мыслями еще не дома, — открою ему, молчу, не зову ужинать. Он пройдет в дом, ляжет на кровать. Закроет глаза. Я войду первый раз — глаза закрыты. Выйду. Войду второй раз. Откроет глаза, но взгляд отчужденный, не видит меня. Опять уйду. В третий раз приду — он смотрит на меня, улыбается — значит, пришел в себя. “Пора, — говорю, — поужинать”.

Когда он бывал по воскресеньям дома, всегда как праздник. Остроумный, веселый. Добродушный. Все реакции быстрые. Общей культуры, конечно, было мало. Я это всегда чувствовала и хотела бы ему помочь, да как? В театр редко вытащишь — все некогда, некогда. Он ведь был из большой крестьянской семьи. Мать его умерла в 1919 году от тифа, ему тогда было восемь лет, и еще были две дочки и сын. Отец женился на очень злой женщине. Детям пришлось хлебнуть горя. Там, где была их деревня, теперь все затоплено новым морем. Называлась она Большая Тесь. Нет ее теперь. Всю переселили в Новоселово.

Когда мы жили в Пензе, я работала, потом дети пошли. Когда приехали в Кишинев, я хотела сразу же начать работу, а сестра Константина Устиновича, Валентина, женщина с сильным, властным характером, говорит мне: “Ты — эгоистка. О нем и о детях не думаешь. Чего тебе не хватает? Муж на такой работе! У него слабые легкие, за ним уход и уход нужен, а ты свои личные интересы ставишь выше семьи”.

Так я на работу и не пошла. Жалела, конечно. А потом, когда мы в Москву переехали (Брежнев, покидая Молдавию, забрал с собой тех работников, на которых мог положиться. — Л.В.) и поселились в доме на Кутузовском проспекте, я стала председателем общественного совета университета культуры при домоуправлении. Чувствую, что нужна людям со своими уже престарелыми организаторскими способностями.

Понимаете, тут у нас, в университете, слушатели — старые люди. Дети рабочих и крестьян. Всю жизнь работали на пар-

тийных, комсомольских работах, пятилетние планы выполняли, и культура их обошла. Они с удовольствием ходят на занятия. Говорят, что им занятия очень помогают ориентироваться в новых условиях жизни. Есть о чем с внуками говорить...

В Кишиневе родился у нас с Константином Устиновичем третий ребенок, сын Владимир. Муж редко его видел — все дни на работе. Однажды я даже его приревновала. Обычно приходит домой в два-три, а тут пришел в пять. Я всю ночь на иголках, нервы не выдерживают. Смотрю в окно не отрываясь. Вижу — появляется в конце улицы. Входит в дом. Я ему говорю: "Ты бы уже совсем не появлялся. Оставался бы там, откуда пришел".

А он отвечает: "Жданов умер. Мы всю ночь соболезнование сочиняли".

* * *

— Анна Дмитриевна, — подхожу я к деликатному углу беседы, — а как вы отнеслись к назначению Константина Устиновича Генеральным секретарем?

— Как отнеслась? — спокойно отвечает Анна Дмитриевна. — Как тут можно было отнестись?

Пришел он и с порога говорит: "Утвердили!"

"Куда, говорю, утвердили, в могилу? Ты туда спешишь?"

Он стал объяснять мне, что все долго обсуждали. Решили, что у Черненко большой опыт работы, он аккуратный, исполнительный...

Он в самом деле очень опытный, аккуратный, исполнительный работник. Делопроизводство поставил на высокий уровень. При нем в ЦК ответы на письма шли четко. Научил людей работать. Организовал работу Политбюро — все материалы для Политбюро готовились тщательно. Хорошо наладил фельдсвязь. До сих пор фельдсвязисты вспоминают его добрым словом. Думаю, организатор он был замечательный, но...

Последний год его жизни страшно вспоминать. Я все, конечно, понимала: что он смертельно болен, уходит из жизни, что ему нельзя выносить такие нагрузки, но что могла поделать! Когда человек попадает в систему "девятки", он совершенно перестает принадлежать себе и своим близким. Сколько

раз я бежала следом за его сопровождением, хватала их за пиджаки: "Куда вы? Посмотрите на него, ему нельзя вставать с постели!"

Кто меня слушал?

"Нужно, Анна Дмитриевна, его люди ждут, он — государственный человек".

Этот красный телефон, когда появился... Я так его боялась...

— Какой красный телефон? — спрашиваю я.

— Телефонная связь главы государства. Как только Константина Устиновича назначили Генеральным секретарем, тут же появился в доме красный телефон. Прямо у кровати.

Я, конечно, берегла Константина Устиновича. Поставила телефон рядом с собой. Как зазвонит, я первая хватаю трубку. Спрашиваю, в чем дело. И по обстоятельствам чувствую — нужно будить его или нет. Всегда спрашиваю, если чувствую, что можно бы не будить: "До утра терпит?" Если отвечают, что терпит, прошу позвонить утром.

А у самой сердце из груди выскакивает. Знаете это чувство, когда среди ночи вас будит телефонный звонок?

* * *

— Анна Дмитриевна, — спрашиваю я, — каковы сейчас ваши привилегии?

— Их теперь все больше урезают. Сначала был ко мне прикреплен автомобиль. Недолго. Бесплатно. Теперь я иногда могу вызвать машину за 15 рублей в час. Мне это не по карману. Недавно получила я шесть соток, участок. Будем строиться вместе с детьми. Их трое, но они дружные, это меня сейчас радует больше всего и примиряет с собственной жизнью — не зря, может, я ради детей и Константина Устиновича пожертвовала своими интересами. Я ведь, знаете, сама трактор водила и починить его могла не хуже, если не лучше любого механизатора...

ФЕНОМЕН РАИСЫ

Летом 1985 года я впервые услышала два разных мнения. Спорили женщины.

— Наконец-то. Давно пора. Элегантная, изящная, неглупая — язык подвешен. Настоящая Первая Леди. Не стыдно и за границей показать.

— Раиса Горбачева элегантная? Безвкусная. Нахальная. Лезет прямо впереди него. Везде с ним ездит. Да кто она такая, чтобы еще и высказываться на публике? Сидела бы дома!

— Кто такая? Жена первого человека в государстве. Во всех цивилизованных странах есть протокольная традиция — жена первого человека всюду с ним.

— Это в цивилизованных. А у нас другая страна. И нет такой традиции. Посмотрите, она каждый день меняет платья! Из каких таких средств? А уж высказывается — лучше бы молчала — ни одного живого слова: спасибо, я рада, я благодарна.

— Но ведь это живые слова...

— Нет, не живые. Протокольные.

Сторонница старой точки зрения явно переспорила сторонницу цивилизованных понятий. Думаю, большинство наших советских миллионов голосов стояло за ней.

Раиса Горбачева, худенькая женщина, стала появляться почти каждый вечер на экранах телевизоров повсюду, и в Москве и в глухой деревушке, и волновать всех — мужчин, женщин. Миловидная и улыбающаяся, в хорошо сидящих на отличной фигурке каждый день разных платьях далеко не всем нравилась. Почему?

Мужчин раздражала не она, как таковая, а то обстоятельство, что “мужик возит ее за собой: какой-то новый, вряд ли хороший пример дает. Своя баба дома посмотрит телевизор, посмотрит и тоже повсюду за мной захочет”.

Женщин раздражала Раиса Горбачева как таковая: молодо

выглядит? Еще бы, ничего не делает, в очередях не стоит, ездит за ним повсюду, всегда в прическе. На ее месте любая выглядела бы не хуже. (Справедливости ради вспомним иных сидевших до нее на этом месте и выглядевших далеко не так. — Л.В.) Худенькая? Тоже странно. Может, ее изнутри какая болезнь точит. Разбирается в искусстве? А что еще делать, если делать нечего!

Однако в атмосфере всех этих рассуждений и споров каждый вечер миллионы людей устремлялись к своим телевизионным ящикам не только послушать, что говорит Горбачев, но и посмотреть, как выглядит и во что одета Раиса. В какой-то поездке он однажды появился без нее, и миллионы, уже привыкшие к ней, по-своему ненавистно полюбившие, заскучали, как будто отняли у них некую любимую игрушку. Но жена Горбачева опять появилась, и обсуждения, отрицания и утверждения Раисы вспыхнули с новой силой.

Потом заверещала частушка:

*По России мчится тройка —
Мишка, Райка, перестройка.*

Возникли анекдоты: “У нас в стране создано первое кооперативное предприятие: “Лапшевная”. В ней Райка варит лапшу, а Мишка нам ее на уши вешает”.

Эти грубые обращения “Мишка”, “Райка” несли тем не менее в себе некую теплоту, некое стремление к иллюзии слияния новой, непривычно приличного вида власти с народом, в массе убогим на вид: хоть и по-заграничному выглядит новая правительственная пара, а все же они — народная косточка. А кто же еще?

Наша замороженная пресса ничего не рассказывала о них. Личное по-прежнему не имело общественного значения. Посему поползли сплетни.

Для меня факт появления и утверждения рядом с Горбачевым Раисы Максимовны был несомненной победой женского начала, пусть на таком малом плацдарме, как плацдарм жены Первого Человека, но все же она появилась, всем своим видом говоря: мы, жены “их”, — есть! И мы, “их” жены, — не последние люди!

На экране телевизора я видела в Раисе Максимовне жен-

щину моего поколения. Может быть, чуть старше. Или моложе. Трудно сказать. Приятнее думать, что она старше. Себя ведь не видишь, а если видишь — в розовом свете.

Почему-то я воображала, что наши дороги непременно пересекутся.

Прием в честь Восьмого марта

В начале февраля 1987 года мне позвонил незнакомый голос из газеты “Правда” и предложил написать статью о женщинах. К Восьмому марта.

О так называемом “женском вопросе” я несколько раз писала и в “Литературной газете”, и в “Литературной России”, и, в особенности, в газете “Советская Россия”, которая в начале восьмидесятых была самой демократической и, как бы мы сегодня сказали, самой перестроечной газетой страны. Главный редактор ее Михаил Федорович Ненашев пригласил меня сотрудничать. Я придумала рубрику “О сокровенном” и написала для нее десяток статей: об отношениях поколений, о понимании друг друга, о мотивах помощи, об одиночестве...

Непривычным в этих статьях был подход к жизни — с точки зрения женщины, не обремененной партийной психологией и групповыми пристрастиями к демократии или партократии: просто женский взгляд. Наверно поэтому почта была огромная. Спустя два года я выпустила в свет книжку “О сокровенном” с этими статьями и письмами читателей.

Голос из “Правды” — он принадлежал заведующему отделом писем Владимиру Николаевичу Любичкому — сказал мне, что знает мою публицистику и дает полную свободу мысли.

— Полную свободу? Вы, наверно, не знаете, что я воспользуюсь ею на сто процентов.

— Пожалуйста. На тысячу.

Я, конечно, ему не поверила, но учуяла — им, видимо, что-то разрешили в связи с женщинами.

Вспомнила недавнюю речь Горбачева, мол, “женщин нужно шире привлекать в эшелоны власти”.

Ох уж эти “эшелоны”! Да разве мужчины позволят “шире привлекать”? А если позволят, то все равно заставят работать в поте лица на свои агрессивные идеи.

Я понимала: начиная высказывать свои нетрадиционные мысли, иду против Горбачева и всего мужского мира, объявляя во всеуслышание необходимость для женщины не помогать мужским властным структурам бороться между собой, а создавать новые женские общественно-хозяйственные, миротворческие структуры.

«Иду против Горбачева»... Смешно. Он этого не заметит.

Я писала статью страстно, как последнюю в жизни, не понимая, что она была первой. И думала о Раисе Максимовне, без всяких на то оснований, считая, что в их семье хотя бы она должна услышать мой голос.

И что тогда будет!

Статья «Живая женская душа» вышла в свет 4 марта 1987 года. А на следующий день, на торжественном заседании в Большом театре, посвященном Международному женскому дню Восьмое марта, с трибуны знаменитый артист Алексей Баталов сказал: в этой статье мужчины наконец-то прочитали, что женщины думают о них.

Это было, конечно, актерское преувеличение.

В статье я говорила, что женщина необратимо движется по дороге равенства, некоего тождества с мужчиной не в общественном положении, а в необходимости тянуть непосильный воз жизненных результатов. Уверяла, что ничего у нас не получится с перестройкой, если все общество вместе не займется вопросами спасения семьи человеческой, а для этого женщина должна занять подобающее ей место на всех уровнях общественных отношений, чтобы не в роли мужчины помогать мужскому миру воевать, и засорять, и делить землю, а в своей собственной, женской, исконно добротворческой роли помочь этому же мужскому миру прибраться на земле, которую он захламил и превратил во вселенскую коммуналку. Заканчивалась статья следующими словами:

«В самом деле, подумаем, что «грозит» нам, если общество достойно поступит с женщиной? У нас будут крепкие, здоровые семьи, мужественные мужчины, воспитанные дети — то есть все, о чем только можно мечтать».

Отклики посыпались с утра четвертого марта. И шли полгода.

Такой почты у меня еще не было. Около восьми тысяч

писем и телеграмм. В большинстве восторженные и согласные. Были и ругательные. Меня обвиняли в желании “захватить власть”, “поставить бездельниц на пьедестал”, “внести смуту в общество, идущее вперед, к коммунизму”.

Честно говоря, ругательные письма мне нравятся. Они часто дают импульс к продолжению разговора. И он был продолжен. Я опубликовала в “Правде” несколько обзоров писем и диалог под названием “Тайна, открытая всем” с Михаилом Трофимовичем Панченко, замечательным ученым, философом, оригинальнейшим мыслителем, к сожалению, вскоре ушедшим из жизни. Мы с Михаилом Трофимовичем говорили в статье о семье, о том, что общество есть конгломерат семей и если в обществе плохо, то плохо в каждой семье, и наоборот: плохо в каждой семье — плохо в обществе.

Я чувствовала, что эта “женская” и “семейная” публицистика сделала меня более знаменитой, чем я была до сих пор со своими лирическими стихами, “Книгой об отце”, рассказывавшей о драме танкостроителей, и даже сборником юмористических рассказов об Англии. Обидно, но факт.

Через год, в одно из первых чисел марта 1988 года, в Союзе писателей мне передали конверт с приглашением на прием по случаю Международного женского дня Восьмое марта.

От Раисы Максимовны Горбачевой.

Посмотрела на дату — до начала приема оставалось полчаса. Я не была одета как подобает: сапоги, забрызганные мартовской грязью, будничное платье. На улице моросила смесь дождя со снегом. Ехать нужно было в Дом приемов на Ленинских горах, далеко, к началу не успею. Нужно бы поймать такси. Пошла ловить. Не ловится. И тут меня осенило: вернулась, вошла в секретариат Московского отделения Союза писателей СССР, открыла дверь в кабинет первого секретаря — им тогда был милый человек, литературный критик Александр Михайлов — и, не глядя, бросила ему на стол приглашение:

— Мне не на чем доехать. Дайте машину. Не хотите же вы, чтобы я, как Золушка...

Михайлов посмотрел на меня так, словно видел впервые. Я тут же выросла в его глазах как писатель, как женщина, как некий общественный деятель, о котором Михайлов и не подозревал.

Машину вел молодой шофер Сережа. Мы с ним стали в длинный "хвост" машин, медленнодвигающихся к Дому приемов. Я видела, как у парадного подъезда открываются двери черных автомобилей, из них выпархивают жены послов разных стран и советские официально известные женщины. Прямо перед нами выскочила из своей машины, блеснув ярко-голубым костюмом, моя знакомая, Галина Семенова, главный редактор журнала "Крестьянка". Я обрадовалась: будет с кем слово молвить. "Моя" машина подошла к подъезду.

— Сережа, — попросила я, — выйдите из машины, откройте дверцу и, как Пиковой Даме, помогите мне выйти. Пусть все будет как положено в высшем обществе.

Он окинул меня быстрым взглядом, засмеялся и сделал точно, как я просила. К сожалению, у парадного подъезда не было никого, и если наш ритуал видели, то только из машин сзади. Тоже хорошо. Раздевшись в холле, пахнувшем всеми духами мира, я быстро нашла Галину Семенову и рядом с нею Валентину Терешкову. Обе оглядели мою будничную одежду, но ничего не сказали. Я не смущалась: есть в характере черта — не переживать по таким пустякам.

Минут десять мы медленно поднимались по лестнице. Поднялись.

Жена Горбачева, жена Шеварднадзе и жена Громыко составляли триумвират хозяек. За их спинами стояли три молодые женщины с папками в руках. Раиса Максимовна была в красном костюме и красной блузке, сливающейся с костюмом, и в белых лодочках на высоких каблуках. У красного цвета несколько оттенков. Костюм Горбачевой был цвета пионерского галстука.

Я видела издали, как Раиса Максимовна, улыбаясь, пожимала руки каждой подходящей к ней женщине и каждой говорила что-то короткое и любезное. Некоторые задерживались возле нее чуть дольше.

Подошла моя очередь. Представилась. Лицо Горбачевой вспыхнуло улыбкой.

— Я рада, — сказала она, — что вы пришли. Я читаю вас. Я знаю ваши стихи, не все, конечно, но у меня есть ваши сборники. А уж статью "Живая женская душа" я искренне приветствую.

Она говорила еще что-то, и я что-то пыталась говорить в ответ, но этого, видно, делать было не нужно — достаточно лишь слушать ее. Явно много дольше других женщин я задержалась перед Раисой Максимовной и чувствовала неловкость, а она говорила, говорила, улыбалась. Сказала о необходимости доброты и сочувствия в обществе в связи с фильмом Киры Ивановны или Степановны, приглашая меня согласиться с нею, что фильм безысходный. Времени не было объяснять ей: мол, я не люблю кино, не смотрю его и не знаю, кто такая Кира Ивановна или Степановна, но догадываюсь, что это Кира Муратова. О ней я слышала, но работ ее не видела.

От Раисы Максимовны я перешла к статной, красивой жене Шеварднадзе, которая улыбалась мне домашней улыбкой.

Жена Громыко сказала о плохой погоде.

Отойдя от сиятельной женской тройки, я попала в круг женщин, отметивших внимание ко мне жены Первого Человека. Они стали обсуждать мою прошлогоднюю статью “Живая женская душа”, высказывать свои точки зрения, не соглашаясь. Подошла Анна Дмитриевна Черненко, и я обрадовалась возможности послушать, как поживает ее университет культуры при домоуправлении — ей, наверно, было одиноко на приеме. Но хорошо, что приглашают...

Показали мне издали Викторию Петровну Брежневу.

Мелькали знаменитые актрисы и жены послов. Среди последних были ярко, национально разодетые африканки.

Все пошли в зал. Я отведала блинов — пшеничных и горчичных; их разносили гостям статные парни в черных смокингах и белых перчатках. На столах стояли традиционные правительственные яства с уклоном в рыбные деликатесы: икра всех видов, крабы, миноги — и тут же сладости, вино.

Раиса Максимовна произнесла короткую речь, где-то далеко от меня, в окружении женщин. Я не видела ее. Так как этот прием был для меня неожиданностью, а на вечер было назначено литературное выступление, я через полчаса поняла, что пора уходить.

Ушла с приема по-английски, не попрощавшись с хозяйкой, понимая — ей не до меня.

Слух о том, что Лариса Васильева была на приеме у Раисы Горбачевой, прополз по Союзу писателей, собрав мне кучку

недоброжелателей. Впрочем, неявных. Так, вскользь, кое-кто, как бы между прочим, говорил по поводу и без того:

— Тебе-то о чем беспокоиться? Ты ведь лучшая подруга самой Раисы Максимовны.

И непременно добавлял:

— Скажи ей при случае, чтобы она пореже меняла туалеты, а то глазам больно смотреть. Народ звереет.

Я в ответ, разумеется, молчала, никого ни в чем не разубеждая. Просто по опыту жизни я знаю: если бы опровергала эту сплетенку, утвердила бы ее с большей силой.

А газета “Правда”, в лице Владимира Любичского, которому я, разумеется, рассказала про прием и передала мнение Раисы Максимовны о статье, опубликованной в “Правде”, была очень довольна и готова к дальнейшему сотрудничеству с “таким перспективным автором”.

* * *

Спустя несколько месяцев после приема мне позвонил человек, отрекомендовался помощником Михаила Сергеевича Горбачева, спросил, как мне понравился прием у Раисы Максимовны, и попросил передать ему некоторые мои соображения по женскому вопросу. Я собрала свои записи, расширила их, дополнила. Осторожно, чтобы никого не испугать, подвела к теме женщины в обществе с новой точки зрения: не в мужских эшелонах власти, а в своем, женском эшелоне совласти. Написать слова: “НУЖЕН ЖЕНСКИЙ ПАРЛАМЕНТ” — не поднималась рука (осмеют: еще чего не хватает — еще чего захотели!).

Думала о Крупской и из сегодняшнего дня видела ее роковую ошибку: Надежда Константиновна привычно стала в “хвост” мужской идеи и о гармонии начал думала лишь применительно к семье и быту, отводя женщине место если на общественном уровне, то лишь внутри мужского эшелона, в подмогу ему, мчащемуся без разбору путей и дорог прямо к победе коммунистического общества.

Вот и домчался.

Думала о Раисе Максимовне, понимая — она будет читать эти мои записи. Интуиция подсказывала: напиши все, что ду-

маешь, и подведи к мысли о Женском Парламенте, но не называй его. Передала бумаги помощнику.

И прошло лето, и прошла осень, и настала зима. Пришел 1989 год. Я работала над книгой “Женщины в Москве” вместе с западногерманским фотографом Хансом Зивиком. Мои героини были самые разные: лифтерша и архитектор, продавщица и экстрасенс, женщина-милиционер и писательница Анастасия Ивановна Цветаева. Разные возрасты, разные судьбы, разные лица. Моему соавтору очень хотелось, чтобы книга имела экстремальный успех. Для этого, ему казалось, в книге должна быть Раиса Максимовна. Он знал — я протрепалась, — что мы виделись с нею и даже несколько минут говорили.

Как и моим коллегам в Союзе писателей, ему начинало казаться, что мы с ней чуть ли не подруги. Я опровергала. Он думал, что я просто скрываю. Уезжая в очередной раз в ФРГ и собираясь вернуться для съемок через пару месяцев, Ханс Зивик взял с меня слово, что я поработаю “над идеей Раисы”.

Насколько этого хотелось ему, настолько не хотелось мне. Я вспоминала авторов знаменитой книги “Лицом к лицу с Америкой” о Хрущеве, авторов известного фильма “Наш дорогой Никита Сергеевич” и не находила в себе мужества стать в их ряды с темой Раисы Максимовны.

Писать о ней сладенькую сказочку не даст мне противный характер и жестокая литературная профессия.

Вскрывать ее образ изнутри, искать в нем драматических коллизий, как я это делала с другими женщинами книги с их согласия, тоже не хотелось. Я почему-то была уверена, что согласия на субъективно-объективный взгляд не получу.

И вообще, в самом факте ее появления на страницах фото-книги проглядывала конъюнктура.

Предложила я было при прощании Зивiku на роль героини Анну Дмитриевну Черненко — он не захотел.

Как бы то ни было, я пообещала Хансу к лету получить ответ Раисы Горбачевой на участие среди персонажей книги “Женщины в Москве”. Не чувствуя удовольствия от предстоящей операции, я откладывала звонок к помощнику Горбаче-

ва, ибо лишь он был единственной телефонной ниточкой, способной связать меня с моей "лучшей подругой".

А в марте 1989 года произошло событие, во многом изменившее мою общественную жизнь.

Жена своего мужа

Шел пленум Союза писателей, на котором состоялись выборы редакционного совета издательства "Советский писатель". Добрых десять лет заседала я в этом редакционном совете. Обсуждала перспективные планы. Иногда удавалось помочь поместить в план книгу того или иного талантливого поэта. В этом была моя польза. Еще приходилось рецензировать рукописи — тут особой пользы не было: если даже я не находила поэзии, скажем, в рукописи дочери литературного босса, мое мнение значения не имело: папа — секретарь Союза был посильнее какого-то там члена редакционного совета.

В марте 1989 года я сняла свое имя из списков будущего редакционного совета — поработала, хватит.

Прошло голосование. Подсчитали голоса. Объявляли результаты. Я безучастно сидела в зале, ожидая конца заседания.

Что такое — смех?

Хохот! Ржание!

Оказывается, все женщины списка — независимо от их принадлежности к левому или правому литературному крылу — были вычеркнуты. Все! Такие разные. Разных возрастов и литературных жанров. Разных характеров. Вычеркнуты, потому что — женщины.

Моя тема, до сих пор не связанная с Союзом писателей, внезапно ворвалась в него: дискриминация женщин! Да как же я этого раньше не замечала? Она была всегда. Не замечала потому, что была удачлива, мне бросали кусок с барского стола — я и не задумывалась.

За моей спиной, в этом зале, высокий женский голос взвизгнул:

— Всех баб выкинули! Так им и надо!

Я обернулась — знакомое лицо. Поэтесса. А она разве не из "них"?

Я вскочила, ринулась на трибуну, оттолкнула очередного оратора и в наступившей тишине сказала:

— Всех женщин пленума, вообще всех женщин, кто слышит меня, прошу после этого собрания прийти в комнату номер восемь.

И пошла из зала под всеобщее молчание брать ключ от комнаты номер восемь, не зная, свободна ли она в настоящий момент.

Не знала я также, что буду делать, если женщины в самом деле придут. О чем с ними говорить? Творчество — дело индивидуальное, мы разобщены и плохо слышим друг друга в своих домах и республиках.

Они пришли. Оказалось, есть необходимость понять себя и друг друга.

Результатом этой встречи стал оргкомитет по созыву первой учредительной конференции, должной объединить писательниц страны. Оргкомитет заседал почти все лето. На конец года назначили свою конференцию.

Не могу сказать, что мои идеи о женском соучастии все поняли и приняли. Многим они казались и сейчас кажутся утопией. Но ведь все мужские утопии, включая и коммунистическую, так или иначе реализуются. Может, вся жизнь человека и есть путь реализации утопий?

Мы сошлись в одном: необходим печатный орган, журнал, газета, издательство, где нарождающиеся идеи внедрения женского начала в общественную жизнь могли бы превращаться в художественные и публицистические формы, овладевать сердцами и умами.

Мои мысли о женском начале так или иначе приобретали все более законченные формы, обрастая опытом других женщин.

У женского мира нашей страны нет и никогда не было своей прессы. Три журнала, самым своим названием меньше всего говорящие о женщине как о самостоятельной общественной фигуре, всегда были лишь тремя кусками, брошенными нам мужским миром. “Работница”, “Крестьянка”, “Советская женщина”. Все три были на балансе КПСС, то есть танцевали под музыку заказчика. Мужской мир ничтоже сумняшеся поделил своих женщин по производственному и политическому

признаку, пристегнул к себе, в качестве приводного ремня, и — поехали.

Спасибо, конечно, Надежде Константиновне за ликвидацию безграмотности и заботу о детсадах и яслях, она многое сделала в свое время, и негоже это забывать, но не пора ли исправить ее ошибку, сделавшую весь наш огромный, столь самобытный женский мир мужскими “товарищами по работе”. Всегда второсортными.

“Раиса Максимовна, Раиса Максимовна! — все чаще стучало у меня в мозгу. — Нужно идти к ней. Дать ей эту мысль. Она как-то подготовлена к ней, если читала мои статьи. При личной встрече я смогу все объяснить более понятно. Она должна заинтересоваться — она женственна внешне — значит, и внутренне. Она поймет, если женщина пойдет на общественные уровни в своей естественной:

этической,
этнической,
экологической,
экономической

функциях, которые так хорошо работают на домашнем уровне, — общество возродится. С наименьшими потерями — женщина не даст зря пролиться крови”.

Все говорило в пользу моего нарастающего решения. Раиса Максимовна явно образованна, окончила философский факультет. Она всего на три года старше меня — мы из одного поколения. Она сумеет убедить его, что женщина в эшелоне мужской власти не дает обществу ничего кардинально полезного, иногда и вред приносит, желая быть сильнее и жестче мужчины, стоя рядом с ним.

Я должна пойти и произнести всего два слова: **ЖЕНСКИЙ ПАРЛАМЕНТ.**

Нигде в мире нет ничего подобного. А нашим женщинам вообще нечего терять.

Женский Парламент, способный на законном основании соучаствовать в общественном процессе, рядом с парламентом мужского направления!

Мы будем первыми в мире! Мы откроем новую эру в человечестве — эру гармонии! На века!

Я позвонила помощнику Горбачева. Он пообещал мне передать Раисе Максимовне мою просьбу об аудиенции.

Через несколько дней помощник сообщил, что меня примут. Еще через несколько дней место встречи было уточнено: на Первом съезде народных депутатов СССР.

Я пришла в красивом легком летнем платье — на сей раз нарядилась. Помощник встретил меня у входа, сказав, что ровно в двенадцать часов, в коротком первом перерыве, мне надлежит быть внизу, у пресс-центра. Оттуда он проведет меня в назначенное место.

Оставшись одна, я огляделась. Лица делегатов, ежевечерне появляющиеся на экране моего телевизора, были настолько знакомы, что с каждым хотелось поздороваться. Нашла я и своих реальных знакомых, писателей Бориса Олейника, Давида Кугультинова, Тенгиза Буачидзе.

— Что ты здесь делаешь? — справедливо задал мне вопрос каждый из них.

В самом деле — что?

Заседание съезда началось. Я смотрела в ту сторону, где в телевизоре обычно сидит среди правительства Раиса Максимовна, и не видела ее. Но вот в разгар чьей-то речи к Горбачеву подошел человек и что-то шепнул. Михаил Сергеевич поспешно встал и вышел. Он отсутствовал минут десять, а когда вошел в зал, одновременно с ним, не на сцену, а в ложу правительства, вошла она.

“Ходил ее встречать. Хорошо поставлено домашнее воспитание”, — подумала я.

И прониклась еще большей надеждой в связи со своей идеей Женского Парламента.

Ровно в двенадцать я подошла к пресс-центру. Помощник извинился: встреча откладывается до большого перерыва. Раиса Максимовна сейчас будет принимать кого-то другого. Он сказал кого, но я не помню: то ли композитора Щедрина с балериной Плисецкой, то ли режиссера Юрия Любимова.

“Странный прием в ложе правительства, по ходу съезда...” — подумала я и пошла слушать съезд.

Утреннее заседание окончилось скандалом между академиком Сахаровым и молодым афганцем, предъявившим ака-

демику свой счет. Выступившая после спорящих женщина — не помню ее фамилии — гневно и крикливо клеймила Сахарова. Накаленный зал закипел, но тут объявили перерыв.

Все расходились на обед, и зал съезда был уже почти пуст, когда помощник ввел меня к Раисе Максимовне, одиноко сидящей в правительственной ложе.

Мы поздоровались, я села рядом. Под потолком зала еще висела огненная туча только что прерванного политического скандала.

— Очень тяжело! — сказала я, садясь рядом с Раисой Максимовной.

— Очень тяжело! — эхом отозвалась она.

Мы посмотрели друг на друга. Каждая, наверно, отметила, что ее собеседница выглядит устало и немолодо. Обе — без краски на лице. Без маникюра. Каждую что-то явно сжигало.

Это были дни, когда до Раисы Максимовны впервые донесли грубые отзывы о ней. Депутат Сухов, человек не очень культурный и, быть может, не слишком уравновешенный, на весь мир сказал, обращаясь к Горбачеву, что он плохо руководит страной, находясь под влиянием жены.

— Не понимаю, в чем провинилась, — поделилась со мной своими переживаниями Раиса Максимовна, явно желая встретить сочувствие. — Я жена своего мужа. Езжу с ним по протоколу. Помогаю ему как могу. Что вы думаете? Как я должна реагировать на такие выступления?

— Не замечать их.

— Правильно! — Она обрадовалась. — Я так и сделала. Сегодня ко мне кинулись иностранные журналисты, стали спрашивать, что я думаю о критике в мой адрес. А я сказала им, что не заметила никакой критики.

Это начало нашего разговора я запомнила. Дальнейшую беседу не берусь приводить дословно. Но содержание ее скажу. Раиса Максимовна долго говорила сама. Рассказывала, как они с Михаилом Сергеевичем учились, как поженились. У обоих была возможность остаться в Москве, в аспирантуре, но они выбрали другой путь — он пошел на комсомольскую, потом партийную работу. Она говорила, что ей было трудно работать, и готовить кандидатскую диссертацию, и заниматься домом,

когда родилась дочка, что она часто плакала от трудностей, что у нее ничего не было, ни красивых платьев, ни хорошего пальто — все потом появилось...

В ее чисто женском, таком знакомом мне в поведении предшествовавших ей кремлевских жен, приbedнении был как бы привет от всех них, и, слушая ее, я увядала, понимая, что ничего не изменилось, что она такая, как все они, и мои “безумные” идеи здесь напрасны, но все же раз пришла — сказать надо.

Я слушала гладкую, как бы по-написанному грамотную и какую-то слишком партийно-правильную речь и в какой-то момент перестала вслушиваться, думая лишь об одном: время идет, вот уже, поди, полчаса пролетело. Еще немного — и она, посмотрев на часы, даст мне понять, что аудиенция окончена.

Напрасно пришла...

Невежливо, но я перебила Раису Максимовну, сказав, что у меня есть к ней важный разговор. И быстро-быстро, торопясь сказать все, стала излагать ей свою выстраданную идею о гармонии двух начал в обществе — мужского и женского. Говорила, что и с перестройкой ничего не выйдет, если мы не дадим женщине шанс проявиться. Ведь в своей естественной роли: в хозяйстве, в школьном образовании — миллионы женщин работают не по своему женскому разумению, а по спущенным из мужских министерств мужским циркулярам. Я говорила, и мне казалось, она не слушает меня, так же как и я только что не слушала ее, потому что ей не кажется интересной эта идея, она не ухватила главную мысль и вообще находится в плену тех же старых представлений о необходимости ликвидировать “женские проблемы”: больше денег на ясли, детсады, больше женщин в “эшелолах власти”...

Речь моя, пламенная, угасала, увядала, усыхала...

— Да? — вдруг перебила меня Раиса Максимовна. — Вы говорите, ничего с перестройкой может не получиться? Так нельзя говорить. Нужно верить. Ведь вот вы и в статьях пишете — без веры нельзя. Я верю. Я только боюсь, что за четыре года мы не успеем...

Так и сказала: “...боюсь, за четыре года мы не успеем...”

— Чего не успеете? — спросила я.

Она не ответила и заговорила о здоровье Михаила Серге-

евича, сказав, что оно для нее дороже всего на свете, а бывает, повышается давление. От сильной нагрузки.

Едва она заговорила о Михаиле Сергеевиче, голос и лицо изменились — ушло дежурное выражение и дежурный тон. Она стала милая, домашняя, просто жена своего мужа, очень женственная и хорошенькая.

Потом мы говорили об университете. Искали общих знакомых. Не нашли. Четыре года разницы в университете имели значение.

Потом я рассказала ей о предложении Ханса Зивика сфотографироваться для книги “Женщины в Москве”. И сказала: “Если вы откажетесь, я не обижусь”.

Она попросила прислать проспект книги. (Я послала через помощника, и она отказалась.)

Уходя, я протянула ей несколько своих страниц на машинке:

— Там все написано. Это идея Женского Парламента и просьба помочь созданию газетно-издательского комплекса, выражающего женскую точку зрения на мир.

— Женский Парламент? — Она подняла на меня глаза: — Странно звучит. Но я скажу ему.

И положила листки в изящную сумочку.

Я вернулась домой не то чтобы окрыленная — с надеждой. Позвонила в “Правду” и сказала Любицкому, что на днях принесу ему новую статью. Не скрыла и факта своей встречи с Раисой Максимовной. Это была чистейшая спекуляция на ситуации. Мелкая. Меня оправдывало лишь ощущение своего предназначения. Если бы не умение видеть самое себя со стороны, полученное в наследство от отца, я бы воображала себя чем-то вроде Жанны д’Арк нового типа: “Если не я, то кто же?”

24 июня 1989 года в “Правде” появилась моя статья “Первые ласточки на циркуляре”. Я писала ее, стараясь как можно проще повторить свою речь перед Раисой Максимовной, думая этой статьей закрепить в ее мозгу мысль о Женском Парламенте, о новой, невиданной прежде общественной форме, которую, конечно же, нелегко будет создать, принимая во внимание нашу женскую многовековую забитость и непроявленность на общественном уровне в собственной роли. Я уже

встретилась и с непониманием этой идеи самими женщинами, говорящими: “Нам еще только этого не хватало, чтобы мы вышли на общественный уровень”, и сколько ни объясняла я, что в их мужской борьбе мы не должны участвовать ни на чьей стороне, ибо это чревато лишь кровью и слезами, мало кто понимал меня.

Все же понимали. Находились, и с каждым днем все больше и больше женщин, и даже мужчин, готовых слышать эту мысль о гармонии начал в обществе. Нашлись у меня единомышленницы и на Западе, где та же идея, но на другом уровне цивилизации начинает поднимать голову.

Так, может, она придет к нам “оттуда” как откровение грядущего времени? Как пришли “оттуда” цари, Ленин, клоун Олег Попов (последний в переносном смысле), идеи современной демократии и перестройки и многое другое... Я согласна, лишь бы пришла.

Статья “Первые ласточки на циркулярах” была для меня уже прямым подходом к идее Женского Парламента.

Почта шла не слишком большая. “Правду”, видимо, уже читали мало, но лишь в “Правде” оказалось возможным напечатать весь мой “бред” — демократической прессе было не до каких-то там женских тем.

* * *

Спустя некоторое время после появления статьи позвонил помощник Горбачева:

— Раиса Максимовна сейчас на отдыхе в Крыму. Она изъявила желание поговорить с вами по телефону. Вам трудно дозвониться — назначьте время.

Я запылала добрыми предчувствиями и назначила час. Секунда в секунду раздался телефонный звонок. Раиса Максимовна похвалила статью “Первые ласточки на циркуляре”. Я поблагодарила, но сказала: мне кажется, я говорю в пустоту, никто меня не слышит, нет никаких результатов. Она, конечно, поняла жалобу и уверила, что меня слышат и понимают.

Двадцать шестого октября в “Известиях ЦК КПСС” появилось постановление секретариата ЦК КПСС: “О статье

Л.Васильевой, опубликованной в газете “Правда” 24 июня 1989 года”.

Партийная машина сообщала, что “согласно поручению отделы ЦК КПСС проанализировали круг проблем, поднятых в статье Л.Васильевой, о роли и месте женщин в обществе”. Партийная машина проанализировала и выдала результат: “Одна из острейших проблем — улучшение условий труда и быта женщин. Свыше 3,4 млн. женщин работают в условиях, не соответствующих правилам и нормам охраны труда, почти 3,8 млн. трудятся в ночных сменах. По уровню квалификации женщины-рабочие отстают от мужчины на один-два разряда... в связи с переходом предприятий на новые методы хозяйствования женщины стараются не брать в хозрасчетные звенья и бригады, в первую очередь увольняют при сокращении штатов, создаются препятствия для внедрения льготных режимов для матерей...”

Резко увеличивается трудовая нагрузка женщин в условиях арендного подряда. Плохо решаются вопросы выдвижения женщин на руководящую работу, в том числе и в партийных органах”.

Это было первое с 1924 года “Постановление”, касающееся женщины. Десятилетиями считалось, что с нею все в порядке, она самая равноправная и самая счастливая в мире. Неужели я еще хочу, чтобы “Постановление” было в духе гармонии? Смешно.

Однако я хочу. И жадно ищу в нем — какой выход оно предлагает. Да все тот же, машинный: “проанализировать положение дел и провести практическую работу по дальнейшему развитию женского движения”.

Прекрасно. Кто будет анализировать? Постановление возлагает эту миссию на Идеологический отдел ЦК КПСС “совместно с ЦК компартий союзных республик, крайкомами и обкомами партии”. То есть партийно-бюрократическая мужская машина вместе с ее отделами и отдельчиками на местах за женщин будет решать, как им дальше жить. И спрашивать женщин не надо. Одно утешает, что ничего этого никогда не

будет — постановления ЦК, по-моему, никогда практически не выполнялись.

И все же я ищу хоть какой-то реакции на мою главную мысль о необходимости женского соучастия в общественном процессе.

А — вот она!

“Нельзя согласиться с некоторыми положениями, содержащимися в статье. Автор ратует за содружество всех женщин (нельзя! — Л.В.), добровольную их соборность (нельзя! — Л.В.), что, по ее мнению, поможет женщинам полнее раскрыть свои возможности (этого тоже, выходит, нельзя? — Л.В.), а всему обществу ослабить существующую социальную напряженность” (как, и этого нельзя?! — Л.В.).

А что же можно?

“Провести практическую работу по... совершенствованию деятельности женских советов, укреплению их кадрами”, — рекомендует машина.

Что сие означает? А то, что мужчины своей волей перетрясут хилые женсоветы, насадят “своих” новых и крепких дам и — вперед.

Хорошо, что все это лишь слова и ничего такого не будет.

Но, как я поняла, “Постановление” — результат работы Раисы Максимовны. Ну, может, не работы, сказала: нужно разобраться. И машина “разобралась”.

Ох, машина! Ах, машина! Что же мне делать теперь? Сама того не желая, я сработала на вложенную в тебя, заржавленную с 1924 года программу. На какой-то миг мне даже почудилось, что сама Надежда Константиновна из своего “далека” продирижировала этим оркестром.

И все же — беру себя в руки: нужно найти в “Постановлении” о моей статье хоть намек на конструктивную мысль.

Вот она:

“Государственному комитету СССР по печати совместно с Комитетом советских женщин рассмотреть вопросы учреждения специального печатного органа, а также увеличения количества журналов для женщин”.

Если в руках будет журнал, а рядом объединение писательниц, — это уже начало.

Но кто даст возможность вести журнал мне, беспартийной, никак не связанной с Комитетом советских женщин, где меня вообще считают едва ли не сумасшедшей диссиденткой внутри женского движения?!

Внезапно я приглашена на беседу к члену Политбюро ЦК КПСС Вадиму Андреевичу Медведеву. В красивом платье иду в ЦК.

Тут должна сделать отступление почти мистического характера. Мои близкие, и в первую очередь я сама, давно заметили одну странную, необъяснимую закономерность: стоит мне совершить поход в это учреждение на Старой площади, как того, к кому я приходила, либо снимают с работы, либо переводят на новое место работы, и мое дело увядает. Неужели партмашина обладает реакциями на беспартийных? Шутки шутками, а я таким образом “сняла” несколько мелких начальников из отдела культуры и даже пропаганды. Многих “перевели”, и, как правило, на понижение. В моей семье сначала посмеивались, пошучивали. Но даже муж — человек разумный и рациональный — в конце концов перестал смеяться: он, конечно, не верил в предрассудки, но в закономерности этих моих случайностей убедился.

— Сходи к Брежневу! — просили меня друзья, — Сходи к Суслову! А то все не тех “снимаешь”.

Я пришла к Медведеву — посидела, поговорила. Он пообещал подумать о журнале.

Вскоре его перевели на другую работу.

Сицилийский торт

В ноябре 1989 года я получила приглашение в Италию в составе пресс-группы при Горбачеве во время его правительственного визита. Поездка должна была состояться в конце ноября, а на 7 декабря назначена первая учредительная конференция писательниц страны. Задумалась: ехать — не ехать? Подготовка конференции требовала много времени.

— Езжай! — сказали писательницы, мои помощницы. — Это поднимет наш престиж.

В день приезда Горбачевых — а пресс-группа прибыла в

Рим двумя днями раньше — вся группа собралась для представления Михаилу Сергеевичу и Раисе Максимовне. Рядом со мной стоял обаятельный актер Армен Джигарханян и тихо шутил. Я посмеивалась. Горбачевы вошли, блистательные и победоносные. Началось рукопожатие. Возле Джигарханяна задержались, говоря, как любят его, как ценят.

— Я рада, что вы в делегации, — приветливо сказала мне Раиса Максимовна и быстро прошла.

Горбачев остановился.

— Я знаю вас. И очень ценю вашу позицию, — сказал он мне, а я подумала: “Ну и что? Лучше бы поменьше ценил, а помог с журналом”.

Потом была поездка Горбачевых по городу, в которую меня распределили в качестве сопровождающей, вместе с известным юристом Сергеем Сергеевичем Алексеевым. Другие завистливо посмотрели на нас. Но напрасно они завидовали. Толпы народа, выплеснувшие на улицы Рима всю свою внезапную истерическую любовь к советскому вождю, задержали наш с Алексеевым путь к предназначенной нам машине. Когда же мы наконец подошли к ней, на наших местах уже сидели другие из пресс-группы. Завидев наши вопрошающие физиономии, они отвернулись, и машина тронулась. Мы с Сергеем Сергеевичем посмеялись, нашли автобус, который должен был отвезти часть делегации, не удостоенную чести сопровождать Горбачевых по Риму, на выставку, готовую к открытию. С трудом пробираясь по запруженным улицам, автобус наконец-то прибыл на эту выставку. Ее должна была открывать Раиса Максимовна после прогулки по Риму.

Там, едва войдя в первый зал, я услышала — кто-то выкрикивает мою фамилию. Оказалось, пришел “факс” из Союза писателей, что Моссовет отказал нам в гостинице для делегатов учредительной конференции писательниц.

Свет померк перед моими глазами. Столько времени истратить на подготовку, взбудоражить писательниц по всей стране и — все коту под хвост.

Мою растерянность увидел Егор Яковлев — главный редактор “Московских новостей”. Он взял телеграмму, прочитал и дал совет:

— Вон среди делегации — Сайкин, Председатель Моссовета. Только он может вам помочь. — И толкнул меня к нему.

Бедный Сайкин, огорошенный, как и все мы, наэлектризованными римскими толпами, ничего не понял: какая-то советская женщина почему-то в Риме размахивает перед его лицом какой-то телеграммой и требует, чтобы он послал в Москву распоряжение о том, чтобы каким-то делегаткам обеспечили триста мест в гостинице.

Он стал кричать мне, что мест у него нет, в Москве сейчас вообще нет мест и он дать ничего не может.

Я в ответ кричала, что он срывает международное мероприятие, это дойдет до Горбачева и Сайкину будет плохо. Но Сайкин не сдавался, а Егор Яковлев за моей спиной хохотал, как Мефистофель.

Поздней ночью вся пресс-группа должна была встретиться с Горбачевым в советском посольстве на вилле Абамелек и рассказать ему о настроениях римской общественности.

Мы долго ждали Михаила Сергеевича. Наконец он появился. Один. Без Раисы Максимовны.

Шел третий час ночи. Люди сидели за длинным, огромным столом. По правую руку от меня Джигарханян, по левую — Александр Николаевич Яковлев, с мясистым лицом гнома-заговорщика. Горбачев — через стол, чуть наискосок. Мы с ним часто встречались взглядами. Шел разговор, в ходе которого он несколько раз обращался ко мне с вопросом:

— А что думают женщины?

И я начинала невпопад говорить не о том, что думают женщины Италии о Горбачеве — я не знала, что они думают, — а о своей идее гармонии, о ее необходимости в распадающемся обществе, которому нечего терять. В какой-то момент я заметила, что Горбачев слышит меня. Слушает и, кажется, понимает. Остальным же это неинтересно, и они, перебивая меня, уводят его мысль в сторону от моих мыслей. А он все же опять ко мне.

И я вдруг, вспомнив, что в Москве нет номеров для делегатов, начинаю говорить об учредительном собрании писательниц и прошу сказать Сайкину, чтобы дали триста мест в гостинице. Этого уже Горбачев не понимает, хмурится, отбрасывает

от себя, но Сайкин сидит здесь и понимает, его имя произнесено, триста номеров нужно...

Но опять Горбачев ко мне, и опять я ему про женщин, семью, общество и необходимость деполитизированной женской прессы.

— Да, да! — улавливает он мою мысль, но опять его отвлекают.

— Мы должны пройти через хаос, — слышу я слова Горбачева, обращенные ко всей пресс-группе и, пораженная этими словами, кричу ему через стол:

— Почему?

Сергей Сергеевич Алексеев, вскочив со своего места, нажимает мне на плечи, явно заставляя молчать, а сам через стол — Горбачеву:

— Вы хоть народу об этом не говорите!

Тут что-то торопливо утверждает Шаталин. Там писатель Можаяев заводит речь о том, что Михаил Сергеевич должен усилить свою охрану, вот ведь царя охраняли...

Расходимся. Горбачев задерживает меня. Мне кажется, он хочет до конца понять мою не совсем ясную для него мысль. Я готова говорить, но подходит человек и явственным полусшепотом:

— На проводе миссис Тэтчер по поводу Литвы...

По смешному стечению обстоятельств я попадаю в одну машину с Сайкиным на пути из посольства до гостиницы и всю дорогу давлю (глагол! — Л.В.) ему на психику со своими номерами для своих делегатов.

А он не слушает меня и говорит что-то печальное: мол, если не будет в нашем обществе ставки на рабочего человека, то общество развалится.

— Да я вам душу свою открываю, а вы про какие-то номера в гостинице. Будут вам номера! — в сердцах говорит он. И мне становится стыдно за свою назойливость.

Но рано утром, едва я проснулась, готовая лететь на Сицилию в группе Раисы Максимовны, как это предполагалось по программе, у меня не было времени стыдиться и стесняться. Я вспомнила весь вчерашний день, этих рвущихся к носителю власти мужчин, озабоченных собой и своими делами, и поняла,

что Сайкин, проснувшись, совершенно забудет обо мне и моих гостиничных номерах для писательниц.

Неужели, даже попав в такое общество, от которого все в нашей стране зависит, я не пробью (глагол! — Л.В.) такого пустяка, как гостиница?

И в шесть утра “создаю” письмо Сайкину:

“Уважаемый имярек (забыла, грешная, как его зовут). Я улетаю с Раисой Максимовной на Сицилию и не буду иметь возможности проверить, как вы исполнили мое поручение, а между тем, если оно не будет выполнено, не миновать международного скандала. Напоминаю вам, что речь идет о гостинице для делегатов учредительной конференции писательниц (триста мест). С уважением. Такая-то”.

Спускаюсь к портье. Прошу сейчас же отнести записку в номер к синьору Сайкину. Находим номер.

— Не рано ли? — сомневается портье.

— Нет, нет, не рано, — убеждаю я.

И для затверждения всей процедуры прошу премилого парня из президентской obsługi, находящегося рядом, напомнить Сайкину о гостинице для делегатов писательской конференции.

Я сделала все, что могла. Совесть моя чиста. Но на черта мне чистая совесть и несостоявшаяся конференция? — размышляю я по пути к самолету.

* * *

Это был спецрейс и спецсамолет. И все внутри него было необычно. В салоне за большим столом сели владыка Ювеналий, Иван Лаптев, симпатичнейший академик Константин Васильевич Фролов. Раиса Максимовна летела этим же самолетом, но где-то впереди, с врачом. У нее, кажется, насморк. Но вот она вошла, встала на пороге нашего салона в прелестном сером костюмчике, изящная и оживленная. Каждому сказала что-то приятное: рада видеть, рада видеть и надеется, поездка будет удачной.

Обратившись к владыке Ювеналию, она назвала его Константином Владимировичем и смутилась, по-девичьи покраснела, поправилась:

— Ой, простите, Владимир Кириллович.

Владыка Ювеналий великодушно улыбнулся — она спутала его имя с именем владыки Питирима, с которым, видимо, не раз общалась.

На Сицилии я в четвертый раз. Бывала и в Палермо, и в Катанье, и в Сиракузах. Выступала на вечерах. Гуляла по набережным. Заплывала и даже однажды, купаясь в море, обожглась о медузу. Здесь живут знакомые поэты и организаторы поэтических встреч. Вот удивились бы они, встретив меня в таком обществе. А может быть, я их увижу?

Приземляемся в аэропорту Катаньи. Рассаживаемся по автомобилям и выезжаем на дорогу, ведущую из Катаньи в Мессину, где состоится торжество встречи. Проезжая Катанью, не узнаю города. Он обычно неторопливый, обшарпанный даже в центре, весь в хлопьях летающей лавы. Сегодня — чистый, украшенный цветами. Несметное множество людей на улицах. Они не дают проехать машине Горбачевой, кричат: “Раиса! Раиса!” — бросаются под колеса, рвутся к окну, за которым сидит она.

Эти восторги задерживают весь наш путь, но все же кортеж с трудом выбирается на дорогу между городами. Не узнаю дороги, обычно забитой бегущими автомобилями всех марок. Сейчас она пуста и на мостах, то там, то тут пересекающих ее, стоят автоматчики. Этна не видна за облаками, и не слышно ее вулканического разговора. В Мессине такой же, если не больший, ажиотаж. Раиса Максимовна, окруженная кольцом молодых чекистов из “девятки”, в какой-то миг замечает меня и выхватывает из толпы сопровождающих.

— Идите, участвуйте, слушайте, спрашивайте! — приказывает она.

Но ничего делать нельзя в этом безумии необъяснимого восторга.

— Раиса! Раиса! — исступленно кричат мессинские толпы.

— А мне слышится: Лариса, Лариса! — шепчет мне веселый и насмешливый фотокорреспондент из Москвы — я давно его знаю. Остается лишь погрозить ему пальцем.

Потом идет церемония торжественного обеда. Я сижу далеко от Раисы Максимовны, но вижу ее прямо в лицо — она не может взять в рот ничего, перевозбуждена и взволнована. К

ней беспрерывно кто-то подходит и что-то говорит. Раскрываю меню обеда: спагетти, мясо, а на третье — сицилийский торт. Который раз на Сицилии — и не знаю, что такое сицилийский торт. Попробуем!

Как бы не так. Успеваем сжевать лишь холодные спагетти и вылетаем из-за стола. Раиса Максимовна — первая: нужно лететь обратно, успеть на выступление Михаила Сергеевича в римском парламенте.

Рассаживаемся по машинам, в суматохе забыв прекрасного Джигарханяна, вышедшего покурить. Снова пустое сицилийское шоссе, уже опустевшая Катанья, самолет — Рим.

Кто съел сицилийский торт и каков он на вкус, остается загадкой. В Риме я узнаю, что Сайкин отправил в Москву “факс” с приказом дать места в гостинице для делегатов конференции. С моей души падает груз. Теперь я могу спокойно осознавать окружающее. Теперь мне становится интересно все вокруг поездки Горбачева. Но именно теперь моя миссия здесь, если таковая вообще была, завершается. Нужно возвращаться в Москву, а чета Горбачевых посетит папу, поедет на Мальту.

На том и кончаются мои встречи с Раисой Максимовной. Хотя снова, дважды, на Восьмое марта, высылают мне приглашения в Дом приемов на Ленинских горах. Дважды ничего из этого не выходит — билеты теряются где-то в недрах Союза писателей.

Словесный портрет в интерьерах

— Можешь ты, Лариса, сказать, какая Раиса Максимовна. Я вот смотрю на нее в телевизоре и не пойму: то ли умная, то ли нет. Она какая-то неопределенная, — сказал мне один старый человек. Я не знала, что ответить.

Есть несколько мнений о том, кто при Горбачеве управлял нашей страной.

Одни говорили — Америка: чего захочет Рейган или Буш, то мы и делаем.

Другие, с более локальным политическим видением, считали, что несколько лет страной успешно руководила группа демократов, стоявших за широкой, чугунной спиной Ельцина.

Мало кто, но есть и такие, считали, что руководил все же

Горбачев, приписывая ему дьявольскую хитрость и талант сталкивать между собой противоборствующие силы, вовремя отходя в сторону.

Есть и такие, кто думал — всем вертела Раиса: куда захотела — едет, и всюду ее как царицу встречают. Как она захотела — так и будет. Захотела, чтобы у нас было все как за границей...

Что? Что? Что-то не получилось. Хотя, конечно, может быть, через лет сто и будет, как она захотела. Да ее не будет.

Возможно, по-своему правы и те, и другие, и третьи, и даже легкомысленные четвертые, а все это вместе значит, что нами управлял и управляет телевизор. Он есть в каждой захламленной деревушке, и, в зависимости от того, кто держит ключ от этого ящика, тот и учит нас, как надо думать и поступать.

Сразу же после провала ГКЧП с телевизионного экрана надолго исчезла Раиса Максимовна.

Пошли слухи:

—Пережила. Переволновалась.

—Инсульт. Рука отнялась.

Однако, как бы компенсируя исчезновение, повсюду появилась ее книга “Я надеюсь”, с улыбающимся портретом на обложке.

Книгу поругивают: скучная, приглашенная, правильная, партийная. Позавчерашняя. Запоздавшая к своему времени, потому что “путч” ликвидировал коммунистическую партийность как таковую.

Читателям явно хотелось, чтобы жена Горбачева, с которой он, по его собственному утверждению, обсуждает все, рассказала всем и каждому, что они обсуждают в политике, как к кому относятся, как готовят вместе те или иные акции перестройки.

Как бы не так.

Беру книгу Раисы Горбачевой, читаю по строкам и сквозь строки. Она замечательна, эта скучная книга. В ней видна героиня, с деликатной откровенностью на 189 страницах не сказавшая ничего лишнего! Типичен, словно герой нашего времени, недавний работник ЦК КПСС интервьюер Георгий

Пряхин, закованный, как в цепи, в понимание, о чем нельзя и о чем можно спрашивать сиятельную даму.

Нет, нет, я не иронизирую и не вредничаю. Книга Горбачевой почти с математической точностью рисует ее самое. Запоздавшая? Куда, извините? К конъюнктуре момента? Но ведь Раиса Горбачева не советская журналистка, меняющая свои убеждения в угоду начальству. И не политическая деятельница, которой приходится приспосабливаться к ситуации, вчера изобретенной вождями.

Кто же она такая? Она плоть от плоти своего времени: дитя войны, послевоенная девушка из скромной семьи — отличница, окончившая школу с золотой медалью, женщина хрущевской оттепели, провинциальная жена комсомольско-партийного работника, неуклонно восходящего по ступеням руководящей лестницы и достигшего Эвереста власти.

Смелая и робкая.

Жесткая и мягкая.

Самоуверенная и неуверенная в себе.

Самым удивительным и естественным было ее поведение во время “путча”. Она вела себя не мужественно, а женственно: испугалась за семью. Да так, что сама заболела. И это было ее главным поступком. К сожалению, ее испуг ничему не научил заигравшийся мир. Но это уже не ее вина. Она испугом сказала свое нежное женское слово. И оно останется на добрую память потомкам. Если только это не было отлично сыгранной ролью.

О, злые языки!

* * *

Раиса Титаренко приехала в Москву из Стерлитамака в 1949 году и без труда, золотая медалистка, поступила в университет. С первого курса она заняла на философском факультете подобающее ей место среди других: в общей массе особо не выделяющихся зубрилок. Девушка общежития. Таких большинство, и на их фоне особенно видны девушки-москвички, позволяющие себе не слишком грызть гранит науки, пото-

му что есть на свете более интересные занятия. Философский факультет, конечно, не филологический — последний славится самыми знойными красотками, да еще из кремлевских семей, но и на философском есть статные, нарядные красавицы. Куда до них Раечке из Стерлитамака. Но она за ними не гонится. Она живет свою собственную жизнь. Хорошенькая. Нравится. На танцах нарасхват.

Были ли у нее женихи, кроме Михаила Горбачева? Думаю, этот вопрос из тех, на которые она сегодня не отвечает. Но по опыту своей жизни знаю, что у девушек университета из моего поколения (я младше Раисы Максимовны на четыре университетских курса) было возрастающее с каждым новым выпуском понимание необходимости выйти замуж до окончания учения. Разумеется, удачно. И существовал ряд категорий мужчин, в той или иной степени пригодных для замужества.

Первые — дипломаты и журналисты-международники, они в перспективе уедут на заграничную работу. Смело мыслящие девушки задумывались и об иностранцах, которые учились в университете. Это были коммунистические студенты из Китая, Кореи, немцы из ГДР, чехи, словаки, болгары, венгры, румыны, были даже юноши из стран капитала — молодые коммунисты. Многие из них женились на советских студентках-однокурсницах. Самые смелые находили женихов среди “настоящих капиталистов”, но последние попадались тогда еще крайне редко.

Вторые — кандидаты наук любых профессий. Тогда кандидатов было не так много. Сам факт кандидатства свидетельствовал о перспективах возможного жениха. Конечно, если попадался доктор наук или удавалось увести его из семьи, это был исключительный случай. Но какая жена отдаст?

Третьи — инженеры и разные другие профессии. Тут нужно смотреть по обстоятельствам: чтобы был москвич, из хорошей семьи. Последнее обстоятельство вообще могло вывести претендентку на высокие уровни, если жених из правительственной или приправительственной семьи.

Четвертые — свои братья студенты. Слабый вариант. На худой конец. Желательно, конечно, выйти за старшекурсника. Чтобы посолидней был.

А если однокурсник? За такого можно выйти лишь по горячей любви или со страху, время идет, распределение приближается, вдруг больше никто не возьмет замуж и придется ехать из Москвы?

Была в университете категория девушек активно некрасивых, даже уродливых, сразу отрезавших от себя мечты о категориях женихов, однако девушек умных и деятельных. Они пополняли протестующие ряды демократок, мужских соратниц в будущем диссидентском движении. Там нередко находили и мужей. Некоторые из них заводили ребенка без отца. Было в этих девушках что-то от революционерок прошлого века.

К какой группе отнести Раису Титаренко? Думаю — к самому прекрасному, романтическому разряду девушек, выходящих замуж за своих сокурсников, по горячей любви, по сердечному влечению. У нее гордый и независимый характер.

Она ни за что не пойдет, хотя, может быть, втайне и мечтает, в приемочки в богатую и знатную семью. Чтобы ей там глаза кололи ее бедностью и незнатностью?

Она ни за что не пойдет за дипломата, если он ей не нравится, не кажется самым умным и красивым на свете. Горбачев так же думает. И в этом смысле они нашли друг друга: старательные, внимательные, ищущие, умные провинциалы. Оба знали, что начинают с нуля. Оба мечтали добиться всего вместе. Женись он на девушке из обеспеченной московской семьи, выйди она за московского сынка, они не состоялись бы так сильно, — вместе.

Уж на что Алексей Аджубей был и умом, и талантом журналистским силен, а так и остался в истории — зятем Хрущева. Клеймо.

— У нас была возможность остаться в Москве, в аспирантуре. И его и меня оставляли. Но мы уехали на родину Михаила Сергеевича. И время показало, что выбор был правиль-

ный, — вспоминаю, как сказала мне Раиса Максимовна в пустом зале Дворца Съездов.

Да уж.

Он быстро поднимался по партийной лестнице. И у нее была своя партийно-преподавательская лестница, предполагавшая подъем. Но скоро стало очевидно, что ей его не догнать.

В мое время, если он и она одновременно начинали общественную и трудовую деятельность, то очень скоро кто-то один в семье опережал другого. Тогда кому-то одному приходилось делать выбор. Разумеется, чаще мужчины вырывались вперед, и это казалось нормой, но бывало, что женщина опережала. Последнее приносило много переживаний в семью. Вплоть до развода. Женщина не прощала мужчине “слабости” — мужчина женщине “силы” не прощал.

Вслучае Горбачевых Раиса Максимовна, видимо, и не стремилась опередить Михаила Сергеевича, она была слабая женщина, и в этом состояла ее сила.

* * *

Долгие годы, практически всю свою зрелую жизнь, Раиса Максимовна была провинциальной номенклатурной женой со всеми вытекающими отсюда последствиями. Она прошла через необходимость держать дистанцию перед женой вышестоящего начальника, и это не могло быть приятно ее независимому университетскому нраву. Щит собственных профессиональных занятий надежно защищал ее от унижений. По природе своей стремящаяся к гармонии, Раиса Горбачева умела вести себя в любой обстановке. Но наступали времена, когда она становилась на место жены начальника, перед которой другие женщины стояли на низшей ступени. И здесь она умела держать дистанцию. Помогала преподавательская работа: как учительница с учениками.

— Действовал всегда на нервы ее поучающий тон, ощущение непререкаемой уверенности в своей непрегрешимости. Так и хотелось “врезать” (глагол! — Л.В.) ей как следует, но

это могло отразиться на делах мужа, “ходившего под Горбачевым”. Приходилось терпеть Раечкину правильность и партийную зашоренность, — говорит сегодня жена одного из ставропольских подчиненных Горбачева, по старой привычке желавшая не называть своего имени на страницах.

Эта двуликость: высокомерие к холопу, подбострастие к верхам — типична для всех, находящихся у власти. Она весьма удобна и, думаю, не являясь характерной чертой моей героини, все же стала одной из центральных черт характера.

* * *

Она добрая и благородная женщина. В лучших традициях всех предшествовавших ей кремлевских жен заботится о детях-сиротах. Отдает средства на детей. Но ей, доброй женщине, наивно кажется, что доброта должна быть вознаграждена добротой. Увы. Чем больше отдает Раиса Горбачева — тем больше раздражения вызывает к себе:

— Подумаешь, отдает. Как будто последнее. Видно, девать некуда.

— Отдает? Заигрывает с народом. Противно.

Парадоксально, но факт.

* * *

Снова и снова вспоминаю ее слова:

— Боюсь, за четыре года мы не успеем...

— Чего не успеете?

Она не ответила. Предполагай что хочешь.

Не успеют завершить перестройку? Если Горбачева ограниченная и зашоренная женщина, она вполне может думать так. Умница Горбачева должна понимать, что пахнет десятилетиями.

Как бы то ни было, эта фраза выдала ее непосредственное участие в общественном процессе. Думаю, Раиса Горбачева, как никакая другая кремлевская жена до нее, играет роль в политике, изящно скрываясь за женственными актами милосердия. Не зря же на первых порах так неадекватна была

реакция на нее медведистого Бориса Ельцина, по всей видимости считающего, что дело женщины обслуживать мужчину в роли домашней хозяйки или же в роли телехозяйки “Пятого колеса”.

Как никакая другая! Осмеливаюсь думать, даже более, чем Надежда Константиновна, ибо Крупская служила своей всепожирающей идее, персонифицированной в Ленине, а чему служит Раиса Максимовна?

Не чему — кому! Михаилу Сергеевичу. Он — ее идея и смысл ее политики. Он прав, потому, что это ОН! Вот в чем основная черта феномена последней кремлевской жены. Она пошла дальше даже Виктории Петровны, подчинив себя целиком ему как таковому; и с помощью телеэкрана с известным изяществом, стоя за его спиной, превратила политическую кухню социализма в домашнюю кухню с капиталистическим привкусом.

Вспоминаю. В том единственном разговоре я, желая поддержать ее, огорченную нападками депутата-грубияна Сухова, сказала:

— Ваше появление на экране оживляет скуку официоза. Если бы вас не было, я бы и смотреть Горбачева, и слушать не стала, а так включаю с мыслью: “Интересно, будет она? В чем одета? Как выглядит?”

— Ну что вы говорите! — возмутилась Раиса Максимовна. — Несерьезно. Его обязательно слушать надо! Обязательно.

* * *

Что все это значит? Как все это называется? Представьте, проще простого. Любовь. Гармония. Единство противоположностей. Гармоничная семья, проволокла себя через дисгармонию властных структур и, оказавшись у руля, захотела гармонии всему обществу. Захотела, не слишком задумываясь, что есть гармония. По наитию. Оба не были идеалистами, но оба попались в капкан. Ленин и Крупская тоже хотели гармонии и для ее пришествия построили машину. Перед новой парой был выбор: починить машину или разрушить оконча-

тельно. Они пытались чинить. И этим еще больше ее разрушали. Она рухнула — они отскочили, чтобы не погибнуть под обломками.

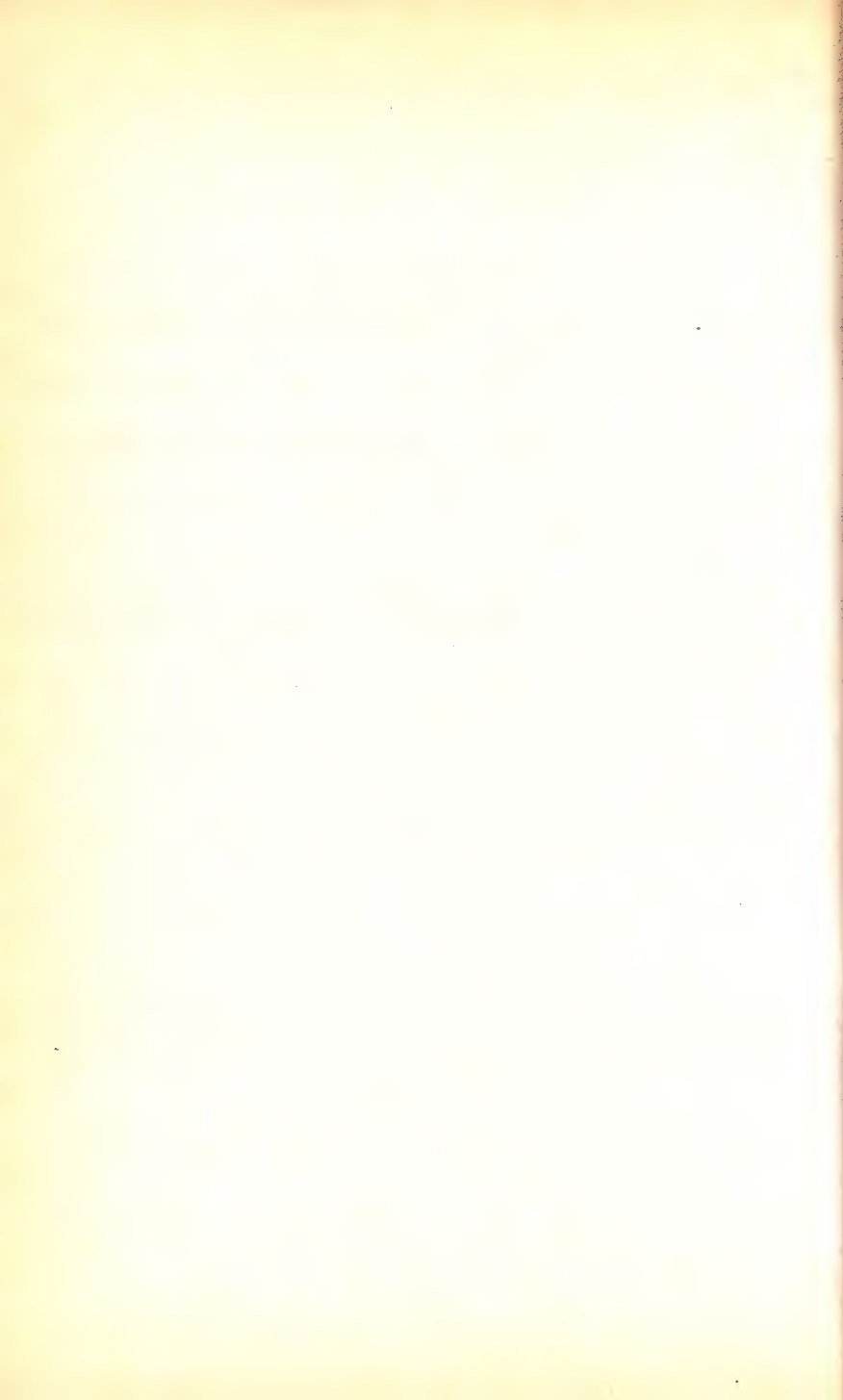
Но заметил ли кто, как из распадающегося нутра вылетела живая душа идеи, плененной этой машиной, вечной идеи о счастье?

Куда полетела душа? Кто знает?

IV

ПОСТСКРИПТУМ





ЗАКОН ВОЗМЕЗДИЯ

Кто, когда в человечестве исследовал этот великий и страшный закон жизни?

Кто изучил его на больших и малых примерах мировой истории?

Кто заметил его последовательность в житейском мире, простых человеческих отношениях?

Кто убоился его и жил соответственно его предписаниям?

Никто. Никогда.

Почему?

Неужели для того даны нам извилины и членораздельная речь, чтобы в сложном не видеть простого, а в простом — сложного?

Неужели образ Бога, из-за которого мы умудряемся устраивать кровавые драки, послан нам несметными силами Космоса для того лишь, чтобы с Его помощью устраивать свои дела и делишки — которые, в итоге жизни, есть одно и то же, ибо в малом живет большое, а в большом малое?

Неужели человек, чей характер составляют четыре глагола: знать, понимать, уметь, иметь — не сможет наконец привести их в соответствие и агрессивный глагол “иметь” должен окончательно и бесповоротно победить в его мыслях и поступках?

Неужели, пройдя столько войн и потрясений, люди ничему никогда не научатся и, будучи лишь женщинами и мужчинами на земле — третьего не дано, — никогда не смогут прийти к гармонии двух этих начал, утверждая лишь мужские prerogatives — агрессивные, разрушительные “измы”?

Мы отвечаем за все, что было при нас. За каждый свой шаг, каждый поступок.

Лишь слепец — а все мы по-своему слепы — не видит, как ежедневно, ежечасно, ежеминутно действует в живой, страст-

ной и мыслящей природе Закон Возмездия. Воздающий другим непременно получит свое от этого же Закона.

Ты, жестоко вырубивший на дрова строевой лес, причинивший боль бессловесному дереву, не жди пощады от природы, когда гусеница сожрет всю капусту в твоём огороде, град побьёт все посевы и тля выест кустарник.

Ты, на лету подбивший птицу, не жди, что боль в печени, вызванная злыми бактериями, жившими в съеденном тобой мясе, пройдет бесследно, просто так, — она изведет твои бессонные ночи.

Ты, выкачавший нефть из недр земли, настроивший АЭС, отравивший воздух вредными газами, не сомневайся — землетрясения, наводнения, смерчи, чернобыли накажут тебя по заслугам.

Ты, обманувший или укравший, солгавший или обидевший, будь уверен, что предательство друга, измена любимой — не что иное, как заслуженная кара, настигшая тебя по Закону Возмездия.

Согласно ему действуют все законы природы.

Согласно ему Божья Воля вершит наши дела. Первые же люди, которые научатся понимать этот Закон и по мере возможности регулировать свои мысли и поступки, руководствуясь его принципами, будут первыми на пути к абсолютной истине.

В истории человечества Закон Возмездия действует с такой потрясающей последовательностью, что диву даешься — как же этого никто не замечает?!

Большевики, вошедшие в Кремль с благороднейшей целью — дать человечеству светлую жизнь — начали с того, что расстреляли царскую семью. Из сегодняшнего дня хорошо видны последствия этого расстрела в доме Ипатьева в Екатеринбурге-Свердловске, доме, пугливо снесённом всего лишь в семидесятых годах, во время правления там нынешнего первого Президента России, Ельцина. И на нем лежит вина.

У большевиков в 1918 году был свой резон: они свершали никому не порученный им Закон Возмездия. Расплачивались с царем и “его отродьем” за все романовские преступления. Разумеется, их хватало. Однако взявшие на себя роль испол-

нителей Закона Возмездия тут же автоматически сами попали под его действие.

Парадоксально, но факт: большей услуги, чем этот расстрел, Ленин не мог оказать Николаю Романову. И всему царскому дому. Кровь смыла родовые преступления. Останься он жив, ему пришлось бы нести крест и за свои слабости и прегрешения, и за всех Александров, Николая Первого, Павла, Петра Великого, Алексея Михайловича, Михаила Федоровича и женщин, конечно, Анну, Елизавету, Екатерину.

Секунды смертной боли, несколько минут предсмертных мучений — вот малая цена царской свободы от оговоров, наговоров, приговоров. Он, вместе со всеми чадами и несколькими слугами, теперь там же, где Сергей Радонежский и Александр Невский.

Кровь царицы Александры Федоровны смыла все большие и малые дворцовые грехи. Кто сегодня осмелится повторить сплетню об ее любовных утехах с Григорием Распутиным, хотела бы я посмотреть? А если кто и осмелится, то получит такую многоголосую отповедь, что не скоро оправится. К почти канонизированным святым грязь не пристаёт.

И наконец, дети. А с ними рядом — слуги, доктор...

Кровь детей открывает дорогу Закону Возмездия. Дитя невинно и священно.

Дитя прекрасно, ясно это.

Все мы из света и из тьмы.

Дитя из одного лишь света, —

писал поэт и был прав.

Четыре прекрасные девушки и больной мальчик. Они были в упор застрелены. Главный убийца, Юровский, бывший фотограф, после того как царская семья спустилась в подвал и не понимавшая, что происходит, царица попросила принести стул, вдруг решил: он рассадит их, как для фотоснимка.

Приказав принести три кресла, Юровский старательно расставлял и рассаживал семью, наслаждаясь своей слегка подзабытой профессией. Да и впрямь, в любых других обстоятельствах, ни при какой погоде не светило бы ему фотографировать царей.

Эта фотография навсегда отпечаталась в его зрачках.

Да что Юровский и иже с ним! Исполнители. И получили как исполнители по Закону Возмездия. Ни один из них не знал покоя и счастья на этом свете. Если есть Тот свет, с ними и Там разобрались.

Но главные распорядители, главные “творцы” убийства — где они?

Закон Возмездия, словно потирая от удовольствия невидимые руки, начал с главных. Не забыл второстепенных. И захватил с собой невинных, точно так же, как в случае с царскими детьми.

В ночь с 16 на 17 июля 1918 года раздаются выстрелы в Ипатьевском доме.

Удивительное звуковое совпадение: первый русский царь из династии Романовых начал свое правление с коронации в костромском Ипатьевском монастыре — последний русский царь из этой династии кончил свое правление, застреленный в подвале екатеринбургского дома Ипатьева.

Уже через месяц, чуть больше того, Закон Возмездия начинает показывать себя.

30 августа 1918 года не мстительница-монархистка, не родственница царя, а тоже революционерка, эсерка Фанни Каплан стреляет в Ленина. Пули отравлены.

“Маловато сил было после ранения у Ильича”, — жалуется Крупская.

В этот же день 30 августа убивают соратника Ленина, Урицкого.

В марте 1919 года внезапно умирает Яков Свердлов, Председатель ленинского Совнаркома, подписавший приказ об убийстве Николая Романова вместе с семьей. Сегодня ходит слух, что его разорвали на части рабочие. За приказ — расстрелять царя.

В этом еще времена разберутся.

В октябре 1920 года умирает от холеры Инесса Арманд — сильный удар в сердце Ленина.

Сам он тяжело заболевает в 1922 году, и в несколько приемов болезнь доводит его до полной недееспособности.

21 января 1924 года Ленин умирает. Последним его воспоминанием о полной событий революционной жизни стано-

вится всего-навсего грубость Сталина по отношению к Крупской. Последним беспокойством — тревога за судьбу партийной машины, на которой лежит сталинская рука.

Троцкий, загнанный, как заяц, сталинскими интригами, выброшен за границу, и там его все же настигает ледоруб Рамона Меркадера, посланца Сталина.

Тридцати лет от роду, от брюшного тифа в 1926 году умирает сильная и здоровая Лариса Рейснер.

20 июля 1926 года смерть косит “железного” Феликса Дзержинского.

Остающиеся и провожающие в последний путь уже ведут между собой смертельные политические схватки, доводя элементарные несогласия до поистине вражеских отношений. Дальше, дальше... дальше — больше.

Каменев, Зиновьев, Бухарин, Радек, Рыков — несть им числа — бьются, сгибаются перед Сталиным, пытаются выпрямиться, сгибаются опять...

В декабре 1934 года в Ленинграде убивают Кирова, такого же, как и все большевики, ничем не лучше других, не хуже. И Сталин, возможно организовавший это убийство, а возможно и нет, использует его для своей расплаты.

Тухачевский, Якир, Блюхер, Гамарник, Уборевич, Постышев, Косиор, Косарев, и дальше, дальше, дальше — разматывается сталинское лассо, захватывая все большее и большее количество преступников перед народом, захватывая и сам народ, истребляя его.

Тридцать седьмой год — кара за семнадцатый?

Сталин, наказанный по Закону Возмездия долгой жизнью, Сталин с его страшной манией преследования, развивающейся сухорукостью, низкорослый — при грандиозных амбициях быть и казаться выше и лучше всех, с таинственным убийством-самоубийством жены, с осиротевшими, обезумевшими от вседозволенности и жуткой строгости отца детьми, с паранойей, ставшей государственной нормой поведения, великий Сталин, одиноко умерший в своей кремлевской клетке под неслышные проклятия миллионов обездоленных рабов, под звуки фанфар во славу себе, Сталин, которого сегодня кланут и мажут дерьмом все, кого рядом с ним и различить-то невозможно.

Его сатрапы — Ягода, Ежов, Берия — говорить о них не хочется. Его верное окружение — Каганович, Калинин, Молотов, Ворошилов и т. д. Разве не получили они своего в той или иной мере, в том или ином виде: кто — попранием чувства собственного достоинства, кто — тюрьмой для жены или тещи, кто — от деток своих. И каждый расплатился — страхом. Безудержным страхом — перед возможностью выпасть из кремлевского круга.

Хрущев, пришедший свалить колосса, зарвавшийся во вседозволенности нелепых реформ и полумер, в итоге сброшенный с трона своими же приспешниками и тихо передающий на “загнивающий” Запад свои убогие воспоминания.

Брежнев — добродушное нечто, тяжело больной, преодолевающий боли ради никому не нужного руководства страной, “великий летописец” неизвестно чего, предмет насмешек и стыда растущего в его время поколения.

Андропов, с задатками сильного человека, в тиши брежневского правления тихо перетерший зубами диссидентское движение, будучи главой КГБ, и на один лишь год ставший у руля, чтобы умереть под шорох сплетни: “Говорят, что жена Щелокова, соседка Андропова по лестничной клетке, выстрелила в него, боясь разоблачений в коррупции, рана была смертельной”. Бред.

Черненко, почти уже умирающий, но жаждущий все же прикоснуться к рулю.

Наконец, герой вчерашнего дня, Горбачев, пытавшийся впрячь в одну телегу коня и трепетную лань, капитализм и социализм, не выяснив, кто из них конь, а кто лань. Любимец Запада, о котором еще скажет история: разрушил страну в мирное время и ничего не создал. Обездолит детей, на которых жертвовал.

Разбежавшееся от Горбачева во все стороны окружение — от Лигачева до Ельцина, от Полозкова до Яковлева, эти кравчуки, назарбаевы, акаевы и прочие, эти мастодонты и ряженные, переодевшиеся из коммунистических пиджаков в якобы демократические одежды, торопясь выхватить неожиданно образовавшиеся вместо одного — несколько рулей у распадающейся партийной машины, в предсмертной агонии выбрасыва-

ющей народные богатства из своей задыхающейся пасти. Подбирай, кто может.

ТАКОВО ВТОРОЕ САМОРАЗРУШИТЕЛЬНОЕ ПРИШЕСТВИЕ БОЛЬШЕВИКОВ.

Да, в свердловском правлении Ельцина был не так давно стерт с лица земли дом Ипатьева. Затушеванная свою исполнительную роль, первый Президент России говорил, что это был приказ из Москвы, а не его инициатива. Он даже не чувствует, что нет никакой разницы: поступок совершен — и это факт. Говорят, он раскаялся и в церковь сходил, свечку подержал. Кающиеся грешники не рвутся к власти, а уходят от мирской жизни в монастырь. Замаливать грехи.

Бедные, бедные мужчины двадцатого столетия на нашей земле — заржавленные винтики машины, остановившейся на холостом ходу, умеющие хорошо выпить, но запретившие водку и вырубившие виноградники в угоду кампании по борьбе с пьянством; умеющие хорошо поесть, но не знающие, как и чем накормить страну, в которой при наступающем голоде гниют продукты в неразгруженных вагонах, а способные быть грузчиками мужики заседают в верховных советах или перестреливаются в горах за землю, которая не принадлежит никому, потому что, по закону жизни, люди принадлежат земле, а не наоборот.

Разделяю столетие на четыре части:
первая четверть — живут деды века,
вторая четверть — живут отцы века,
третья четверть — живут дети века,
четвертая четверть — живут внуки века.

Нам, детям века — а я по своей классификации отношусь как раз к ним — приходится отвечать сегодня за дедушек и отцов двадцатого столетия. И пусть миллионы и миллионы честно прожили свои жизни — на них разлилась вина верхних эшелонов Кремля, построивших вместо просторного дома тюремный барак. История замарала всех.

Но горько смотреть, как шустрые внуки века, пришедшие в эпоху вырождения, пользуясь санкционированной свободой, весело пляшут на трупах. Хочется крикнуть: “Остановитесь!

Вспомните библейского Хама! Закон Возмездия не минует и вас!”

И молчит многомиллионная ЖЕНЩИНА, породившая всех этих борющихся мужчин, смотрит из своего домашнего угла, как вновь и вновь убивают рожденную ею жизнь. Нет у нее права сказать: хватит войн, убийств, разрушений! По домам!

Не хотим больше рожать пушечное мясо.

Хотим не вместе, а рядом с вами вести народное хозяйство, потому что вы — не умеете.

Хотим не вместе, а рядом с вами прибрать землю, которую вы захламили.

Хотим прекратить драку за землю.

Хотим мира, ибо не имеем ни к кому никаких этнических претензий, мы, а не вы, решаем, от кого родится ребенок — от татарина, англичанина, русского, еврея, — несть числа нам, у нас нет национальных конфликтов.

Не вместе, а рядом, ибо не хотим в ваши дерущиеся эшелоны, нам нужен свой эшелон, способный сделать борьбу печальным фактом минувшей истории.

Женщина молчит, но знает, как обуздать Закон Возмездия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Итак — итог.

Вхожу в некое ограниченное пространство: то ли комнату, то ли камеру, то ли коридор, то ли кабинет. Попадаю в круг своих героинь, сошедшихся вместе — уж не для того ли, чтобы судить меня за вмешательство в их внутренние дела? Молчат и смотрят: издерганная Надежда Аллилуева, угрюмая Ольга Каменева, боевая Екатерина Калинина, скованная Екатерина Ворошилова, хрупкая Ольга Буденная, добродушная Мария Буденная, деловая Мария Каганович, целеустремленная Полина Жемчужина, обворожительная Нина Берия, упрямая Нина Хрущева, простодушная Виктория Брежнева, четкая Анна Черненко, прямолинейная Раиса Горбачева...

И тут же, среди них, — изящная Инесса Арманд, взбалмошная Лариса Рейснер, изысканная Александра Коллонтай, легкомысленная Галина Антонова, размашистая Екатерина Фурцева, миловидная Татьяна Окуневская — как бы боковая линия моей книги, ответвление, не вполне кремлевские избранницы, одни чуть больше того, другие много меньше, и все же — женские вехи века.

За их спинами слабо виднеется фигура Татьяны Андроповой — я обошла ее молчанием. Почему? Не знаю. Таинственная Татьяна...

Удивительно точно соответствуют эти женщины своим мужским “половинам” — то оттеняя их, то дополняя, то сливаясь, то противореча.

* * *

Кто они? — спросила я себя в начале книги. Вся работа была сведена к ответу на этот вопрос.

Царицы, властительницы, хозяйки? Да! — на том малом плацдарме квартиры или государственной службы, которую некоторые возглавляли. Для экономок, нянек и шоферов в

какой-то степени — да. Но эта степень после падения мужа — а почти каждая прошла через падение — убывала в геометрической прогрессии. Царицы царства из 10—15 человек? Вроде того.

Бледные тени пугающе великих мужей? Похоже. Но не бледные и не пугающе великих, ибо великие пугали по пословице: “молодец на овец, а на молодца — сам овца”. “Молодец” Сталин тоже был пуганая ворона, иначе не рубил бы кустов вокруг себя.

Тени — вот это, наверно, верно.

Отражения, имеющие собственные лица?

Рабыни, иногда бунтующие против своих хозяев? И получающие за бунт — цепи? От Надежды Аллилуевой до Виктории Брежневой, убывая, идет стихия бунта, приводя к полному подчинению. (Хотя в доме, в быту, часто это видится даже подчинением ЕГО.)

И все они, вместе с мужьями, на уровне дома, в общем неплохие люди: работали, старались, многие вырастили чужих детей, помогли своим домочадцам и сослуживцам.

Кто они?

Вечные пленницы мужских структур, волею случая попавшие в пуховые объятия кремлевского плена.

Чем он лучше любого другого? Удобнее. Автомобиль, подадут и спецпитание. А схема одна и у Аллилуевой, и у жены печника, за стеной Кремля.

Но все же...

Мои героини — суть фигуры экстремальных ситуаций; экстремальных судеб. Они нетипичны в своей исключительности, но эта нетипичность лишь подчеркивает главную ошибку большевиков, пришедших ко власти: освобожденная ими женщина тут же оказалась вновь закабаленной. Новая идея пошла по старому пути. Уникальная возможность дать женщине самой выйти на простор общественной жизни, создать свои женские миры, способные помогать мужскому миру и препятствовать ему в жестокостях, насилии, бесхозяйственности, сверхвластности, — не использована...

Ишь чего захотела!

Мужчина испокон веку готов связать свою общественную судьбу с любым “измом”, но никогда с женщиной — на

общественном уровне, понимая, что она не даст ему развернуть кроважадные инстинкты.

Так и большевики порешили. Начиная с Надежды Константиновны (кстати, где она?), все кремлевские избранницы, повинувшись силе власти, служили своим вождям.

Если не хотели служить, их ждала судьба Надежды Аллилуевой, Ольги Буденной, отчасти Екатерины Калининой. Мужской большевистский правящий мир признавал женщину лишь в роли своего подспорья. Как всегда, во все века.

Был момент, когда Крупская (кстати, где она?) вроде бы могла взять в свои руки "женский вопрос". Если бы ей, труженице, пришлось в голову сделать женские советы не приводными ремнями мужской власти, как было сделано, а законными оазисами новых этических, этнических, экономических, экологических отношений!

Если бы женщина получила тогда законное сопрово сорешать общественные проблемы от имени и с точки зрения женщин как таковых!

Если бы женщина могла сметь запретить войну, дать детям по своему разумению образование, взять также в свои руки и народное хозяйство, быть допущенной к финансам, ими она так отлично управляет дома...

Если бы!

Не сидел бы сегодня народ у разбитого корыта своей вековой мечты.

Века и века патриархата подходят к последней черте. Мой голос о женщине-соправительнице в мужском мире скорей всего утонет в криках утопающих.

Но выжившим придется начинать с того, о чем я пекусь: с гармонии женского и мужского начал.

Когда-то гармония создала этот мир. Гармония может воссоздать его.

Книга закончена. Героиням пора назад, в историю, уплывающую навсегда.

* * *

Я повернулась, чтобы уйти. В дверях стояла Надежда Константиновна. Не вдова фараона, не вершительница звездного часа, не созидательница разрушения, не синий чулок, а преле-

стная тургеневская девушка с длинной русой косой, блестящими светлыми глазами, пухлым чувственным ртом и тонким станом — в той самой поре, когда она могла еще пойти... ДРУГИМ ПУТЕМ.

— Тогда, — сказала Крупская, прочитав мои мысли, — нельзя было. Невозможно. Но женщина, способная начать, уже родилась. Ждите. Наберитесь терпения.

Неужели она и тогда понимала ошибку, и сейчас “оттуда” знает, как исправить ее?

Возможно, это была не ошибка, а всего лишь следствие неточного первого шага на пути человечества к гармонии? Мужчина слишком давно владеет миром, чтобы без вековых подготовок понять иное положение вещей. Он ведь еще не разрушил мир до такой степени, дабы встала женская необходимость прибраться.

Колесо человеческой истории поворачивается сегодня. На его повороте я переворачиваю последнюю страницу в единственной надежде на тех, для которых она будет первой.

Прощайте...

Краткая библиография

- Авторханов А. Коба и Камо. Новый журнал, 1973, № 110.
- Авторханов А. Ленин и ЦК в октябрьском перевороте. Новый журнал, 1970, № 100.
- Авторханов А. ЦК против планов Ленина о восстании. Новый журнал, 1971, № 101.
- Аджубей А. Те десять лет. М.: Советская Россия, 1989.
- Александрова В. Первая военная зима в России. Новый журнал, 1943, № 4.
- Алексинская Т. 1917 год. Новый журнал, 1968, № 90—94.
- Аллилуев С. Пройденный путь. М.: ОГИЗ, 1946.
- Аллилуева С. Двадцать писем к другу. New York: Harper & Row, 1968.
- Аллилуева С. Только один год. New York: Harper & Row, 1970.
- Аллилуева Надежда Сергеевна. Некролог. Правда. 1932. 10, 12, 16 ноября.
- Анин Д. Перспективы и внутренние противоречия большевизма. Новый журнал, 1954, № 36.
- Анненков Ю. Дневник моих встреч. Т. 1—2. Международное литературное содружество, 1966.
- Антонов-Овсеенко А. Сталин без маски. М.: Вся Москва, 1990.
- Арбатов З. Екатеринослав 1917—1944. Т. XII. Берлин: Архив русской революции, 1923.
- Арманд И.Ф. Статьи, речи, письма. М.: Изд-во политической лит-ры, 1975.
- Арсенидзе Р. Из воспоминаний о Сталине. Новый журнал. 1963, № 72.
- Анненков Ю. Воспоминания о Ленине. Новый журнал, 1961, № 65.

- Берберова Н. Железная женщина. New York: Russica publishers, Inc. , 1982.
- Бердяев Н. Истоки русского коммунизма. М.: Наука, 1990.
- Бертер И. Е.Д.Стасова. Новый журнал, 1971, № 103.
- Бонч-Бруевич М. Вся власть Советам. М.: Воениздат, 1958.
- Борев Ю. Сталиниада. М.: Советский писатель, 1990.
- Бочарникова М. Бой в Зимнем дворце. Новый журнал, 1962, № 68.
- Брешковская Е. 1917-й год. Новый журнал, 1954, № 38.
- Бунин И. Под серпом и молотом. Лондон — Канада: Изд-во Заря, 1975.
- Бунин И. Окаянные дни. М.: Советский писатель, 1990.
- Буранов Ю. Поединок с генсеком. Совершенно секретно, 1991, № 7.
- Бурт В. Зиночка из 1917-го. Совершенно секретно, 1990, № 8.
- Валентинов Н. Чернышевский и Ленин. Новый журнал, 1951, XXVI—XXVII.
- Валентинов Н. Ленин в Симбирске. Новый журнал, 1954, № 37.
- Валентинов Н. Выдумки о ранней революционности Ленина. Новый журнал, 1954, № 39.
- Валентинов Н. Ранние годы Ленина. Новый журнал, 1955, № 40—41.
- Валентинов Н. Встреча Ленина с марксизмом. Новый журнал, 1957, № 53.
- Валентинов Н. О людях революционного подполья. Новый журнал, 1963, № 63.
- Валентинов Н. Встречи с Лениным. Нью-Йорк: Издательство им. Чехова, 1953.
- Валентинов Н. НЭП и кризис партии после смерти Ленина. Hoover Institutions Press, 1971.
- Васецкий Н. Ликвидация. М.: Московский рабочий, 1989.
- Вишневская Г. Галина. История жизни. М.: Новости, 1991.

Возвращенные имена. Сборник. М.: Изд-во АПН, 1989.
Вождь, диктатор, хозяин. Сборник М.: Патриот, 1990.
Волкогонов Д. Триумф и трагедия. Т. 1—2. М.: Новости, 1989.
Восленский М. Номенклатура. London: OPI, 1990.
Воспоминания о Крупской. Сборник. М.: Просвещение, 1966.
Вульф Б. Крупская чистит библиотеки. Новый журнал, 1970, № 99.

Гарви П. 1970 год. Новый журнал, 1967, № 87.
Геллер М. Машина и винтики. London: OPI, 1985.
Гинс Г. Перевоплощение Петербурга. Новый журнал, 1952, № 58.
Гиппиус З. Дневник. 1938 г. Новый журнал, 1968, № 92.
Горбачева Р. Я надеюсь... М.: Книга, 1991.
Горький М. Владимир Ильич Ленин. Сборник воспоминаний о Ленине. М., 1924.
Гуль Р. Я унес Россию. Новый журнал, 1978—1989, № 132—138.
Гуль Р. Красные маршалы. М.: Молодая гвардия, 1990.
Гусейнов Э. Сын партии. Известия. 1982. 14 ноября.
Гурвич А. Артистическая Москва 1917—1920 гг. Новый журнал, 1977, № 129.

Дан Л. Бухарин о Сталине. Новый журнал, 1964, № 75.
Доднесь тяготееет. Сборник. М.: Советский писатель, 1989.
Додолев Е. Тайна золотых бюстов. Совершенно секретно, 1991, № 3.
Домонтович А. Женщина на переломе. М.—Пг., 1923.
Драбкина Е. Зимний перевал. Новый мир, 1968, № 10.
Дридзо В. Надежда Константиновна. М.: Детская литература, 1969.
Дружников Ю. Ближняя дача. Совершенно секретно, 1991, № 4.

Думова Н. Кончилось ваше время. М.: Изд-во политической лит-ры, 1990.

Жид А. Возвращение из СССР. М.: Изд-во политической лит-ры, 1990.

Земцов И. Черненко: Советский Союз в конце перестройки. London: OPI, 1989.

Зензинов В. Пережитое. Нью-Йорк: Издательство им. Чехова, 1953.

Зыкина Л. В моей жизни все было красиво. Совершенно секретно, 1991, № 3.

Керенский А. О революции 1917 года. Новый журнал, 1947, XV.

Керенский А. Два Октября. Новый журнал, 1947, XVII.

Керенский А. Как это случилось? Новый журнал, 1950, XXIV.

Коженова Т. Будни советской женщины. Новый журнал, 1953, № 34.

Колесник А. Мифы и правда о семье Сталина. М.: Техинвест, 1991.

Коллонтай А. Любовь пчел трудовых. Пг., 1923.

Коллонтай А. Освободите крылатого Эроса. Молодая гвардия. 1923, № 3.

Коллонтай А. Избранные статьи и речи. М.: Изд-во политической лит-ры, 1972.

Кольцов П. Дипломат Федор Раскольников. М.: Изд-во политической лит-ры, 1990.

Конквест Р. Большой террор. Флоренция: Аврора, 1974.

Коридзе Т. Интервью Н.Т. Берия. Совершенно секретно, 1990, № 9.

Кравченко Г. Мозаика минувшего. М.: Искусство, 1975.

Крамов И. Утренний ветер. М.: Советский писатель.

Крамов И. Литературные портреты. М.: Советский писатель, 1962.

- Краснопольская И. Командарм. Московская правда. 1987, 2 августа.
- Крейдлина Л. Большевик драгоценной пробы. М.: Изд-во политической лит-ры, 1990.
- Криворотов В. Чернышев С. Загадка Ленина. Литературная газета. 1991. 17 апреля.
- Кротков Ю. КГБ в действии. Новый журнал, 1973, № 108 — 112.
- Крупская Н. Педагогические сочинения. В 11 т. М.: Изд-во Академии педагогических наук РСФСР, 1957—1963.
- Крупская Н. Воспоминания о Ленине. М.: Изд-во политической лит-ры, 1989.
- Кунецкая Л., Маштакова К. Крупская. М.: Молодая гвардия, 1985.
- Кускова Е. Давно минувшее. Новый журнал, 1958, № 54.
- Ларина-Бухарина А. Незабываемое. М.: Изд-во АПН, 1989.
- Лариса Рейснер в воспоминаниях современников. Сборник. М.: Советский писатель, 1969.
- Ленин В.И. Письма к родным. 1893—1922. ПСС. Т. 37. М.: ГИПЛ, 1957.
- Лукомский А. Воспоминания. Т. I—II. Берлин: Книгоиздательство Отто Кирхер и К^о, 1922.
- Мандельштам Н. Воспоминания. Нью-Йорк: Издательство им.Чехова, 1970.
- Манухин И. Воспоминания о 1917—18 гг. Новый журнал, 1958, № 54.
- Медведев Р. Н.Хрущев на пенсии. Новый журнал, 1978, № 138.
- Медведев Р. О Сталине и сталинизме. М.: Прогресс, 1990.
- Медведев Р. Они окружали Сталина. М.: Изд-во политической лит-ры, 1990.
- Медведев Р. Конец “сладкой жизни” для Галины Брежневой. Совершенно секретно, 1990, № 2.

Мельгунов С. Красный террор. М.: СП "Р S ", 1990.

Мельгунов С. Осада Зимнего дворца. Новый журнал, 1947, XVII.

Николаевский Б. Поражение Хрущева. Новый журнал, 1951, XXV.

А.Н. (А.Д.Нагловский) Ленин. Новый журнал. 1967, № 88.

Нагловский А. Воспоминания. Новый журнал, 1968, № 90.

Надежда Константиновна Крупская. Биография. М.: Изд-во политической лит-ры, 1988.

Норд Л. Маршал Тухачевский. Париж: изд-во "Лев", 1978.

Одиннадцатый съезд РКП(б). Стенографический отчет. М.: Издательское отделение ЦК РКП, 1922.

Олесин М. Первая в мире. Биографический очерк об А.М.Коллонтай. М.: Изд-во политической лит-ры, 1990.

Оскоцкий В. Главный идеолог. Совершенно секретно, 1991, № 5.

От оттепели до застоя. Сборник. М.: Советская Россия, 1990.

"Партийная этика". Дискуссии 20-х годов. Сборник. М.: Изд-во политической лит-ры, 1989.

Пестковский С. Воспоминания о работе в Наркомнаце. Пролетарская революция, 1930, № 6.

Пильняк Б. Убийство командарма. Лондон: Флегон Пресс, 1965.

Платтен Н. Из зеркального переулка в Кремль. Грани, № 79.

Плешаков Л. И стыла кровь при имени его. Совершенно секретно, 1990, № 3.

Попов И. Один день с Лениным. М.: Советский писатель, 1963.

Прибытков В. Помощник генсека. Совершенно секретно, 1990, № 7.

Прушинский К. Ночь в Кремле. Совершенно секретно, 1989, № 3.

Пушкарёв С. Октябрьский переворот 1917 г. без легенд. Новый журнал, 1967, № 89.

Пятнадцатый съезд ВКП(б). Стенографический отчет. М.—Л.: Госиздат, 1928.

Реабилитация. М.: Изд-во политической лит-ры, 1991.

Реабилитирован посмертно. М.: Юридическая литература, 1989.

Рейснер Л. Избранные произведения. М.—Л.: ГИХЛ, 1956.

Ролицкий Я. Большой брат. Совершенно секретно, 1991, № 5.

Ротин И. Идем за рыцарями революции и любви. М.: Молодая гвардия, 1978.

Рубанов С. Нетинский С. Крупская в Петербурге. Л.: Лениздат, 1975.

Сатина С. Образование женщин в дореволюционной России. Новый журнал, 1964, № 76.

Семенов Ю. Тайна Кутузовского проспекта. Совершенно секретно. 1989, № 6—7.

Симонов К. Глазами человека моего поколения. Зная, 1988, № 3—5.

Соловьев В. Загадка смерти Ленина. Совершенно секретно, 1990, № 9.

Такер Р. Сталин. Путь к власти. 1879—1929. М.: Прогресс, 1990.

Толстая А. Проблески во тьме. Вашингтон, 1965.

Толстая О. Дождь и солнце. Новый журнал, 1979, № 132, 135.

Тринадцатый съезд РКП(б). Стенографический отчет. М.: Красная новь, 1924.

Троцкий Л. Моя жизнь. Т. 1—2, Берлин: Гранит, 1930.

Троцкий Л. К истории русской революции. М.: Изд-во политической лит-ры, 1990.

Троцкий Л. Сталин. Т. 1—2. М.: Терра, 1990.

Троцкий Л. Сталинская школа фальсификации. М.: Наука, 1990.

Троцкий Л. Портреты революционеров. М.: Московский рабочий, 1991.

Туров Н. Встреча с Абакумовым в тюрьме НКВД. Новый журнал, 1970, № 98.

Тыркова-Вильямс А. То, чего больше не будет. Париж: Возрождение, 1953.

Фишер Л. Жизнь Ленина. London: OPI, 1970.

Фейхтвангер Л. Москва, 1937. М.: Изд-во политической лит-ры, 1990.

Херасков М. Общество благородных. Новый журнал, 1946, XIV.

Ходасевич В. Литературные статьи и воспоминания. Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1954.

Церетели И. Воспоминания о Февральской революции. Новый журнал, 1962, № 68.

Цеткин К. Письмо. Советские архивы, 1990, № 3.

Чернова О. Холодная зима. Москва 1919—20 гг. Новый журнал, 1975, № 121.

Чернов В. Перед бурей. Нью-Йорк: Издательство им. Чехова, 1953.

Четырнадцатый съезд ВКП(б). Стенографический отчет. М.—Л.: Госиздат, 1926.

Чуев Ф. Сто сорок бесед с Молотовым. М.: Терра, 1990.

- Шелест П. Как это было. Совершенно секретно, 1990, № 6.
- Шелестов Д. Время Алексея Рыкова. М.: Прогресс, 1990.
- Шестнадцатый съезд РКП(б). Стенографический отчет. М.: Госиздат, 1950.
- Штурман Д. В.И. Ленин. Paris: YMKA-Press, 1989.
- Шуб Д. Три биографии Ленина. Новый журнал, 1964, № 77.
- Шуб Д. Купец революции. Новый журнал, 1967, № 87.
- Шуб Д.. Из давних лет. Новый журнал, 1970—1973, № 99—110.

Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства. ПСС. Т. XVI, М.: Госполитиздат, 1962

Эссен М. Инесса Арманд. Биография. М.: Госиздат, 1925.

Clark, W.R. *Lenin. The Man Behind the Mask*. London: "Faber & Faber", 1988.

Kollontai, A. *A Great love*. New York — London: Norton & Company, 1929.

Rayne, R. *The Rise and Fall of Stalin*. London: W.H.Allen & Co, 1965.

Wittlin, T. *Commissar*. London — Sydney: Anaus & Robertson, 1973.

Литературно-художественное издание
Васильева Лариса Николаевна
КРЕМЛЕВСКИЕ ЖЕНЫ
Факты, воспоминания, документы, слухи, легенды и
взгляд автора

Редактор С. Б. Кузьмина
Художественный редактор В. Сидоров
Технический редактор В. Шаповаленко
Корректоры В. Жечков, А. Никитенко

Подписано в печать 09.08.93. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага тип. № 2. Офсетная печать. Усл. печ. л. 30,24. Усл. кр.-отт. 30,66. Уч.-изд. л. 29,2. Доп. тираж 150 000 экз.
Заказ 587.

Издательство „Вагриус“. 105183, Москва, ул. Никитинская, 2-53.

Издательство „Вышэйшая школа“ Министерства информации
Республики Беларусь. 220048, Минск, проспект Машерова, 11
(при участии ИП и НИК „Эврика“).

Типография издательства „Беларускі Дом друку“. 220041,
Минск, проспект Ф. Скорины, 79.



ЛАРИСА ВАСИЛЬЕВА

Лариса Васильева — известная российская поэтесса, прозаик, драматург, автор более двадцати сборников стихотворений (среди них "Льняная луна", "Огневица", "Василиса", "Светильник"), книги рассказов "Альбион и тайна времени", романа "Книга об отце", пьесы "Липовый цвет" и многих других произведений, изданных в России и за рубежом. Многим читателям она известна также как автор многочисленных статей по женской проблематике. Лариса Васильева — президент Международной лиги писательниц.



"Кремлевские жены" — это художественно-публицистическое исследование о с виду завидных, а по сути нелегких судьбах женщин, которым выпала доля быть женами "вождей" нашего народа, делить с ними кров, стол и ложе. Читатель сможет познакомиться со своеобразным "треугольником" Ленин — Крупская — Инесса Арманд, узнает о трагической судьбе жены Сталина — Надежды Аллилуевой. Перед ним предстанут узницы сталинских лагерей — жены Молотова и Калинина. Приоткроется завеса тайны над сложной и во многом загадочной жизнью Нины Берия. Подробно будет рассказано о жизни "Царицы" Нины Хрущевой, незаметной в тени мужа Виктории Брежневой и первой (она же последняя) леди СССР Раисы Горбачевой. Автор строит свое повествование на уникальных архивных материалах, беседах с самими "кремлевскими женами" и их близкими, воспоминаниях современников, личных впечатлениях.



ЛАРИСА ВАСИЛЬЕВА

КРЕМЛЕВСКИЕ ЖЕНЫ